

Без выбора

Леонид Бородин

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Леонид Бородин



Без выбора

Библиотека мемуаров



Леонид Бородин

БЕЗ ВЫБОРА

В зеркале высокого и непреходящего прошлое значительно ближе настоящего...

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ



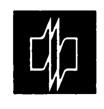
*...Без боли государства не возникают,
без боли не распадаются и тем более
не воскресают...*

Леонид Бородин

Без выбора

Автобиографическое повествование

Библиотека
мемуаров



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2003

УДК 82-94
ББК 84-4
Б 83

Серийное оформление –
Константин Георгиевич ФАДИН

Автор комментариев –
Любовь Спиридоновна КАЛЮЖНАЯ

ISBN 5-235-02629-2

Сколько себя помню (а помню рано, с трех лет уже большими эпизодами, а как война началась, воспоминания последовательны и отчетливы), так вот, сколько помню себя, при себе, рядом с собой или где-нибудь невдалеке всегда вижу загадочную штуку – одноглазый бинокль, или бинокль для одного глаза, или монокуляр, как его называла бабушка, потому что если «би», то это «два»... А тут один, а второй вовсе не отломался, его специально не приделывали, но так вот и задумывали, чтоб то одним глазом посмотреть, то другим и сравнить, каким виднее.

«Виднее» было обоими одинаково. Только двумя глазами, без этой штуки, было видно правильнее, потому что все, что есть, все и видно, хотя и отдаль. А в этом самом «моне» хоть и вблизь, но только кусочек всего, а кусочек без всего видеть хотя и дивно, но досадно, потому что невидимому, возможно, обидно за невидимость. А если начинаешь водить туда-сюда, то вообще никакого толку – сплошное мелькание.

К тому же, когда монокуляр переставляешь от одного глаза к другому, положим, смотришь на скалу, – она прыгает то влево, то вправо, а по правде-то она на месте... Но все равно здорово! На скале видишь не только кедр, но и знаки на нем – впростую их ни за что не рассмотреть.

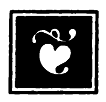
Одно плохо – нельзя смотреть и идти. И споткнуться можно, и в глазу, которым смотришь, все дергается. Монокуляр не для движения,

он для покоя. Сел на крыльце, навел на скалу, насмотрелся, на Байкал навел и смотри, пока оба глаза по очереди не заслезятся. Отдохнул и совсем в другую сторону – и там что-нибудь высмотрел, чего раньше не замечал...

Жизнь вроде бы еще продолжается, но движение... оно теперь уже не у меня, а у жизни, и я снова могу позволить себе, как тьму лет назад на крыльце отчего дома, попользовать монокуляр, только направляя его не вперед – в том далеком «впереди» меня, считай, нет. Зато за моей спиной эпоха. Не историческая эпоха, но всего лишь эпоха моей жизни – и почему бы, собственно, мне не посмотреть на свою жизнь монокулярно, если она у меня, как и у всех, единственная?

Часть первая

Русские мальчики



У подножья серых скал

Как и у многих, сознательная жизнь моя начиналась вместе с бабушкой. Ольга Александровна Ворожцова, дочь сибирского купца средней руки, учительница по профессии, а по моей памяти – энциклопедистка... «Моя бабушка знает все!» – таково было первое убеждение в жизни.

Преподавательница Иркутского сиропитательного приюта... В русско-японскую – санитарка в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина... Вместе с какой-то великой княжной, подруги... Потом первая на Байкале метеостанция в том самом Маритуе, где пройдет мое детство... Девятый ребенок в семье, она одна переживет революцию (два брата бесследно пропали где-то на сибирских просторах с отрядом каппелевцев[1]). С моим дедом, белорусом по происхождению, расстанется в те же революционные годы, и дальше всю жизнь с нами – с моей мамой и со мной...

Это она научит и приучит меня ко всему, что нужно детству – от трех лет до одиннадцати. Первое и главнейшее – жить с книгой. Она же в самом моем раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с «царя Салтана», трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человечьей злобы – и, как говорится, рожей в грязь;

Бабушка писателя
Ольга Александровна Ворожцова.



да на то Божии дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего.

«Как ныне сбирается...» знал в восемь, «Песнь про купца...» – в девять, в это же время – «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Тютчев, Майков, Полонский – это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского – словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие песни – перед сном. Мировой оперный репертуар – весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романтики народовольчества, и некрасовский плач о страдальце-народе образом «несжатой полосы» прочно окопался в душе, формируя ту самую «отзывчивость», каковая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоем в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа все же ущербного, ибо без высшей явности духа – Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведано не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной. По молодости она

компенсировалась особенным, исступленным отношением к Родине, в чем, безусловно, был изъян, поскольку в моем взыске к Родине первичной была требовательность: как у любимой женщины, у нее не должно быть недостатков. При обнаружении таковых я испытывал почти физическую боль, потому что, в отличие от взаимоотношений с женщинами, которых любил, любви к Родине у меня не было, не могло быть, ибо в сознании вообще не существовало разделения на субъект–объект. Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но сам вопрос остался бы непонятым по существу. Как можно любить или не любить то, чего крохотной, но все же неотъемлемой частью являешься сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей плохотой я уплошаю и все, от чего неотрывен.

И все же до десяти-двенадцати лет я воспитался интернационалистом в добром значении этого слова, если у него, у этого слова, вообще есть доброе значение.

Не только литература, то есть бессистемный и национально бесприоритетный выбор чтения, но главным образом – музыка. Вот уж где для меня действительно не существовало разделения на «наше» и «не наше».

Пока была жива моя бабушка, у нас в квартире еженедельно вывешивалось на стене около радиоприемника расписание радиопередач. Не всех, разумеется, – «Театр у микрофона» и концерты классической музыки. Классическая музыка входила в мою жизнь как удивительное открытие, которому нет конца – дивный волшебный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем больше там остается. Нет, конечно, воспринять какую-нибудь оперу всю целиком (по радио) мне тогда было не под силу. Но отдельные арии и музыкальные фрагменты уже к двенадцати годам стали счастливой собственностью моей памяти, а музыкальной памятью я не был обделен, как и голосом.

Со стороны было, наверное, и умилительно, и смешно видеть и слышать, как мальчишка на скале над Байкалом, в беспомощно-театральном и наивном жесте протягивая руки перед собой, со слезами на глазах воспроизводит страсти Дубровского или Каварадосси...

Я знал наизусть десятки партий. Но были и самые любимые, в звучании которых мне слышалось и чувствовалось

нечто такое, отчего по коже пробегал холодок, хотелось плакать счастливыми слезами. Еще хотелось взлететь и парить над миром с великой, необъяснимой любовью к нему – всему миру, о котором я еще, собственно, ничего не знал и не страдал от незнания...

Первые две фразы из арии Надира – «В сиянье ночи лунной ее я увидал» – приводили в трепет. Воспроизводил их стократно, вслушивался в свой голосок, в слова и пытался понять, почему они переворачивают мне душу, почему в сердце счастье, ведь мне нет никакого дела до этого самого Надира... Я даже не очень понимал, кого он, собственно, увидал «в сиянье ночи лунной» – в сочетании музыкальных звуков была магия, а слова будто лишь привязывались к музыке...

Или вот: вспоминаю и улыбаюсь. Я стою на вершине своей любимой скалы над Байкалом и возвещаю миру: «И что ж? Земфира не верна! Земфира не верна! Моя Земфира... охладе-е-е-ла!» Звонким мальчишеским голосом я не только с исключительной точностью воспроизвожу музыкальные фразы, но и тот вокальный нюанс, символизирующий перепад голоса на грани рыдания. Оперы я еще не знаю. Поэмы Пушкина тоже. Я лишь предполагаю, что должно делать по произнесении последней фразы, и самым логическим мне кажется – закрыть лицо руками и упасть как можно более плашмя. Я так и делаю, но я же на скале, и под ногами камни, плашмя не шибко-то выходит, колени и локти машинально выдвигаются вперед, и падение получается некрасивым. Но никто ж не видит... Можно и повторить...

Несмотря на столь раннее увлечение музыкой, я не стал ни музыкантом, ни даже просто знатоком музыки. Целые области музыкальной культуры остались неосвоенными – камерная музыка, к примеру.

Однако ж и по сей день мне сложно, да и просто нежелательно фиксировать в сознании, что, положим, «Лунная соната» и «Рассвет на Москве-реке» написаны людьми разных национальностей, верований, разного менталитета, наконец. А лет в девять мне было ужасно обидно, если кто-нибудь говорил, что «Три мушкетера» написал француз, – мне совсем ни к чему сие уточнение. Мало ли кто и что написал – важно, что здорово написано!

При том, однако ж, следует иметь в виду, что был я учительский сынок. Более того – директорский сынок. Жили

мы только на зарплату, то есть никакого подсобного хозяйства. И если всем детям нашего байкальского ущелья помимо школы расписаны были всякие и всяческие обязанности, то есть дела домашние, я подобных дел был лишен и потому имел тьму времени и лазить по скалам, и часами любоваться раскрасками байкальской воды, и сидеть над книжками, и часами пиликать на балалайке или на гитаре.

Если честно, я злоупотреблял отсутствием обязанностей, и потому по прошествии времени, а еще проще – по прошествии жизни, вглядываясь в себя тогдашнего, положим, пятнадцатилетнего, я не очень-то себе нравлюсь.

Популярна фраза: когда б начать жить заново, прожил бы жизнь так же.

Да ни за что! И дело не в досадных ошибках, каковых постарался бы избежать, и не в мелких проступках, от которых бы воздержался.

Советско-героико-романтическое состояние духа при абсолютном незнании жизни, самых существенных ее основ – таким вот полупридурком спрыгнул я с крыльца отчего дома, что в глухом байкальском ущелье, – и прямо в самый что ни на есть поток той реальной жизни, что и осадила меня, и озадачила, и, что хуже того, с первых же самостоятельных шагов обидела досадным несоответствием сущего должному. Должному – в моем представлении о должном.

«Что у вас, ребята, в рюкзаках?» – из песенки моей юности. Ну и что же было в моем рюкзаке того времени? Фенимор Купер, Джек Лондон, Мамин-Сибиряк... Еще «Молодая гвардия» и... «Краткий курс истории ВКП(б)». Еще убеждение, что повезло мне родиться и жить в самой счастливой, самой справедливой стране, к тому же самой необъятной «с южных гор до северных морей». Короче – в самой-самой-самой!

Не «самым» был только я сам. Учился в старших классах неважно, хулиганистым был весьма. Десятилетку окончил так себе. И Иркутский университет, куда нацеливали меня мои славные родители, – не про меня сие великопочетное учебное заведение. Так понимал. Или догадывался.

И потому, когда партия призвала советскую молодежь пополнить ряды органов по борьбе с преступностью (это после знаменитой амнистии 1953 года), я откликнулся. Без восторга. Откликнулся потому, что считал: там я прежде всего сам исправлюсь, так сказать, приду в соответствие...

Русские мальчики

Спецшкола МВД располагалась в бывшем монастыре на высоком берегу над рекой Камой, что в городе Елабуге. Великолепные храмы были приспособлены под спецпомещения. В одном прачечная, в другом – склад спортинвентаря... Нас, атеистов, сие никак не трогало. Помню, правда, возмущались, что в том храме, где прачечная, кто-то специально забрызгал расписанные стены краской. Видимо, просто брал ведро и плескал во все стороны, куда достать мог.

По первой же неделе нас, курсантов, повели на экскурсию в музей художника Шишкина, а потом на его могилу. И тут старичок (внешность не помню совершенно) поманил нескольких из нас в сторону и показал на запущенную могилу с плитой, почему-то углом воткнутой в землю.

– А здесь знаете, кто покоится? Марина Цветаева – вот кто!

Мы деликатно молчали. Мы не знали, кто такая Марина Цветаева.

То был 1955 год.

Отнюдь не демонстрируя образец курсантской дисциплины, именно там, в школе милиции, я скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял значение дисциплины как принципа поведения и, через год покинув школу (о причинах чуть позже), остался солдатом на всю жизнь, что, конечно, понял тоже значительно позже. Но «солдатская доминанта» – да позволено будет так сказать – «срабатывала» не раз в течение жизни, когда жизнь пыталась «прогнуть мне позвоночник» и поставить на четвереньки...

В курсантской казарме нашел я себе друга. Фактически на всю жизнь. Володя Ивойлов, из шахтерской семьи, был «белой вороной» среди нас, шалопаев. Фанатическая жажда знаний, культ книги, ни минуты без дела, постоянная строгая сосредоточенность взгляда – потянулся к нему, и мы сошлись. Я, помнится, составлял ему список книг, обязательных для прочтения: конечно, Джек Лондон, и в первую очередь – «Мартин Иден», Джеймс Олдридж – «Герои пустынных горизонтов», Максим Горький – «Жизнь Клима Самгина», Виктор Гюго – «Девяносто третий» и «Человек, кото-



Леонид Бородин – курсант школы МВД.

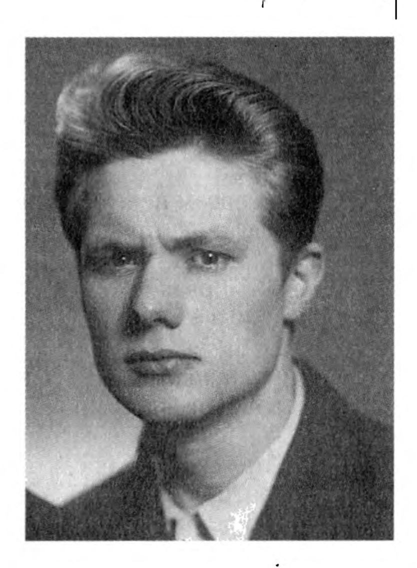
рый смеется», Чарлз Диккенс – «Записки Пиквикского клуба», Мамин-Сибиряк – «Хлеб» и «Золото», Вячеслав Шишков – «Угрюм-река»... Списки эти были на целые страницы. Он прочитывал – обсуждали, спорили. Затем вместе увлеклись философией, и первейшей нашей любовью был, конечно, Гегель. Его «Лекции по эстетике» мы конспектировали, ни в грош не ставя при этом соответствующие, как нам казалось, примитивные рассуждения на эти темы Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Не удовлетворенные уровнем образования в школе МВД, решили мы поступить на экстернат юридического факультета, отправили документы и приобрели нужные учебники, но именно в том 1955 году экстернаты были отменены, что повергло нас в уныние...

Но все бы ничего... когда б не знаменитый XX съезд!

На стене напротив тумбочки у моей кровати – две фотокарточки: девочка, в которую был влюблен с одиннадцати лет, что много позднее, во Владимирской тюрьме, описал в книжке «Год чуда и печали», и вторая фотокарточка – Сталин. Боже! Как я любил его лицо! Как я любил смотреть на него... Просто смотреть – и все! Ни о чем при этом не думая. Его образ и был самой думой, как бы вынесенной за пределы моего «я».

Владимир Ивойлов.



Много позже я найду аналог тогдашнему моему чувству: Овод и Монтанелли из романа Войнич... Но то – много позже. Однако ведь и нынче нет-нет да приснится мне, что сидим мы с Иосифом Виссарионовичем на крылечке дома моего детства и беседуем о том о сем... И никаких тебе негативных чувств...

Лет в десять с дрожью в голосе спросил я как-то свою бабушку: дескать, не дай Бог, Сталин... ну... это... умрет! А кто тогда после него – сын его, да?

Помню, бабуля серьезно задумалась, очень серьезно, и ответила будто бы и не мне вовсе, а себе самой: «Всяко может быть. Может быть, и сын... Страна у нас такая... Хорошо бы...» Я был согласен. Это было бы хорошо. Или я был не монархист?

Бабушка о родителях своих вспоминала, как о божествах. Я своих родителей боготворил – были они самые честные, самые умные, самые трудолюбивые. Они уважали свое учительское начальство, а начальство их ценило.

Потому смею утверждать, что вырос в микромонархической среде.

В стране, где я возрастал, тоже все совершалось правильно, на зависть всему остальному человечеству. Недостатков была тьма. Особенно у нас, в нашем захолустье. Но

посмотришь очередной киножурнал, что перед каждым кинофильмом, и понимаешь: когда-нибудь, может очень скоро, и у нас станет так же, как в Москве!

Потому что Сталин. Нет, не партия, про партию мне не все было ясно.

Стало совсем неясно после XX съезда.

Сначала таинственно зашептались меж собой курсанты-партийцы. Знать, у них прошел какой-то полусекретный «сходняк». Первая статья в газете «Правда». И всего-то одна фраза: «...не отличаясь личной скромностью...» Это о Сталине!

Помню, вошел-ворвался в библиотеку. Налево курсантский читальный зал, направо – преподавательский. Нарочито громко, с вызовом возгласил: «Какая шавка посмела тявкать на Сталина?!» Курсанты подняли головы, преподаватели, напротив, уткнулись в тексты.

А через день – общекурсантское собрание: Сталин при всех заслугах – преступник! И факты, факты, факты! Лагеря, тюрьмы, расстрелы, пытки! Это у нас-то – в стране всеобщей справедливости, в стране, где социализм – всему человечеству образец и зависть...

Вечером того же дня мы с моим другом Володей Ивойловым ушли в самоволку. В стороне от училища, на высоком берегу реки Камы, давно уже облюбовали толстущую, многоветвистую иву, куда частенько приходили и до того обсуждать наше с ним замечательное будущее в замечательной стране.

Но чего стоили теперь наши с ним личные планы, когда, как оказалось, совсем не все в порядке с самой СТРАНОЙ.

Нет, не вспомнить уже и не понять, почему, собственно, проблема СТРАНЫ оказалась для нас первичнее и важнее всего того мечтательно личного, что выпестовывалось в душах. Ведь в миллионах судеб наших сверстников никаких принципиальных срывов и обломов не произошло...

Когда, чуть позднее, в полном смысле «заболел идеей правды», заболел настолько, что ни о чем ином и думать не мог, тогда решил для себя, что – урод! Попросту урод! И надо жить, поступать и действовать соответственно этому врожденному уродству. Надо искать себе подобных – не один же я такой; искать и что-то делать, потому что если

ничего не делать, то – подлость, трусость, лицемерие, бесчестие, наконец!

С моим другом мы ушли из школы МВД, где корпоративные правила не позволяли нам «вольнодумствовать» – то было бы просто нечестно по отношению к ведомству, призванному выполнять строго определенную работу, не отвлекаясь на проблемы, способные дурно сказываться на выполнении профессиональных задач.

Володя Ивойлов поехал поступать в Ленинградский университет на философский факультет, не набрал нужного балла и завербовался в Норильск. Я поступил на исторический факультет Иркутского университета, откуда уже через полгода был исключен за попытку создания полуподпольного студенческого кружка, ориентированного на выработку идей и предложений по «улучшению» комсомола и самой партии, выявившей очевидную несостоятельность в осуществлении величайшего замысла – построения наипрекраснейшего из обществ.

Братские уроки

Исключенный из комсомола, изгнанный из университета с настоятельной рекомендацией – «познавать подлинную идеологию гегемона – рабочего класса», я именно так и поступил.

Сначала – рабочий путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге, затем бурильщик на Братской ГЭС – но все время один...

Именно там, на Братской ГЭС, узнал я, что являюсь соучастником первейшего в истории Страны Советов дивного эксперимента: осуществления великого строительства народно-хозяйственного значения силами свободных людей. Что, оказывается, до того все подобные и бесподобные замыслы осуществлялись исключительно многотысячными контингентами либо заключенных, либо военнопленных. И моя родная Иркутская ГЭС, и Куйбышевская, и Волгоградская, и Волго-Дон, и еще раньше Беломорканал, и прославленный на всю страну Комсомольск-на-Амуре, и тыся-

чи невеликих, но необходимых народу и государству строек и всякого рода реконструкций – все это не мы, советские люди, а как раз наоборот – несоветские. Хуже того – антисоветские!

Что всякие там враги народа и изменники должны нести наказание в той или иной мере – ну, кто против того? То ж нелюди. Но за что ж им такая честь – строить великое здание социализма? И разве нельзя иначе? Строили бы общественные туалеты, хотя бы по той же Восточно-Сибирской дороге. А то ведь вечная проблема – один туалет где-нибудь на самом конце станции, куда и добежать не всегда успеваешь...

Уже не вспомнить, от кого впервые услышал слово «рабы». Кто первый сказал или намекнул, что «зэки» – по крайней мере, не все нелюди, что полно там безвинных, или без вины виноватых, или если и виноватых, то в пустяках... За «колоски», например. Или за сдачу в плен целыми армиями, забытыми или затерянными фронтами. По доносу и наговору, за компанию и по родству...

То была моя первая, а возможно, и единственная в жизни «ломка»: взламывался, раскалывался на части данный мне природой дар любви, я знаю – он был первичен!

Я любил Байкал, считал, что никто его так не любил, как я. Любил своих родителей, потому что они стоили того. Любил всех людей вокруг себя, правда, кого-то больше, кого-то меньше... Я любил свою страну... И Сталина, и всех, кто с ним, потому что они с ним...

Ненавидел фашистов, но к тому времени их уже не было. Недобро относился к американцам – вечно они какие-то пакости против нас умышляли... Да где им против нас!

Наша бригада бурильщиков располагалась в бараке, что на правом берегу Ангары, на самом краю тогда еще полупустого микрорайона под названием Братск-3. Оттуда, из глухомани, нам приходилось топать несколько километров в магазин, в кино, на почту. Кратчайшая, густо замешенная грязью дорога проходила мимо небольшого вспомогательного котлована, обнесенного рядами колючей проволоки, почти вплотную с ней. Пару раз я уже ходил этим направлением, видел, конечно, и проволоку, и копошащихся внизу людишек, знал, что – заключенные... Но это как раз и бы-

ли те самые формы видения и знания, которые никак не мешали мне жить исключительно личными проблемами. Меня никто не учил ТАК видеть и знать, то есть как бы не видеть и не знать, этот способ самозащиты от чужого страдания я получил по совокупности всего воспитания в советском обществе, где реальны только собственно советские люди, а несоветские – они как бы и не люди вовсе...

ЭТО меня не касается – вот текст того потаенного шифра, что был вмонтирован в мое сознание и политико-воспитательной работой, что с детсада начиналась и никогда не заканчивалась, и великой советской литературой с ее девизом изображать настоящее в свете будущего (школьная формулировка соцреализма), и, наконец, моими родителями, которые хотели мне добра и фиксировали мое внимание исключительно на вещах и идеях достойных и перспективных...

Однажды случилось идти вместе с бригадиром соседней буровой установки, немногословным мужиком лет сорока. Жил он от нас отдельно, в «балке» с семьей. Его жена, еще совсем молодая деваха, работала на нашей буровой коллектором. Ее «балдежная» влюбленность в «старика» мужа вызывала у нас, что от девятнадцати до двадцати двух, что-то вроде сочувствия и некоторой досады, ибо нам, несмышленышам, она лишь приветливо-равнодушно улыбалась, а глядя на своего «старика», сияла и розовела, как спелое яблочко на солнышке.

Когда дорога, по которой топали мы с бригадиром в контору, выгнувшись дугой, запетляла вдоль «колючки», он вдруг остановился, выбрался из грязевой колеи на отвалы, прямо к «колючке» примыкающие, и несколько раз громко свистнул. Последовав за ним, я увидел, как внизу в котловане несколько зэков, как знакомому помахивая руками в ответ, идут к нашему краю котлована. Режим в этой зоне, видимо, был с послаблениями, потому что охранник (по-зэковски – вертухай) на единственной вышке, что на другой стороне квадрата-котлована, никак не реагировал на общение и будто бы даже и не смотрел в нашу сторону. У людей внизу были какие-то темные лица, возможно, от перезагара, но казались они людьми словно другой расы. В одинаковых телогрейках-бушлатах, в одинаковых шапках – на таком расстоянии все на одно лицо...

Бригадир достал из сумки плитку зеленого чая и сильным размахом закинул ее за проволоку. Увязнув в глине, зэк там, внизу, поймать не сумел, долго елозился на глинистом наклоне, нашел наконец, и тогда только бригадир вернулся на дорогу.

Знать, что-то было на моей физиономии, потому что он ухмыльнулся нешибко добро, то ли спрашивая, то ли утверждая:

– Комсомолец...

Всего лишь полгода назад вышвырнутый из Иркутского университета и из комсомола, я почему-то не захотел откровенничать и ответил:

– Комсомолец. Ну и что?

По сути, не соврал, потому что духом своим из комсомола не выходил.

Бригадир кивнул головой в сторону «запретки»:

– Они... там... рвань? Да?

Я только плечами пожал:

– Уголовники.

– А ты спрашивал? А я вот... Похож на зэка?

– Не похож, – отвечал уверенно.

– Ну да. Червонец отмотал.

– Кто? – Я даже остановился.

– Ну не ты же.

– Где? Вот там? – Я повернулся лицом к «запретке».

А он вдруг обозлился:

– Чего там-то? На Луне, что ль, живешь... Везде! – И крупно пошагал вперед.

Потом, позже вот это его «везде!» станет моим своеобразным рефреном к жизни, как горьковское «А был ли мальчик?».

Тогда же меня больше задел его как бы укор за «лунное» проживание жизни. Конечно, не на Луне я жил, а в стране советской, и я другой такой страны не знал, где б так жили... при всех «недостатках» советской жизни, до которых я «допер» к тому времени.

Шагая след в след бывшему зэку, чтоб лишней грязи в голенища кирзух не зачерпывать, стал припоминать конкретные места своего уже, как я понимал, немалосрочного проживания жизни.

Байкал... Михалево... Громадный лагерь... Однажды был массовый побег. Нам запрещали ходить в тайгу... Слюдян-

ка... Зоны... Рудники... (Только через сорок лет узнаю, что именно там сгинул мой отец.) Иркутск... С любого бока зоны... Черемхово... Лагеря... Шахты... Тулун... Зона, тюрьма, поселения ссыльных... Нижнеудинск... Вроде бы не было... Поблизости, по крайней мере... Зато Тайшет... Это вообще... И еще эшелоны с конвоем и решетками... Их несчетно видывал во всех местах проживания. Одинаковые. Будто один и тот же гоняют туда-сюда по мере надобности... Ей-богу, кажется, так и думал. Точнее, думанья не было. Мыслишка мимоходом...

После этого нашего необычного общения с бригадиром я какое-то время избегал ходить по той дороге, что мимо зоны. Но однажды, купив пачку чая, пошел. Свистеть умел не хуже бригадира, да только не сразу получилось. Советский человек во мне сомневался в правильности поведения, а несоветского человека во мне не было. Свист получился неважный. Но кинул точно. Камни в Байкал – первейщая забава детства...

И после еще несколько раз кидал. Но только важно было другое: кидал я уже не зэкам, которые неизвестно что есть, но **людям** в зэковской одежде.

Пройдет несколько месяцев, и я окажусь в Норильске, где вокруг меня будут тысячи бывших зэков – от напарника-бурильщика до начальника спецпроходки, от продавца в магазине до коменданта общежития – бывшего лагерного барака... Тогда-то я и научусь смотреть на карту Советской Родины и видеть на ней вторую, непропечатанную, которую позже А. И. Солженицын назовет Архипелагом... Тогда же впервые возникнут у меня смутные предположения относительно того, что может наступить время расплаты общества за равнодушие к судьбе населения Архипелага.

Тем более что оттуда, из невидимого мира, уже разошлись по стране строки: «Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой». Не о Колыме же речь... При чем тут Колыма... Проклятие, что по языческому, что по православному верованию – вещь небеспоследственная.

Когда-то, очень давно, будто бы и не всерьез придумал для себя формулу, микроконцепцию, едва ли совместимую с православными истинами. Суть формулы в том, что количество зла на душу населения в единицу времени – величина постоянная.

Но величина эта блуждающая. То есть способна равномерно распределяться по участкам пространства, сгущаться, концентрироваться на отдельных народах и территориях, временно высвобождая другие от своего присутствия или делая его минимальным. Блуждания зла не самопроизвольны, но магнетируемы спецификой человечьего бытия. Совсем детский пример для пояснения.

Купил человек перочинный ножик. Чтоб карандашики подтачивать. Зло не реагирует.

Но вот он же залюбовался изящным кинжалом в лавке продавца. Кинжал ведь не для карандашиков.

И порция резервно блуждающего зла на всякий случай пристроилась за спиной и ищет контакта с той ничтожной, но обязательной порцией зла, что в человеке от рождения по причине его несовершенства, поскольку несовершенство и есть потенциальное зло.

Нечто подобное с народами. Засмотрелся некий народ на блестящий идеал социальной справедливости, каковая только в идеале и безопасна, как кинжал, пока он в лавке продавца или на стене коллекционера. Но души, как и руки, жаждут осязать. И тут-то на эту жажду и подтягивается незримое облачко зла и в алкании вочеловечивания обволакивает соблазнившийся народ или инициативно пассионарную часть его. Глядишь, и вот уже «мчатся тучи, вьются тучи» и «невидимкою луна»... Пошло-поехало...

Через какое-то время – «вечор, ты помнишь, вьюга злилась... А нынче – погляди в окно...». Глянул – все вроде бы в обычном приличии. Но в окно, не через крышу. А крыша-то как раз и не та уже. Ливнем отстеганная, вроде бы как и поновее смотрится. А что осевшим злом, как миллионами рентгенов, пропитан каждый сантиметр площади, то простыми чувствами не просекаемо.

Люди под крышей – им что? Им жить надо, коль рождены для жизни. Вот и живут, как прежде, лишь незаметно мутируя. И крыша... Она же по закону сопротивления материалов только на определенные соотношения рассчитана, а соотношения нарушены. И однажды проваливается она внутрь дома, взметая пыль осевшего на ней зла. Чихают люди, пылью зла простуженные поровну промеж собой, крышу обвалившуюся проклиная, всякому чужому чихающему носу чиня обвинения в распространении заразы.

И долго еще будут остатками крыши друг другу носы разбивать.

Осевшее злом зло не любит долготы однообразия. Прескучившись, начнет истекать из человечьих душ. Глядишь, вновь облачком над головами сгустится и, в людском воплощении разочаровавшись, унесется прочь, где-то обернется тайфуном или землетрясением, чумой или проказой, озоновой дырой...

Как в народе говорят, никому «ни в жись» не догадаться, для чего придумал я такую вот ненаучную и неправославную сказочку. А все для одного – для оправдания государства, каковое по моему, опять же ненаучному, предположению, помимо всех известных отчетливо положительных функций берет на себя и еще одну, из-за которой и ломаются копья из века в век: государство забирает на себя, абсорбируя в аппарат, ту мощную долю зла, каковая «до того» или «без того» была или была бы рассеяна по пространству, государству подопечному.

Опять же простейший пример: государство казнит преступника, при этом строжайше запрещая самосуд. И вовсе не потому, что самосуд может быть несправедливым...

Зло по определению присуще любой государственной структуре, но это то минимальное зло, какое имел в виду Гегель, когда говорил, что как бы государство ни было дурно, без него еще хуже.

По высшему (хотя и не религиозному) пониманию, государство есть не что иное, как способ самоорганизации народа.

Народ же, как совокупность несовершенных по природе индивидуумов, самоорганизоваться по совершенному образцу не может. Хотя бы по той причине, что таковых образцов в природе просто не существует. Они существуют в фантазиях в виде утопий, большей частью скалькированных с религиозных представлений. Человек или группа людей, сознательно или бессознательно совершивших такую подмену и предложивших сей прекрасный бред народу или человечеству в качестве программы действий, в прямом и переносном смысле становятся орудием дьявола, мирового инстинкта разрушения, или, говоря языком физики, подключают свою индивидуальную и коллективную энергию к мировому процессу энтропии.

Правда, однажды, когда бывал в Сарово, в знаменитом Арзамасе-16, молодые наши физики-гении пытались мне, безнадежному гуманитарию, втолковать, что на уровне макрокосмоса будто бы открыт закон или процесс сопротивления энтропии, и потому сам по себе второй закон термодинамики теперь уже не должен рассматриваться как необратимый...

* * *

Норильск – вообще особый эпизод в моей биографии. Если сознавать, что судьба человеческая складывается из тысяч значимых и малозначимых обстоятельств, то Норильск в этом ряду в первейших и значительных. Не более года пробыл я на этом гулаговском острове, но в памяти – эпоха. Эпоха важнейших открытий и пониманий, последствия их просматриваются с очевидностью.

Как уже сказал ранее, мой друг по Елабужской школе МВД оказался в Норильске в итоге провала в ЛГУ. Звал. Заполярье! Рудники! А люди!

Я устроился проходчиком в рудник 7/9. Поначалу – подсобные работы, потом помощником на скрепере, потом проходка...

Помимо всего прочего увиденного и пережитого в Норильске, именно там внезапно как бы возродилась и затлела тихой сердечной болью одна моя личная, почти тайная проблема – проблема **отцов**. Так вот – не отца, но отцов. Однажды уже писал об этом. Но повторюсь, ибо это тема и славного града Норильска тоже.

Тот отец

Отец ушел из моей жизни, когда жизнь моя только началась.

Его «забрали» однажды и навсегда и проделали это так добросовестно, что не осталось от него ни фотографии, ни письма и вообще ни строчки, и в итоге к тому времени, когда я научился задавать вопросы, повода для «вопроса» не су-

ществовало вовсе, потому что в доме не сохранилось ни единой, даже самой пустяковой, вещицы, принадлежавшей отцу. Самые первые мои воспоминания о себе связаны с присутствием в моей жизни отчима.

Это я сейчас так говорю – отчим. Говорю и тем словно обижаю человека, которого и по сей день именую отцом, и никак иначе, потому что дай Бог каждому такого родного, каким был для меня неродной.

Я вырастал с величайшим почтением к своим родителям. Мое уважение к ним было беспредельно. По сей день загадка – как им удалось произвести и ежедневно производить на меня такое впечатление. После Сталина мои родители были самыми умными и самыми работящими, самыми сознательными и самыми честными гражданами страны. По профессии учителя, они были в полном смысле слова одержимы своим учительством. Мы и жили чаще всего при школе, то есть в помещении школы. Разговоры в семье – об учениках и учителях. Споры в семье – о том же. Скорее всего, именно одержимость работой и полнейшее отсутствие каких-либо иных интересов, хозяйственно-собственнических к примеру, и были основанием моего глубочайшего уважения, почти преклонения, почти обожествления родителей. Мать, окончившая в свое время библиотечный техникум и какие-то учительские курсы, была для меня образцом образованности. Начитанность ее и вправду могла поразить кого угодно, а культ книги в нашей семье удивлял даже коллег-учителей. Отец (отчим – до чего ж дурное слово!) – сын крестьянина Орловской губернии – через те же учительские курсы выбился в учителя и, я бы сказал, воплотился, то есть обрел этот новый социальный статус, прекраснейшим образом сохранив в душе лучшее, что получил в крестьянском детстве, например, почти цыганскую любовь к лошадям. Он, отец (отчим) мой, за всю жизнь ни разу не выматерился, не курил и был решительно равнодушен к алкоголю. Имел он и многие другие достоинства, кои не потеряли ценность в моих глазах позже, когда научился смотреть на родителей своих трезво...

Но к двенадцати годам, то есть к тому времени, к тому дню и часу, когда случайно узнал о неродстве отца, был он для меня воплощением всех возможных человеческих достоинств, и удар, нанесенный полученной информацией, был




Иван Захарович Бородин – отчим.



Феликс Казимирович Шеметас – отец.

столь силен, что только детство – это особое состояние души и психики, только оно спасло меня от надлома, которого не избежать бы в том же юношеском возрасте. Я попросту не понял, что значит быть неродным сыном отцу или неродным отцом сыну. Неродной отец – это же нелепость! Он – отец или не отец. И я – сын или не сын. Слово «неродной» не имело самостоятельного смысла. И мое отношение к отцу (теперь отчиму) не изменилось ничуть, как и его ко мне.

Но и любопытство к тому, другому, от которого в доме ничего не осталось, оно, это любопытство, также поселилось в душе, тем более что, как оказалось, ТОТ отец был литовских кровей, и этот факт имел ко мне какое-то отношение, которым я даже несколько кокетничал, ведь вокруг все сплошь были русские, а я – вот нате вам! – не так...

В пятнадцать лет с благословения (или с согласия?) родителей я предпринял некоторые розыски следов ТОГО отца, нашел знавших его, получил не очень внятные мнения о нем (как-никак – враг народа!) и, сколько помнится, был вполне удовлетворен достигнутым. Во всяком случае, факт

«двуотцовства» ни в малейшей степени не отразился на моих первых самостоятельных шагах по жизни. Я оставался убежденным комсомольцем – сыном партийных родителей – и после школы пошел не в университет, а в милицию, в школу милиции – такой способ выполнения гражданского долга виделся мне наиболее достойным и соответствующим запасам моей энергии. Никто не пригласил меня в КГБ. Туда я пошел бы еще с большей радостью.

Ко времени моего первого ареста (в восемнадцать лет) отец (отчим) работал директором школы, и я, обеспокоенный возможными для него неприятностями, написал письмо, где совершенно серьезно и с должным обоснованием предложил родителям формально отречься от меня... То был всего лишь 1956-й, потому не следует удивляться. Отец немедленно приехал в Иркутск, где я дожидался своей судьбы, и даже не удостоил обсуждением мою стратегическую идею, так, словно я совершил легкомысленный поступок, которого устыжусь, если заговорить о нем...

* * *

Осенью 1957-го своей волею и волею судьбы я оказался в Норильске с твердым намерением освоить шахтерскую профессию. Напомню, середина 1950-х: вчера лишь – целина и первые стройки коммунизма, почти как в первые годы революции – культ пролетарских биографий. Еще в университете я работал в университетской кочегарке, хотя экономической необходимости в том не было совершенно. Деньги в системе моих потребностей стояли на самом последнем месте, на пропитание хватало стипендии и родительских подачек, именно так – подачек, я стеснялся их брать, потому как считал, что не имею права выделяться из среды в основном бедствующих студентов. Чтобы законспирировать свое непролетарское происхождение, я, как большинство сокурсников, ходил в университет в телогрейке и сапогах, от покупки пальто отказался категорически...

Увы, когда пришло время предстать перед судом университетских идеологических бонз, я был безжалостно разоблачен как интеллигентный перевертыш, и все мои пролетарские выходки во внимание приняты не были. Меня изгна-

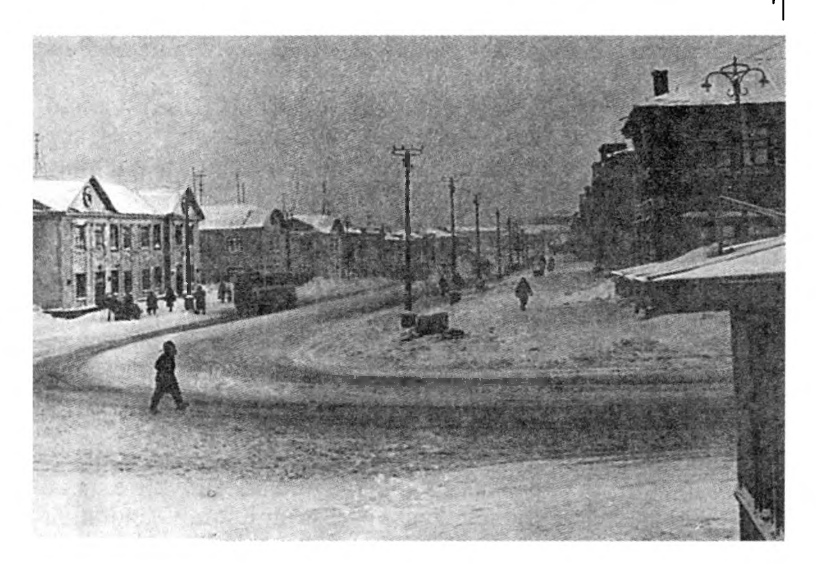
ли с рекомендацией идти в массы и познавать идеологию рабочего класса, к чему я и приступил тотчас же, как только выяснилось, что «сажать» не будут...

В поисках самого что ни на есть «пролетарского» места на просторах Родины примерно через год и оказался я в Норильске, еще недавно бывшем единым громадным концлагерем, а в 1957-м объявленном ударной стройкой коммунизма. Коммунизм было предложено строить вчерашним зэкам, которые не получили права покинуть заполярный город или не захотели этого сделать по причине отсутствия житейских альтернатив.

Лагеря были уже расформированы. Нигде даже обрывка колючей проволоки. Бараки преобразованы в общежития. В одно из таких был поселен и я.

Господи! И почему же в то время не пришла мне в голову идея стать писателем! Не знаю, существовало ли еще на земле такое место, где на квадратный метр земли приходилось столько трагических судеб! Их «плотность» была так велика, что довольно скоро я «притерпелся» к такому соседству, перестал запинаться на каждом шагу, как поначалу, и даже выстроил в душе некую заслонку от чужих судеб, потому что почувствовал опасность увязнуть в сострадании, сломаться от невозможности соучастия в бесчисленных чужих бедах. Отстраниться было совсем нетрудно, потому что люди меня окружали суровые, в душу не лезли и своих душ не раскрывали без надобности, ни на чье сочувствие не рассчитывали и ни в чьей помощи не нуждались, к нам, «комсомольцам», относились снисходительно, как к несмышленышам...

В первый же день моего пребывания в заполярном городе в магазине на Нулевом Пикете (наименование поселка) я услышал, как мужик в тулупе попросил продавца: «Булку хлеба дай и банку комсомольцев». То есть – банку с консервированной килькой. Я не был шокирован, потому что к тому времени за спиной имел Братскую ГЭС и Кругобайкальскую дорогу, и «познавание идеологии рабочего класса», рекомендованное университетскими партийцами и иркутскими сотрудниками КГБ, шло уже полным ходом. Я лишь исполнился предчувствием, что поджидают меня в скором будущем горькие и тягостные открытия, что правда, поиском которой обуян, может оказаться объемнее моих возможностей познания ее, что выводы, коих избежать не мо-



Город Норильск. Нулевой Пикет. 1950-е годы.

гу, могут окончательно поломать, изломать мою жизнь, что, наконец, мое исключение из комсомола, тяжко пережитое, может оказаться лишь первым звеном последующих исключений отовсюду, по существу, из народной жизни, каковую я хотел видеть вопреки первому опыту познания – по большому счету имеющей великий и оправданный смысл.

Я устроился работать в рудник и был определен на проходку. Детское пристрастие к пещерам обеспечило почти восторженное восприятие рудничных штолен, штреков, квершлагов, горизонтов, подэтажей, ходовых восстающих и рудоспусков. Крепление предусматривалось только в центральных штольнях и подсобных помещениях. Вечная мерзлота в креплении не нуждалась, и километры рудничных ходов, особенно ходов брошенных, отработанных, были в моем романтическом восприятии лабиринтом пещер, где заблудиться проще простого, где эхо звучит, как львиное рокотание, где темнота, когда отключишь фонарь, поглощает тебя, как молчаливое чудовище. А если углубиться в старые выработки, куда соваться строго запрещено из-за метана и ненадежности кровли, если отмахнуться и протиснуться сквозь запрещающую крестовину, а потом идти,

идти и читать стихи – звучания такого не получишь больше нигде...

Поначалу был я определен на подсобные работы и добрый десяток дней выматывался до апатии. Лишь потом, когда наконец перевели на проходку, по достоинству оценил я специфику моего нового рабочего места.

Больше половины рабочих рудника были бывшие зэки. Инженерный состав также наполовину состоял из бывшего «горнадзора». Так, по крайней мере, обстояло дело на моем участке. Сохранилась даже «национализация» профессий. Латыши, к примеру, достаточно компактно трудились на поставке крепежного материала и на откатке. Чеченцы – исключительно на проходке, немцы – маркшейдеры, литовцы – крепильщики. О последних и речь.

Они, пятеро, молчаливые и бородатые, на контрольной проходной, где нас обыскивали на предмет курительных принадлежностей, появлялись всегда вместе. Женщины-шмональщицы никогда почти не касались их, знали, что некурящие, но каждый непременно останавливался на месте досмотра и лишь после разрешающего жеста делал несколько шагов вперед, поджидая остальных. Потом все мы шли на платформу нулевого уровня, откуда электричка в микровагончиках развозила нас по участкам. В «купе» помещалось шесть человек. С какого-то времени я стал стараться попасть шестым в их компанию. Вот так и началась странная моя игра, которой увлекся настолько, что, когда пришла пора из игры выйти, потребовались усилия и насилие над собой, ни с чем в опыте моем не сравнимые.

Итак, я стал пристраиваться к компании литовцев-крепильщиков всякий раз по пути к участку, а иногда и на выходе, хотя здесь подгадать было труднее, поскольку крепильщики, закончив работу, могли выйти раньше или, наоборот, задержаться в штреке дольше обычного. Когда все это превратилось в привычку, не вспомнить. Хуже того, каждая неудача, то есть невстреча с литовцами на проходной, превратилась в дурную примету всего рабочего дня. Дважды я травмировался в руднике, и оба раза тому предшествовало непопадание с литовцами в одно «купе». Както я был пойман начальником спецпроходки за курением и схлопотал в зубы (что было тем не менее неслыханной добротой с его стороны, потому что за курение в метановом

руднике судили), – в тот день кто-то опередил меня и пристроился шестым к бородачам. И наконец, когда я подорвался на собственном патроне скального аммонита и Леша-чеченец, рискуя жизнью, выволок меня из загазованного штрека – в то утро я вообще просмотрел литовцев на проходной.

Обычно, пристроившись с краю, все пятнадцать минут движения электрички от платформы до участка я сидел, изображая дремлющего, но сквозь полуприкрытые веки рассматривал их, моих полусоплеменников, вслушивался в неторопливый говорок чужого языка, и язык этот никаких эмоций не вызывал во мне. Житель российской глубинки, не знавший иностранцев, почти до зрелого возраста сохранил я наивное изумление ко всякому иноречию, когда сомневаешься, возможно ли человеку понимать человека, обмениваясь столь странными звукосочетаниями, и вообще, по силам ли такими звуками отразить все разнообразие человеческого восприятия мира. Позже, читая на английском Голсуорси и Диккенса, не раз ловил себя на том же самом изумлении – способности другого языка отразить тонкость ощущения или глубину мысли. Смеялся над собой, но барьер сомнения по отношению к чужому языку, кажется, так и не преодолел до конца.

И тот язык, каким говорили мои соседи по «купе», был мне чужд и дик, но, однако, отчего-то меня устраивало непонимание их речи. Оно возбуждало и поощряло мою фантазию. Я придумывал тему, какую они могли бы обсуждать, и «переводил» их разговор на русский. Я придумывал их разговор, а потом, расставшись с ними на рудничных подэтажах, обсуждал его сам с собой, с чем-то споря, чему-то возражая, с чем-то соглашаясь.

Но все это, как оказалось, было лишь началом игры. Как уже говорил, от ТОГО моего отца в семье ничего не осталось, в том числе и фотографии. По скупым описаниям матери – светлые, слегка волнистые волосы, голубые глаза, роста среднего, – был он, по ее сдержанному признанию, красивым мужчиной. Разве ж это приметы! А красивый мужчина – что это такое?

И вот однажды, как обычно разглядывая их сквозь полуопущенные веки, думал я о том, что вот сказали матери: «Червонец без права переписки». Потом кто-то сообщил,

что расстреляли в Иркутске, в районе «Малой разводной». Сказали, сообщили... Но документа никакого. А если выжил, освободился, узнал, что мать замужем, и объявляться не стал?.. Возможно? Все возможно в чудесном нашем государстве...

Не всерьез были эти размышления, но остановился взглядом на одном из сидящих рядом, на лице одного из них, и сказал себе, что этот вот мог бы быть моим отцом. Просто так сказал, без всякого умысла и, похоже, тут же забыл о сказанном. Но на следующий день, столкнувшись с крепильщиками у проходной, первым делом взглянул на того, избранного, и он мне еще больше понравился. Спокойный, сильный, добрый, немногословный и сдержанный в эмоциях, он вдруг странным образом выделился в моем восприятии среди остальных, и остальные как бы в некий фон превратились для него, в микросреду его пребывания. Лица остальных потускнели и утратили различия, и вообразилось уже, что этот – МОЙ – среди них лучший и главный и все относятся к нему иначе, чем друг к другу...

Мать говорила, что унаследовал я отцовскую походку. Когда шли от проходной до платформы, наблюдал и сравнивал. Он по-зэковски придерживал руки у бедер, я же изрядно помахивал. К тому же осваивал я в то время пролетарские повадки, к примеру, этакую развалистость шага... Нет, походки у нас были разные, но вывод ничуть не огорчил меня, ведь не всерьез же, а так, по капризу мысли затеял игру и волен менять правила по усмотрению. Но на следующий день, воткнувшись в компанию, которая по-прежнему не замечала меня, думал уже только о нем и принуждал себя сдерживаться в подглядках, чтобы не привлечь внимание, не спугнуть, ведь по статусу все они ссыльные, фактически всего лишь расконвоированные зэки, могут за «топтуна» принять и тогда уже близко не подпустят...

Я придумывал ему биографию. Редко, но случалось, что заменяли смертный приговор на «четвертак плюс пять ссылки плюс пять по рогам» (поражение в правах). Поступила, положим, разнарядка по ГУЛАГу на сто тысяч каторжников для использования в особых климатических условиях. ТОТ отец мой по профессии был краснодеревщиком, плотницкое дело освоить ему запросто. В разнарядке спецпримечание: такое-то количество плотников для кре-

пежных работ в шахтах и рудниках. Кинулось лагерное начальство туда-сюда, не набирается нужного количества. Под рукой смертник сидит в ожидании этапа в исполнительную зону, плотник по лагерной специальности. Вызывают, спрашивают: жить хочешь? Еще бы! Тогда смотри, вот свидетельство врача пересыльной тюрьмы, умер ты, бедолага, на пересылке от сердечной недостаточности. Теперь ты не такой-то по фамилии, а совсем другой, и поедешь Заполярье осваивать, социалистической родине в том нужда большая. Готовься на этап и хвали ангела своего. Пошел!

И он пошел. Еще бы не пойти! В этом месте, помнится, взглянул на него исподлобья и представил его лицо за минуту до сообщения, лицо фактически покойника, и вдруг слово: живи! Не сразу дошло, привычно руки за спину и потопал впереди конвоира в камеру, два шага сделал через порог и с лязгом решеточной двери разом понял и осознал, что будет жить. Жить! По небритым щекам две крупные слезы, только две, вытер ладонью...

Ничего себе! Это я вытер две слезы со своих щек! Во, доигрался! Точно помню, мне это понравилось. К тому времени я уже много знал о лагерных делах, и нетрудно было представить дальнейшее: высадили с парохода по весне, пригнали в пустынное место где-нибудь в районе Медвежьего ручья, объявили: хотите выжить – окапывайтесь! За месяц вырос городок землянок и бараков, и никакой тебе колючей проволоки, бежать некуда, потому что даже не «пятьсот километров тайги», а тысяча километров тундры, где и дикие звери не бродят просто так, но жмутся друг к другу...

Опять же не припомнить, с какого момента я начал скучать или, точнее, тосковать по этому человеку. Хотелось видеть его чаще, но только видеть, а не общаться, словно общение было запрещено, а нарушение запрета грозило бедами.

...Освобождался однажды вчистую земляк, и попросил его отец наведаться к жене и, не объявляясь, присмотреть, как она там, мужа похоронившая, живет да радуется. Через пару месяцев получил письмо, что устроилась законная неплохо, мужик при ней надежный, оба они при учительском деле состоят, а сын отчима родным почитает и любит, и все довольны и счастливы, и лучше ему, проклятому, не объявляться и не портить жизнь нормальному семейству.

Тут припомнил я, что действительно где-то в 1953-м приобрел отец (отчим) для школьных нужд лошадь, а в конюхи напросился к нему мужик со стальными зубами и отмороженными ушами. Был этот мужик хмур и неразговорчив, участковый то и дело навещал его и отца расспрашивал, не бузит ли конюх и овсом не приторговывает ли. Помню, приглядывался он ко мне, покататься на лошади предлагал, кажется, даже про жизнь расспрашивал, а я хвастался, как мне с родителями повезло, и все норовил про зубы его сверкающие разузнать да про уши изуродованные: где это такие морозы случаются, что уши отваливаются? Вот ведь в голову не могло прийти, что был сей смурной мужик посланцем с того света от родного отца, вычеркнутого из живых всеми, знавшими его.

Как-то помогал я откатчику «разбурить кубовую» – нормальным языком говоря, поставить на рельсы сошедшую с них кубовую вагонетку. Дело было обычное, но понебрежничал и поставил в руках провернувшееся колесо себе на указательный палец, который, как говорится, лопнул по швам. После относительного залечения травмы мой начальник участка, бывший «горнадзоровец», на свой страх и риск перевел меня временно на должность кровлеоборщика, на которую права я не имел по причине малого стажа работы на данном руднике. Дело это было несложное, но ответственное. В мою обязанность входила оборка кровли только что взорванного забоя. Забой в шахте все знают по фильмам. Это тупиковая часть штрека, где шахтеры отбойными молотками скалывают уголь. В руднике забой – это пещера в скале. Грудь забоя – тупик. Бурильщики пробуривают в скале (в груди забоя), говоря попросту, глубокие дырки, туда закладываются патроны взрывчатки, соединяются между собой «магистралью» – проводами, которые подсоединены к клеммам «адской машинки». Взрыв – и пред вами очередная порция руды. Но случается так, что в потолковой части взорванного штрека зависают куски руды, камни, которые могут свалиться на голову тому, кто будет работать в забое. Вот я и должен был обеспечить безопасность кровли на этих участках работы. Мне выдали длинный металлический шест для выковыривания камней в потолках рабочих штреков. Бурильщики и крепильщики лишь после меня имели право заходить в штрек, и от скорости моей работы зависел их заработок. Наш участковый взрывник Са-

ша Метляев, бывший зэк с жутким стажем, освобожденный, но не отпущенный на материк по причине дефицитности профессии, подучил меня ускорению процесса оборки кровли. Он давал мне патрон скального аммонита, и в случае, если зависший камень не выковыривался из потолка, я отрезал от патрона небольшой кусок, закладывал его в щель, вставляя детонатор, а «магистраль» от детонатора подсоединял к клеммам своего аккумулятора. Чаще всего для нужного эффекта вообще хватало одного детонатора. Взрыв – вместо камня только выбоина в потолке. Дело это было строжайше запрещенное, взрывник, не сдавший остаток взрывчатки на склад, а тем более передавший ее кому-то, мог получить приличный срок... Но добрая половина всего, что свершалось в руднике, грозила сроком, хотя бы то же курение, от которого ни один курящий не отказывался, так что я даже и не особенно скрывал свою причастность к взрывным шалостям в штреках.

Однажды проходчики вспомогательного штрека наткнулись на графитовую жилу. Графит – порода хрупкая и потому подлежавшая обязательному креплению. По чьей-то несогласованности я получил разнарядку обработать этот штрек и, прибыв на место, растерялся. Стоило только сунуть мой крюк в трещину, вываливался целый пласт графита и открывал под собой другие трещины, и не было тому конца... Вдруг увидел у входа в штрек фонари, какие-то люди шли сюда же, я двинулся им навстречу и за пару метров узнал моих литовцев-крепильщиков. Первым шел *отец*. На отличном русском он спросил, чего я тут делаю, и когда я объяснил, они обменялись горготанием, покачали головами, и он же сказал, что нарядчик, видимо, совсем больной, если придумал такое, что они сейчас осмотрят участок, потом пойдут за материалами, установят крепления, а я могу топать отсюда. Два других моих объекта еще пару часов могли числиться в загазованных, и я изъявил желание помочь крепильщикам. Меня, по крайней мере, не прогнали, и это было уже что-то...

Осмотр продлился недолго. Исключительно по жестам я понял, что принято решение сплошной крепежки не делать, а установить три бревенчатых переплета и перекрыть потолок толстой доской. Нужно было притащить девять бревен. На бревно по два человека. Я, как шестой, оказал-

ся очень даже к месту, осмелел и сам предложил себя в пару *отцу*. Материал находился в другом штреке, и, чтобы попасть туда, нужно было дать крюк метров четыреста. Бревна решили протащить по сбойке, соединяющей оба штрека. Двадцать метров по сбойке и тридцать до груди забоя – пятьдесят вместо четырехсот. Сбойка была не расчищена от породы, и только на четвереньках мы пробрались в соседний штрек. Зато обратно ползли на животах по кускам руды, завалив бревно на спины. Всего-то двадцать метров, а запомнились как двести. Плохо ошкуренное бревно то скатывалось с плеча, то заваливалось на голову, царапая уши и шею, да и тяжесть... Он, *отец* мой, привыкший и закаленный – ему хоть бы что, но всякий раз, когда я терял «контакт с бревном», он, ползущий впереди, не дергался и не бранился, не оборачивался даже, но терпеливо дожидался, пока я справлюсь с ситуацией, и лишь после моего толчка продолжал движение. Мы ползли первыми, и я, в сущности, притормаживал всех, – но когда наконец вылезли из сбойки, никто слова не проронил в укор, за что всем им я был благодарен сверх меры. На второй ходке он предложил мне ползти первым, и я подумал, что испытывает, но оказалось, что первым-то как раз легче, потому что развал руды в сбойке образовывал невидимый глазу подъем, и большая часть тяжести выпадала ползущему вторым. На третий раз я в кровь расцарапал шею сучком, и, пока остальные литовцы ходили за инструментами, *отец* обработал царапину йодом и приклеил пластырь. Позже, в лагерях уже, не раз убеждался я в исключительной практичности литовцев, восхищался умной организованностью поведения и выдержкой, сам, однако, ни одним из этих качеств не обладал, и если завидовал, то, как говорится, беспредметно...

Когда чистым (это в руднике!) платком он вытирал кровь на моей щеке, я думал о том, что ему и в голову не придет мысль о родстве крови... Пытался представить, как бы он повел себя, когда б открыл ему свои фантазии...

Беру, положим, его за руку, говорю фразу из трех слов – и никаких объятий, сидим друг против друга и молчим... Знать, перефантазировал, взволновался. Он понял иначе, спросил: «Больно?» – «Щекотно», – ответил я и приказал себе протрезветь. Немедленно протрезветь! Сухо поблагодарил его и ушел.

Не меньше часа мотался я по штрекам, пока разыскал начальника участка Сергея Боброва. На просьбу перевести меня в ночную смену он отреагировал весьма злобно. В Заполярье в зимние месяцы что день, что ночь – без разницы. Ночь круглые сутки. Но за ночные смены доплата, оттого зимой многие заинтересованы получить доплату и рвутся в ночную, а с мая – потому что заполярное солнце и заполярное тепло – это чудо Божье, когда огромный красный шар бродит по горизонту, не способный ни оторваться и вознестись над землей, ни занырнуть за черту горизонта, но только светит и светит... И греет! С Бобровым у меня сложились странные взаимоотношения. Он меня вроде бы опекал. Для него, бывшего «госнадзоровца», инженера-надзирателя над рабочими-зэками, знавшего истории таких судеб, что дух захватывает, ему моя судьба комсомольца-отщепенца чем-то была крайне любопытна, и суть этого любопытства так и осталась невыясненной, когда отказался он при моем увольнении дать обыкновенную рабочую характеристику для предъявления в пединститут, куда я к тому времени нацелился. Я, помнится, сказал, что он обязан, что такое правило... Он улыбнулся хитро и ответил, что, если я буду настаивать, он напишет отрицательную, потому что видит меня насквозь – рано или поздно я по-настоящему влипну, и тогда его подпись под фактически рекомендацией в вуз может поломать планы его дальнейшего жизнеустройства.

Откровенность, с которой все это было высказано, шокировала меня, а пророчество испортило настроение, но пуще того было замешательство душевное: ведь воистину опекал меня, не одну смену провел со мной под землей, таская по горизонтам, объясняя специфику рудничного дела, критикуя порядки и традиции, в те же кровлеоборщики перевел, зная мою страсть болтаться по выработкам, к тому же и оплата некоторого риска в этой специализации была весьма весома. Но все это было позже. А тогда моя просьба о переводе в ночную смену отчего-то разозлила его, и всю дорогу от руддвора до инструменталки он шел молча, а я семенил за ним, удивленный его реакцией... Добился, получил перевод на три подэтажа ниже «нулевой отметки». Теперь встреча с литовцами – только если случайность.

Меж тем игра, в которую я заигрался, распространялась лишь на время моего пребывания под землей, а за предела-

ми штреков и штолен я вел достаточно энергичную жизнь: руководил самодеятельностью в нашем поселковом клубе, осваивал богатства уникальной букинистической библиотеки на Нулевом Пикете, формировал, а после и возглавлял нелегальный кружок по «критическому изучению наследия Карла Маркса». У меня, наконец, была славная, милая девчушка, более всего любившая в жизни слушать гимн Советского Союза и кушать конфеты «Лето». Чуть позже я вступил в так называемый особый отряд по охране города, куда меня, изгнанного из комсомола, приняли исключительно благодаря рекомендации того же Сергея Боброва. Сам он только что вышел из состава штаба организации по причине изменения семейного положения. «Женатиков» там не держали, если у них были или намечались дети, которые запросто могли остаться сиротами. Нам выдавали чернокнижные удостоверения с девизом «ССС» – «Сплоченность, смелость, сила!». Задач перед нами стояло много, но чаще всего приходилось пресекать поножовщину в рабочих общежитиях, разбросанных по всем прилегающим к городу территориям. Разнимали, обезоруживали, растаскивали по комнатам, протрезвляли водой или снегом, шибко буйных привязывали к батареям отопления и лишь в случае смертельных исходов вызывали милицию. Именно от этой организации получил я после отказа Боброва отличную рекомендацию в институт. Удостоверение хранил долго, пропало оно при аресте в 1967-м...

Так было «на земле». Но стоило спуститься на несколько ступенек в гардеробную, стоило только надеть спецовку, водрузить на пояс аккумулятор с самоспасателем, напялить каску с фонарем и шагнуть за проходную – начиналась другая жизнь, ничуть не менее интересная и захватывающая...

Но вот шагнул... и пусто... Электричка, как всегда, полнехонька – и пусто... В инструменталке не протолкнуться, я глазами шарюсь, с кем-то машинально здороваюсь, нарядчик сует мне листок с разнарядкой на штреки, расписываюсь не там, где нужно, нарядчик ворчит и косится на меня подозрительно: не под этим ли делом... В ночные смены «под этим делом» иногда до половины состава, потом травмы и аварии, комиссии и суды...

А у меня ощущение, что струсил и предал кого-то, что взялся за дело и не довел до конца, что имел возможность

кому-то доставить радость, но не захотел напрягаться, иначе говоря – пакость и тоска на душе. Говорю себе вразумительно: глупости все это, ТОТ отец мой уже почти два десятка лет в сырой земле иркутской, а другому, ЭТОМУ отцу неделю назад отправлял поздравительную новогоднюю телеграмму и от него получил, и за глаза оскорбляю я его дурацкой своей игрой, потому что безответственно отколол от своего сыновнего чувства некоторую часть и отдал объекту неумной фантазии, и если б хотя бы отдал, если б он, ТОТ, получил бы и пошло бы ему на пользу, тогда хоть какой-то смысл имелся бы... Говорю себе это и многое другое, а перед глазами ЕГО лицо, почти родное, родное – и все тут, и иначе представить его не могу, как только вечно знакомым и вечно родным. В штреке уже один и потому говорю громко и вызывающе: «Чужой! Он чужой!» Уши слышат голос, и мозг понимает слова, но вот оно, доказательство присутствия в теле чего-то, от ума не зависящего, – оно, это «что-то», душа, конечно, она уперлась упрямо, и не подчиняется, и подшептывает исподволь: а вдруг?! Я рычу: глупость, сам придумал! А она: а вдруг?! Вот было бы здорово!

К счастью (или к несчастью?), я не мистик. Никогда не слышались мне «голоса» и не посещали видения или знамения. Великих предчувствий тоже не испытал и пророчествами не соблазнялся. Жизнь подтвердила, что зауряднейший я реалист. Оттого, может быть, удалось мне сначала обуздать фантазию, а затем попросту придушить ее. И на том закончился бы рассказ про ТОГО отца. Но был финал, было еще нечто, что и по сей день сознательно увязываю с легкомысленной фантазией, во власти которой пребывал несколько месяцев.

За неделю до отлета из Норильска, когда отправлял телеграмму родителям о скором прибытии, встретил на почте одного из тех пятерых литовцев-крепильщиков. Рискнул поздороваться и был очень рад, что он узнал меня. Вышли вместе. Несколько обычных фраз... Рискнул и спросил, как там дела у... К тому времени я уже знал фамилию. Длинная и трудновыговариваемая. Собеседник мой неожиданно оживился и сказал, что с ним все отлично, просто отлично! Почти чудо. Состоял он, оказывается, несколько лет на силикозном учете, врачи советовали уйти из рудника, профилактические меры назначали, но он, ТОТ, пренебрегал, из рудни-

ка не ушел, словно верил в чудо. И оно произошло. Весной проходил обследование, все врачи сбежались. Легкие чисты, как будто ничего не было. И если другого такого случая никто не помнит, разве это не чудо? Я согласился, что чудо, но не сказал, а только подумал, что чудо это совпало по времени с игрой моей дурацкой, и если чудо вообще существует, то, возможно, не столь дурацкой была моя игра...

Без малого полвека прошло со времени моего краткосрочного пребывания в Норильске, но чуть ли не каждым днем памятен тот, 1958-й, и люди, и лица, и разговоры-споры... И рудник – кажется, и сейчас бы прошел, не заблудившись, от руддвора по подэтажам через так называемые «ходовые – восстающие» к своему месту работы... Чего там, Норильск – мое первое подлинно учебно-воспитательное заведение.

Только позже, в лагерях и тюрьмах, имел я столь же поучительное общение с людьми, только там еще сталкивался я с такими судьбами, каковые не всегда возможно литературно «отобразить-изобразить», потому что – не поверят, скажут, что придумал, насочинял – нетипично, дескать...

Со школы еще вел дневник. По норильским его страницам восстановил несколько лет назад отдельные эпизоды, опубликовал их в журнале «Москва». Теперь же, хотя и опасаюсь «перегрузить» норильской темой повествование, все же рискну рассказать еще об одном человеке, в памяти запечатленном, как на фотографии, что будто бы прямо передо мной.

Взрывник Метляев

С Сашей Метляевым, взрывником третьего участка рудника 7/9, я познакомился вовсе не в руднике. Там он, профессионал и бывший зэк, как говорится, «ни в жись» не подошел бы ко мне, салаге-комсомольцу, то есть добровольно приехавшему за большой деньгой в зэковский город. Кроме «большой деньги», не имели старожилы иного объяснения потоку молодежи, нахлынувшей в Заполярье после пятьдесят шестого года. На тех, что прибыли по комсомольской

путевке, смотрели как на щенков непрозревших и подозревали или в корысти, или в глупости.

Метляев – крепыш лет сорока, с весьма квадратной челюстью и узко посаженными злыми глазами. Разговаривая, цедил слова, почти не шевеля губами. В глаза не смотрел, может, оттого, что росту был чуть ниже среднего и не мог позволить себе задирать голову перед кем попало. В руднике я тоже не подошел бы к нему без необходимости. К тому же вообще имел я затруднения в знакомствах с людьми такого типа, потому что был воспитан в почтении к возрасту, к старшим привык обращаться на «вы». Здесь же такое обращение как бы автоматически санкционировало снисходительное отношение к себе. А подойти к человеку, прожившему жизнь – да еще какую! – подойти и сказать, положим: «Привет, Саша, спичку не дашь?»– ну не мог я обучиться этому зэковско-пролетарскому панибратству, не мог – и все! Изобрел приемы, решающие проблемы. О той же спичке, к примеру, столь дефицитной под землей. Подходил к человеку, нахмурившись и бормоча озабоченно: «Ну надо же, опять спичку обломил!» Получал, и ни в коем случае никаких «спасибо»! Небрежный жест – и дальше своей дорогой, деловой и озабоченный... И если ко мне обращались, тоже соответственно – без суеты, неторопливо, доставал, глядя в сторону, протягивал без слов, и, коли разговор завяжется – хорошо, нет – не надо...

К Метляеву за спичкой не подошел бы никогда, такой процедит презрительно: «Не хрена побираться, воровать пора!» Да еще руки об твою спецовку оботрет.

Метляев подошел ко мне в нашем поселковом клубе во время танцев и протянул руку. Я только что под собственный аккомпанемент на баяне изображал лещенковскую «Татьяну»[2], то есть танго. А перед этим молодежная публика вальсировала под мое исполнение есенинских «Глухарей». Теперь же включилась радиола, и я направился к своей девушке с намерением «пофокстротничать». Тут и перехватил меня Метляев, улыбающийся заискивающе и протягивающий свою пролетарско-зэковскую руку. Если бы на его месте оказалась сама «культурная министерша» Фурцева, и тогда я не был бы более шокирован и польщен... При улыбке он вовсе не смотрелся злым, и отмытое от рудничной пыли лицо его оказалось вполне даже симпатичным.

– Слушай, – сказал он так, словно мудрейшую загадку разгадал, – мы же с тобой вместе работаем, ну да? Смотрю, морда знакомая! «Татьяну» ты что надо сделал! Когда на Медвежьем был, пластинку достали, написано было – «Обменный фонд», шнырь разбил, когда пыль вытирал, морду били... С тех пор не слышал, один куплет и помнил, а тут, смотрю, никак с нашего участка парень... А меня-то знаешь, нет?

– Ну как же, – с достоинством ответил я, – взрывник... Метляев, да?

– Точно!

Он был страшно доволен, что я запомнил и узнал его. Снова протянул руку:

– Сашка меня зовут, а тебя не знаю...

С моим именем у меня всю жизнь были проблемы. «Леня» звучало совершенно по-бабски, Леонид – напротив, как мне казалось, выспренно. Был такой легендарный герой Спарты – царь Леонид, и представляться кому-то Леонидом для меня было все равно, что Македонским или Агамемноном. Друзья звали меня тогда Лешей.

Метляеву тогда я назвался Лехой, и оказалось – самое то!

Девушке своей я сказал уже с лихой простотой:

– Знакомься, это Саша Метляев, вместе в руднике пашем!

Она ему понравилась, и он заскучал, когда мы нырнули в танцующую толпу.

Потом я еще «делал» под баян есенинское «Устал я жить...» и опять же лещенковское «Здесь, под небом чужим...» и окончательно покорил сердце рудничного взрывника. Уходя с танцев, он по-свойски помахал мне рукой, головой кивнул в сторону моей девушки и показал большой палец.

Не помню, до того или после узнал я, что свой четвертак Метляев получил «по уголовке», но в ворах не числился, «раскрутился» в лагере во время восстания, принимал участие в запускании воздушных шаров с листовками, получил новый срок, и ничего ему уже не светило в жизни, когда б не «бериевская» амнистия пятьдесят третьего[3]. Теперь он зашибал деньгу и дожидался, когда ему будет позволено сорваться в черноморские края для разгула и поправки здоровья. Сам Метляев принципиально уходил от разговоров о

своей биографии, ни одного слова не вытянул я из него на этот счет.

На планерке начальник участка Бобров не раз удивленно и подозрительно покосился на нас с Метляевым; мы перешептывались, как старые друзья, и с планерки плечом к плечу. Бобров окликнул меня и сказал хмуро: «Ты с этим не очень-то! Мужик темный, подставить может!»

Я не поверил и оказался прав.

Дружба с Метляевым у меня не сложилась, да и не могла сложиться, больно уж разные были, и тем для общения не находилось. Просто я знал, что есть теперь на участке еще один человек, к которому можно всегда обратиться за помощью или советом, и отказа не будет. Новая работа моя не скупилась на сюрпризы, особенно когда перешел на скреперовку: то блочок не закрепится, то трос руда передавит, то лебедка закапризничает, да и мало ли что...

В тот день к концу смены я возвращался на нулевой уровень через руддвор, место пустынное и «гнилое», – в сущности, обычная штольня со сплошной крепежкой, и отовсюду вода сочится, а звук этого сочения не радостный, как в природе, а, я бы сказал, ехидный: «С...с...со...чу...у...сь!» – вот такой звук. И означает – берегитесь! Легендой ходил по руднику рассказ, как такая вот водичка прорвалась в один из нижних горизонтов, и женщин-зэчек, работавших там, лишь через месяц повырубали изо льда... Здесь же опасности не было, это мне объяснили в первые дни еще, но когда случалось проходить, прибавлял шагу, потому что не мог умом понять, откуда эта вода среди вечной мерзлоты в сезон, когда средняя температура на поверхности минус тридцать пять.

Впереди фонарик мой засек человека. Он копошился у штабеля запасных труб воздухообеспечения. Без сомнения, я спугнул его. Или курил, или, прошу прощения, нужду справлял. На всякий случай я замедлил шаг, а когда подошел, узнал Метляева. Он не был рад моему появлению и с трудом скрывал это. Я же еще имел глупость спросить: «Чего ты здесь?» Не сиди в его памяти мое «потрясное» исполнение «Татьяны», послал бы он меня в самые глубокие горизонты, но был он, видимо, человек благодарный и, несмотря на мою «салажность», признался, что заказ на взрывчатку всегда делает с запасом, потому часто остается.

Тащить ее на склад – целое дело. Вот и припрятывает по штрекам, зато завтра тащить меньше. Начальство узнает – срок. И даже интонацией не намекнул, чтоб я не проболтался. По его мнению, если человек способен с надрывом в голосе исполнить «...Перестаньте рыдать надо мной, журавли!» – будь он сто раз салага и комсомолец, такой не продаст! Для опытного зэка, мягко скажем, весьма легкомысленная концепция. Позже я не раз обнаруживал у зэков-долгосрочников, конспираторов и хитрецов самые неожиданные слабости-причуды, способные при стечении обстоятельств перечеркнуть весь невообразимый для обычного человека опыт неволи.

Назавтра я проторчал в аккумуляторной и опоздал на планерку. Когда прибежал, застал в инструменталке одних литовцев-крепильщиков, от них и узнал, что во второй смене ЧП, погиб сварщик, и вся банда «горнадзоровцев» сейчас на месте происшествия, на руддворе разбираются с ситуацией. По рассказу дело было так: понадобился метровый кусок трубы для ремонта воздухопровода. Сварщик на руддворе начал резать трубу и взорвался. Разнесло по частям – кто-то спрятал в трубу аммонит. Насчет «кто-то» сомнений не было. Взрывник. В смене их четыре человека. В трех сменах двенадцать. Виновного практически установить невозможно. Остаток взрывчатки после смены каждый сдает на склад, а если не сдаст, то списывает в расход, и расход этот не проверить.

Понадобилось все мое небогатое искусство выдержки, чтобы скрыть потрясение. На руднике постоянно гибли люди, но чаще всего по собственной вине. Не протрезвился, приперся на смену и свалился в рудоспуск, а это в зависимости от горизонта – двадцать, тридцать, а то и пятьдесят метров. В лепешку! Главное правило по технике безопасности звучало так: «Не разевай хлебало!» Разинул – пропал. Бобров, правда, говорил как-то, что из четырех рудников Норильска ни один не принят комиссией по эксплуатации, и травматизм в сравнении с рудниками Криворожья чуть ли не двадцатикратен. Но за короткий мой рабочий опыт, по крайней мере на нашем участке, это был первый случай гибели рабочего не по своей вине. И я – не кто-нибудь, а именно я! – знал виновника. В это невозможно было поверить, то есть в то, что от одного меня зависело целое расследова-

ние, которым сейчас занимается добрый десяток специалистов. Какой-то таинственный знак судьбы виделся в странном стечении обстоятельств. Вчера шел со смены через руддвор. Тремя путями мог идти и выбрал не лучший. Мог пройти десятью минутами раньше или позже и не встретил бы Метляева. Он, наконец, мог ничего не рассказывать мне, и если бы я потом догадывался, то догадка была бы робкой и ни к чему не обязывала.

Схватив оставленный для меня наряд, на него даже не взглянув, помчался искать Метляева. Расспрашивать о нем у кого-либо не хотел, словно мог навести... Больше часа метался по крутым лестницам подэтажей, вспотел, выдохся, обозлился. В сбойке вентиляционного уклона столкнулся с проходчиком Лешей-чеченцем. К нему я мог обратиться с чем угодно и когда угодно, и мужик этот был – могила!

– Прячется Метляй, – подмигнув, сказал Леша. – И правильно, на фига лишний раз начальству на глаза попадаться!

– Того... ну, который подорвался, знал?

– За одиннадцать лет всех узнаешь. Хохол, вольняшка с Абакана, Пичура по фамилии. С семьей приехал. Баба его в столовке работает на горстрое. Метляй-то шибко нужен?

И ухмыляется шамилевский потомок. Не догадывается – знает! Повадки всех работяг знает, и метляевские тоже. Я хмурюсь, придумываю что-то не очень убедительное.

– На втором подэтаже поищи.

– Искал уже...

– Плохо искал.

Я нашел его в закрещенном штреке. Он сидел на отвале породы у груди забоя, пил чай из термоса. Как только я сел рядом, заговорил с непривычным для него оживлением:

– Он чистый смертник был. Чистый! На руддворе три штабеля труб, в каждом штабеле больше десятка. Я патроны сунул в середку. И они ж одинаковые, трубы, все с фланцем, все ржавые. Он не трубу искал, он свою смерть искал. И нашел! Я чисто ни при чем! Тебе откуда знать, а я знаю, и все знают. Ходит такой по зоне, неделю ходит, месяц ходит, а все смотрят как на покойника. На морде нарисовано. Один-единственный камешек падает с кровли, когда он лысину почесать захотел, каску снял. По темечку бац! И нету. И никто не удивляется. Порядок.

Я сижу молча, носком сапога вычерчиваю в рудничной пыли ломаные линии и думаю о том, что хорошо, когда не знаком с погибшим, никогда его не видел и не слышал, он как бы не существовал и объявился лишь в роли покойника, другим его уже и не представишь. И потому рассуждения Метляева звучат для меня убедительно, и о погибшем я уже не думаю, но только о роке человеческом и примеряю его к себе – каков он, рок мой, и где поджидает меня мне уготованный «камешек».

Поговорка такая: все под Богом ходим! Это в каком же смысле? Под «камешком», что ли? Такого Бога я могу признать. Но принять сердцем? Но полюбить? Разве можно полюбить своего палача?

– Коз-зе-ел! – рычит Метляев. – Ну и козел! Ведь знаю, что козел, а все равно противно! Понимаешь, четыре патрона затолкал. По весу хотя бы мог догадаться, он же их перебирал, – если вес больше, раскинь умом, козел! Может, землей забита, грязью, на хрена ж такую брать! Нет же, вытаскивает, сука, мордой бы его об эту трубу! Ну, уж я его душу козлиную помяну нынче! Спирт пьешь?

– Могу, – соврал не моргнув.

Он сплюнул в рудничную пыль, поднялся, сунул термос в заплечную сумку.

– Хватит сидеть, пахать надо. Тебе куда?

– На спецпроходку.

Метляев махнул рукой и потопал к выходу из штрека. Я остался, достал «беломорину», вскрыл крышку аккумулятора, проволочку специальную приготовил – накинешь на клеммы и прикуривай, если спичек нет. Когда вскрываешь крышку, гаснет лампочка на каске. Только она у меня погасла, у входа в штрек сразу две засветились. Кто-то входил в закрещенный штрек. Я затаился на всякий случай с аккумулятором на коленях и с проволочкой в руках. Люди приближались и высветили меня наконец.

– Эй, ты чё здесь делаешь?

Это были газомерщицы, девчонки, всегда ходившие парами. Они «ловили» метан и контролировали его процентное содержание в воздухе рудника. Увидев на моих коленях раскрытый аккумулятор, девчонки завизжали, одна пуще другой.

– Иди сюда, паразит, я тебе покажу кое-что! Ну паразит!

Я догадался и, ей-богу, похолодел нутром. Дело в том, что существует некий роковой процент метана в воздухе, при котором он взрывается от малейшей искры. Если память не изменяет – от девяти до четырнадцати. При большей концентрации случается просто возгорание. Так, по крайней мере, объясняли на «техминимуме». Если девки завизжали, значит, была причина...

Я быстрехонько щелкнул крышкой, перекинул аккумулятор по ремню за спину и попытался прошмыгнуть мимо газомерщиц так, чтоб лица моего не запомнили, и это мне удалось, зато одна из них с криком: «У, паразит!»– огрела меня по спине чем-то явно металлическим, а другая лягнула в икру так, что из штрека я улепетывал, сгорбясь и прихрамывая.

Спускаясь с подэтажа по «ходовой», я декламировал возбужденно: «Судьба Евгения хранила. Ему лишь ногу отдавило. И только раз, толкнув в живот, ему сказали: идиот!»

Ведь только что пролетел мимо тот самый камешек, от которого никто не застрахован в жизни. Правда, он пролетел не только мимо меня, но и мимо тех двух, потому что взрыв метана рельс в спираль скручивает в сотне метров от места взрыва.

«Мы будем долго жить, девочки, – шептал я, – мы совершим великие деяния, и потомки сохранят память о нас в своих сердцах!»

Пустячки запомнились, но совершенно ушла из памяти та примитивная логическая конструкция, на основе которой вынес я тогда безапелляционный приговор: Метляев не виновен! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. А если утонул, то веревка ему не грозила! Метляев не виновен, и я обязан ему это сказать.

Метляев, однако же, думал иначе, потому что «смурнел» видом день ото дня, грубил начальству и вообще держался вызывающе. Ему казалось, что все его подозревают – от кладовщика на складе аммонита до начальника рудника Сахарова, о котором он, непонятно почему, отзывался всегда с большим почтением.

В самом начале весны он перешел на другой участок, и я потерял его из виду. В мае узнал, что уволился.

Тогда же, в мае, состоялся странный разговор с Сергеем Бобровым. Он сам на него напросился. Я работал на скре-

перовке и в ту смену зачищал пятидесятиметровый штрек, когда он вдруг вывернулся из сбойки и ручным фонарем дал круговую команду остановить лебедку. Подошел, вытеснил меня с сиденья, взялся за рычаги и азартно работал минут двадцать. Потом отключил лебедку, послепил мне глаза своим «горнадзоровским» фонарем гэдээровского происхождения и спросил без вступления:

– Про Метляева знал?

– Что?

– Знал! На роже написано. А он знал, что ты знал?

Хотя и говорили, что Метляев уволился... А вдруг нет... Начальник есть начальник. Метляева к тому же не любил. И я стал изображать, будто в сапог порода набилась, самое время вытряхнуть. А дальше услышал:

– Ошибся я в нем. Уверен был, что «замочит» тебя. Ты был единственный свидетель, и по всем правилам он должен был «замочить» тебя...

– Чепуха! – возмутился я. – Метляй не такой...

– Такой! Самый такой! Я все гадал, в какой рудоспуск он тебя столкнет, уследить пытался, да не всегда удавалось.

– Ничего себе! – Я даже захрипел от изумления. – Если так считал...

– Ну да! Предупредить тебя должен был? Э, нет, дружок! Ты его покрывал, он человека убил, а ты покрывал, все равно что сам убил, потому, как говорится, смерть за смерть. Никто этого не хочет, никому не нужно, но всегда получалось одинаково. Сколько здесь работаю, что при зэках, что с вольными, все одно – одной смерти не бывает, обязательно пара.

– Но вот же нет!

– Да, – согласился он с явным сожалением, – осечка. Может, жизнь нормальная начинается, а мы не замечаем. А лет пять назад, это точно, сперва он бы тебя «замочил», потом кто-нибудь его... Надоело мне здесь. И слово-то какое – Тай-мыр! Край света. Дыра...

– Все равно, – заявил я твердо, – Метляй никого не мог убить. А насчет меня у него даже мысли такой не было!

Бобров стукнул кулаком по рычагам лебедки, вылез молча, отряхнулся.

– Везучий ты. Норильск не для тебя. Строка для биографии. Был у меня один рабочий, бывший поп. В таких

случаях говорил: «Блюдите, ако опасно ходите!» Так часто говорил, что я запомнил. Такая же лебедка была, и блочок над рудоспуском, сорвался блочок, потащило лебедку в рудоспуск по кускам руды, всего попа изломало, косточки целой не осталось. Других предупреждал: «Блюдите!» А блочок не проверил...

Уже почти до сбойки дошел Бобров, но повернулся и крикнул:

– Ты тоже запомни, красиво сказано: «Блюдите, ако опасно ходите!»

Философские соблазны

Дневного Норильска почти не помню. Ночь да ночь! И всего три места пребывания – общежитие, рудник, клуб.

Главный в клубе – киномеханик. Официально. Неофициально – наша небольшая компания, обеспечивающая молодежь рудничного поселка, как нынче принято говорить, развлекательными программами. Киномеханик доволен, и его довольством мы откровенно злоупотребляем.

Так сложился небольшой кружок, четыре-пять человек. Цель – проверить товарища Карла Маркса, так ли уж прав сей бородач, положим, относительно классовой борьбы, прибавочной стоимости, преимущества государственного капитализма и, главное – исторического гегемонизма пролетариата. Реального гегемонизма, а не теоретически относительного.

Чего там! Без улыбки не вспоминается. Хотя бы то усердие, с каковым конспектировали страницы «Капитала», как вгрызались в терминологию, как злорадствовали, наткнувшись якобы на противоречие, как пытались на минимуме информации по марксовской схеме просчитать прибавочную стоимость эксплуатации норильских шахт и рудников.

При том мы по-прежнему оставались «комсомольцами» и советскими по духу, ибо главной нашей заботой было «исправление социализма», и, когда б такой путь существовал – я же помню! – жизнь положили бы на то без сожаления соответственно социальному накалу наших душ; он, сей

«накал», ей-богу, был первичен по отношению ко всему прочему, чем еще жили души наши. Девушки-девчата, гитары и заполярный самогон, драки с «чужими» – ничто не прошло мимо... Но вторично!

Любящие девушки уважительно считали нас «идейными», равнодушные считали «чокнутыми на политике». И те и другие были по-своему правы. Много позднее я придумал-сочинил объяснение тому странному явлению «выпадания» таких, как мы, из общего тонуса нашего поколения, которому уже и тогда все было «до лампочки». Суть придумки в том, что известны, к примеру, люди с повышенной болевой чувствительностью. Ненормальность. В некотором смысле – уродство. Но попадаются и люди с повышенной социальной чувствительностью – это такие, как я. Из таких формируется разная революционная сволочь, готовая не только сама сгореть в костре политических страстей, но и подпалить все вокруг себя, поскольку утробный девиз худших из таких натур: все или ничего!

Когда же обнаруживается бессилие или выявляется бесплодие усилий, тогда, возможно, и рождаются строки, подобные таким вот: «Как сладостно Отчизну ненавидеть!»[4]

Очень даже может быть, что я не прав, когда на лицах некоторых наших нынешних телечебурашек прочитываю это – почти зоологическое – отвращение к стране пребывания. Кто-то из таковых искренен в своих чувствах, кто-то попросту куплен для исполнения роли... Да и активные политики некоторые, причем разного окраса – так на их рожах и написано: «Либо все будет по-нашему, либо...»

Но то уже проблемы дней смуты теперешней.

А без малого полвека тому назад... Подумать только! Почти полвека прошло! Но тогда, в конце пятидесятых, мы, девятнадцатилетние, добросовестно, хотя и исключительно на уровне интуиции пытались формировать в себе, как нынче принято говорить, исключительно конструктивное отношение к Родине, поскольку были едины, то есть даже не подозревали о возможности рефлектирования на предмет «Я и Родина». Все вокруг было наше, как в доме – все мое, и если в доме неуютно, то кому ж, как не мне, озаботиться да подсуетиться?

Именно тогда, когда копошились в марксизме, когда, обнаружив в поселке под названием Нулевой Пикет буки-

нистическую библиотеку – результат грабежа русской интеллигенции, – бессистемно, взахлеб зачитывались неизвестными до того историками, философами, публицистами, тогда определили в себе настоятельную потребность в системном образовании и летом 1958 года разбежались из Норильска. В отличие от моего друга Владимира Ивойлова я не решился штурмовать питерские вузы. В Иркутск путь мне был заказан, и с грехом пополам пристроился я в Улан-Удэнском пединституте на историко-филологический факультет. Другу же моему отважному опять не повезло, и он ушел в армию, как положено было по возрасту и гражданскому долгу.

Два года побыв в роли «нормального» студента, я заскучал, перешел на заочное и окончил институт на полтора года раньше. Женился, родилась дочь. Работал сначала учителем, а в двадцать пять – уже директором крупной школы. Все мне удавалось и давалось легко. Начальство меня ценило, и педкарьера, по мнению коллег, высвечивалась отчетливо...

А между тем то там, то тут натыкался я на следы «следящих» – история с Иркутским университетом кого-то, зоркосмотрящего, настораживала, и не зря. Потому что в действительности все, чем я жил, так сказать, на виду, было лишь игрой в жизнь.

Кажется, М. Горькому принадлежит открытие «зубной боли в сердце»[5]. Так вот, она, эта боль, окопалась в душе так основательно, что сомнений не было – все настоящее и стоящее еще впереди. Норильск, как обратная сторона бытия, так до конца не раскрытая и потому непонятая... От «зубной боли» я находил отвлечения не только в азарте работы, а уж азартен бывал сверх меры!

Философия как заявка и претензия на сверхмудрость, в нее заныривал, как в сон, в котором все чудно, многозначно и таинственно. Гегельянствовал! «Логику» Гегеля вычитывал, как роман с приключениями. Любимые книги того периода: помимо «Логики», «Лекции по эстетике» опять же Гегеля, «Критика чистого разума» Канта и... «Былое и думы» Герцена. Еще бы!

«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримом пространстве под горой. Так постояли мы, постояли и вдруг, обнявшись, в виду всей Москвы присягнули

пожертвовать всей нашей жизнью на избранную нами борьбу!» (по памяти)[6].

Правда, слово «борьба» я никогда не любил. Казалось оно выспренним и как бы преждевременным, в том смысле, что о борьбе можно говорить только во время борьбы, коль уж так случилось. И до сих пор не люблю этого слова, ни разу не использовал его применительно к себе, потому что нынче, в конце жизни, могу ответственно утверждать, что никогда ни с кем и ни с чем не боролся. Не было ее в моей жизни – борьбы. Было сначала несовпадение, потом противостояние и формально справедливое возмездие – а это иное! Хотя бы потому, что не я боролся, а со мной боролись...

Друг мой между тем, отслужив в армии, поступил-таки в Ленинградский университет на экономический факультет, и эта его бесспорно заслуженная удача фактически определила всю мою дальнейшую жизнь. Первый же наезд в Питер, общение в небольшой компании студентов ЛГУ поначалу на уровне обыкновенного философско-литературного «трепа», а далее с осторожными проговорами социальных проблем – вот и первая трещинка в монолите моей, как до того казалось, пожизненной привязанности к Сибири. Теперь Питер – цель, мечта...

Легко, с блеском сдав кандидатский минимум по курсу истории философии в том же Иркутском университете и тем же преподавателям, что десятью годами ранее изгоняли меня из него, как овцу паршивую, в 1965 году рванул из Сибири, чувствуя себя одновременно и ренегатом, и вольноопределяющимся по самому высокому смыслу жизни. Ведь оказалось – и разве это нормально? – что в мои двадцать семь в мыслях, в планах, в мечтах начисто отсутствует идея карьеры, то есть я никем не хотел быть. Я хотел знать! И кажется, догадывался, что то знание, навстречу которому тащусь из самой середины Бурятии, от станции моего недавнего пребывания под названием Гусиное озеро, в Питерград, где мысль – ключом, а жизнь – водопадом, знание это чревато непредставимыми последствиями, а готов ли к ним, о том думать не хотелось.

Пока в своей деревне пробавлялся гегельянством, друг мой питерский вышел на тот пласт русской культуры, который писатель Юрий Трифонов по-советски хлестко поиме-

новал «белибердяевщиной». Прибыв в Питер, я в эту «белибердяевщину» занырнул с головой и осенью того же 1965-го уже предложил аспирантуре философского факультета ЛГУ реферат о «кантианских мотивах у раннего Бердяева». Реферат был принят, но аспирантура не состоялась – не признали мой «кандидатский» по спецпредмету, о чем жалел я не очень, поскольку в это время...

Но об этом времени надо говорить особо, поскольку оно того стоит.

* * *

Во-первых, отчего мы с другом так рвались именно в Питер, а не в Москву? Из провинциальной глубинки Москва виделась прежде прочего политической столицей, берлогой марксизма, где полудремотную лукавость вождей, их помощников и помощников помощников охраняют бесчисленные стражники, на одном пространстве с которыми невозможно пребывание и выживание ничего инакового. Еще стоит сказать о том, что в каменном лике своем сохранивший строй и порядок Питер-град, в отличие от растрепанной Москвы, как бы способствовал отстраиванию духовной дисциплины, необходимой для ответственного действия. Еще. В Москве была масса памятников архитектуры. Сохранившийся Питер памятником не осознавался, но – исторической территорией, где надо было всего лишь пустить корни.

Правда, со мной-то лично все было проще. В Москве знакомых не имел, а в Питере уже заканчивал университет друг мой с времен елабужских, круг друзей которого и стал базой нашей первой «нелегалки», сколотившейся еще во времена моих наездов в Питер, в начале 1960-х. «Нелегалка» была типовой, словно срисованной с 60-х XIX века. Бесконечные ночные разговоры-споры, «съемный» домик в Шувалове, шрифт, выкраденный из типографии имени Клары Цеткин, симпатические чернила для переписки и главное – демократические ценности!

Первое, что приходит на ум человеку, догадавшемуся о несовершенстве бытия, – демократия. И даже не в смысле народовластия. Такое понимание демократии достаточно требовательно, оно понуждает к историческому поиску, к

осмыслению народного опыта, провоцирует порой продуктивные ассоциации. Иначе говоря, не тормозит сам процесс политического мышления.

Демократия – даешь свободу! – нечто совсем иное. Самодостаточное. Логический принцип такого типа мышления – от противного.

Однопартийность? Даешь многопартийность!

Государственная собственность? Даешь частную!

Бесправность на митингах и собраниях? Хотим базарить!

Цензура? Долой!

Наша группа-компания пребывала на стадии изживания примитивного «демократизма», когда попала в поле зрения вездесущих органов. Срочно самораспустились. Трое непосредственно засветившихся рванули из Питера на Кавказ и какое-то время отсиживались в заброшенном ауле Дагестана. Оголодав, спустились с гор и через некоторое время тихо «просочились» в Питер. Органам было не до них. Вовсю шла разработка ревизионистской организации Хахаева–Ронкина, «зачистка» последствий дела Иосифа Бродского[7], а тут еще и свержение Хрущева и, соответственно, перетряска самих органов.

Питер же в лице его студенческой и послестуденческой молодежи к середине 1960-х «разбузился» как никогда. «Буза» была с хитрецой. Всяк, выбрав поле крамолы, тщательно обкапывал себя рвом аполитичности. Слова *социализм, коммунизм, советская власть* – не употреблялись. Говорили – *структура*!

Образцы: «Меня структура не интересует!» – сверхосторожная позиция. «Я на структуру не работаю!» – позиция сверхдерзкая.

Математики дерзили математической логикой, лингвисты – структуральной лингвистикой, экономисты – проблемой скрытого рынка в безрыночной структуре, философы-позитивисты – кибернетикой... Еще бы! Кибернетика объявляла сущностью вещей их организацию! Формулировки Норберта Винера[8] произносились с придыханием.

Была даже «космическая» ересь, опиравшаяся на теорию академика Козырева, в то время директора Пулковской обсерватории. Опытно обнаружив «четвертое измерение», Козырев будто бы открывал возможность решения единственно сущностной проблемы человечества – иммор-

тализма, то есть бессмертия. Имморталисьты жаждали видеть во всем мире одно государство, одну партию, одного вождя, чтобы все экономические и энергетические резервы бросить на космические исследования и посредством эйнштейновского «парадокса времени» достичь бессмертия.

Если это и был бред, то немногим больший прочих, потому что душа не терпит пустоты. Ни на мгновение!

Великий суррогат веры – социализм – истекал из душ по каплям. Капли ничтожных суррогатов немедля восполняли истечение.

Но если социализм и изживался, то не изживалась вдохновенность, с каковой он вошел в мир и в души людские. Потому тогда, в шестидесятых, не наблюдалось того душевного маразма, столь характерного для времен нынешних. Напротив, псевдообновление душевно-духовных объемов сопровождалось ярким всплеском энтузиазма, что, собственно, и получило впоследствии название «шестидесятничества», это о нем, об энтузиазме и не более того, тоска у тех, кому сегодня за шестьдесят. Тоска объяснимая, потому что подлинного обновления не состоялось по причине смертоносности травмы, нанесенной идеологией интернационализма в подлинном, то есть марксистском, значении этого слова.

Но жажда обновления, безусловно, была. «...Захотелось дерзостной новизны на свете. Захотелось врезаться в дело, как ракета. Захотелось дерзости мысли, звука, цвета...Чтобы нас насытили верой и доверием...» (С. Кирсанов – по памяти.)

По причине этой жажды металась молодежь по различным семинарам и симпозиумам, все озвученное там воспринимала, как и положено молодости, критически, раздражая и нервируя профессоров, тоже зараженных крамольным экспериментаторством.

На семинарах Шахновича лягали соцэкономику; у Свидерского под видом разработки теории структур пощипывали наиболее догматические установки диамата; на лекциях гегельянца Кисселя подбрасывали каверзные вопросы по поводу ленинских определений государства; Игорь Кон, впоследствии окончательно свихнувшийся на сексе, остроумно озорничал в социологической сфере...

Один пример по памяти, кажется, из семинара Шахновича. Студент задает вопрос: «Маркс говорил, что воровство

предполагает наличие частной собственности. У диких коммунистических племен не было воровства, потому что не было частной собственности. У нас воровство есть. Следовательно?..»

Мои новые друзья-питерцы, отупев в итоге от двусмысленности отечественной политической мысли, обратили свой алчущий истины взор на достижения западного ума, на те его хилые ручейки, что просачивались «низом» из-под «железного занавеса».

От природы будучи нормальными, физически здоровыми особями, брезгливо отшатнулись от фрейдизма. Но зато хоть один сезон да погуляли с высоко поднятыми головами в вызывающих одеждах ницшеанства. Другой сезон озорно резвились в волнах экзистенциализма, большей частью у берегов Хайдеггера и Кьеркегора, над Гуссерлем скучали, от Сартра подташнивало. Зато Габриель Марсель, или Ортега-и-Гасет, или Флюэллинг для некоторых остались памятными вехами на путях духоискания[9].

Но при том, увлекаясь кумирами Запада или отвлекаясь от них, мы интуитивно чувствовали их «объемное» несоответствие марксизму, каковой будто бы и отвергали принципиально, но только волей, а не умом. Тотальность марксизма, а точнее, социалистической идеи как таковой подталкивала на поиски «равнообъемной» идеи, и когда в середине шестидесятых наткнулись на русскую философию рубежа веков, произошло наше радостное возвращение домой. В Россию.

Что бы сегодня ни говорили обо всех этих «бердяевых», сколь справедливо ни критиковали бы их – для нас «веховцы» послужили маяком на утерянном в тумане философских соблазнов родном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы получили поначалу пусть только «информацию» (мы – позавчерашние комсомольцы-атеисты) о подлинной земле обетованной – о вере, о христианстве, о Православии и о России–Руси.

Но должен оговориться. Это случилось только с теми, кому повезло в самом раннем детстве в той или иной форме получить весомый заряд национального чувства. В этом случае имело место счастливое возвращение.

Однако ж были и другие, кому не повезло. Один из таких несчастных, и, к несчастью, еще и очень даже талантли-

вый и по сей день знай себе смердит на радио «Свобода». Духовно обрезанный, давится он, бедный, собственным отвращением к бывшей Родине, будто сводит счеты с ней, не открывшейся ему своей сутью. Злобствует неистово, чаще всего по пустякам, ибо только сущие пустяки подсудны фрейдизму, на котором заклинился бывший питерский интеллектуал, по-настоящему образованный человек и блестящий эссеист...

Тысячи русских душ измордовал марксизм – величайшая утопия, вылупившаяся из хилиастической ереси[10] раннего христианства. И только в наши дни на фоне безответственного разгула экспериментаторства в политике, в экономике, в культуре в полной мере постигаем мы степень смертоносной травмы, нанесенной и душевному складу, и духовному состоянию народа, – ведь как ни изощряйся в отчуждении, от принадлежности к народу не отлучить ни наших нынешних очарованных Западом странников, ни «новых русских», ни тысячи сбежавших в поисках лучшей доли, ни тысячи оставшихся исключительно для участия в предчумном пиру.

На историю оглядываешься, прошлые беды видишь понятными. В будущее вглядываешься – робеешь...

А вот сорок лет назад я себя помню оптимистом. И не только молодость тому причина. Их, как ни странно, много было тогда – причин для оптимизма, главная из которых сегодня способна вызвать лишь недоумение: мы не верили в возможность принципиально бездуховного бытия в русском исполнении.

И потому казалось, что достаточно только своевременно поменять полюса. Процесс «смены полюсов» виделся как естественный процесс внутри общества, а вовсе не как итог инициативы некоего активного меньшинства, внедряющего или, хуже того, навязывающего обществу иные духовные ориентиры.

Возвращаясь к шестидесятым, следует сказать, что эти годы действительно имели своих «шестидесятников», но не тех, кто нынче, что ни день, объявляют себя таковыми. От настоящих «шестидесятников» практически ничего не осталось. Даже памяти о них. Ее узурпировали те самые фрондировавшие «официалы», которые и нынче обустроены лучше прочих, и тогда не бедствовали во всех отношениях.

Рассказы об их страданиях, о гонениях и преследованиях... слышать не могу, до того противно.

Но именно в те годы росли как грибы или как грибковая плесень в затхлом колодце общественного двоемыслия и кривостояния подпольные группки, группы и организации, члены и участники которых, не увидев в социалистической практике соответствия существующего должному или обещанно-завещанному, сделав торопливые выводы на сей предмет, немедля приступали к агитации в пользу своих скоропалительных мнений, либо, замкнувшись группой-кланом, углублялись в дебри марксистской софистики, отыскивая «главные ошибки», допущенные советскими вождями и теоретиками в реализации «вековой мечты человечества».

Уместно заметить здесь, что если социалисты сегодняшнего дня во всех бедах винят Горбачева, то социалисты шестидесятых считали, что роковые ошибки уже совершены и нас ожидает длительный и болезненный процесс гниения идеи, если... не принять чрезвычайных мер немедленно. Разница в том, что «чрезвычайные меры» по нынешнему пониманию – это тот или иной способ ужесточения ситуации, а «шестидесятники-социалисты» видели спасение в немедленной демократизации социалистической системы с непременным сохранением всех важнейших принципов социализма. Ни о каких видах национальных самоопределений тогда никто не помышлял. О националистических настроениях и движениях того времени речь не идет.

В целом, однако же, я вовсе не претендую на сколько-нибудь подробный обзор и анализ инакомыслия времен 1960-х. Мое «болтание» по Питеру было краткосрочным. Уже в ноябре 1968 года я работал директором сельской школы в Лужском районе, а еще с октября членствовал в организации Игоря Вячеславовича Огурцова, и питерские «идеологические шорохи» в сравнении с программой организации, в которую я вступил, виделись не более чем баловством интеллектуалов, утративших осторожность с периода так называемой «оттепели».

О состоянии умов в Москве, где к тому времени уже вполне сформировалось явление, позже названное диссидентством, информации у меня вообще не было. О «деле писателей»[11] узнали одновременно с получением некото-

рых их публикаций на Западе. Особого впечатления они не произвели. Осуждение их восприняли как наказание за нарушение «правил игры» – несанкционированное выступление в западной прессе, да еще и под псевдонимами.

А вот кампанию в защиту их, Ю. Даниэля и А. Синявского, попросту просмотрели, увлеченные собственными делами. Событие же это стоило того, чтобы к нему присмотреться, поскольку именно оно послужило толчком и поводом к консолидации некоторой части московской интеллигенции, уже тогда (пока еще, правда, на уровне интуиции) ориентированной на «западные ценности». Сегодня эта «ориентация» научно обоснована, финансово обеспечена и политически выстроена таким образом, что кто бы во главе государства ни оказался, он автоматически становится заложником до него сложившейся расстановки сил. Это как если бы кто-то включился в шахматную партию, когда до него уже избран и разыгран дебют.

Но речь пока о годах шестидесятых, когда по причине фактической смены формы (только формы) власти, условно скажем, с авторитарной (сталинизм) на тоталитарную, интеллигенция получила кратковременную паузу на полусвободный вдох-выдох. То, что она успела выдохнуть, опасности для власти не представляло, но лишь при том условии, если бы она, власть, сама имела «творческий» потенциал к самосохранению. Такового не оказалось, постепенно властные структуры превратились в соучастников процесса распада, а затем, перехватив инициативу, возглавили его. Но только на последнем этапе! И это существенно.

* * *

Облегченная трактовка нынешней смуты – рыба, дескать, гниет с головы. Голова здесь в роли предателя хвоста и туловища. Почти дословно, к примеру, у Станислава Куняева – «партийные вожди предали многомиллионную партийную массу». Относительно рыбы подмечено верно, не учитывается только при этом одна существенная деталь: гнить с головы начинает уже мертвая рыба!

Процесс умирания веры в социалистическую идею был подобен рыбьему умиранию – тих и почти незаметен...

«Мама, рыбка уже уснула, да?» – «Еще нет, сыночек. Видишь, она ротик открывает? Это она так зевает. И хвостиком шевелит...»

«Хвостовые судороги» и отчаянное «разевание ртов» применительно к состоянию общества к концу шестидесятых и далее, до начала восьмидесятых, и получили чуть позже название «диссидентство».

Только что партия коммунистов торжественно провозгласила: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» И неважно, что никто, решительно никто не верил в провозглашенное. Важно другое: то самое «нынешнее поколение людей» освоило способ жизни без веры во что-либо «торжественно провозглашаемое». Такое освоение свершалось на уровне элементарного инстинкта выживания. Оно же, выживание, диктовало (опять же на уровне инстинкта) искреннее отталкивание от всякого формулирования этого самого всеобщего неверия.

Свершилось! На одной шестой части суши сформировался «новый советский человек» – будущий могильщик коммунистического режима.

Тщетно А. И. Солженицын призывал жить не по лжи. Поздно. Люди научились жить по «не вере». Причем все – от колхозника до члена Политбюро. Именно – по «не вере», а не по лжи, что, как оказалось, вовсе не одно и то же.

На фоне многомиллионного «нового советского народа» мы и нам подобные были выродки, уроды. Потому что нормальный советский человек по поводу своего неверия не рефлексирует. В том его особенность и неповторимость. В том же таился громадный разрушительный потенциал, каковой и выявился исключительно специфически, когда пришло время ему выявляться.

Банально мыслящие люди грезили великими потрясениями, народными бунтами, революциями и контрреволюциями. Но все свершилось фактически «втихую». Тихо жили по-советски, так же тихо от этой жизни отреклись.

Потом, позднее, когда оказалось, что «не так» жить еще хуже, частично сохранившие «пассионарность»[12] торопливо, а порою и истерично закрутили шеями и возжелали назад, в то прошлое бытие, где при минимуме духовного напряжения можно было более-менее сносно жить. Но история свершается не по произволу богов, но по их попущению...

В шестидесятых была популярна песенка-шутка:

Мы проснулись нынче. Здрасьте!
Больше нет советской власти!

Сочинивший эту песенку и ее исполнявшие подшофе и вообразить себе не могли, что все именно так и произойдет.

Наука проживания без веры, но с обязательным исполнением хотя бы критического минимума обрядов лояльности в последние десятилетия коммунистического режима достигла подлинного совершенства. Ведь даже столь знаменитое: «Возьмемся за руки, друзья...» – один из рецептов лукавого душевного равновесия. А в молитве-то нашей как? «Но избави нас от лукавого...»

И не лукавость ли стала определяющим стереотипом поведения советских людей последних советских десятилетий?

Двуипостасен дьявол. Однажды он – Люцифер, богоборец, по-человечески красив он ослепляющей идейностью пафоса... Но, как кто-то верно сказал, пафос обратим в припадок. Долго жить в состоянии пафоса народ не может. И тогда Люцифер обращается в Аримана – в «Лукавого»... И, по главной христианской молитве судя, лукавость – самое пагубное состояние человеческой души.

Лукаво жили...

Иногда, правда, прорывался из кухонного окна отчаянный крик:

Я не люблю, когда мне лезут в душу!
Тем более когда в нее плюют!

Но не любить и не позволять – все же разные вещи. Всякий отмеряет по себе. Разочарования, предательства – как без того... Но плевки в душу... Нет. Не помню... Хотя бы потому, что не подпускал к себе на расстояние плевка никого, способного на плевок.

* * *

Говоря здесь или далее о диссидентстве и диссидентах, я буду иметь в виду исключительно людей искреннего порыва и вне зависимости от моего личного отношения и моих личных взаимоотношений и с явлением в целом, и с конкретными его представителями.

На всю жизнь хрестоматийным стало для меня стихотворное откровение первокурсницы филфака Иркутского университета, написанное в 1956 году.

«Люблю свою страну. Это не фраза. Но как же совместить любовь мою с неверием, которое не сразу, но прочно заняло всю жизнь мою... Я с каждым днем угрюмее и злее. С каждым днем мое неверие становится прочнее моей любви. Я задыхаюсь в нем!»

Открывая рот, рыбка не зевала вовсе. Она задыхалась от безверия, заполняющего душу. А вот разнообразие хвостовых судорог уже впрямую зависело от родовых характеристик.

Далее предлагаемая классификация личностей, в силу тех или иных причин оказавшихся в конфликте с умирающей структурой, безусловно, небесспорна, однако ж я рискну говорить на эту тему хотя бы по той причине, что тема диссидентства и по сей день отчего-то волнует некоторых теперешних толкователей смуты, соблазняя их той легкостью, с которой, оперируя уже ушедшим в историю явлением, можно выдать простенькую и всем понятную схему столь многопричинного и многопоследственного события, как «развал Великой державы»...

Итак – **типы.**

Если замыслом о себе был велик, а натурой слаб – чувствовал себя обиженным, притесненным.

Если слабым не был – осознавал себя сопротивляющимся.

Если был честолюбив и в меру смел – объявлял себя борцом.

Первых было большинство. Сегодня то один из таковых, то другой вещает по СМИ о том, как тупые, злобные и коварные власти ущемляли его права и таланты. Но они все выжили и ныне устроены.

Вторые часто гибли. Кто морально, но многие и физически. Из них сегодня мы никого не найдем даже на дальних подходах к власти. На тусовках культурных элит их тоже не видать.

Зато на элитных тусовках мы постоянно видим еще один тип, в вышеперечисленные не попавший. В те давние времена я называл их «проказниками». Сегодня они охотно, часто с азартом делятся с телезрителем или читателем подробностями своего непременно утонченного фрондерства: как хитроумно боролись с церберами-цензорами и часто по-

беждали последних; сколь стратегически выверенными бывали их действия и поступки по реализации своих недюжинных способностей в разных областях культуры, строжайше контролируемой; как умело находили покровителей в самых «заоблачных властных высях» исключительно по причине бесспорности своих талантов...

Таланты многих из них я признавал, признаю и теперь, но тип этих людей мне, мягко говоря, неприятен. Они и внешне мне чаще всего неприятны, словно на лицах их некая особая печать. Нет, не каинова и не иудина. Сказал бы – нечто сальеристское, каким запомнился Сальери в исполнении Смоктуновского, но при некотором моем личном дововоображении: допустим, Сальери и в уме не имел кого-либо травить, но слушок был – дескать, чего ради у аптеки толкался, старикан ты этакий? Сальери (Смоктуновский) щурится хитро и многозначительно: «У аптеки, говорите? Право же, не припомню... Но не исключено, весьма даже не исключено!»

«Проказники», как уже говорил, страсть как любят ныне повествовать о своих шалостях. Но ни разу не слышал и не читал (если ошибаюсь, пусть меня поправят), чтобы хоть кто-нибудь из таковых поведал, чем обычно заканчивались их шалости. А заканчивались они всегда одинаково – «собеседованием», после которого вчерашний «проказник» писал откровенно заказной роман... или поэму, или статью, или холст, или пьесу, или на время вообще «умолкал в тряпочку». О последнем варианте нынче повествуется с особо трагическими интонациями. Противно.

Этому, мне (необъективно) противному, типу советских интеллектуалов я уделил столько места, отчасти чтобы желчь излить – вредная, говорят, для организма вещь.

Отчасти же потому, что именно эта часть советской интеллигенции морально санкционировала самые дурные, самые злопоследственные события последнего десятилетия ушедшего века.

Сегодня они в активной обороне. Обороняют завоеванные позиции. За их спиной «все прогрессивное человечество», потому что это и его позиции тоже...

Но возвращаясь к предложенной, разумеется, весьма условной классификации людей, в силу обстоятельств «выпавших» из пространства советского бытия, напомню о третьей

категории – категории «борцов», коим, как уже сказано, присущи были и смелость, и честолюбие, и соответствующие способности, наконец.

С ними просто: уехали, погибли, поумирали. Как это ни парадоксально прозвучит, но те, кого именую борцами, менее всего причастны к реальным событиям, потрясшим страну и государство.

Представьте себе болезнетворный кишечный микроб, не способный спровоцировать даже обыкновенного поноса у огромного животного, умирающего от общего размягчения костей.

Сегодня, спустя два десятилетия, именно «борцы» видятся наибольшими неудачниками, но, разумеется, не в плане личных реализаций. Многие из уехавших (возвратившихся или невозвратившихся, что абсолютно не в счет) там так или иначе состоялись, а некоторые из погибших и умерших почитаемы, хотя и весьма скромным кругом почитателей, что также значимо, ибо свидетельствует о фатальном несовпадении векторов распавшегося по признаку пристрастия к разным и зачастую взаимоисключающим мифоидеологемам общественного сознания с еще более социально-политически рыхлыми амбициями бывших борцов с режимом.

Так что, если допустить принципиально ненаучный «атомистический» взгляд на советское государство, то есть как на государство, состоящее абсолютным преимуществом из советских людей, то все, с государством случившееся, представится прямым результатом деятельности (или неделательности) исключительно советских людей, ибо все случившееся имеет прямое отношение к самому существу семидесятилетнего «советского» состояния России.

А диссидентство при этом во всех его ипостасях увидится безнадежным аутсайдером самого процесса разрушения государства, каковой советские «верхи» инициировали, а советские «низы» «отбезмолвствовали» ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы процесс стал необратимым.

Так что общенародное «неприсутствие» девяносто первого года и московский народный гнев девяносто третьего – фактически события разных эпох.

Однако можно без труда заметить, что во всех этих рассуждениях как бы незримо присутствует некая условно-со-

слагательная интонация. «Когда б народ... да кабы власть...» А на первичном уровне понимания происшедшего весьма популярно суждение о том, что вот, мол, «крыша поехала», верхи скурвились и развалили великое государство.

Но если «крыша едет», значит, либо фундамент сгнил или просел, либо стропила прогнили. Иначе: подвижка крыши – это уже финал, очевидность со скоро зримыми последствиями.

Ну а где ЦРУ с его планами тотального расчленения Советского Союза? А агенты влияния – с ними как?

Где ЦРУ? Известно где – в Америке. С агентами влияния действительно не все столь просто. Но одно известно точно: в диссидентах агенты влияния не числились. А часто и совсем наоборот...

* * *

Но речь шла о типах «внесоветского» существования.

Еще о **«борцах»**.

Борцы – это, как правило, молодые люди, в той или иной степени уверовавшие в собственное знание решения социальной проблемы и действовавшие в соответствии со своей верой.

В конце 1950-х – начале 1960-х преобладали марксистско-ревизионистские концепции «поправления» социализма. Типичной в этом отношении была подпольная ленинградская группа-организация Хахаева–Ронкина, программа которой имела наиболее выразительное название: «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Троцкистский душок программы едва ли имел своим источником демагогию троцкистского противостояния «сталинизму». Скорее то был прямой результат элементарной логики «честного марксистского мышления», в базе которого – материалистическое мировоззрение, социальный пафос «молодого» Маркса и минимум, как нынче модно говорить, национальной самоидентификации. Молодые, «марксистски подкованные» еврейские юноши, как правило, возглавлявшие группы марксистского толка, безусловно сочувствовали сионистскому движению, но все же тогда, в начале шестидесятых, сионизм рассматривали как частное явление, в известном смысле даже отвлекающее умы от головной ли-

нии-идеи прогресса – марксистского преобразования всемирной социальности. Советский вариант социализма виделся им подпорченным, а то и грубо искаженным спецификой русской истории и русским менталитетом. Однако откровенно русофобские концепции на этой почве стали возникать значительно позже. Евреи или русские – неомарксисты пятидесятых-шестидесятых – были по сути «советскими людьми», но безнадежная «закольцованность» официальной идеологии уже не оставляла им места в идеологическом пространстве, как позднее, в конце шестидесятых и в семидесятых годах, не нашлось места вполне безобидному варианту так называемого «официального национал-большевизма».

Но если неомарксистов все же так или иначе репрессировали, то за необольшевиками надо было лишь «приглядывать» да иногда пальчиком перед носом туда-сюда, чтобы они не слишком высовывались из общей массы стройных рядов строителей социализма.

Определяющим моментом в тактике борьбы с инакомыслием как раз и было выявление и опознавание «борцовости» конкретного индивидуума, его готовность к маргинальному, а в советских условиях – к предельно свободному образу жизни. Готовность того или иного инакомыслящего отказаться от статуса, каковым бы он ни был, то есть стать социально «никем», и уж тем более готовность к наказанию-возмездию – этими факторами определялась реакция власти на иноприродные явления в сфере идеологии.

Нужно отдать должное власти: она весьма искусно совершенствовала способы самозащиты. По экономической необходимости все чаще проковыривая когда-то монолитный «железный занавес» и, соответственно, принуждаясь к оглядке на так называемое «мировое общественное мнение», власть и ее «органы» нашли возможным без ущерба для себя избавляться от реальных и потенциальных «маргиналов», одновременно поощряя их к эмиграции и препятствуя таковой, в результате чего к концу семидесятых «борьба за права человека», получавшая весьма эффективную поддержку Запада, свелась фактически – подчеркиваю, фактически – к борьбе за право на эмиграцию, сохранив собственно социальный аспект борьбы лишь в заголовках протестных документов. Правозащитников периодиче-

ски «сажали», и еще не посаженные половину своей правозащитной энергии направляли на борьбу за освобождение пострадавших соратников. Борьба за право на эмиграцию и за свободу политзаключенных практически замкнула все правозащитное движение на самое себя. В итоге к началу 1980-х тема защиты прав человека в СССР перестала быть актуальной даже в нацеленных на то средствах массовой информации Запада.

С другой стороны, тщательнейшим образом отслеживая настроения национально, в данном случае – русски ориентированной части советской интеллигенции, соответствующие инстанции не менее искусно сумели направить патриотический пар в еврейскую сторону, полностью сохраняя при этом контроль над ситуацией, мгновенно пресекая всякий «прорыв пара» за предусмотренный предел межинтеллигентской склоки, достигая при этом двойного эффекта: у одних создавалось ощущение борьбы и преследования за борьбу, у других – чувство относительной защищенности уже презираемой властью от наглеющих русопятов.

В результате всей этой по сути мелочной, но по форме тотальной интриги «власть осуществлявших» громадный слой российской интеллигенции, непосредственно не повязанный с властью, на момент перестройки оказался катастрофически дезориентирован относительно реального состояния государственной системы, а социальную инициативу перехватили циники, романтики Запада и просто прохвосты. Между ними тотчас же начались разборки, не закончившиеся и поныне. Народ называл это политикой и стремительно превращался в население.

Но все же не превратился, и о том особый разговор.

Как ранее уже было сказано, малочисленный клан «борцов» – за приведение социалистической практики в соответствие с марксистскими доктринами; за «придание социализму человеческого лица»; за соблюдение прав человека в рамках действующей конституции; за реализацию прав человека вне зависимости от специфики действующей конституции; за гарантии существующей властью провозглашенных в конституции демократических свобод и, наконец, за право на эмиграцию – весь этот поименно взятый под контроль список «борцов» к середине 1980-х столь же поименно был изолирован от общества либо посредством

эмиграции, либо «лагеризации». Частично вымер в лагерях.

То есть фактически «борцы-антисоветчики» не только никак не профигурировали в событиях, именуемых перестройкой, но и менее других были готовы к таковому участию, во-первых, по причине маргинальности бытия, во-вторых, по причине исключительно поверхностного знания существеннейших реалий советской действительности, в-третьих – и это главное, – по причине той самой клановости, каковая выявила очевидную «неравномасштабность» объема критического багажа «борцов-диссидентов» глобальности катастрофы, вызревшей в недрах самой советской действительности.

Кратковременный политический дебют академика А. Д. Сахарова и немногочисленных его сторонников-поклонников не оказал ни малейшего влияния ни на суть событий, ни на темпы трагического процесса. Ныне всякие воспоминания о Сахарове звучат исключительно в сентиментальной интонации. Никаких других имен бывших «борцов» с режимом в памяти нынешних политиков вообще не существует: в том и правда о роли «борцов» в событиях, и справедливость оценки самого существа явления советского (подчеркиваю: именно советского) диссидентства в целом.

Разглагольствования же преуспевавших, но не во всем, по их мнению, преуспевших вчерашних советских интеллектуалов на предмет их отваги и ловкости перед лицом некоего тупорылого существа, именуемого партократией, смешны, а зачастую и попросту бесчестны.

В то же время саркастические, а порою и откровенно хамские наскоки на А. И. Солженицына в каждом конкретном случае имеют совершенно конкретную подоплеку, каковая без труда просматривается в судьбе-биографии-характере оппонента. Иные вчерашние советские телята теперь отважно бодаются с дубом, конфигурация ветвей которого вызывает у них и подозрения, и возражения, и раздражение, но зато в области обломанных еще советской властью рогов, видимо, испытывается приятная иллюзия восстановления бодучей потенции.

Страна готова – мы не готовы

От общих суждений о прошлом и настоящем пора, однако же, и о себе лично, что куда как сложнее, потому что, как ни изощряйся в объективности, «объективность» про самого себя – то всегда есть всего лишь нечто из области желаемого, но неосуществимого вполне. Мало того, что «всего» о себе никогда не расскажешь – не на исповеди же! Когда же на исходе лет пытаешься восстановить события молодости, то «розовый» отблеск молодости-юности едва ли вообще устраним из такого повествования.

Путь, по которому вела меня судьба, весьма типичен для большинства того самого меньшинства духовно выпавших из идеологической системы, о ком сами мы не без горечи шутили: «И мир наш тесен, и слой наш тонок», когда поднимали тосты «за победу нашего безнадежного дела». «Дело» и вправду оказалось безнадежным во всех смыслах и отношениях, но разве стремление к безнадежному не путь открытий? И открытия были. По крайней мере, для меня.

К началу 1960-х, честно озабоченный проблемой «исправления» или даже только «поправления» единственно прогрессивного общественного строя, я тем не менее именно в силу упомянутой озабоченности незаметно для прочих глаз, но с огорчением для себя постепенно втягивался в полулега́льную форму существования. Про огорчение – не оговорка. Из детства в юность я вышел верноподданным и патриотичным. Слишком верноподданным и слишком патриотичным, чтобы не реагировать на все чаще замечаемое несоответствие существующего должному. Должному по отношению к Великой Идее, каковая, по моему пониманию, просто не имела права не быть совершенной.

Разговорчики, шепотки, затем кружки-кружочки, с каждым разом все менее безобидные, поскольку величины несоответствия росли и обнаруживались в не подозреваемых ранее сферах общесоветского бытия.

Воспитанный на примере фанатического трудолюбия семьи и на классической литературе, в которой добро если и не всегда побеждает, но, даже не торжествуя, все же не теряется из виду и остается в памяти и в сознании как конкретная реальность, достойная подражания, волевого на-

пряжения и жертвы, если потребуется, – я готовился жить только по правде, презирая компромисс и всех, компромиссом живущих.

Скоро, однако ж, выяснилось, что так жить невозможно вовсе, что так можно только умирать. Умирать я не собирался. И первым моим подлинным жизненным компромиссом стала именно нелегальщина или, точнее – полулегальщина, по сути – двойная жизнь. То есть окружающие меня люди разделились на две неравные части. С одними я жил и общался по их правилам, с другими – избранными, немногими – по своим, и постепенно утратилось понимание, какие из правил являются правилами жизни, а какие – правилами игры.

Одно помню: профессионально пошедший по традиционной семейной учительской стезе, в учительстве, а точнее и проще – в общении с детьми я чувствовал себя радостно и длил эту радость, сколько позволяли режимы общения. В общении я никогда не был ментором, но только старшим участником общения. И через десятилетия встречи с бывшими учениками, теперь уже предпенсионного возраста, – самое замечательное, что подарено мне в моей поздней осени.

Уже и не припомнить, как удавалось (а ведь удавалось!) избегать соприкосновений двух, в сути равноценных для души бытийственных состояний. Предполагаю, что в данном случае сыграл роль своеобразный фатализм по отношению не только к личной жизни, но и к жизни вообще, унаследованный от матери, любимой поговоркой которой было: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Так, по крайней мере, реагировала она в большинстве случаев на мои опасные детские проказы – купания в проруби, положим, или катания на поездах с непременным беганьем и прыжками по крышам вагонов, лазанье по опасным скалам, что другим детям запрещалось наистрожайше.

Когда же со мной случилось так, что раздвоилась жизнь, что одной своей частью заскользила она навстречу все подминающему катку идеологического контроля, то само по себе вызрело спокойное понимание: чрезмерно повышенная социальная чувствительность – своеобразное уродство, каковое ни в коем случае не следует провоцировать в других, не предрасположенных к «выпаданию из системы» по воспитанию ли, по складу характеру, по самой судьбе, наконец. Именно потому я фактически никогда не

занимался агитацией как таковой, но только отыскивал себе подобных.

Позднее созрела или вызрела концепция, согласно которой часть интеллигенции по неписаному и неформулируемому закону национальной органики обречена испытывать на самой себе социальные идеи, возникающие в обществе, и быть готовой к ответственности за отрицательный результат испытания, хотя в этой области, как и в науке, отрицательный результат по меньшей мере поучителен...

Отбор в эту особую часть происходит по совокупности множества обстоятельств, каждое из которых в отдельности не является определяющим, и потому сознательное уклонение невозможно. Возможно бессознательное уклонение, чаще всего руководимое элементарным животным страхом. Стыд за страх мог порождать удивительнейшие оправдательные концепции. Люди такого типа мне были всегда наиболее отвратны. Человек иных убеждений, но поступающий в согласии с последними, был мне родственнее, нежели «уклоняющийся» единомышленник. Уважая в людях прежде иного соответствие слова и дела, наверное, потому я сохранил дружеские отношения с многими моими лагерными «разномышленниками», и встречи с ними, когда случаются, происходят на уровне какого-то особого понимания друг друга, а встречные и прощальные рукопожатия наполняются смыслом, понятным только нам самим, навечно непримиримым в главном, но в чем-то ином, почти надмирном, столь же навечно родственным...

* * *

По-модному мохнорылый телемальчик на одном из каналов ведет передачу, в которой поочередно повествует о знаменательных событиях каждого года последнего советского тридцатилетия. В передаче про год 1967-й – кадры празднования пятидесятилетия Октября. Не знает «мальчик», что празднование намечалось в Ленинграде, куда должно было приехать все правительство. Тщательнейшим образом разрабатывался план мероприятий – от «штурма Зимнего» до массового шествия толп, от последней конспиративной квартиры Ильича до Смольного. Меж ростральными колоннами на

Васильевском острове мечтали воткнуть тридцатиметровую статую вождя мирового пролетариата.

Не состоялось. В январе 1967-го питерский КГБ получил достоверную информацию о существовании в городе подпольной организации, ставящей своей целью ни больше ни меньше – вооруженное свержение Советской власти. В руки работников органов попала программа организации... Хотел бы я видеть выражение лица того первого «сотрудника», который эту программу прочитал...

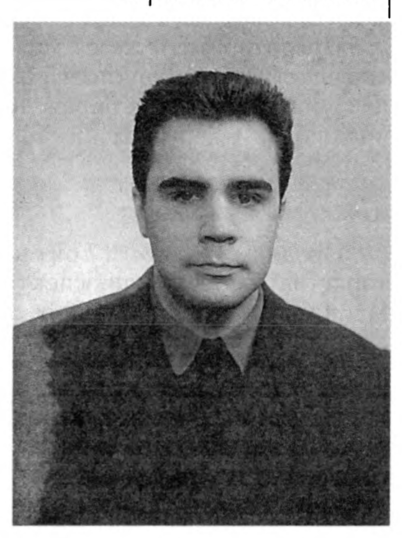
Был в питерском университете один факультет, студенты которого, кажется, вовсе не были замечены в каких-либо крамольных импровизациях.

Но именно там, на восточном факультете, высидел свою неслыханную идею Игорь Вячеславович Огурцов – инициатор, основатель и автор всех программных документов первой после Гражданской войны антикоммунистической организации, ставящей своей конечной целью своевременное (то есть соответствующее ситуации) свержение Коммунистической власти и установление в стране национального по форме и персоналистического по содержанию строя, способного совместить в себе бесспорные демократические достижения эпохи со спецификой евроазиатской державы.

Чудеса бывают разные: Божественные, природные, коллективно рукотворные. Но случаются еще и социальные чудеса, ибо и по сей день, перечитывая текст, написанный в начале шестидесятых, я не могу взять в толк, в силу какой методики мышления человек моего поколения, мой ровесник, видевший мир и все, что в мире, так же, как и я и все прочие мои сверстники, читавший те же книги и газеты, что и все мы, – как он, питерский интеллигент, как у нас говорили, «домашний мальчик» (положим, в отличие от меня – бродяги), как он смог обрести убеждение о неизбежности скорого краха своеобразного «тысячелетнего рейха» – социалистического государства, каковое даже по вере многих западных мыслителей было порождением прогресса, обреченным на загоризонтное историческое бытие!

Надо знать, надо вспомнить степень марксистской «загазованности» мозгов моего поколения, чтобы в полной мере оценить подвиг мышления Игоря Огурцова, учитывая при этом, что крах русского социализма не только был им

Игорь Огурцов.



предсказан, но и обоснован, объяснен внутренней органикой социалистического эксперимента.

Принципиальнейшее суждение – главная мысль – в тексте программы даже ничуть не выделено и не обосновано, как не нуждающееся в обосновании. При первом или скором прочтении его можно не заметить на фоне общей дерзости суждений. Более того, предполагаю, что и сам автор не оценил должной мерой свое открытие – именно этим можно объяснить некоторую «стилевую» небрежность фразы, каковую и привожу:

«Социализм не может улучшаться, не подрывая при этом своих ***основ****».*

Слово «улучшаться» при строгом подходе к нему должно бы иметь смысл совершенствования экономической структуры, ибо она – база социалистического бытия. Но в таком случае – не подрыв основ, а укрепление их.

Но под «улучшением» автор имел в виду гуманизацию, либерализацию режима. Следовательно, недосказанная суть фразы: социализм в том виде, как он состоялся в России, может существовать сколько-нибудь долго исключительно в жесткой, то есть тоталитарной, форме. Но либерализация режима неизбежна, что легко доказуемо. Следовательно, неизбежен крах, развал, разрушение, к чему надо готовиться, чтобы предотвратить народную катастрофу.

Предотвратить же ее можно, только вовремя перехватив власть у коммунистов, для чего нужна подпольная организация, способная к определенному времени превратиться в подпольную армию.

* * *

Поздним вечером 17 октября 1965 года в съемной квартирке на Греческом проспекте мы с моим другом Володей Ивойловым сидели друг против друга за небольшим столом, а между нами посередь стола стояла бутылка легкого красного вина... Мы изготовились отметить наше вступление в подпольную антикоммунистическую организацию, нацеленную ни больше ни меньше на возрождение тысячелетней России!

Про «легкое красное вино» не случайно. Мы находились на той стадии идейности, когда она, идейность, похожа на вдохновение, что, однако же, не имеет ничего общего с фанатизмом, поскольку в душах наших преобладала не столько вера в правильность избранного пути, сколько готовность отправиться в путь, который нам показался правильным. На это «движение» мы были обречены именно степенью идейности, стержнем каковой была... (до чего же банально это может прозвучать на фоне нынешних рациональных времен!) истинно сыновняя любовь к Родине. Любить – значит жалеть и желать. Жалеть – сочувствовать. Желать – хотеть ей добра и правильности бытия. Если речь о Родине. Слова похожи. Наверное, из одного корня. Есть, правда, еще одно схожее слово – «жалить», то есть сознательно доставлять боль. Объект подлинной любви, будь то женщина или Родина, увы, испытывает на себе все эти три душевные интенции любящего субъекта. Кого, как не любимого человека, способны мы подчас преподлейше обидеть. А Родина?! «Прощай, немытая Россия...»[13]; «Как сладостно Отчизну ненавидеть!..»; «Подите прочь – какое дело...»[14] Такие страшные фразы произносятся чаще вовсе не ненавистниками, но любящими... И мы всегда различаем, не путаем...

Можно любить березки и перелески.

Можно любить Пушкина и Достоевского, воспринимая их как явления, чужеродные «презренной толпе».

Можно любить «декабристов», потому что они были гордо и славно против.

И при этом испытывать истинное отвращение к целостному историческому бытию России. Что ж, это тоже идейность. И более того, такая идейность продуктивна, потому что более конкретна и вполне формулируема.

Но то, другое чувство к Родине, с чего начал разговор, оно чаще всего вовсе нерефлектируемо. Это сегодня, по прошествии почти сорока лет, я говорю о том, что подвигало нас на те или иные поступки. Так мне нынче это видится. Тогда же, в шестьдесят пятом, в квартирке на Греческом ни мыслей «великих», ни тем более «громких фраз»... Одно только волнение по поводу того, что, отплутав на проселках ереси, вышли мы наконец на прямой путь противостояния и в суждениях, и в поступках при справедливом и честном соответствии того и другого.

Мне однажды старт
В этот мир был дан.
У меня был шаг –
Строевой чекан.
Не считал друзей,
Не считал врагов,
опьяненный ритмом
своих шагов...

Героизация бытия непременно сопровождается его упрощением, каковое компенсируется совокупностью мистификационных символов.

Строгий и торжественный прием в организацию проходил на квартире Михаила Садо, выпускника восточного факультета ЛГУ, одного из первых, кого Огурцов и убедил и привлек. Он же, Михаил Садо, вышел на нас по слуху о моих «бердяевских» изысканиях. К тому времени в организации было чуть более десятка человек. Нам же было передано ощущение, что несть числа – аргумент не из последних в нашем решении вступить немедля... О сути и роли мистификационного фактора я еще поговорю позже, пока же лишь не поспешу его осуждать однозначно...

В специально полуосвещенной комнате, где все стены в книжных стеллажах, – четыре человека. Михаил Садо, бородатый ассириец, внешностью похожий на молодого Сталина, – он рекомендатель; ранее незнакомый нам Евгений,

тоже из первых сподвижников Игоря Огурцова – он, собственно, принимающий, – и мы с другом. Нам даны тексты короткой присяги. Ознакомясь, мы глухо, но не без торжественности поочередно прочитываем тексты. На рукава пиджаков нам накалываются планки с изображением русского флага (триколора). Эти же планки на рукавах «принимателей». Рукопожатия, скупые поздравления – и все.

С этого момента мы с моим другом смертники, потому что согласны действовать по программе и уставу, но не верим в победу, мы не можем представить ее себе, эту самую победу, потому что, в отличие от петербургских мальчиков, у нас с Ивойловым за спиной тысячекилометровые пространства, которые мы пересекли, чтобы добраться до этого самого Питера, а в пространствах остались «великие стройки коммунизма» – Норильск, Братская ГЭС; за спиной нашего короткого, но впечатляющего жизненного опыта массы, миллионы масс, по нашему убеждению, совершенно не готовых ни к каким распадам-перепадам, и у каждого из нас небольшой, но впечатляющий опыт «общения» с «органами» и их невычислимым отрядом помощников-добровольцев – охотников за карьерой, мы натыкались на них везде: в студенческой среде, в учительских коллективах, в бригадах «коммунистического труда»... Нам не выжить... Но и другой жизни мы тоже уже не хотим.

И потому вечером того же дня мы молча сидим друг против друга за небольшим столом, а на столе между нами бутылка красного вина. Водку мы презираем. Водка – символ национального разложения.

Мы полны тихой торжественной радости и грустных сомнений. Мы сомневаемся в возможности существования многочисленной подпольной организации в тотально контролируемом обществе. Мы не знаем, кто во главе организации. Мы допускаем, что он авантюрист типа Нечаева[15], что однажды мы получим приказ, каковой не посмеем не выполнить, и погибнем...

Наконец, нам, позавчерашним комсомольцам, далеко не все ясно относительно так называемой персоналистической собственности, должной прийти на смену собственности ничьей, но хотя бы по мнимости общенародной.

Но есть и нечто, в чем мы уверены: наклонный тупик перед пропастью... Туда медленно и неотвратимо сползает

коммунистический бронепоезд, таща за собой в мертвой хватке сцеплений российскую государственность – тысячелетний исторический багаж, захваченный фанатами марксистского хилиазма.

Отодвинутая в нашем сознании за ряды десятилетий катастрофа обрушения нам тем не менее столь отчетливо зрима, что готовность воспрепятствовать во много сильнее сомнений. И потому, разлив по стаканам вино, мы поздравляем друг друга с принятыми решениями, а после повторных поздравлений тихо поем под мою гитару наши любимые сибирские песни:

Быстро, быстро донельзя
Дни пройдут, как часы...
Лягут длинные рельсы
От Москвы до Шанси...

До Шанси не добрались. Добрались до Мордовии. Но это потом... До «потом» были два года жизни, наполненные самым отчаянным и безрассудным смыслом. Такой полноты проживания дней я не знал ни до, ни после. Одновременно проживалось две жизни, и обе добросовестно. И обе, я бы сказал, «с перебором».

Аспирантура и вообще все, что так или иначе могло иметь отношение к карьере, то есть к успеху в жизни «на виду», – все потеряло смысл и ценность. Я счастливо устроился работать директором маленькой школы в захолустной подпитерской деревне и работе этой отдавал до минуты все время, каковое оставалось от той, другой работы, на которую подписался в короткой и строгой присяге. Мой школьный рабочий день начинался с семи утра и заканчивался в одиннадцать. Административные хлопоты, уроки, драмкружок, спорткружок, заготовка дров для печного школьного отопления... Моя директорская работа оценивалась в сто тридцать рублей. Питался я вместе с интернатскими детьми, если не ошибаюсь, за пять рублей в неделю. На субботу и воскресенье уезжал в Питер, где на ту же зарплату содержал две крохотные конспиративные квартирки непременно с «черным ходом» по двадцать рублей за каждую. На обязательные членские взносы не оставалось ни копейки.

Еще я успевал получать настоящее образование. К моменту моего вступления в организацию ее участники собрали уникальную библиотеку: В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев, все ранние и поздние славянофилы,

И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, И. Л. Солоневич[16] и тьма чего еще было прочитано за эти два года.

Вторая, и главная, моя работа заключалась в том, и только в том, чтобы выискивать, подбирать и «доводить до ума» новых соратников. Питер-град «обкапывался» на слух. Прослышал, что там-то или там-то кучкуется молодежь, кучкуется, разумеется, не по любви к джазу или спортивным «болениям». Завести знакомство, прощупать каждого, нащупав подходящего, увести, сунуть в руки нужную книгу, по прочтении поговорить и дать другую, серьезнее. Снова собеседование и первый вывод о перспективности вербовки или отсутствии таковой. Поездки в Литву, Томск, Иркутск для укрепления филиалов или образования новых...

В силу высокой идейности программных установок мы, естественно, направляли свои ищущие соратников взоры на молодую, по-хорошему образованную интеллигенцию. Так возникла потребность «проникнуть» в Союз писателей. Книжники по воспитанию, к писателю мы благоговели. Ведь по простейшему предположению, кто, как не писатель, внимательнее прочих всматривается в жизнь, кому, как не писателю, открываются неизлечимые язвы общества и с кем еще, как не с ним – пусть советским, но ведь и русским, – найти общий язык по излечению общества, по предотвращению нескорой, но неизбежной национальной катастрофы.

О закупленности на корню значительной части писательской братии мы, конечно, знали. Но мы же, идеалисты, и представления тогда не имели о том господстве мелких и ничтожных страстишек, каковые управляли этим привилегированным мирком более талантливых и менее талантливых, о пьянстве как некоем кастовом достоинстве, о теснейшей смычке «инженеров человеческих душ» с наблюдательным органом за этими самыми душами, да и за «инженерами» тоже.

Первое мое личное приближение к «писательскому миру» принесло мне обидное разочарование. Еще издалека, но вполне отчетливо обозначилась иерархия: баре, полубаре и завистливо алчущие барства. Господи! Конечно же, не все. И наконец, пьянство. Не «мужицкое», не «народное». Писательское пьянство – это нечто особое, требующее к себе не только сочувствия, но и уважения как некое сопутствующее творчеству состояние...

Члены ВСХСОН Леонид Бородин и Владимир Гончаров у школы, где работал автор. Деревня Серебрянка Ленинградской области.



Тогда я был очарован поэтом Василием Федоровым. Его поэму «Седьмое небо» знал почти наизусть, да и сейчас помню огромными кусками.

Черты
Жемчужинками в море
Я для тебя искал, мечта.
Мне обошлась в громаду горя
Твоя последняя черта.
Ошибся раз – и стан твой гибок.
Ошибся два – и ты умна.
Ты из цепи моих ошибок
И заблуждений создана...

И вдруг я узнаю, что этого, по тогдашнему моему убеждению, прямого наследника пушкинского слога вусмерть пьяным не выводят – выволакивают из Московского Центрального дома литераторов, выволакивают и вышвыривают...

Начинающий питерский писатель, рассказавший мне эту историю, навсегда остался для меня неприятным человеком, потому что я не поверил ему. И только уже в наши годы узнал, что такое, увы, случалось...

Сам к тому времени испытывающий позывы к писанию, пресекал сии позывы на корню, подозревая, что писательство как таковое в самой сути своей содержит некое разла-

гающее начало. Но в то же время искал оправдания. Мол, советский писатель, он как между Сциллой и Харибдой – многое видит и понимает, сказать же не позволено, вот и глушит голос совести, несчастный, слабый, бесхребетный, без Бога в душе и без догмата в сознании.

Тем не менее идея «проникнуть» в Союз писателей была одобрена руководством организации. Тот самый, начинающий, объяснил, что нужно напечатать несколько рассказов в какой-нибудь газетенке и повестушку в журнале «Нева» – и можно толкаться.

Как-то совершенно походя я накатал десяток рассказов, в половину авторского листа каждый, и отправил в районную газету «Лужская правда». И они пошли. Рассказ в месяц. Тогда на радостях я скропал и повестушку про восстание польских ссыльных на Байкале в шестидесятых годах прошлого века. И отправил в «Неву»... Но это был уже 1967-й. В феврале я был арестован... «Проникновения» не состоялось...

Где-то мимоходом упомянул выше, что подпольщине отдался не просто весь, но даже с перебором.

Ни за кого другого не скажу, чужая душа – загадка. Но лично для меня с момента вступления в организацию Огурцова все прочее, что было в жизни, мгновенно обернулось настолько второстепенным, что практически утратило элементы реальности. Где-то были отец с матерью, которых любил верноподданно, где-то была жена, с которой разошелся, и пятилетняя дочь при ней...

Тогда не было этого слова, теперь оно есть, и я, понимая банальность данного словоупотребления, все же именно так и скажу: все, что не имело прямого отношения к моему участию в организации, носило виртуальный характер. Даже мое учительство, сколь азарта и добросовестности я в него ни вкладывал, и оно пребывало там же – за пределами единственно истинной реальности, где моя активность проявлялась прежде всего ревностно. Объектом моей ревности была, так сказать, чистота варианта.

Говорил уже о роли мистификационного фактора во всякой подпольщине. В свое время проштудировавший историю народовольчества и большевистского подполья, понимал, что сама по себе противоестественность подпольного бытия неотделима от некоторых столь же противоесте-

ственных форм общения. Например: исполнитель нелегального действия может не знать конечную цель такового, может не знать соучастников действия и уж тем более – организаторов акции. Подпольщик, опять же в интересах дела, может быть целенаправленно дезинформирован, то есть попросту обманут относительно целей и средств... Это общеизвестно.

Все, что имело отношение к конспирации, я не только принимал, но впоследствии даже разработал, взяв за основу польский опыт сопротивления во время Второй мировой, особую, весьма сложную систему структурной реконструкции организации, гарантирующую невозможность провала всей организации в целом, и готовился предложить ее руководству. Но прежде прочего мне необходимо было определиться по одному существеннейшему вопросу.

Непосредственный шеф по организации неоднократно давал понять, что я вступил в широко разветвленную, то есть многочисленную, организацию, имеющую ценные выходы если не на самые властные структуры, то по крайней мере близко к тому.

«Нас много, но мы еще не готовы, народ же готов. Так что дело за нами».

Весь мой личный опыт «общения с массами» не просто противоречил – вопил... Недовольства сколько угодно... Народное недовольство вообще можно рассматривать как нормальное рабочее состояние, если оно функционирует в границах, в пределах господствующего мировоззрения. А бывают и времена, когда народное недовольство выполняет роль саморегуляции системы.

Из своего «пролетарского» опыта на Восточно-Сибирской железной дороге, на Братской ГЭС, в Норильске я сделал вывод, что, положим, брюзжание на вождей и начальство ни в малейшей степени не свидетельствует о готовности масс к пересмотру базовых положений господствующей идеологии; что не мы со своим радикализмом, но именно расплодившаяся ревизионистская полулегальщина отражает реальное состояние умов. Отсюда: невозможно существование многочисленной организации, ориентированной на полное отрицание существующего политического строя.

С другой стороны, неслыханный, ни с чем исторически ранним не сравнимый контроль мозгов со стороны органов

и их добровольных и недобровольных помощников – ведь на каждом шагу на них натыкался...

А если так, то к чему лично я, «единственный и неповторимый», сознательно не оставляющий никаких вариантов отступления, порвавший со всем прочим, чем жизнь может радовать, – к чему я должен готовить себя, если даже за глупую марксистскую ересь отваливают по червонцу?

Естественно – к трагическому концу. А это уже совершенно иное отношение к миру. «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг»[17]. Значит, ни одной минуты, ни одного дня впустую. Умом решить – проще простого. Но перестроиться, то есть настроиться на небытие... Думаю, никогда и никому это в полной мере не удавалось. Жизнь – тысячеголосый хор: хорошее солнечное утро – голос; дождь к полудню – голос; добрый человек рядом или недобрый – голоса; тем более женщина «с... лицом, единственно дорогим во вселенной»[18]; и просто дыхание – вдох, выдох... Нет, невозможно! Возможно лишь всякий раз шпынять себя: не смотри, не думай, не желай... В какой-то мере это срабатывает, мобилизует. Но и только. К сожалению, «героизация» сознания не только мобилизует личность, но и деморализует, точнее, может особым образом повлиять на личность в тех сферах бытия, каковые объявляются вторичными. Отдельный разговор, и я едва ли на него решусь...

Тогда же, как только вызрело сомнение относительно численности организации, решил во что бы то ни стало и вопреки всем законам конспирации выйти на руководство организации и получить столь важный для меня ответ на вопрос, каковой для себя сформулировал таким образом: одно из двух – либо весь мой личный опыт и пригляд за жизнью неверен и ничего не стоит, либо я имею дело с вариантом «бланкизма»[19], каковой, безусловно, имеет право на существование, как имеет право на существование отчаяние, когда оно – результат или итог преждевременного знания.

Ведь точно в одно и то же время родились строки: «...комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»[20] и: «Коммунизм есть не что иное, как люциферическая диверсия в человеческом сознании вообще и в конкретной человеческой душе в частности».

Парадокс в том, что и по прошествии сорока лет адепты обоих суждений сосуществуют в нашем обществе и ес-

ли при этом, как говорится, «не рвут друг другу пасти», так только потому, возможно, что утратили пассионарность...

* * *

Итак, прием в организацию проходил на квартире нашего рекомендатора Михаила Садо. Принимавший нас человек по имени Евгений произвел на меня и моего друга самое положительное впечатление как раз тем, что ни в поведении, ни в речи его совершенно не ощущалась «подпольщина». И в то же время если до того у нас и имелись какие-то сомнения относительно самого факта существования действующей, работающей организации, их развеял этот по внешнему виду «наитипичнейший интеллигент», определенно не имевший цели каким-либо образом повлиять на нас. Тем не менее именно он окончательно решил нашу судьбу.

Мой друг Володя Ивойлов сказал чуть позднее: «Если такие... в организации, то и я там должен быть». Евгений Вехин – так он был нам представлен. Фамилия, разумеется, не настоящая. Каждый, заполняя вступительную анкету, выбирал псевдоним. Подлинные фамилии в общении не употреблялись.

Из коротких реплик, которыми между делом обменялись Садо и Евгений, я уловил, что последний имеет какое-то отношение к Пушкинскому Дому[21] и что у него есть дочь...

Этой пустяковой информации мне оказалось достаточно, чтобы через несколько дней, когда решил прорываться к руководству организации, «вычислить» посредством собственных, в общем-то случайных связей Евгения Александровича Вагина, научного сотрудника знаменитого питерского Пушкинского Дома и члена руководства подпольной антикоммунистической организации, ставящей своей конечной целью – ни больше ни меньше – свержение коммунистической диктатуры.

Моя откровенно антиконспиративная выходка если и вызвала шок у Вагина, то по крайней мере он сумел мне его не показать...

Нет, конечно, он не открыл мне тайну численности организации, он просто не мог этого сделать, но мне и не нужно было числа как такового. Я надеялся хотя бы по недомолв-

кам догадаться о подлинном состоянии дел. Откровенно высказал ему свое соображение относительно неизбежности соответствия народного сознания и популярности идеи, идущей вразрез господствующей идеологической тенденции. По сдержанным ответам Вагина понял: организация невелика. О тысяче речи нет. Сто, полтораста от силы...

Когда после ареста первый раз вышел на прогулку и, уже зная о полном провале организации, огляделся и насчитал по периметру что-то около четырехсот камер, подумал: половина из них сейчас занята «нашими». Когда узнал, что в организации тридцать человек, из которых по меньшей мере трое успели выйти...

Много лет оставалось для меня загадкой – в силу каких причин кому-то открывается видение сравнительно далекого будущего? Человечеству известны тысячи пророчеств. В виду имею не те из них, которые обнаруживаются, как говорится, задним числом. Нострадамусы меня в данном случае не интересуют. Белинские тоже: «Завидую внукам и правнукам нашим, кому суждено увидеть Россию в 1941 году...» (цитата по памяти).

Конкретно интересны два человека, практически в одно и то же время предсказавшие Великую российскую катастрофу – почти за тридцать лет до нее.

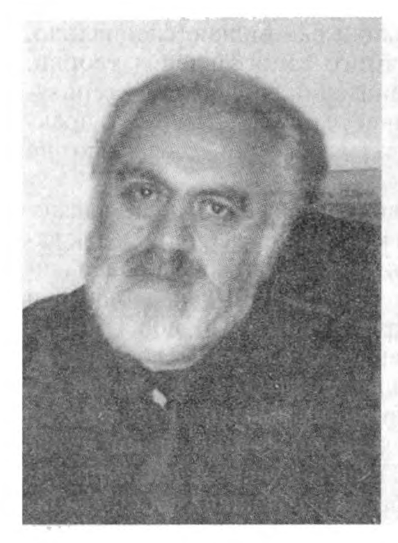
Игорь Огурцов и Андрей Амальрик. Последний хотя и случайно, однако же даже дату обозначил в своей книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

Если бы кто-нибудь взял на себя труд проанализировать сравнительным методом программу Огурцова и книгу Амальрика, то, думаю, такому человеку открылось бы то же, что и мне: реальные пророчества стимулируются либо великой любовью, либо великой ненавистью к объекту пророчества.

Вся книга Андрея Амальрика проникнута почти физиологическим отвращением к исторической России. Для него развал России – мечта, итог высочайшего духовного напряжения в ненависти. И тот факт, что история свершилась по Амальрику, а не по Огурцову, наводит на мрачные размышления, близкие по сути к библейской апокалиптике... Но!

Ненависть – предметна. Любовь – перспективна.

Такое вот не слишком логическое и совсем уж не философское суждение не только позволяет сохранять умеренный оптимизм относительно дальнейшей судьбы России, но



Михаил Юханович Садо через тридцать лет после событий.



Евгений Вагин (Вехин). 1975 год.

и способно мобилизовать смятенное сознание как на поиск спасительных путей, так и на положительную социальную активность.

По крайней мере, я сам для себя так придумал.

Андрей Амальрик не дожил до осуществления своей мечты. Игорь Огурцов стал свидетелем катастрофы, которую он не сумел предотвратить. И если исходить из фаталистского положения, что история всегда реализуется в единственно возможном варианте, а всякого рода «если бы» да «кабы» антиисторичны по определению, то со стороны (положим, с моей стороны) личность Игоря Вячеславовича Огурцова видится безусловно трагической, независимо от того, как он сам себя нынче понимает и осознает.

И здесь уместно поведать о «планировании» практического действия по предотвращению катастрофы, как это разъяснялось нам, рядовым участникам Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН)*.

---

* Программа ВСХСОН дана в Приложении.

Полное название организации напоминаю специально, чтобы была возможность прямого сопоставления теории, каковая самим названием организации вполне характеризуема, с практикой или, если точнее, с представлением о практике, поскольку дело до нее, к счастью или несчастью, не дошло.

С самого начала организация выстраивалась по армейскому образцу: отделения, в перспективе – взводы, роты и так далее. «Выстраивание» было отнюдь не формальным. Подчиненность, исполнительность и прочие субординационные и дисциплинарные моменты внедрялись тактично, но настойчиво. Идеологический отдел организации имел своего представителя в каждой группе-отделении. Каждое отделение обеспечивалось всей необходимой литературой для работы с кандидатами. У меня при обыске таковой литературой заполнили два весьма объемных мешка. Правда, и сами «книги», большей частью фотокопии, тоже были достаточно объемны.

На той стадии существования организации, когда я туда попал, каждому участнику ставилась одна-единственная задача: вербовка. Соответственно – поиск. Всякие «нецелевые» проявления пропагандистского или агитационного характера рассматривались как грубейшее нарушение дисциплины-конспирации. Одна задача – рост организации. Превращение групп в отделения и развертывание отделений во взводы. Национальные, возрастные или профессиональные ограничения не существовали. Одно только: организация – будущая армия. Армия же – не женское дело. Как выявилось на следствии, подавляющее большинство родственников и жен даже не подозревали...

Не было у нас и «еврейского вопроса». Решающим обстоятельством при вербовке было отношение вербуемого к христианству как к единственному нравственному катехизису. На моей памяти за полтора года участия в организации был один случай «отказа» еврею и два – русским. Во всех трех случаях причина была одна – отрицательное отношение к христианству.

Подчеркну, речь шла только об отношении, но не о степени воцерковленности. По-настоящему воцерковленных в организации было меньшинство. Более того, в организацию был принят один, по крайней мере, католик, литовец по национальности, без каких-либо возражений со стороны руководства.

Ну и, наконец, по существу. Поскольку прогнозами социал-христианства коммунистический режим был приговорен к саморазрушению с обвальными для России последствиями, сроки его свержения никак не оговаривались. Как отметил ранее, единственное, но принципиально ошибочное суждение Огурцова: «Страна готова – мы не готовы» – отодвигало сроки собственно политического действия в неопределимое будущее. По разным высказываниям членов руководства ВСХСОН, от десяти до пятнадцати лет потребуется организации, чтобы дорасти до состояния подпольной армии, способной совершить максимально бескровный переворот.

Как теоретически сие свершение представлялось руководству и как руководство доносило до нас, рядовых участников, это свое представление, попробую изобразить на примере перспективы действий отдельной подпольно-войсковой единицы – взвода.

Итак, некоему отдельному полносформированному взводу выставлялась задача подготовить мгновенный и желательно бескровный захват конкретного политического объекта. Предположим, Смольного, то есть управленческого коммунистического центра города Ленинграда.

За время, на то отпущенное, взвод должен обзавестись подробнейшим планом не только самого здания, но и всех ближайших подходов к нему. Квартиры крупных партийных функционеров также должны изучиться на предмет мгновенной изоляции жильцов. За то же время в аппарат Смольного должно быть так или иначе внедрено некоторое количество подпольщиков, достаточное для отслеживания всякого рода структурных изменений в управлении городом.

Последнее было вполне осуществимо, поскольку личные карьерные перспективы многих членов организации были достаточно многообещающи. Комсомольско-партийный канал выдвижения-продвижения был наилегчайшим в сравнении со всякими прочими, где требовались те или иные таланты и способности – в науке, к примеру, или в искусстве. От «политпродвиженца» требовалось только одно умение – притворяться идейным. Вступивший на эту стезю «подпольщик» определенно имел бы преимущество хода перед шкурником и откровенным проходимцем.

«Перестройка» впоследствии показала, какие стервятники накопились в комсомольских и партийных кабинетах и их «предбанниках».

Учитывая сверхмерную централизацию власти в стране, в назначенный день X войсковые подразделения организации предположительно ночью изолируют ту часть партийно-правительственной верхушки, каковая имеет по статусу право на инициативу. Часть этой «верхушки», добровольно или принудительно согласившаяся на «сотрудничество», через средства массовой информации призывает население «к сохранению спокойствия и порядка». Далее. Народу, якобы уже и без того готовому к отказу от марксистской ереси, сообщаются вопиющие подробности «подло-проказной» сути коммунистического диктата. На улицах костры из партбилетов. В прессе «мордообстольные» покаяния функционеров режима.

Создается Временный Государственный Совет, который избирает Главу государства, важнейшей обязанностью которого является пресечение центробежных тенденций и сохранение как общего порядка, так и порядка в производственно-хозяйственной сфере.

Никаких «резких движений», способных дезорганизовать систему, не предусматривается. По крайней мере, на первый переходный период, каковой во временном отношении никак не определяется.

Православию – зеленую улицу, как и прочим традиционным религиям России.

Во внешней политике – замирение с Западом, однако же без распахивания границ.

Постепенное реформирование госэкономики в экономику персоналистического уклада.

И наконец, три принципа отстраивания новой государственности:

– христианизация экономики;
– христианизация политики;
– христианизация культуры.

Об «утопизме» огурцовской идеи я уже говорил и еще скажу, но скажу и другое: до понимания важности трех вышеперечисленных принципов сегодня «не доросла» ни одна из ныне функционирующих партий.

И речь ведь идет не о теократии, но всего лишь о необходимости соотнесения важнейших аспектов общественного и государственного бытия с ориентирами, и только с ориентирами, каковые по сей день никем, кроме марксистов, не оспорены, по крайней мере в той части, в которой они, эти важнейшие принципы, являются концептуальной базой сохранения человеческого рода на уровне коллективной исторической личности.

И тот маразм, что торжествует сегодня в культуре, в политике и в экономике, никакими иными великоумственными установлениями не преодолим, поскольку процесс распада, согласно второму закону термодинамики, имеет тенденцию ускорения, и сопротивление ему, распаду, хотя бы и посредством законотворческих импровизаций все равно будет иметь вид необоснованного консервативного упрямства, постыдно сдающего одну позицию за другой.

Напомню еще раз: программа Социал-христианского союза была написана Игорем Огурцовым в 1963 году. Эту программу ему, И. В. Огурцову, продиктовали, с одной стороны, понимание сути и перспективы коммунистического режима в России, с другой – верностью и любовью движимое стремление во что бы то ни стало предотвратить национальную катастрофу, распад и развал России, к чему как по наклонной скатывалась власть, утратившая чувство собственной реальности.

И здесь, безусловно, следует отделять интеллектуальный подвиг человека, сумевшего за четверть века предвидеть события во всей их трагической полноте, от конкретных действий, в хорошем смысле спровоцированных готовностью самоотверженно положить жизнь за правое дело, как оно виделось ему, Игорю Огурцову, с его, как говорится, личной колокольни.

Хочу процитировать несколько строк из программы Социал-христианского союза, на мой взгляд, актуальных для дня нынешнего.

Из раздела **«О земельных отношениях»:**

Пункт 2. Земля должна принадлежаать всему народу в качестве общенациональной собственности, не подлежащей продаже или иным видам отчуждения. Граждане, общи-

ны и государство могут пользоваться ею только на правах ограниченного держания.

Пункт 3. Из всех земель страны должны быть образованы гражданский фонд, общинный фонд, государственный фонд. Гражданский фонд состоит из разделенной и резервной частей.

Пункт 4. Земли гражданского фонда, справедливо разделенные, должны предоставляться в индивидуальное пользование всем желающим их обрабатывать гражданам Великой России с правом вести хозяйство самостоятельно или в свободном объединении с другими хозяевами и с правом свободно распоряжаться продуктами своего труда. Законом должно быть закреплено право передачи по наследству основного семейного надела семьи...

Пункт 7. Государству должно принадлежать исключительное право на эксплуатацию недр, лесов и вод, имеющих общенациональное значение.

Из раздела **«Государство»:**

...В соответствии с пониманием государства как естественного органа, выражающего высшие интересы народа в их единстве и создающего условия для свободного развития и широкого проявления личности в границах правого порядка, государство должно конституироваться как теократическое, социальное, представительное и народное.

Теократическое – поскольку государство должно быть построено на моральной основе и обязано в своей деятельности руководствоваться религиозными принципами, которые являются общими для всех христианских народов, совпадают с внутренним мироощущением человека и представляют собой наигуманнейшие заповеди.

Социальное – поскольку государство обязано гарантировать экономические, политические, гражданские, семейные, личные права всем своим гражданам, регулировать и гармонически сочетать общие, групповые и личные стремления, не принося в жертву ничьих законных интересов.

Представительное и *народное* – поскольку политическая власть не должна быть монополией лица, сословия, класса или партии, а должна гармонически распределяться среди народа в форме общинного самоуправления в админи-

стративных единицах и участия народа в высшем законодательстве страны через свободно избираемых депутатов.

Верховная власть должна быть представлена:

законодательная – Народным собранием и Главой государства;

исполнительная – Главой государства и Кабинетом министров;

блюстительная – Верховным Собором;

судебная – Верховным Судом.

...Верховный Собор – духовный авторитет народа, не имея административных функций и законодательной инициативы, должен располагать правом вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которые не соответствуют основным принципам социал-христианского строя, чтобы предупредить злоупотребление политической властью.

И еще о государстве.

Не должна подлежать персонализации энергетическая, горнодобывающая, военная промышленность, а также железнодорожный, морской и воздушный транспорт общенародного значения. Право на их эксплуатацию и управление должно принадлежать государству.

Государство впредь может выступать в качестве предпринимателя в обычных промыслах только в том случае, если инициатива граждан недостаточна для создания предприятий, важных для народа, а также может вмешиваться в управление предприятиями, которым оно предоставляет финансовую помощь.

* * *

Более чем фантастично выглядит сегодня намерение Огурцова создать многотысячную подпольную организацию в стране тотального шпионажа-слежки и, хуже того, в стране, по самым объективным свидетельствам, совершенно не готовой, по крайней мере на этот момент – середина шестидесятых, – к тем переменам, каковые были уготованы ей автором программы.

Но ведь вот в чем парадокс: на момент ареста организации, то есть к началу шестьдесят седьмого, на подходе бы-

ло значительное пополнение рядов. Использовав антиисторическое «если бы», с уверенностью можно сказать: если бы не КГБ, года за три организация достигла бы того критического количества, каковое уже реально могло создать серьезные проблемы для власти.

А суть парадокса в том, что именно на максималистскую постановку вопроса – не улучшение строя, но его ликвидация – охотнее откликалось сознание моего поколения. С небольшой разницей все члены организации были ровесниками.

Несколько слов еще об одном фантастическом пункте в программе организации, созданной И. В. Огурцовым.

Подпольная организация, изначально отстраиваемая по военному образцу, постепенно превращается в подпольную армию. А в армии должно быть оружие. Откуда?

Абсолютно не представляя себе ответа на вопрос, мы старались «не напрягаться» по этому поводу. Начальству виднее.

Напрягайся не напрягайся, а не думать невозможно.

Однажды, возвращаясь электричкой из Питера в свою деревню, где работал в школе, я познакомился с группой офицеров воинской части, летним лагерем стоящей в окрестностях города Луги. Не помню, на какой теме обычных дорожных разговоров возникло взаиморасположение, но офицеры, мои сверстники, пригласили меня в гости к себе в часть. И в следующую пятницу я прикатил к ним на своем, то есть школьном, «джипе» – ГАЗ-67, что с квадратным деревянным коробом и невыемной заводной ручкой в дырке переднего бампера.

Опущу подробности интересно проведенного дня. Скажу только, что из части я отбыл с поразившим меня самого выводом-убеждением: имея в запасе несколько грузовиков и место, куда их можно отогнать, несколько человек в течение пары ночных часов бескровно, то есть бесшумно, могут разоружить пехотный полк в полевых условиях. Я даже ни с кем не поделился этим случайным открытием – никто бы не поверил, во-первых, а потом, задача вооружения перед нами не ставилась. Наоборот, если кто-то имел оружие до вступления в организацию, то должен был сдать его «по начальству». Один такой факт имел место. Пистолет «маузер» образца 1908 года был сдан на хранение, соответствен-

но, обнаружен при обыске у «хранителя» и фигурировал в деле как убедительнейший «вещдок».

Продолжая интересоваться этой темой, я обнаружил, что «вокруг полно оружия» времен войны. За пятьдесят – семьдесят рублей в Луге можно было купить «шмайсер» с запасным рожком. Тридцатку стоила «лимонка». Я не устоял и после долгих колебаний (опасался провокации) приобрел за тридцать пять рэ пистолет «парабеллум», выпущенный в Германии в тридцать девятом году для высшего офицерского состава по случаю пятидесятилетия фюрера.

Грубо нарушая дисциплину, приобретение оставил в тайне. Уверенный, что в случае провала всех нас «поставят к стенке», намеревался воспользоваться им... Учитывая подпольно-идейный душевный накал, в каковом пребывал с момента вступления в организацию, возможно, я бы «ушел от них» таким образом...

Но провал... это еще неизвестно когда... А до «когда» не таскать же его при себе. Запрятал на чердаке школы, в которой работал. Там он и сгорел вместе со школой, бывшей барской усадьбой, через несколько лет, когда я сам пребывал во Владимирской тюрьме.

Тогда же, после посещения воинской части, зародились у меня первые смутные предположения относительно необоснованной самоуверенности системы в целом, что реальное ее могущество и несокрушимость как бы дырявы... С шестидесятых по восьмидесятые оборонная мощь страны уж по крайней мере никак не ослаблялась, но когда немецкий мальчишка приземлился на самолетике на Красной площади, я вспомнил о своих давних робких соображениях. И были какие-то тревожные предчувствия... Но в это время я уже снова находился в клетке. Не до предчувствий...

Итак, я говорил о парадоксе, имея в виду готовность какого-то числа людей моего поколения за тридцать лет до коммунистической катастрофы эту катастрофу предвидеть и сознательно встать на путь ее предотвращения самым максималистским способом.

В 1968-м, прибыв на зоны политических лагерей, мы с немалым удивлением для себя узнали о многочисленности всякого рода подпольных групп преимущественно ревизионистского направления. Но по количеству! Как говорится – от трех до пяти! Самая «солидная», опять же питерская,

группа Хахаева–Ронкина «накопила» семь или восемь человек приблизительно за то же время существования, что и организация Огурцова. Даже националистические организации Украины, Кавказа и Прибалтики были такими же – от трех до пяти.

У нас же на момент разгрома организации под программой вооруженного свержения существующего строя уверенно подписались тридцать человек, еще около полусотни «вращались на орбите» в роли возможных кандидатов в организацию и по меньшей мере столько же высвечивались на горизонте...

Напрашивается банальное объяснение: русский человек восприимчив к максималистскому образу проблем, когда они, проблемы, не только мифообразны по форме, но и апокалиптичны по существу. Временное, но всемирно значимое торжество марксизма именно в России тоже ведь напрашивается быть объясненным подобным образом, хотя, конечно, все куда как сложнее...

Крохотным, частным моментом этой «русской сложности» был эффектный разгром огурцовской организации. Словно стряхнувшие с души очарование клятвенно принятой идеи, члены организации, отсидев свои небольшие сроки, не только не продолжили «дела», но и вообще ни в каких оппозиционных бултыханиях принципиально более не участвовали, сохранив при этом романтизированные воспоминания о прошлом. Об одном эпизоде, когда последний раз, прежде чем нас разбросали по разным лагерям, мы были все вместе, – о нем расскажу с некоторым, однако ж, пояснением.

Существеннейшим моментом нашего идеологического состояния было понимание социалистической идеи в целом как идеи не просто антихристианской, но именно антихристовой. Построение Царства Божьего на земле, царства всеобщей справедливости, где всяк равен всякому во всех аспектах бытия, – именно это обещано антихристом. Цена этому осуществлению – Конец Света, то есть всеобщая гибель.

Хилиастическая ересь потому и была отвергнута и осуждена христианством, что как бы содержала в себе формулу гибели человечества через соблазн внебожьего преодоления несовершенства человека и всего им творимого.

Спекулируя на естественном, всеми мировыми религиями благословленном стремлении человека к улучшению бытия посредством нравственного совершенствования, просто и четко сформулированного в заповедях, хилиастический социализм освобождал человека от тяжкого морального напряжения и выносил причину мировых бед, бедствий и страданий вовне, в структуру бытия, каковую надо было просто «переделать» соответствующим образом, чтобы сама по себе «заработала» модель всемирового счастья.

В том был главный обман, и поскольку обман постепенно принял почти религиозную форму, то естественно было авторство этого обмана «заперсонифицировать» на антихристе. На дьяволе.

В этом смысле любопытным представляется текст гимна ленинградского Социал-христианского союза, о котором здесь столько уже говорилось. Слова и музыку гимна сочинил политзаключенный питерского следственного изолятора Иван Овчинников, никакого отношения к данной подпольной организации не имевший, но пребывавший какое-то время под большим впечатлением от самого факта возникновения организации и ее программы, представление о которой получил от своих сокамерников, членов ВСХСОН.

Текст гимна построен по принципу молитвы о даровании права на оружие в борьбе именно с сатанинскими силами, замаскировавшимися под идеи всемирового коммунистического жизнеустроения, в христианском же понимании – разрушения бытия.

Приведу две последние строфы гимна:

Боже! По силе Закона
Дай ему главы отсечь!
Дай нам повергнуть дракона!
Боже! Вложи в руки меч!

И свершилось! Знак Господнего волеизъявления получен:

На алтаре в древнем храме
Вспыхнули тысячи свеч.
Бейте в набат, христиане!
С нами Божественный меч!

Под мощным и, должен признать, достаточно талантливо исполненным воздействием следственного аппарата пи-

терского КГБ мы признали себя виновными, однако же по-разному понимая и толкуя саму виновность. Но собранная в кучу на этапе, что длился несколько месяцев, физически и морально разгромленная организация на короткое время как бы снова обрела дыхание подвига. Гимн, сочиненный совершенно посторонним человеком, был разучен и имел впечатляющее исполнение в этапном купе-камере, куда втиснули всех четырнадцать. (Руководители организации, осужденные по статье 64-й – «...а равно заговор с целью захвата власти», этапировались отдельно.)

* * *

Особо запомнился эпизод в пересылочной тюрьме городка под названием Потьма.

Двухэтажное здание тюрьмы было битком набито уголовниками всех мастей – от воров в законе всесоюзного масштаба до московских и питерских проституток. Последних и в шестидесятых было немало, но тогда их сажали за... тунеядство. Однако слово «уголовник» мы не употребляли, говорили корректно – «бытовик»...

В соответствии с ведомственной инструкцией в те времена политических с «бытовиками» уже в одну камеру не сажали. И поначалу начальство тюрьмы готово было блюсти инструкцию. Нас завели в камеру площадью метров двадцать, от противоположной стены на две трети оборудованную сплошным деревянным настилом высотой около полуметра. После поездной тесноты мы привольно устроились на полатях со всем своим этапным скарбом. Однако ж не прошло и пары часов, как сюда же запустили не менее двух десятков «бытовиков», агрессивная настроенность которых не обещала ничего хорошего и если до поры до времени открыто не проявлялась, то исключительно по причине того, что они никак не могли «просечь» наши «понятия». Мы же уловили их переговоры с «бытовиками» соседних камер на предмет «ошмонания фраеров» – попросту грабежа – и изготовились к сопротивлению.

Но тут вдруг обнаружилось, что один наш товарищ болен. Выпускник экономического факультета ЛГУ, преподаватель Томского университета Владимир Веретенов. Темпе-

ратура... Буквально на глазах лицо его опухало и багровело. Учащалось дыхание... Крепкий физически и мужественный по природе, Веретенов от нашей тревоги отмахивался, состояние списывал на обычную простуду. Самым компетентным в медицинской теме из нашей компании был ныне покойный Юрий Баранов, инженер по медицинской аппаратуре. Его предположение, высказанное, естественно, шепотом, потрясло нас. Рожа! Про такую болезнь мы слыхивали... Что-то страшное и заразное...

Появившийся после долгого стучания в дверь надзиратель сообщил, что нынче пятница, врач будет в понедельник. Чего? Помрет? Ну и хрен с ним. Закопаем. Кладбище рядом, за путями...

Один из «бытовиков», все еще не определившихся относительно наших «понятий», «смастрячил чифирок» – лучшее средство, по убеждению «бытовиков», от всех болезней. Больной выпил и, вопреки «чифировому» назначению, почти сразу уснул, что нами было принято за добрый знак.

Но к утру состояние больного ухудшилось. Говорил с трудом, странные красные пятна проступили на шее, в дыхании прослушивалась хрипота. Новые переговоры с надзирателем ни к чему не привели. И тогда мы объявили голодовку, о чем письменно уведомили начальство пересылочной тюрьмы.

...А тюрьма поутру гудела... Межоконная перекличка, визги из женских камер, крики надзирателей в коридоре... «Бытовички», которым мы так и не уступили наши «спальные места», галдели кто во что горазд. Мат и «блат», словно материализуясь, сотворяли из клубов махорочного дыма мерзких шевелящихся призраков под прокопченным потолком. К тому же вонь от полукубовой жестяной параши в углу...

И, как-то не сговариваясь, мы запели. Сначала тихо, как бы для себя... За два месяца мотания в этапных поездах, в пересылочных тюрьмах Горького и Рузаевки – мы за это время очень даже неплохо спелись. Сложился репертуар... Лучше прочего у нас получался «Варяг», но не тот, популярный, мажорно бравурный, а другой – «Плещут холодные волны». Страстный поклонник коллективного (не путать с хоровым, где все очень правильно) пения, и по сей день я помню по голосам каждого из моих соратников: глуховатый баритон Юрия Баранова, о котором уже упоминал;

звонкий, хотя и не без «петушка» – стихотворца нашего Михаила Коносова; тихие, но вполне слухом удостоверенные голоса инженера, специалиста по драгам Александра Миклошевича и автоинженера Юрия Бузина; торжествующий на патетических нотах, по тембру неопределимый, с четким произносом слов голос моего давнего друга Владимира Ивойлова, выпускника ЛГУ, преподавателя Томского университета; негромкий, но звонкий тенорок Вячеслава Платонова, востоковеда, преподавателя ЛГУ. А вот Валерия Нагорного, инженера, кажется, электронщика, и Николая Иванова, преподавателя ЛГУ, больше помню вдохновенностью их лиц в процессе нашего коллективного песенного общения...

Этот кусок текста кому-то может показаться лишним: имена неизвестные, в дальнейшем никак не проявившиеся...

Но, во-первых, три четверти ныне проявившихся имен век бы не слышать... А во-вторых, и в главном, – мне хочется, мне приятно произносить имена моих бывших друзей по счастью и несчастью... К тому же из тех четырнадцати пятеро – кто давно, кто недавно – уже ушли из жизни...

Итак, мы пели, «бытовики» галдели, и вся тюрьма содрогалась от утреннего гвалта. Коллективное пение – это ведь своеобразная форма медитации, и, увлекшись, мы не заметили, как возрастала громкость наших голосов, как сначала притихли и перестали елозиться по камере «бытовики», потом соседние камеры будто вымерли. Но тогда и надзиратели обратили внимание на неслыханное нарушение режима. Заскрежетал замок, и некто, для нас безликий, крикнул: «А ну прекратить! Кому говорю! Прекратить!» Пели лежа, но с окриком приподнялись. Что пели именно в этот момент, не помню. Помню, что пели хорошо. По моему вкусу, хорошо петь – это непременно двухголосие. Солировать русскую песню, как бы хорош ни был исполнитель, будь он сам Шаляпин – просто преступление. И первые две струны балалайки, и первые две нашей семиструнной – они так и настраиваются. На двухголосие...

Надзиратель, пообещав нам нечто расправное, захлопнул дверь, а по сложившемуся репертуару на очереди исполнения было «Прощание славянки» со словами, сочиненными Михаилом Коносовым. Текст песни, написанный на политическую потребу, всегда, мягко скажем, далек от совершенст-



Бывшие члены организации Игоря Огурцова: Леонид Бородин, Анатолий Сударев, Александр Миклашевич, Евгений Вагин, Вячеслав Платонов, Юрий Бузин, Георгий Бочеваров. 1976 год.

ва. Текст нашей «Славянки» не был исключением, но эмоциональность исполнения и сам способ подачи песни-марша-гимна – именно такова «Славянка» – не могли не произвести впечатления. И когда снова распахнулась камерная дверь, а в дверях с полдюжины надзирателей, их вопль: «А ну, выходи по одному!» – только подхлестнул нас. Эта сцена – как картинка в моей памяти. Двенадцать мужчин, сцепившись локоть к локтю – попробуй растащи! – в лица безвинно виноватым стражникам режима выдают слова:

Душат правду в любимой Отчизне.
Подымайся, великий народ!
За свободу пожертвуем жизнью.
В сердце вера в победу живет.

Но это еще что! Дальше следовало:

Ленин хуже татарского ига.
И разрубит ярмо только меч.
Содрогайся, проклятая клика, –
Возрождается вольная речь.

Надзиратели с вытаращенными глазами – век такого не слыхивали – попытались ворваться в камеру, но до нас так и не добрались. Еще недавно враждебно настроенные «бытовики» в три ряда расселись на полу от дверей до нар, на которых мы стояли в рост, и, отступая назад в коридор, прапорщики и офицеры в полной растерянности дослушивали припев нашей самодельной «Славянки»:

За гибель церквей,
За плач матерей,
За стон с Колымы
Идём на бой с драконом мы!

А потом без остановки и наш гимн. Похоже, в коридоре собрался весь состав тюремной обслуги.

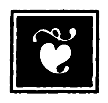
На алтаре в древнем храме
Вспыхнули тысячи свеч.
Бейте в набат, христиане!
С нами Божественный меч!

История эта закончилась вполне благополучно. Не имевшее по отношению к нам, политическим, никаких прав, тюремное начальство немедленно вызвало наших подлинных «шефов» – работников КГБ, каковые немедля и примчались. Был вызван врач, определивший у Владимира Веретенова сильное, но неопасное аллергическое заболевание, от которого в специальной больничной камере он быстро поправился. Подальше от греха, то есть от вредной пропаганды, убрали из нашей камеры «бытовиков». И, вытаскивая по одному на «собеседования» тех, кого считали нужным, уже тогда, на самом первом этапе «работы» с нами, выявив подлинное искусство психологической терапии, каковой я всегда искренно восхищался, сумели для начала посеять легкие сомнения друг к другу в наших отношениях.

Однако ж уверен, что описанный мною эпизод каждому запомнился так же, как и мне, – молодость, романтика протеста, пусть кратковременное, но несломимое мужское единство...

Часть вторая

Уроки лагерного бытия



Уроки лагерного бытия

Поначалу нас всех сунули в «образцово-показательную» политзону под номером одиннадцать, входившую в так называемый Дубровлаг, что в Мордовии. Не менее двух тысяч заключенных, огромная территория... Клуб и читальный зал при библиотеке... Стадион, где на горке под тополями зэковский духовой оркестр играл советские и русские марши, в том числе и «Прощание славянки»... Волейбольные площадки и бильярдные столы у бараков... Правда, шары из какого-то камня... Крошились... Было весьма голодновато, но жить очень даже можно.

Недолго, однако ж, мы были все вместе. Скоро началась сортировка по степени «неисправимости», и в начале зимы 68-го года я уже оказался в зоне под номером семнадцать. Два барака по пятьдесят человек... Сто метров на шестьдесят – вся зона. Еще рабочая зона с одним бараком, где вода замерзает в умывальниках... Но и там я пробыл не более полутора лет. В 70-м отправили во Владимирский централ, откуда я и освободился по истечении срока в феврале 1973-го. Девять лет свободы, и в 1982 году новый арест и суд. Освободиться я должен был, если выживу, в 1997 году. Обо всем этом в той или иной мере еще будет сказано, только дальнейшее повествование в строго хронологической последовательности едва ли возможно, поскольку все же главная цель сего писания – не автобиография, но по-



Лагерный барак.

пытка определения причин той трагедии, что произошла со страной. То есть – как я понимал эти причины, как соотносились мои личные действия и поступки с этим пониманием.

Вся моя жизнь с момента приезда в Ленинград в 1965 году была столь щедра на события и случаи, на встречи и расставания, на очарования и разочарования, что даже и в памяти нет четкой временной последовательности всего случившегося и случавшегося. Что и говорить – повезло прожить интересно. Напряженно. И если о чем-то приходится сожалеть, то все, сожаления достойное, чаще всего – второстепенно.

Однако ж о первой своей лагерной зоне, о той самой, что под номером одиннадцать, все же расскажу чуть поболее, хотя бы потому, что именно в ней получил первые не просто полезные – необходимые уроки лагерного бытия. Говорил уже – самая большая по численности заключенных политическая зона Союза. Контингент самый невообразимый. Нас, «чисто политических», было ничтожное меньшинство. На первом месте те, что «за войну»: полицаи, власовцы, украинские и латышские СС. Далее – бендеровцы всех рангов, от рядовых до начальников службы «Беспеки» (их разведка и контрразведка), до областных «проводников» – это что-то вроде секретарей обкомов. Чуть меньше, но тоже много так

называемых «зеленых» – литовцы, латыши, эстонцы, по окончании войны продолжавшие борьбу за «самостийность». Еще – бериевские полковники и генералы, осужденные по делу Берии, но не помещенные в спецлагерь, что в Нижнем Тагиле, по причине особого характера их показаний на следствии. Еще – это те, что «за веру», долгосрочники из ИПЦ и ИПХ[22], кто отсидел тридцатку, а кто и четвертый десяток тянул лагерную лямку. В кодексе статей с такими сроками не было. Чаще всего тот или иной из этих подвижников, отсидев срок, выходил из лагерных ворот, добирался пешком до ближайшего православного храма и начинал публично и громко клеймить служителей храма за сотрудничество с антихристом. Тут же «брали» и – новый срок. Всем нам запомнился некто Кленов, сидевший уже сорок какой-то год. Молчаливый, необщительный, если до кого и снисходил разговором, то все сказанное им – в памяти на всю жизнь.

Однажды засмотрелся я на вывеску, что над въездными воротами зоны: «На свободу – с чистой совестью!». Из-за спины услышал:

– Все правильно написано. Ты не думай, что здесь тебя будут перевоспитывать. Тебя будут ссучивать, возьмут за ножки да за шею, на коленку положат и поднажмут малость, а как позвоночник хрустнет слегка, домой отпустят – ползай на счастье до конца жизни. Ссученными еще долго править можно. Мудры дети сатанинские, не надо ломать человека. Можно до отчаяния довести. Надломить, чтоб капельку гордыни оставить, а стыда сто капель, вот тебе и человек – ноль! Так что имей в виду, срок-то у тебя малый, пролетит быстро. А на свободу надо с чистой совестью.

«Надлом», о котором говорил «божий человек», – весьма изощренное оперативное действо. Нет, от заключенного не требовали покаяния в стиле: «Простите, я больше не буду!» Отказа от убеждений не требовали тоже. Прямого «стукачества» тем более. Бывшие «полицаи» составляли такой мощный отряд «стукачей-следопытов», что в иных и нужды не было.

Первая задача лагерного оперативника состояла в том, чтобы соблазнить политического заключенного на доверительный разговор, в котором подопечный «чаянно» или нечаянно высказал бы личное неприязненное отношение к кому-либо из своих собратьев по неволе. Проколовшийся

на таком пустяке зэк автоматически становился заложником оперативника, готового в любой момент «пустить» полученную информацию «в массы», а свойственная зэкам подозрительность автоматически могла выключить «болтуна» из своего сообщества, превратить его в «паршивую овцу», тем, естественно, обозлить, и далее уже только шаг до надлома. Русский националист-государственник мог проколоться на каком-нибудь марксисте-еврее; марксисту-еврею подкидывался намек на фашистские тенденции в суждениях русского или украинского националиста; православный подлавливался на отношении к сектантам и наоборот... Главная задача оперативника – отсечь одного от всех, а далее – простор для «работы».

«На воле», кстати, было то же самое. Один «ученый» еврей (фамилию не называю, жив и здоров, а разрешения на оглашение нашего разговора я не получал) рассказывал мне, как оперативник из КГБ еще в 1974 году на конспиративной квартире (в номере одной из центральных московских гостиниц) объяснял ему опасность русского фашизма и необходимость «общественно» отслеживать эту в первую очередь именно для евреев опасную тенденцию. Как «работали» с официальными «русистами» по поводу евреев – тоже не тайна. Русско-еврейский «расклад» всегда был благодатной почвой для оперативной терапии, для контроля над обществом исключительно в интересах охранения и воспроизводства марксистской идеологии. Подчеркиваю – в интересах идеологии, но отнюдь не в государственных интересах. Об этом особый разговор в отдельной главе, но еще несколько слов о нюансах.

Один и тот же оперативник мог с утра «работать» с русским, а после обеда с евреем. И эта способность абстрагироваться от собственных пристрастий объективно безусловно положительная особенность полицейской психологии. Важно – во имя чего происходит абстрагирование. Уже говорил, моя самостоятельная жизнь началась в школе милиции, и, как несостоявшемуся «менту», мне всегда был любопытен и интересен психологический план человека «невидимого фронта»... Но и об этом подробнее в другом месте...

Иной, более существенный нюанс русско-еврейского расклада времен «позднего» социализма: еврейские интел-

лектуалы, ни в какой коммунизм давно не верящие, активно «подыгрывали» русско-советскому марксизму, видя в нем защиту от эскалации антисемитизма; русские интеллектуалы, столь же не верящие в коммунизм, марксизму подыгрывали из двух основных соображений: противореча всякой форме национализации бытия, марксизм как бы онтологически противостоял и сионизму, это во-первых; во-вторых же – Советский Союз до последних дней своего существования был единственным государством в «западном» мире, где национальный капитал не принадлежал евреям.

Кто выиграл, кто проиграл в итоге всех этих занимательных и вполне безопасных игр? Из анекдота середины девяностых: «...Гусинский, Березовский, Смоленский и не примкнувший к ним Абрамович...»

А в конце шестидесятых в политлагере под номером 11 была популярна другая шутка, правда, без злости или иных недобрых чувств: «...Ронкин, Смолкин, Иоффе и Золиксон...» Это члены самой крупной и, безусловно, самой профессиональной марксистской подпольной организации из города Ленинграда. Ничего дурного сказать об этих людях не хочу. Борцы за социализм, искренне верящие в то, что в Советском Союзе и нужно, и можно заменить диктатуру буржуазии подлинной диктатурой пролетариата, все они достойно отсидели свои сроки, и (по крайней мере, насколько мне известно) ни один из них нынче не висит, вцепившись зубами, ни в пирог власти, ни в финансовый пирог.

Но вот чуть позже, кажется в семидесятом, «пришла» в зоны другая молодежная еврейская группа – из города Рязани. В нашу «малую семнадцатую» попал самый молодой из группы. К сожалению, помню только имя – Шиман. То был уже совсем иной типаж. А. Синявский как-то говорил: «Евреи – это жемчуг, рассыпанный по миру». Так вот, эти мальчики из Рязани свою «жемчужность» осознавали вполне.

«Когда-то мы научили вас торговать. Придет время, и мы научим вас демократии». Я тогда спросил: «Сколь же глубоко будет демократическое бурение нашей русской твердолобости?» Вдохновенно-пророчески глядя мне в глаза и уже зная, что до ареста я работал директором школы, юный мессианец ответил: «Ну, к примеру, директоров школ будут выбирать ученики».

Руководитель этой группы, некто по фамилии Вутка, в программном документе объяснял «историческое уродство» Российского государства: оказывается, все дело в том, что на территории России не было строительного камня. Соответственно, не было за́мков и вообще нормальной эпохи Средневековья, когда выковывалось чувство личного человеческого достоинства. Отсюда всеобщая рабская психология и все из того проистекающее.

Позже в Москве, в 1970-х, я вдоволь наслушаюсь и начитаюсь подобных импровизаций в более профессиональном исполнении.

И вообще, взрыв русофобии в те годы – особая тема. Хамские (именно хамские, а не просто критические) обобщения на предмет русской истории, русского быта или русского характера – когда прочитывалось подобное, то оно было равнозначно личному оскорблению. Как бывает: по телефону некто обхамил и бросил трубку. Ни возразить, ни в морду дать!

* * *

Нарушая хронологию откровений, об одном случае с, так сказать, до сих пор длящимися последствиями поведаю, не без колебаний все же, потому что именно этот случай в письменном изложении менее других прочих, о каких мог бы рассказать, увидится оправданным или справедливым...

Было это в середине семидесятых. Кто-то из приятелей в домашней обстановке с восторгом рассказывал об очередной новинке самиздата: оригинальность языка, блеск остроумия и, как говорится, всякому Ивашке по рубашке, то есть «суперантисо́в»*; автор сей крамолы весь в гонениях и притеснениях, и дай Бог ему успеть по израильской визе выдавиться, пока удавку не накинули.

Здесь, в этой же компании, зашел разговор о том, что всю так называемую «Хельсинкскую группу»[23] обложили поквартально, что все считают – «будут брать», а сами «хельсинкцы» в это не верят, говорят, власти не нужны «непопулярные» процессы накануне очередного Хельсинкско-

---

* Антисоветский текст (на диссидентском жаргоне 1970-х гг.). – *Ред.*

го совещания и происходит очередная акция запугивания и «прессухи».

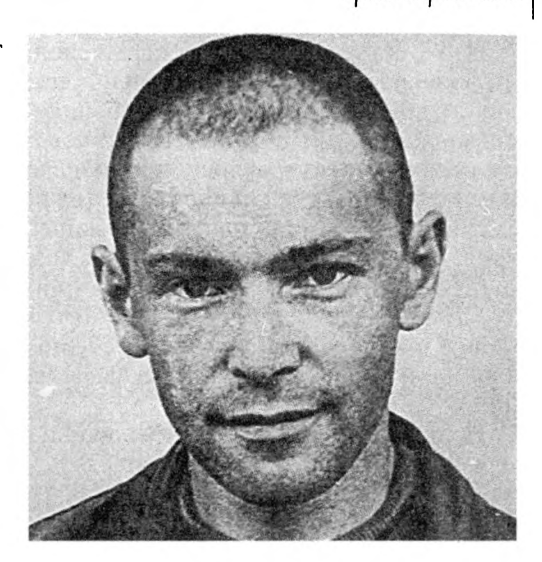
Из активистов «Хельсинкской группы» я был знаком с Людмилой Алексеевой, с Юрием Орловым и Александром Гинзбургом. Орлов и Гинзбург жили в одном районе – в Беляево, дом от дома метрах в ста или чуть более. Зная цену слухам в околодиссидентской среде, решил сам посмотреть обстановку и поехал в Беляево.

«Обложка», каковую увидел вокруг домов Орлова и Гинзбурга, была сравнима лишь с ситуацией отъезда Натальи Солженицыной, когда пришедшие на проводы буквально протискивались сквозь «оптимистов в штатском». К тому времени сам уже по крайней мере трижды прошедший процедуру «забирания», нутром почуял ситуацию завершения «разработки». Время было вечернее, машины у подъездов стояли с зажженными габаритами, дверки некоторых машин приоткрыты, и внутреннее освещение позволяло рассмотреть простые советские лица, «голубоглазые в большинстве», как пелось в популярной песне. Нет, конечно, это была уже не «наружка», когда объекту демонстрируют слежку, чтоб заметался по квартирам, зазвонил по телефонам и как можно полнее выявил свою антисоветскую прыть. И если предположение верно, к утру машины исчезнут, «объекты» расслабятся, а часам к десяти – настойчивый звоночек в дверь...

У Гинзбургов всегда кроме домочадцев кто-нибудь еще... Некоторое возбуждение... Но не более нормы. На мое предположение, осторожно высказанное, Александр Гинзбург только отмахнулся. «Ты же знаешь, – сказал,– когда берут, заранее не предупреждают». Тоже прав. Меня трижды «брали», и трижды неожиданно. И все же я остался при своем мнении – чем-то ситуация была необычной... «Можно проверить, – предложил, – заберу какую-нибудь макулатуру, если остановят...» – «Ну и что? – пожал плечами Гинзбург. – Могут остановить, могут не остановить». Тоже прав. «Возьми, если хочешь». Кивнул на стеллажи. И тут мой взгляд остановился на обложке со знакомой фамилией. Это и был автор того самого сочинения, о сатирико-критических достоинствах которого днями раньше восторженно повествовал один мой знакомый.

Александр Зиновьев. «Зияющие высоты».

Александр Гинзбург
в лагере.



Прихватив еще пару каких-то книг «тамиздата», дабы создать видимость увесистости пакета, я ушел. Оцепление прошел беспрепятственно. Неисповедимы пути К(омитета) Г(оспода) Б(ога) – так пошучивали тогда советские и полусоветские интеллигенты.

Ночью дома я открыл уже основательно зачитанный том, и с первых же страниц полыхнуло на меня таким утробным отвращением к стране, к народу, к его слабостям и грехам, что, прервавшись, я средь ночи стал дозваниваться до одного московского вундеркинда, знавшего все обо всех. Кто он, этот Зиновьев? Может, сверх меры обиженный властью, замордованный лагерями-тюрьмами? С такими встречался и в мордовском Дубровлаге, и во Владимирской тюрьме, и еще раньше в сплошь зэковском Норильске, я таким всегда сочувствовал, ведь это же страшное несчастье – болеть ненавистью к своей «среде обитания».

Но московский всезнайка поведал мне, что сей писатель – пожизненный марксист, диаматчик или истматчик, что родом из деревни и кондово русский, что «прозрел», как говорится, на днях и уже навострил лыжи в сторону заходящего солнца, где намерен реализоваться по полной программе.

Итак: есть-де на планете страна под названием Ибания, и проживают в ней сплошь одни ибанцы – злобные, порочные по природе ублюдки, ненавидящие все прочее человечество, жаждущие переделать его под себя под руководством своих ибанских мудрецов и правителей... Четверть века назад читал я сие сочинение. С тех пор не перечитывал. А если б перечитал, наверняка нашел бы там обломки стрел, запущенных и в коммунизм в том числе. Но ставшая крылатой, потому что оказалась удобной, фраза о том, что, дескать, по причине природного косоглазия мы, **метившие в коммунизм, попали в Россию,** – это, уж простите меня, полнейшая чушь. Кто куда метил, тот туда и попадал.

И сочинение, бывшее чрезвычайно популярным у весьма специфической публики семидесятых – так я тогда определил для себя, – это не что иное, как взгляд на Россию глазами ибанца и на потеху прочим ибанцам положенный на бумагу...

Противно мне прописывать похабные слова. Оскудевшие разговорной речью, в речи своей мы их употребляем порой, но ни крохи богатства русского литературного языка мы не утратили, и потому использование дурных слов в литературе чаще всего конъюнктурно по определению, но иногда это свидетельство литературной импотенции пишущего, когда он посредством хамства и похабства пытается достичь нужного уровня выразительности, заранее имея своим адресатом читателя, уже «упавшего» на соответствующий уровень восприятия.

Какова была причина употребления Александром Зиновьевым похабного слова для обозначения своих сограждан, мне неизвестна. Предполагаю, что конъюнктура, ибо говорят, что писатель он талантливый. Возможно. Только после его «Зияющих высот» я больше не сумел заставить себя прочитать что-либо еще... Так же как и Лимонова после его «Эдички»... Но это уже мои проблемы.

В непродолжительный период дружбы с Георгием Владимовым последний как-то показывал мне письмо от Зиновьева, кажется, из Германии. Зиновьев убеждал Владимова не уезжать из России, объяснял ему, что никому мы там не нужны со своими проблемами и не интересны. Что более того – принципиально не понимаемы...

Насколько помню, для Георгия Владимова откровения Зиновьева открытиями уже не были, и если он вскорости все-таки уехал, то тому были причины, с каковыми он просто не мог не считаться.

Для меня же странным было другое. Почему кому-то нужно непременно сунуться в лужу, для того чтобы понять, что это всего лишь лужа, а не море. Немногим горжусь в жизни. И одно из немногого – эмиграция допустима только как последний способ спасения жизни. Знаменитое «Европа нам поможет» – не просто опасная иллюзия, но и самая утонченная форма самообмана.

В середине семидесятых, после освобождения по истечении сроков из мордовских лагерей участников Социал-христианского союза, я пытался втолковать одному моему бывшему соратнику по подпольщине идею неэтичности добровольной эмиграции.

В тот год мы с женой, бросившей московский «благоустрой», мотались по прибайкальской тайге, добывая элементарные средства к выживанию. Но дошло до меня, что вот собрался он, окрыленный, продавил все препятствующие инстанции, кроме последней – отец-коммунист ни в какую...

В зимовье, при лампе, заправленной «солярой», накатал я тогда в Питер длиннющее краснобайское послание о неразрывности русской души с Россией, о том, что «Timeo Danaos et dona ferentes»* – это относительно искренности и бескорыстия Запада по отношению к России, да и вообще, здесь тоже есть что делать, и кто, если не мы...

Писал – волновался. Слишком дорог был мне человек, решивший навсегда покинуть Родину. Сохранился кусок-концовка карандашного черновика:

«...Надеялся, что поймешь – неволя не искупление. Искупление – только ***воля****. Воля к долгу... дело не в «программе», программы мы вправе пересматривать. Дело в присяге. А присягали мы России и ее народу. И от этой присяги, которую у меня принимал ты (!), меня никто не может освободить. И тебя! Да приснился мне, что ли, русский человек, когда-то с болью и любовью говоривший о России!*

---

* Бойтесь данайцев, дары приносящих (*лат.*).

Однажды ты позвал меня на смерть. Да, именно так! Я ни на минуту не верил в победу. Был убежден, что в один прекрасный день мы лихо сложим головы. Я добросовестно готовился умереть рядом с тобой.

Лучше было бы мне готовиться к следствию – не было б позора...

Нам не пришлось пролить ни своей, ни чужой крови. Однако есть деяния в жизни, последствия которых вечны; есть перехлесты судеб, что непорушимы; есть слова, от которых невозможно отречься, когда произнесены они перед Богом. Жаль, что ты, видимо, никогда не думал об этом всерьез.

Дело ведь не в том, что ты уезжаешь, а в том, **как** *ты уезжаешь. А ты бежишь! Бежишь, хуля и проклиная.*

Пишешь, что тебе тяжело. Что ж! Могу лишь посочувствовать, сколь мала оказалась для тебя мера тяжести».

Ответ получил с большим прищуром. Удивительно, дескать, построчное совпадение моих аргументов с аргументами папаши, упертого коммуниста, и вообще письмо достигло Питера подозрительно быстро. Знать, неспроста! Мол, не иначе как чекисты-стервятники подсобили. И тем не менее – прощай, немытая Россия! Бегу, лечу. Потому что в России России больше нет. А если она вообще еще где-то есть, то там, на Западе. Здесь же все нерусское. Даже женщины!

Последняя фраза мне показалась самой фундаментальной, потому что шла уже не от ума – ум подвержен соблазнам, но от души, даже от инстинкта. И более сомнений не было. Уедет.

Повезло случайно – услышал его первое выступление там. Кряхтя, запустили-таки за круглый стол «Свободы». Позволили сказать столько, сколько хотели. Выехал, конечно, под давлением властей. Взгляды приличные, то есть антикоммунистические. Национализм? Есть национализм узкий, нехороший. А есть универсальный национализм, которого господам шустерам и ройтманам опасаться не следует. Вот, например, Солженицын...

Тут мой друг и прокололся по причине неинформированности. Именно в то время, когда был занят выколачиванием эмиграции, Солженицын из желанного гостя свободного мира превратился в первого подозреваемого на предмет этого

самого чрезвычайно подозрительного универсального национализма. И другой, еще ранее «выбравший свободу», уже строчил роман-донос прогрессивному человечеству о монархо-диктаторских умыслах вермонтского хитреца.

В свободолюбивую Францию, куда всей душой стремился мой друг, – туда его не пустили. Не прошел тест на общечеловечность дум и помыслов. Помотался, но в итоге както устроился-пристроился в другой стране. Когда теперь иногда приезжает, смотрится по-прежнему русским. Чего не скажешь о других наезжающих.

Мнение мое, конечно же, необъективно и, возможно, даже несправедливо, но что поделаешь, если, когда вижу в телевизоре Василия Аксенова или Владимира Буковского, с которыми лично незнаком, то будто бы даже удивляюсь тому, как хорошо они говорят по-русски. Потому что легко представимы в любой иноязычной компании или аудитории. А вот Георгия Владимова, свободно общающегося в среде иноплеменников, представить невозможно, хотя ни Аксенову, уехавшему по доброй воле, ни Владимову, покинувшему Россию, фактически спасая жизнь, к счастью, эмиграция трагедией не обернулась. Сам же я счастлив тем, что мне повезло – только повезло, и не более того – избежать такого поворота судьбы.

* * *

Но, возвращаясь в наши лагерные шестидесятые, еще несколько слов о контингенте.

Уголовники. Их было мало, и звались они «парашютистами». Кто-то в своей уголовной зоне проигрался в карты или «скрысятничал» – грозило суровое возмездие, и, чтобы его избежать, бывший вор или насильник срочно писал антисоветскую листовку, где непременно обещал перевешать всех коммунистов. Его судили по политической статье и перебрасывали в наши зоны. Такие, как правило, активно торговали кофе и теплыми носками, «стучали» на политических по мере способностей – были вполне безобидны.

«Бериевцы». Эти держались особняком, занимая все руководящие посты в так называемых «лагерных советах» при администрации. Периодически приезжала комиссия из Саранска, и кого-нибудь «миловали»...

Один из них, бывший министр внутренних дел Азербайджана в зоне под номером три – больничная зона в поселке Барашево – умирал на руках у меня и поэта Петрова-Агатова. Часа за два до смерти к нему полностью вернулось сознание, он подозвал нас и попросил «хоть глоточек какао». Какао в зонах отродясь не бывало. Но крохотные чудеса случались и у нас. Обежали бараки, у одного из умирающих туберкулезников какао нашлось, и не «глоточек», но полный стакан. После трех глотков предсмертная желтизна, уже пожравшая природную смуглость лица, будто подтаяла, лицо высвободилось от судорог, и минут через пятнадцать он тихо умер. То был мой первый «зонный» покойник. Потом их еще было...

Кстати, именно там, в больничной зоне, куда «залетел» по язвенной причине, я впервые начал писать всерьез. Чем-то меня, помнится, лечили, но главным «лекарством» был новокаин, каковой я поглощал чуть ли не стаканами – благо полно было этого новокаина. Однако ж более-менее безболевой была только одна поза – на кровати стоишь на коленках, на подушке лист фанеры, на фанере тетрадь. В такой вот малоэстетичной позе я написал первые свои рассказы и короткие повести, которые в 1978 году вышли в издательстве «Посев»[24] отдельной книгой под общим названием «Повести странного времени». Один из рассказов, чуть ли не первый из написанных, под названием «Встреча», и по сей день в некоторых школах провинции в программах чтения.

Любой бывший зэк моего времени (подчеркиваю – моего, а не сталинских времен) признается, что сохранил в душе массу истинно светлых и радостных воспоминаний о своем лагерно-тюремном бытии. (О дурном и тяжком мы тоже помним, но вспоминать не любим.)

Расскажу-ка я об одном вечере в той самой зоне под номером одиннадцать знаменитого и обильно утрамбованного человечьими костями Дубровлага, что в Мордовии, посредь лесов и таинственных лесных объектов, куда случайно забредший грибник или охотник домой мог возвратиться через недельку молчальник молчальником.

Это было 20 августа 1968 года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилёва[25]. Было воскресе-

нье – день нерабочий, и в нерабочий этот день намечен был нами, конкретно кем – и не припомнить, вечер памяти расстрелянного русского поэта, которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению зэки разных национальностей считали поэтом лагерным и, соответственно, своим. Таким культом почитания не пользовался в наши, послесталинские времена ни один из действительно лагерных поэтов: ни Слуцкий, ни Берггольц, ни Мандельштам. Удивительно ведь и другое: у Гумилёва нет ни одного стиха собственно о России, по крайней мере в том ключе, как это у Тютчева или Блока, у него вообще нет стихов о реальной жизни – вот уж, казалось бы, поэт-интер...

И вдруг как бы в диссонанс...

В Константинополе у турка
Валялся, скомкан и загажен,
План города Санкт-Петербурга –
В квадратном дюйме триста сажен.
И снова я как бы в тумане,
Мне снова больно, взор мой влажен...
В моей тоске, как и на плане, –
В квадратном дюйме триста сажен[26].

Как раз это стихотворение читал на том допоздна затянувшемся вечере мальчик-литовец (имени, к сожалению, не помню), арестованный за воинствующий литовский национализм.

Но по порядку. Основной состав участников, конечно, мы – бывшие члены питерской организации. К нам присоединялись еще по меньшей мере полтора десятка политзэков. Собирались мы сразу после ужина. По тогда еще сохранившемуся ритуалу, любое такое мероприятие начиналось тем, что мы, питерские подельники, вставали и исполняли наш гимн. Может быть, кто-то из других присутствующих не вставал, но я отчего-то этого не помню...

Месяцем раньше мы провели вечер Тютчева, и главным докладчиком по жизни и творчеству русского поэта был латышский поэт Кнут Скуинекс, тоже, соответственно, посаженный за участие в националистической организации. То есть мы поминали и чествовали людей, чьи имена – собственность мировой культуры, и, поскольку не припомню никаких принципиальных разночтений в толковании роли и

значения этих имен, смею утверждать о высочайшем уровне наших воскресных литературных бдений.

Вечер Гумилёва все же запомнился особо. Воспитанный на пушкинской поэтической традиции, нет, никак не могу я объяснить самому себе особую, родственную, слезовышибательную тягу к гумилёвским фантазиям и грезам. Может быть, сны... Ими щедро одарила меня природа. Всегда считал, что проживаю две жизни, и еще неизвестно, какая интереснее. Возможно, и он, Николай Гумилёв, тоже имел две жизни, только вторая определенно была интереснее и разнообразнее, и он не позволял по утрам своим снам разрушаться – имел такую особую волю, и тогда рождались эти, увы, не православные строки:

И пока к пустоте или Раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня![27]

Знать, что-то неискорененно языческое трепещет в сознании, скорее, в подсознании, не сопротивляясь, как я надеюсь, православному отношению к миру, и только слезно вымаливает у идеологизированной души скромного права на существование.

Но в тот лагерный вечер я читал другие стихи:

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что Кто-то нас забыл.
Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?[28]

И все же главным сюрпризом гумилёвского вечера было в полном смысле явление Андрея Донатовича Синявского.

Признаюсь, я плохо относился к этому человеку. Он был для меня воплощением того типа эстета, какового столь безжалостно в полном смысле «раздел» Кьеркегор, а ранее его – Гегель. Может, кто помнит в «Лекциях по эстетике»: «Перед нами человек, в котором все возвышенное заняло неправильную позицию по отношению к себе и людям...» Недоброжелатели вроде меня называли Синявского (за глаза, разумеется) «людоедом» – в том смысле, что вся-

кий человек бывал ему интересен только до той поры, пока интерес не иссякал. Тогда таковой интеллигентно «отшивался», попросту изгонялся из той узкой компании «интересных» людей, каковыми Синявский себя старался по возможности обставлять.

Помню сущую трагедию моего подельника А. Аверичкина, прибывшего в лагерь раньше всех, и как один из руководителей необычной политической организации тотчас же был приближен к Синявскому, в компании которого был тогда внук «дзержинца» Артузова-Фраучи[29], математик Рафалович, еще кто-то, кого не помню; и конечно, холуй – в общем-то добрый малый, влюбившийся в живого писателя, заваривающий на всю избранную компанию кофе, каковою в сей компании недостатка никогда не бывало; он же, этот парень, будил писателя, когда тот уходил подремать в сушилку, чтоб не опоздал на обед или на построение.

Аверичкин в организации Огурцова был самым засекреченным человеком, поскольку у него хранились наши вступительные анкеты и вообще вся информация по персоналиям. Ему же, Аверичкину, был сдан на хранение единственный пистолет системы «маузер» образца 1908 года. Думаю, что именно обнаружение при обыске оружия послужило главной причиной слома. Аверичкин расшифровал анкеты, дело это, видимо, было непростое, потому что разница в сроках арестов членов организации – более двадцати дней. Первый арест 4 февраля 1967-го, а меня забрали только 18-го, других еще позднее.

По мере того как история нашего провала становилась известна в лагере, личность Аверичкина начинала компрометировать «благородное семейство», и однажды нашего подельничка попросту не пригласили на очередное кофепитие.

Я не мог без сочувствия смотреть на сущее страдание этого в общем-то славного парня – с того дня Синявский мне стал неприятен, и при первой же возможности я высказал свое неприятие, когда, как мы поняли, в угоду иудею по вероисповеданию Рафаловичу «вся честная компания» уселась в столовой, не снимая грязных лагерных шапок с тесемками, чуть ли не плавающими в тарелках. Про нечесаные и немытые бороды уже и не говорю. Я отозвал в сторону «шурика», обслуживающего компанию Синявского, и

сказал: «Слушай, объясни нашим русским интеллигентам, вон тем, за столом, что если быть последовательными, то надо дозреть и до обрезания».

Хамство мое сработало. Шапки все сняли. Долгое время мы с Синявским только едва кивали друг другу, благо бараки наши были расположены в разных концах зоны. Друг Синявского по несчастью Юлий Даниэль к этому времени, как не поддающийся перевоспитанию, уже был переведен в наказательную, так называемую малую семнадцатую зону, где впоследствии мы с ним подружились и не раз вместе, валяясь на карцерных нарах, читали друг другу стихи с той лишь разницей, что те стихи, что читал я, он тоже знал наизусть, а из тех, что читал он, я не знал и трети.

Говорили мне позже, что до ареста был Юлий Даниэль этаким московским денди – любимцем дам... Не знаю. Не видел. В лагере Даниэль был солдатом, а по моим личным категориям – это высшая оценка поведения человека в неволе.

Синявский же ни в какие лагерные «хипиши» не встревал, держался сдержанно, с достоинством – как-никак за последние годы первый «посаженный» писатель! Еще на пересылке в Потьме (об этом мне позже рассказывал Даниэль), узнав, что в соседней камере сидят писатели, известнейший в тех местах вор в законе сумел подобраться к камере политических и торжественно вручил Синявскому авторучку со словами: «Бери, писатель, это тебе нужнее». Лагерные надзиратели, с которыми Синявский всегда был неизменно вежлив, отвечали ему тем же. И работенку ему подобрали блатную: по-лагерному – хмырь, то есть уборщик, подметала в мебельном цеху. Никто из политзэков на такую работу не пошел бы и по приказанию – придурок. На Синявского, однако же, это мнение не распространялось, и никому бы и в голову не пришло хотя бы взглядом укорить его – писатель, он и в зоне писатель!

Не изменив принципиального отношения к Синявскому, я, однако ж, был истинно восхищен его поступком, свидетелем которого оказался совершенно случайно.

В цехе готовой продукции нашего лагерного мебельного комбината наиболее искусные мастера изготавливали мебель для высших офицеров ГУЛАГа. Мебель, разумеется, была нестандартная ни по форме, ни по качеству. Отдельные экспонаты могли бы украсить правительственные

Юлий Даниэль.



резиденции. Оформлялось же все подобное через бухгалтерию лагеря «по ниже низшего».

Так вот, однажды, когда Синявский со свойственной ему меланхоличностью подметал территорию напротив центральных ворот вывоза продукции – этак неторопливо, влево метлой, вправо, шажок назад и опять влево-вправо, – в этот момент к воротам с крутого разворота подкатил грузовичок, из кабины выскочил подполковник МВД, из кузова пара солдатиков, не шибко накачанных, подполковник шмыгнул в проходную, и через пяток минут ворота цеха распахнулись изнутри. Солдатики кинулись в цех и вскоре объявились на выходе – красномордые от натуги, еле удерживая на полусогнутых диво-шифоньер: резьба на резьбе, под красное дерево, а возможно, именно из красного дерева, полировка – блеск, стекло – рифленое, ножки гнутые – загляденье!

Донатыч при этом стоял в стороне, опершись на инструмент, то бишь на метлу, и равнодушно взирал на происходящее, если слово «взирание» вообще соотносимо с тем способом, с каким Синявский смотрел на мир, ибо глазам его свойственна была этакая необычная косость – никогда не поймешь, на тебя смотрит или мимо...

И тут бравый подполковничек узрел бездействующего зэка.

– А ты чё стоишь? – заорал, да еще и матюгнулся.

– А вы что стоите? – спокойно, без малейшей издевки в голосе ответил Синявский.

У подполковника от дерзости раба даже шея упала в воротник. И далее последовал монолог, обещающий Синявскому такие кары, предусмотренные и не предусмотренные уставами ГУЛАГа, после чего уже более и ничего.

Я подошел к Синявскому, спросил достаточно громко:

– Чего это лейтенантик разорался?

Я лицо гражданское и имею право не отличать лейтенанта от подполковника.

– Пустое, – отмахнулся Донатыч и пригласил в сушилку отпить кофейку.

Но у меня были другие проблемы, и мы разошлись.

Конечно, кому-то другому такое поведение аукнулось бы карцером, лишением свидания, лишением «ларька»... Как пелось в одной песенке Клавдии Шульженко: «Их много в конвертах разных...»

Но писатель! К тому же чрезвычайно вежливый писатель... И Синявского перевели на зачистку стульев, работу, весьма опасную тем, что выполнить дневной план на «этом деле» было практически невозможно, а невыполнение плана – легчайший и прямейший повод к любому прочему наказанию. Синявский не роптал, но и не перенапрягался. Часто, проходя мимо него на обед, спрашивал: «Как план, Андрей Донатыч?» – «Хорошо, – отвечал он, глядя, как всегда, мимо собеседника, – уже вот пятый заканчиваю». И это при норме шестьдесят в день!

Но был и другой случай, который всю компанию Синявского на долгое время как бы вывел из «состава политических».

Что более всего потрясло нас, впервые прибывших в политический лагерь, так это строжайшая обязанность посещать по средам так называемые «политзанятия», на которых изучался знаменитый «Краткий курс истории ВКП(б)», как известно, редактированный лично Сталиным. А в качестве вспомогательного пособия – учебник по обществоведению для средней школы. Посещение политзанятий было объявлено элементом режима, следовательно, непосещение – нарушение такового. Высшая же мера за нарушение режима – суд и перевод в тюрьму, куда со временем многие из нас и по-

пали. Но не за политзанятия, а за политическую неисправимость. С политзанятиями же мы с первых дней повели борьбу. Сперва саботажным способом: приболел, опоздал, не слышал команды... Но надоело. И я однажды категорически заявил «отрядному»: «Не пойду!» Меня тут же кинули в карцер, что оказалось последней каплей терпения всех политических, независимо от «идеологии» и национальности. Мои подельники объявили забастовку, кто-то – голодовку, но сотни других, не прибегая к крайностям, завалили «штаб» лагеря соответствующими заявлениями о готовности и к забастовкам, и к отказу от выполнения режима «вообще»!

Такого массового политического солидаризма в политлагерях не было с пятьдесят шестого года, и лагерное начальство «сдало взад». Меня досрочно выпустили из карцера, а всех так называемых чисто политических по-тихому, «бесприказно» освободили от унизительной процедуры принудительного политвоспитания.

Единственные, кто не принял участия в кампании против политзанятий, были «синявцы». И наш Андрей Донатыч и после добровольно топал в среду после ужина в «секцию». Усаживался где-нибудь в сторонке, и его «отрядный» был ужасно горд, что писатель – вот он, туточки, и вопросик ему, как любому украинскому полицаю, или бендеровцу, или «бериевцу», можно задать по пройденной теме.

Кто-то рассказывал, что однажды «отрядный» задал-таки вопрос Синявскому:

– А вот пусть нам писатель скажет, как мы в прошлый раз проходили, что такое общество?

Синявский, приподнявшись, глянул мимо «отрядного», развел руками и ответил даже без намека на иронию:

– Знаете ли, представления не имею.

«Отрядному» плевать, имеет писатель представление или не имеет, важно, что он тут, что признает функцию «отрядного», что так или иначе, но отвечает на вопрос.

– Во как бывает! – на полном серьезе продолжал «отрядный». – Писатель, а не знает. Ну а ты, Шмалюк, знаешь, что такое общество?

Шмалюк (фамилию меняю – родственники живы) – в городе Ростове возил в газодушилке приговоренных к смерти, верзила без возраста, бывают такие в лагерях – вскакивает и отвечает бодро:

– А чего ж не понять, гражданин начальник! Общество – это когда народу навалом!

Поскольку Андрей Донатович Синявский жил среди людей, а не с людьми, думаю, он и не заметил даже того молчаливого бойкота, что был «недоговоренно» объявлен ему и действовал довольно долго, пока его не нарушил один из членов нашей бывшей организации, десять лет назад умерший, опять же бывший преподаватель питерского университета Николай Викторович Иванов. Вдруг увидели мы его на полянке в компании с Деруновым, Рафаловичем и, конечно, Синявским, распивающим кофе и оживленно общающимся...

Позже на наш взыск Н. В. Иванов ответил просто и для нас вполне удовлетворительно: «Пчела, к примеру, куда только свое рыло не сует, а в сотах что? Мед? Донатыч – потребитель человеков. И даже не по призванию, а по натуре. Мы же с вами не читали, что он там такого понаписал, за что посадили. Может, он всего-навсего Брежнева ж... обозвал. Не в писательстве дело. Важно, что на суде он держался, как положено, и потому здесь жить имеет право, как хочет. Общаться с ним мне по крайней мере интересно».

Но в это время сотрудники КГБ – кураторы лагеря – уже изготовили план разброса политзэков по степени их неисправимости и способности «отрицательно» влиять на других, не столь идейно упертых. Мы с Ивановым были в числе «изгнанников» из показательного лагеря под номером одиннадцать... Но до того мы провели вечер памяти поэта Николая Гумилёва, куда по настоянию Иванова был приглашен Синявский и всех нас удивил... Впрочем, на всякий случай буду говорить только о своем впечатлении.

Кто-то (не помню, скорее всего, Евгений Александрович Вагин) сделал короткий доклад о судьбах и Гумилёва-отца, и Гумилёва-сына[30], кстати, одного из немногих людей, не только знавших о существовании нашей организации, но даже будто бы, если верить Вагину, обещавшего однажды торжественно вручить организации офицерский палаш Николая Гумилёва. По крайней мере, такая легенда была популярна в организации...

Потом каждый читал свое любимое из Гумилёва. Много было прочитано. Конечно, и «Капитаны», и «Жираф», и «Рабочий», и «Та страна, что могла быть раем...»

(«Наступление»), и кто-то из литовцев великолепно прочитал «Царицу»...

Причуды памяти... Лицо помню, голос помню: «Твой лоб в кудрях отлива бронзы, как сталь, глаза твои остры...»

Во всем виноват Синявский...

Одиннадцатый лагерь в полном смысле был показательным в системе Дубровлага. В жилой зоне несколько волейбольных площадок, стадион, клуб с библиотекой, цветочные клумбы, за которыми ухаживали в основном так называемые «бериевцы».

Почти напротив каждого барака – беседки, где на скамьях по периметру могло разместиться не менее двадцати человек. В одной из таких беседок и проходил наш гумилёвский вечер. Синявский сидел напротив меня, лицом к закату... Пока другие читали стихи, я его даже не помню. Но вот дошла очередь до него. Он поднял на меня – я ж напротив – свои страшные, разносмотрящие глаза, потом как бы полуоглянулся, как мне показалось, людей вокруг себя не заметив, и сказал... Именно сказал с искренним недоумением в голосе:

> У меня не живут цветы –

ладони развел, –

> Красотой их на миг я обманут,
> Постоят день, другой и завянут...

И совсем глухо, даже хрипло:

> У меня не живут цветы.

Вскинулся своей вечно нечесаной бородой...

> Да и птицы... –

пауза, та же полуоглядка, –

> ...здесь не живут,
> Только хохлятся скорбно и глухо,
> А наутро – комочек из пуха...
> Даже птицы здесь не живут.

Я, конечно, знал эти стихи, но никогда не чувствовал в них никакого особого трагизма. Скорее этакий эстетский выпендреж...

> Только книги в восемь рядов,
> Молчаливые, грузные томы,

Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.

Ей-богу, меня потрясли эти «грузные томы», «словно зубы в восемь рядов»!.. Повторяю, я знал эти стихи, но книги... убивающие жизнь... во имя «вековых истом» – именно так «рассказывал» об этом Андрей Синявский.

Мне продавший их букинист,
Помню, –

тут он даже кивнул бородой, что, мол, и верно – помнит, –

...был и горбатым, и нищим...
...Торговал за проклятым кладби́щем
Мне продавший их букинист[31].

Не менее двух минут длилось молчание. Почему другие молчали, не скажу, не знаю. Лично же я был просто потрясен. Еще и потому, что не увидел, не уловил в манере чтения даже намека на театрализацию, чем грешили многие другие исполнители гумилёвских стихов. То было его личное, может быть, даже очень личное восприятие фантастической истории, придуманной самым странным русским поэтом – Николаем Гумилёвым.

Еще он прочитал «Заблудившийся трамвай» – «Шел я по улице незнакомой...». И это тоже звучало необычно...

В те годы я, безусловно, «необъективно» любил Николая Гумилёва, может, потому, что он помогал мне и жить достойно, и выживать достойно, и столь же достойно готовиться к уходу из жизни, как о том сказано в его стихе «Мои читатели». Строки, что приведу ниже, были на знамени моей молодости:

Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас», –
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,

Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Иногда мне очень хочется верить, что именно так я и прожил свою жизнь: когда надо, не боялся и делал, что надо; и ни одна женщина не заставила меня страдать больше, чем я сам того хотел; что, наконец, всю родную и странную землю непременно припомню, прежде чем предстать пред ликом Его, и хватит мужества для спокойствия...

Я благодарен Николаю Гумилёву за предложенный им проект жизни!

И нет же! Никогда книги ни в восемь, ни в десять рядов, что бы они там в своих рядах ни берегли, ни разу не посягнули они ни на что живое, со мной рядом живущее! Может, потому, что судьба не приводила меня к «проклятым кладбищам», вокруг которых бродят букинисты с книгами-убийцами за пазухой...

Мне кажется, что по самому большому счету я прожил легко и светло. И во многом благодаря расстрелянному поэту.

Судьба же Андрея Синявского, напротив, видится мне трагичной. Эмиграция его не состоялась настолько, чтобы говорить о ней как о некоем этапе жизни «на возвышение». Правда, мне мало что известно... Но слушая иногда его по Би-би-си, где он одно время «подвизался» на теме русского антисемитизма, отмечал, что даже в этой, на Западе столь «перспективной и продвигающей», теме он неоригинален в сравнении с теми же Яновым или Войновичем, которые «сделали себя», сумев перешагнуть ту грань здравого творческого смысла, за которой только и возможно подлинное бешенство конъюнктуры, что-то вроде финального акта стриптиза, когда зал взрывается ревом полубешенства-полуэкстаза.

Александр Янов сочинил историю фашистского альянса Политбюро и правой диссидентской[32] – что можно было в те годы придумать более нелепое и фантасмагоричное? Войнович, предполагаю, на почве исключительно личных комплексов, придумал псевдо-Солженицына, этакую взрывную смесь из Гитлера и иранского пророка, и препод-

нес Западу своего монстра на устрашение не всерьез, но в качестве «ужастика», что-то вроде «Кошмара на улице Русской». Зал взревел и зашелся в экстазе...

Андрею Синявскому ничем удивить Запад не удалось. Возможно, потому, что не было такой цели? Как не удивил Запад и Георгий Владимов. Возможно, и в том, и в другом просто возобладало чувство отвращения к конъюнктуре как таковой?

А потом эта безобразная склока между семейством Синявских и газетой «Русская мысль»[33]...

Помню, однажды на семнадцатой зоне во время не очень серьезного разговора о монархизме Александр Гинзбург сказал: «Я за монархию, если монархом будет Марья Розанова!» Конечно, шутка. Получив свой второй срок за защиту Синявского, Гинзбург с глубочайшим уважением относился к «Донатычу», а «Марью» почти боготворил... И вдруг эти чудовищные обвинения, пространные обличительные статьи...

Лично меня никак не «колыхали» все эти эмигрантские свары и склоки, ибо в них сама суть эмиграции политической. К тому же и Синявский своим журналом впрягся в антирусскую (именно антирусскую, а не антисоветскую) кампанию. Первый номер – в сущности, антисолженицынский; во втором одна из структурирующих журнал статей – против меня: нехороший я человек, слишком «нажимаю» на русское, а где слишком русское, там ищи антисемитизм; третий номер – очень нехороший человек Геннадий Шиманов...

Антирусская кампания «третьей волны» органично вплелась в «антирусистскую» позицию Ю. Андропова – нет, умысла не было, было другое. На одном общедиссидентском «сходняке» случайно услышал-подслушал: «И откуда повылезали эти русопяты?!» И верно, откуда? Столько лет интернационального воспитания, борьбы с великорусским шовинизмом, с великодержавным шовинизмом, с неославянофильством и прочими извращениями исторической концепции марксизма... В конце семидесятых по рукам ходил такой листок: «Памятка русскому еврею». Ее, как потом выяснилось, совершенно несправедливо приписывали литературоведу Эткинду, уехавшему в Израиль. Главным в «памятке» был призыв к евреям возвращаться на историчес-

кую родину. Но упрямо остающимся... особо запомнилась одна рекомендация: «Если где-то и кем-то с нажимом произносится слово *Россия*, то понимать это следует в единственном смысле – будь готов бить жидов!»

А между тем, чтобы покончить с этой темой, на территории нынешней, постперестроечной России за всю историю никогда не было ни одного погрома. Я с уважением и благодарностью отнесусь к любому, кто меня поправит.

Незадолго до смерти Андрея Синявского случайно прочитал его – по форме, наверное, эссе – в «Огоньке». С чем-то согласился, с чем-то нет, но общее впечатление было такое, что автор уже совсем не Абрам Терц, что с «литературными играми» покончено по причине элементарной усталости... И отчего-то сразу же вспомнился глухой, хриповатый голос, рассказывающий о том, что у него почему-то «не живут цветы»...

Издержки нелегальщины

Я точно помню год, день, час, даже миг, когда впервые взглянул-глянул на свою жизнь со стороны. И я знаю, с какой такой стороны случилось это поглядение. Со стороны Федора Михайловича Достоевского.

Летом 1968-го (месяц и день тоже помню), в зоне под номером одиннадцать гулаговского «острова» под романтическим названием Дубровлаг я вышел из полировочного цеха, где зарабатывал посредством доведения до блеска шкафов и шифоньеров необходимые для пользования лагерным ларьком пять рублей, вышел покурить, отошел от цеха на требуемое техникой безопасности расстояние и присел на свалке ломаных бетонных блоков, заросших крапивой и лебедой. Справа цех готовой продукции – грохоток погрузок-разгрузок; напротив диванный цех, там отчего-то вечно какие-то разборки – шибко шумливый мастер-вольняшка, к тому же бессмысленно завышенные нормы на перетяжку диван-кроватей; сзади – хоровой визг пилорамы... А здесь, на свалке давнего недостроя, удельно-отдельный уголок покоя, куда прочие звуки, конечно же, доносятся, зато по при-

хоти лагерной розы ветров не залетают разнообразные запахи мебельного производства. Здесь весьма ощутимый полынный запах, он генерирует антилагерные мысли, порой доводит их, если глаза закрыть, почти до «глюков».

...Открыл глаза и увидел, как промеж двух бетонных осколков не более чем на пару сантиметров объявилось-высунулось крысиное рыльце. Высунулось и застыло-замерло в постижении обстановки. Бездвижные коричневые глазки-точки будто бы вовсе не смотрели мир, но тоже слушали его вместе с крохотными ушками. Ушки же лишь едва ритмично подрагивали. Каждое вздрагивание походило на сброс информации: пилорама – не опасно, грохот подвозных тележек – не опасно, поезд с готовой продукцией заскрежетал вон из зоны – не опасно, у тамбура диванного цеха кто-то громко матюгнулся – далеко, не опасно.

Не просекаемый глазом рывок, и теперь полтуловища на виду, и опять долгая обработка информации с чуть ускорившимся ритмом подрагивания ушек...

Я свою позу на камне на предмет удобства заранее не обдумывал, затекла нога, но сидел не шелохнувшись, потому что крыса мне не понравилась. Мне не нравилось ее поведение. Меня раздражала бессмысленность ее бдительности. В правой руке уже потухшая папироса, рука на весу заныла. Но левой упирался в соседний расколотый бетонный блок, и прямо под пальцами шмот бетона, никакая бдительность не спасет, если не промахнусь. А она, тупое порождение свалки-пустыря, все бдит и бдит...

Опять, как двадцать пятый кадр, неуловимый глазом рывок, и теперь она вся наружу – бездвижна, головка с глазками-пуговками в мою сторону... Мы смотрим друг на друга. Глаза в глаза. Только я про нее знаю все, а она обо мне ничего. Более того, она меня не воспринимает как нечто отдельное от прочих особенностей ландшафта. Но ведь смотрит. Неотрывно. Может, память подсказывает ей, что прошлый раз, когда высовывалась, ландшафт выглядел по-другому, то есть не было меня? Тогда что я такое с точки зрения сохранения ее жизни?

Время перекура истекало, а я так толком и не покурил. Знал, эта тварь «перебдит» меня, по крайней мере, она в том уверена: если я «живое» – не выдержу, шелохнусь. Но у меня уже в руке камень, и в моем волении, как мне шелох-

нуться. Потому что я ее вижу по существу, а она – только по подозрению. У меня заведомое преимущество, предусмотренное самой природой нашего с крысой одновременного сосуществования во времени и пространстве.

Так чем же я, собственно, раздражен? Почему хочется кинуть камень? Попасть желания нет. Но есть желание кинуть...

И тут я вспомнил. Вспомнил, когда сам последний раз был крысой.

На следствии подсадили в камеру паренька. Славный, спокойный, эрудированный. До него был противный, с раздражающими привычками, – с ним было проще. Но и тот, тупой и злобный, и этот, поклонник поэта Асадова и писателя Аксенова, – оба «подсадки-наседки». Моя задача – подавать себя «наседам» так, как считаю выгодным в свете предъявленных мне обвинений. Потому я в постоянном бдении. Ответ на всякий вопрос и на каждую реплику мной мгновенно продумывается. В камере, которая и прослушивается, и просматривается, я подопытный. Но у меня есть фора – я знаю о своей подопытности...

Но у крысы, у нее тоже, как ей кажется, есть своя фора – реакция на уровне двадцать пятого кадра.

Тут же вспомнились прочие «крысиные» радости: как иной раз удавалось по мелочовке «обыграть» могущественные органы; как порой умело уходил от «наружки», хотя и тогда понимал, что если **им** очень надо – не уйти; как хитро запудрил мозги следователю по какому-то пустяковому пункту обвинения...

Но и другое вспомнил.

О ком более прочего любил читать в книжках? Об изобретателях и испытателях, о путешественниках и государственных мужах, знающих дело и умеющих его делать...

О всякого рода борцах-подпольщиках тоже любил читать. Одни из первых моих книг – «Молодая гвардия», «Черная Салли» – это о восстании Джона Брауна в Америке, «Артамошка Лузин» – об иркутском восстании семнадцатого века, и конечно, «Овод».

В 1950 году мои родители впервые повезли меня в Россию. Моя бабушка так говорила: Сибирь и Россия. В дорогу я взял «Овода». В Москве на Ленинградском вокзале отец с матерью пошли брать билеты на Питер, а я, обложенный

чемоданами, на скамье дочитывал «Овода», прощальное письмо к Джемме. Читал и плакал. Подошла женщина, спросила, все ли у меня в порядке. Только кивнул...

Через восемнадцать лет на следствии в питерском «Большом доме» перечитал... Задохнувшийся собственной злобой, до чего ж отвратным увиделся теперь он, герой моего детства! Сущая крыса! Но память о первом впечатлении из сознания никуда не девалась, не растворилась в новом, ином понимании, осталась рядом со всем тем радостным и приятным, что было в памяти о детстве.

Или вот еще: «Молодая гвардия». И по сей день ведь помню поименно по меньшей мере несколько десятков из той сотни мальчишек и девчонок, что немцы покидали в шурфы Краснодона...

...Я сижу на пустыре в стороне от полировочного цеха, а напротив диванный цех. Могу пойти туда и у заведующего «инструменталкой», бывшего рядового полицая Краснодона, спросить: «За что? Ведь ничего особенного они не сделали?» Он, «оттягивающий» свой четвертак за «Молодую гвардию», – я знаю, что он ответит. Скривится, рукой махнет. «Да-а-а,– прошипит зло, – наше дурачье из полицаев... Захотели перед немцами выслужиться... Раздули дело...» Его ответ мне не ответ.

А вечером в жилой зоне под деревянным крашеным грибком буду играть в шахматы с бывшим бургомистром Краснодона Стеценко. Антигерой моего детства, теперь дряхлый старик – вот он, напротив меня. Привидение! Он одного не может себе простить: что по просьбе сына всем будущим «молодогвардейцам» выбил освобождение от работ в Германии. Не выбил бы, не было бы никакого Фадеева с его романом, а сам он, Стеценко, давно бы уже вышел по амнистии, потому что кровавых дел за ним не числится, хозяйством занимался. Ему подобных давно освободили, а он подыхай тут... Так и случилось – в зоне умер.

О встречах в лагере с антигероями фадеевского романа я написал в девяносто втором году в журнале «Москва» и через некоторое время получил длинное письмо от того самого сына краснодонского бургомистра, который, будучи близким другом молодогвардейца Земнухова, выхлопотал у отца всем земнуховским друзьям освобождение от «остарбайтер». О судьбе своего отца он ничего не знал. Длинно

высказывал свою пожизненную обиду на Земнухова, который не доверился, не посвятил его в «молодогвардейские» дела, но только использовал...

«Молодогвардейцев» покидали в шурфы. Овода расстреляли. Джона Брауна повесили...

Да, истории о государственных и государевых людях читались в детстве с особым интересом, с хорошей завистью ко всему, что свершалось во благо людей независимо от характера эпохи. И себя видел делателем и никогда «протестантом», бунтовщиком или уж тем более «лишним человеком».

Но истории о борцах за правое дело и за него же погибающих, знать, в какую-то особую нишу души западали на долгое сохранение, чтобы быть востребованными по первому зову...

Когда в 1956-м, после лукавых хрущевских откровений, впервые почувствовал себя выпадающим из общего строя и настроя, тогда-то вдруг джинн бунта и протеста, высвободившийся из той, потаенной, ниши, заговорил во мне языком Овода: «Клятвы – чепуха. Не они связывают человека. Если вами овладела идея – это все!»

Тогда-то и начались двоения, основательно измотавшие.

...Как любить мне Тебя, непонятную?
Как мне мстить, не поранив Тебя?..

Беспомощности своего рифмоплетства всегда стыдился, но это был способ своеобразного проговорения проблемы-боли, после которого легчало. Ведь еще предстояло умыкнуться от другой проблемы, не менее чреватой духовным распадом. Предельно точно выраженной я нашел ее в одной строке Байрона, хотя эта строка в общем-то не о том...

My very love to Thee is hate to them.
(Моя любовь к Тебе – это ненависть к ним.)

Любовь что? Она в душе да душевных помыслах. А ненависть, она ведь, прямо скажем, в руках. Действия, продиктованные зудом ненависти в ладонях, могут первую часть байроновского уравнения свести до призрачного состояния.

А «выпадение» меж тем углублялось и усугублялось, и психология «человека подполья» уже выстраивала свою си-

стему ценностей и интересов. Интересы и ценности сами по себе были в меру и правильными, и праведными, а поскольку еще и шли вразрез с общепринятыми, то многое легковесное и легкомысленное в характере автоматически вычищалось.

И подлинным везением в этом смысле было мое «попадание» в 1965 году в военно ориентированную организацию Игоря Огурцова. Редактирование жизненного стиля происходило в «солдатском» направлении, а не просто в диссидентском. Все личное, не исчезая, отступало на вторые планы, выдвигая на первые дисциплину и духовно-идейно ориентированную целесообразность суждений и поступков.

Однако мой арест в 1967-м прервал это иное жизнестроительство на стадии освоения формы. Когда сознание, спустя какое-то время, более-менее вписалось в состояние неволи, беспощадная рефлексия справедливо вычленила из недавнего подпольного бытия ту самую «крысиную» составную, каковую я и опознал однажды, сидя на бетонной свалке посреди рабочей зоны мордовского лагеря политических заключенных.

Возможно, именно по причине душевного отталкивания от (говоря языком современной политологии) «крысиной парадигмы бытия» решил тогда считать себя не заключенным, но военнопленным – и таковым решением многое выправил-выпрямил в кривизне своего жизненаправления, за что позже и от друзей, и от недрузей получил едва ли справедливую характеристику максималиста...

«Бесы» я прочел поздно, в двадцать девять лет, в ленинградском следственном изоляторе. Потрясение было великим.

Однако общее впечатление от романа (по крайней мере, от первого его прочтения) никак не соотносилось с личным образом жизни и образом мышления – то есть не с содержанием помыслов и устремлений, коих и ныне не стыжусь, но с самой психологией бытия, в которой, как в питательной среде, формировалось принципиальное отношение к окружающему миру.

Принципиальность... Если еще точнее – последовательность, а фактически все же именно максимализм – вот, пожалуй, тот безраздумно абсолютизированный ориентир, на который настраивалась душа, когда, как сто, и двести, и

триста лет назад, «страданиями человеческими уязвлена стала».

Не мог я в те годы догадываться о банальности подобного умонастроения, да и сегодня готов оговориться в том смысле, что банальность банальности рознь, тем более что «выпадание» человека 1960-х ли, 1970-х ли из системы «советского поведения», как правило, случалось отнюдь не по принципу личного выбора, но чаще всего по стечению обстоятельств, каковые как раз возможности выбора и не оставляли. И не подозревая о сути с ним происходящего, набив определенное количество шишек на лбу, тот или иной еще вчера «простой» или не очень «простой советский человек» однажды обнаруживал себя в роли почти сознательного оппозиционера.

Все дальнейшее зависело от особенностей характера. Человек или замыкался в своей оппозиционности на территории кухни, а за пределами ее цинично «играл по общим правилам», или, покидая территорию, пытался так или иначе реализовать свою оппозиционность через общение с себе подобными.

Цинизм – безответственная форма душевной свободы. Но именно люди этой породы оказались в итоге более подготовленными к смуте, ибо никакие принципы не связывали им руки. Не связывали *до того*, и они успешнее прочих сумели пробиться в информированные и властные структуры общества, и уж тем более – *после того*, когда рухнули всяческие преграды к инициативе самореализации под лозунгом «Однова живем!».

Партийные и комсомольские секретари мгновенно превратились в «полевых командиров» новой русской смуты. И «органы», вдруг утратившие смысл своего существования, тоже отнюдь не остались в стороне от общего мародерства.

Но здесь все же разговор о маргиналах, то есть о ничтожном меньшинстве тех, что в шестидесятых или семидесятых, однажды обнаружив себя «не в строю», в той или иной форме «закучковались», имея наивную надежду так или иначе противодействовать «безыдейщине» как симптому распада. Всякое же «кучкование» автоматически ведет к «нелегальщине», к подпольному или полуподпольному образу жизни. О грустных издержках такого образа бытия – об этом я пытаюсь говорить...

Рассказ об одном случае из личного опыта «нелегальщины» избавит меня от лишних рассуждений по данной теме.

Я ехал из Москвы в Питер, вез друзьям два номера мною тогда издаваемого, то есть «самиздатского», журнала «Московский сборник» – название сознательно заимствовано у К. П. Победоносцева. Антисоветчины журнал не содержал. Советчины тоже. Но в том и был его «криминал»... В чемоданчике были еще с десяток статей разных московских авторов-полулегалов все на ту же тему, каковая была жирным шрифтом пропечатана на титульном листе «Московского сборника», – проблемы нации и религии.

«Наружка» в те дни «пасла» меня в открытую, удалось уйти, и на Ленинградский вокзал я прибыл в уверенности, что чист, то есть «без хвоста». Билет взял в вагон «СВ» – из тех же конспиративных соображений. Минут за пять в купе вплясалась – именно так – девица в «поддатом настроении», что меня сразу встревожило не на шутку...

За несколько дней до того пришла информация, что один из лидеров украинского сепаратизма, некто по фамилии Черновил, находясь в ссылке в Якутии, был «с подставой» девицы обвинен в попытке изнасилования, а как выкрутился из сей подлой ситуации – не сообщалось. Способ «выкрута», как правило, существовал один – компромисс с «органами». Это если они хотели именно компромисса, а не чего-либо иного.

Растрепанная девица плюхнулась на сиденье напротив. Пока просто тараторила, я еще надеялся на случайность. Но когда из сумки достала уже початую и лишь слегка приткнутую пробкой бутылку вина и предложила «додавить» с горла... Я был не в панике – был почти в параличе... «Сначала давай поцелуемся, тебя как зовут...» Тут «с горла» (стаканы стояли рядом) она отхлебала по меньшей мере треть содержимого и протянула бутылку мне. Выкинуть бутылку в приоткрытое окно? Поезд только тронулся, кому-нибудь по голове... Да и что это изменит... До бутылки я дотронуться не успел: приоткрылась дверь в купе, и парень лет тридцати, высмотрев ситуацию, дверь захлопнул.

Только однажды в жизни со мной было нечто подобное. Лет в тринадцать. Болтался без дела по Китайской пади в родном Прибайкалье. Недавно научился хорошо, громко свистеть. Взял да свистнул. А из-за корневища упавшего ке-

дра с ревом взметнулся страшенный медведище. Показалось, конечно. Наши байкальские медведи-муравьятники не крупны. Сердце упало в желудок – ниже желудок не пропустил, много черемши перед тем съел. Когда глаза обрели свет, а ноги – способность двигаться, я наверняка установил какой-нибудь рекорд. Назавтра с охотником, завхозом нашей школы, пришли на место. Оказалось, что медведь от моего свиста обгадился, чего со мной, несмотря на весь страх, не случилось...

Как только закрылась дверь купе, я понял, что мне конец, что они уже за дверью и только ждут...

В случае с Черновилом девица, ворвавшись к нему в комнату, начала рвать на себе одежду и кричать, и это услышали «случайно» проходившие мимо «сотрудники» с понятыми.

Не знаю, поймут ли меня читающие эти строки, но тогда, в те минуты-секунды, было ощущение «конца всего». Ведь я-то ни на какой компромисс не пойду...

Вот сейчас она начнет орать... Да, уже изъявила желание подсесть рядом... И что бы я сейчас ни предпринял – все бесполезно!

Вдруг снова приоткрылась дверь купе, снова тот же парень, только теперь он не спешил исчезать, он поманил меня к себе – в том было что-то нетиповое. Пальцы в судороге на рукояти чемоданчика – так, с чемоданчиком, чуть ли не бегом, только б подальше от девицы – я кинулся к двери, появилась хилая надежда, что выкручусь. В коридоре никого. И тут просяще жалобным тоном, полушепотом он рассказал мне, что еще на вокзале кое о чем договорился с этой девицей, а взять билет в «двухместный» не успел, и не буду ли я столь добр, не поменяюсь ли с ним местами, правда, у него купированный, а не «СВ», но он готов доплатить сколько угодно.

Буду ли я добр! Да я был готов все свои копейки выскрести из карманов! Я мчался по поездным тамбурам куда-то в хвост поезда, лихо хлопая дверями. Было чувство, будто я только что снова народился на свет в этой тамбурной полутьме.

До самого Питера не спал. Восторг спасения (именно так, было ощущение спасения) сменился отчаянием. Пережитый мною унизительный, парализующий страх словно

перечеркивал, превращал в ничто все мои, казалось бы, добрые и нужные поступки и намерения, взывал к памяти – я должен был, обязан вспомнить нечто важнейшее, имеющее объяснение тому мучительному состоянию стыда, что не давал уснуть, отвлечься, забыться.

Вспомнил! Вспомнил крысу на свалке близ полировочного цеха на одиннадцатой зоне Дубровлага и впервые осознал, что по стечению всех обстоятельств, из каковых складывается жизнь, до конца дней своих обречен я на «крысиный» образ жизни.

Не очень искренно захотелось назад, туда – в зону, где все отношения с «ограниченным контингентом» людей и ограниченным жизненным пространством просты и однозначны, где нет нужды ни в эзоповом языке, ни в «эзоповом поведении», где, наконец, под могильным холмиком остался человек, которого полюбил, как самого родного, – Юрий Галансков, рыцарь нелегальщины, воспитанник московской полубогемы, на несколько порядков превосходивший себе подобных мужеством и душевной добротой, которую, правда, нужно было уметь увидеть, почувствовать, угадать за внешней грубоватостью и небрежностью общения.

О да! Он сумел бы высмеять эти мои «поездные страсти» и все столь далеко идущие умозаключения, нашел бы простейшую формулу, сводящую к пустяку «многострочные уравнения» относительно смысла жизни «человека подполья», он имел дар видеть жизнь светло и радостно, он, измученный болезнью и в итоге погибший под ножом лагерного хирурга-самоучки. В камере Владимирской тюрьмы услышал о его смерти. Месяц ждал опровержения...

Между прочим, именно там, во Владимирской тюрьме, я заново перечитал «Бесы» Достоевского. Отдельные главы по нескольку раз. «Бесовщина» как неизбежное следствие нелегальщины, подпольного образа жизни, и та самая «крысиная парадигма» – вот что было на этот раз предметом моего интереса. Сразу после Достоевского – «На ножах» и «Некуда» Лескова. И еще «Панургово стадо» Крестовского. Редчайшие книги на воле, в библиотеке Владимирской тюрьмы они имелись и были зачитаны в полном смысле до дыр.

В итоге этого чтения было принято заведомо невыполнимое решение: после освобождения более никакой неле-

Поэт Юрий Галансков
(1939 – 1972).



гальщины! Сейчас даже не припомню, как это я себе представлял. В конкретности, скорее всего, никак, потому что ни понятия не имел, ни воображения, что ожидает меня на так называемой «воле».

Впрочем, нет. Информацию, конечно, имел. В столицы и крупные города, в города портовые и «стратегические» – запрет; работа по профессии – запрет; любая форма общения с официальной прессой – запрет. Но зачем мне столицы, порты и пресса? Мне бы до Байкала добраться, там-то уж не пропаду!

Позже прочитал автобиографическую книгу В. Буковского. Есть там у него одна глава... Ее только и помню. Прекрасно написанная глава. О том, как заключенный, «уходя» от тюремной реальности, строит в своем воображении замок, как выбирает местность, как рассчитывает количество необходимого материала, как обустраивает интерьер... Открывает «глазок» надзиратель и видит – заключенный на месте... Но «вертухай» в обмане. Нет никого в камере, потому что заключенный в это время заканчивает кладку последней башенки прекрасного замка, что возвышается где-то за тридевять земель от распроклятой России. Душа В. Буковского давно уже была там, за тридевять... Кампания за его освобождение, возглавляемая самоотверженной женщиной – мамой, явно близилась к успеху. Буковский совершенствовался в английском языке, а власти

прощупывали варианты «либеральных игр» с Западом, отчего-то вдруг страсть как озаботившимся судьбой инакомыслящих в Стране Советов.

И все у В. Буковского получилось, как хотел. В отличие от меня, потому что я тоже...

Запада как места жительства для меня не существовало, и строить замок – такое и в голову не могло прийти.

Потому я – уходил в тайгу. В какой-то из тюрем попалась мне книга академика В. А. Обручева о его геологических исследованиях. Рассказывает он о том, как в 1912 году обратились к нему два сибирских купца с просьбой исследовать одну прибайкальскую падь на предмет золотоносности тамошней речушки. По счастливой случайности я знал эту падь, что находится километрах в двадцати от другой знаменитой пади, откуда вырывается на Байкал самый страшный ветер-ураган под названием сарма. Обручев подробно описывает путь, которым добирался до места, и путь этот мне тоже был известен. Попутно академик в деталях разъясняет технологию старательского промысла, вплоть до перечисления необходимых для того материалов и инструментов.

Заключение купцы получили положительное, но началась Первая мировая, потом революция... Падь так и осталась нетронутой.

И если Буковский проводил сложные математические расчеты по использованию строительного материала для замка, то я вел весьма нехитрые подсчеты необходимого «первоначального капитала» для экспедиции в золотоносную байкальскую падь. Со стороны, если бы такая сторона существовала, – чистая шизофрения! Листки бумаги, где столбцы: лодка – 20–30 рублей; ружье – возьму у брата; гильзы, порох, пыжи, свинец, пистоны – 50 рублей; мука, соль, жир... И так далее.

У Буковского была фантазия, имеющая хотя бы теоретический шанс на полную реализацию: положим, какой-нибудь «мистер-твистер» подкинул борцу с тоталитаризмом солидную сумму; или книгу написал об ужасах большевизма, и весь Запад «в отпаде».

У меня же был чистый бред. Широка страна моя родная, много в ней лесов... Только и участковых немало. Загребли бы меня с моей справкой об освобождении в первой же де-

ревушке. Понимал? Конечно. Но бред мой, как и у Буковского, был «уходом» из камеры. И не только от надзирателей, но порой и от сокамерников, это когда «одиночка» – мечта загоризонтная.

О плодотворности камерного общения, о напряженной духовной жизни в четырех шлакобетонных стенах я расскажу в другом месте и по другому поводу. Здесь же говорю об усталости от общения. Из одиннадцати лет двух сроков заключения около девяти я провел в камерах. Иные и по четвертаку отсиживали в «крытках». Я же устал от девяти.

Девять лет облегченного режима

18 февраля 1973 года, отсидев свою «шестерку», освобождался из Владимирской тюрьмы. Освобождался под гласный надзор и обязан был к определенному числу прибыть к месту приписки – глухая деревенька в Белгородской области, где в то время проживали мои вконец обнищавшие родители-пенсионеры. Крохотная хатка под соломенной крышей – в Сибири отродясь такого не бывало. Или я уже не застал...

Но несколько дней в резерве у меня было, и за эти дни я успел съездить на могилу Юрия Галанскова, посотрудничать в осиповском журнале «Вече»[34] и жениться. С первой женой расстались мы еще до моего ареста.

Далее лишь обозначу географию и хронологию моих девяти лет свободы, или, как говорили старые зэки, пребывания в большой зоне с облегченным режимом.

1973-й год – сибирская тайга; 1974-й – подмосковная станция Ворсино по Киевской дороге; 1975-й – опять тайга; 1976–1978-й – прославленные Веничкой Ерофеевым Петушки; 1979-й – Москва; 1980-й – опять тайга; 1981–1982-й – Москва, новый арест и пятнадцатилетний срок.

За эти девять лет непрестанных поисков средств к существованию я успел: написать четыре повести; после развала, а затем и разгрома первого русского самиздатского журнала «Вече» как бы в продолжение традиции издать три номера «Московского сборника»; принять самое активное

участие в спасении от топора кедровника в Тофоларии, что на юге Иркутской области.

Главное же, пожалуй, – за эти годы я умудрился полностью утратить тот воистину фантастический оптимизм, с каковым в 1973-м освобождался из Владимирской тюрьмы. Бравым «поручиком Голицыным» вышвырнулся я из стен Владимирского централа. «Капитанишкой в отставке» забирали меня «органы» в 1982-м. И хорошо, что «забрали». Экстремальность ситуации способна возрождать человека, выпрямлять ему позвоночник, возвращать глазам остроту зрения, а жизни смысл, когда-то отчетливо сформулированный, но утративший отчетливость в суете выживания.

* * *

По «теме» выживания несколько эпизодов. Петушки, 1976 год... Но коли уж Петушки, то попутно несколько слов о «прославленце» сего местечка Веничке Ерофееве[35].

Дважды я встречался с ним. Когда впервые – он был трезв. Сразу понял, почему взрослого мужика зовут ласково – Веничкой. Милый, добрый, остроумный и... светлый! Что-то неуловимо есенинское в чертах. Не очароваться им было невозможно. В это время как раз в очередном номере журнала «Вече» публиковалось его эссе «Розанов глазами эксцентрика». Прочесть я еще не успел, но уверен был – талантлив. Бывает же так: смотришь на человека, ничегошеньки о нем не зная, и уверяешься – талантлив!

Вторая встреча – лучше б ее никогда не было. Растрепанное, грязное, облеванное, бессвязно мычацее существо...

Только ли это русское явление, когда умного, доброго, талантливого, но достаточно бесхребетного человека непременно облепляют разного рода упыри-проходимцы-бездари? Кажется, с Есениным было именно так. Что до Венички, то многие его нынешние «захваленцы» – те самые упыри, что споили, фактически загнали в могилу, но прежде того «внедрили» в его талант микроб распада.

Рискну предположить, что мировой известности знаменитые «Москва – Петушки» обязаны в немалой степени тому, что воспринимаются они как убедительное свидетельство прогрессирующей «порчи» русского человека и русских вообще. «Нация, погибающая от пьянства» (А. Безансон).

Притом и пьянство понимается, естественно, отнюдь не как первопричина, но как следствие «генетического усыхания» и готовности уйти из истории. Единственное, что тревожит «прогрессивное человечество», – не хлопнет ли уходящий дверью!

* * *

Итак, после нескольких лет мотаний по Подмосковью и Прибайкалью решил я, насколько это можно, прочно осесть на «сто первом» километре, то есть в Петушках, поскольку именно там появилась возможность купить по дешевке дом, да еще и с участком не меньше чем двенадцать соток, правда, давно заброшенных. Тысячу дал мне А. Гинзбург из Фонда Солженицына, жена продала единственную свою драгоценность – кольцо с каким-то камнем, и еще помог оригинальный публицист самиздатских времен добрейший Геннадий Михайлович Шиманов. Он же со своими друзьями облегчали нам с женой муторошь с переездом и первым обустройством на новом месте.

Купленный нами дом находился на улице, непроезжей даже после небольшого дождя. Однажды приехавший в гости на своем «Запорожце» Георгий Владимов вынужден был бросить машину где-то между станцией и вытрезвителем. Пока мы «духовно общались», заинтересованные лица закинули в бензобак «Запорожца» сахар. «Обстреливая» трассу, Владимов все же сумел доползти до Москвы и после утверждал, что никакая другая машина не пережила бы такой диверсии – стакан сахарного сиропа слил из бензобака при ремонте.

Жену перед тем «внаглую» уволили из НИИ информации по строительно-дорожному машиностроению, где она трудилась редактором. Уволили за обман отдела кадров – не поставила в известность, что беременна. Злой как пес, я поехал туда «разбираться», но наткнулся на такую «непосюстороннюю» уверенность в правильности действий кадровика, что даже забыл обхамить его при расставании.

В Петушках мы оказались без средств к существованию. Дико разросшаяся по участку клубника какого-то особого сорта – то был наш первый заработок. За «двадцатку» сдали однокомнатную квартиру жены в Москве, где я по по-

нятным причинам не имел права жить. Что-то по мелочи подкидывали родители со своих пенсий, пока я мотался по Петушкам в поисках работы. Участковый не помедлил с предупреждением о статье за тунеядство...

Все приемчики по отказу в работе мне были известны. Самый распространенный из них – некий подзаконный акт, согласно которому человека с высшим образованием не разрешалось принимать или разрешалось НЕ принимать на работу малоквалифицированную. Поскольку в действительности тысячи людей с высшим образованием трудились где попало, то, похоже, сия полутайная инструкция была сочинена исключительно для мне подобных. В период моих мытарств по Киевскому направлению в 74-м году мне отказали в работе сцепщика подряд на всех станциях от Москвы до Малоярославца. В Балабаново я пытался устроиться в пожарную охрану при известной Балабановской спичечной фабрике. Местный кадровик подписал с радостью, еще бы! Две трети состава «охранников» – бывшие уголовники. Но охрана – это же МВД. В Боровске соответствующий эмвэдэшник без колебаний наложил на мое заявление резолюцию: «Отказать». На мой вопрос «почему?» ответил торжественно: «Вы не вызываете у нас морального доверия!»

Тут, однако же, и оговорюсь. В какие бы тяжкие ситуации по выживанию я ни попадал в годы моей «свободы», всегда и непременно находился человек, хороший человек, который поступал «вопреки» и спасал меня. Более того, со временем я даже уверовал в то, что, какую бы пакость мне судьба ни подготовила, надо только наткнуться на «хорошего человека», и все устроится.

На той же Киевской дороге после дюжины отказов в отчаянии объявился я у начальника кадров, что близ Киевского вокзала. Кто такие начальники кадров солидных ведомств? Известно – бывшие гэбэшники. Таково было, по крайней мере, «общественное мнение» на этот счет. Ничего доброго от этой встречи я не ожидал и разговор начал весьма сердито... Выслушав меня, хмурый мужчина пенсионного возраста спросил: «А на станцию Очаково вы обращались?» – «Но это же Москва! Если меня в Балабаново не взяли...» – «А вы все-таки загляните в Очаково, только на меня не ссылайтесь».

Отделаться от меня решил начальничек – таково было мнение. Но через неделю приехал в Очаково, был принят, проработал успешно полтора года и был ценнейшим помощником составителей поездов, поскольку составители к середине смены, как правило, «насасывались» вина из винных цистерн, и я с удовольствием работал «в одно лицо», что строжайше запрещено, да только составы ждать не могут...

В Петушках я тоже начал поиск работы с железной дороги и вскорости наткнулся на объявление о нужде в осмотрщиках вагонов – есть такая работа, не требующая специального обучения. Начальник петушковского депо охотно подписал заявление и направил меня во Владимир, в отдел кадров дороги. Была пятница, в субботу съездил в Москву, нахвастался, что нашел работу за сто шестьдесят рэ – хвастаться имел глупость по телефону. Потому, когда в понедельник предстал пред очи «желдоркадровика», получил ответ: «Не возьмем». – «Почему?» – «Потому». Рассвирепев, я потребовал: «Тогда будьте любезны, здесь вот, на уголочке, черкните, по какой причине вы мне отказываете вопреки согласию начальника депо». Улыбнулся ласково кадровик и ответил: «Писать я ничего не буду, а вот вызову сейчас наряд и оформлю тебя на пятнадцать суток за хулиганство! Запросто!» – «Вас понял», – ответил я и спешно ретировался.

Напомню, что было мне в том, 1976 году тридцать восемь лет. Правда, в силу какого-то почти физиологического оптимизма чувствовал я себя по меньшей мере на двадцать восемь, то есть так, словно вся жизнь была еще впереди, потому и стиль, и слог теперешних воспоминаний заведомо не соответствует душевному состоянию тех лет, когда все проблемные ситуации, даже порой внешне безысходные, лишь провоцировали энергетику преодоления. Откуда что бралось – теперь уже не вспомнить и не понять. Может быть, писательство, что стало уже привычкой к тому времени, может, оно «оптимизировало» жизневосприятие? Но я же знал, что мне никогда не опубликоваться в СССР. Запад? Да кому я там нужен! К тому же я никогда не был в восторге от своих писаний, потому что был человеком начитанным, то есть умел сравнивать... Каких-либо «политических потеплений» не предвидел и не предчувствовал. Скорее наоборот...

Единственное – дал мне Бог в напарницы жизни женщину, перед жизнью страха не имевшую совершенно, но хочется думать, что я и сам бы... и один... Только кто знает!

В пользу желаемой «самости» свидетельствует ассоциация мытарств в семидесятых с одним эпизодом детства, когда в тринадцать лет я, катаясь на коньках по тончайшему, трехдневному по происхождению байкальскому льду, провалился в сотне метров от берега и не имел ни единого шанса на спасение. Лед попросту крошился под руками. В тяжелейшем овчинном полушубке, в валенках с примороженными для крепости к ним коньками, я тем не менее вопреки всем физическим законам вскарабкался на лед, после даже и простуды не поимев. Единственное подлинное чудо в моей жизни. Оно уместно бы сказать – Господь хранил! Только, как выяснилось, никаких великих дел к свершению мне уготовано не было, и, слава Богу, я к ним никогда и не прицеливался.

Ну, еще, пожалуй, два эпизода из времен «петушинского» бытия.

Родилась дочь, росли долги, а найти работу не удавалось. С первых дней по приезде я встал на учет в комиссии по трудоустройству. Через месяц женщина, что ведала направлениями по заявкам, уже искренно сочувствовала мне и, не дожидаясь очередного моего прихода, отправляла по почте открытку, если где объявлялась вакансия на непрофессиональное вкалывание. Чего там, постоянно требовались слесари, сантехники, столяры, шоферы. Требовались еще сторожа и экспедиторы, что с окладами в шестьдесят рэ, но эти строгоответственные должности были для меня закрыты.

Однажды получил не открытку, как обычно, а письмо. «Леонид Иванович, – писала добрая женщина, – вот это, может, Вам подойдет, я звонила, говорят, что несложно. Правда, зарплата всего 70 рублей, но лишь бы зацепиться. Так ведь?»

В городскую больницу требовался «оператор-хлораторщик». Понятия не имел, что это, но тут же помчался в другой конец Петушков, моля Бога об одном: чтоб главврач оказался на месте.

Он оказался. Симпатичный мужик. Как обычно, поведал ему про специфику моей биографии (все равно рано или

поздно узнает), сказал – нужда, хоть на грабеж иди. Трудовую мою он даже не раскрыл, положил на середину стола между им и мной. «Давайте так, – говорит, – сначала сходите на место, посмотрите. Думаю, что вы не сможете там работать». – «Господи! – отвечаю. – Готов на все, что в пределах моих физических и умственных возможностей!» – «Есть еще кое-что третье, – улыбается загадочно. – Сходите. Если решитесь – хоть завтра на работу». Объяснил, как отыскать сие рабочее место, к кому обратиться. А обратиться надо было к некоему дяде Саше, каковой, скорее всего, спит в будке после очередной пьянки.

Был январь, мороз около пятнадцати. Поблуждав по территории больницы, я наконец отыскал будку-сарай. Из трубы, что дырявила фанерой забитое окно, валил дым. Дядя Саша, мужик лет пятидесяти, в телогрейке и косматой собачьей шапке, был явно с похмелья, но вполне контактен. Моему появлению обрадовался, предложил только что закипевшего на печке-самоделке чайку, и я не отказался – и потому, что замерз, и в целях общения...

Пообщавшись «за жись», пошли к рабочему месту. Каменное круглое строение метров восемь в диаметре и пара метров в высоту, крылечко, дверь. Из объяснения понял, что там, внутри «кругляка», скапливается все, что вытекает из хирургического и родильного отделений. По проекту все это должно каким-то образом фильтроваться, хлорироваться и самоуничтожаться, но поскольку ничего не работает, то моя задача – все это собирать обыкновенным сачком, закидывать в мешки и, пересыпав хлоркой, закапывать в ближайшем лесочке. По средам этого лучше не делать, потому что санэпидстанция шастает по территории.

«Там, конечно, вонишша, – пояснял дядя Саша, – но я как... я грамм двести поддам и захожу, и все по кочану!»

Меня уже слегка подташнивало, но когда зашли!.. Дядя Саша еще что-то толковал, я же был близок к обмороку и от вони, и от сознания того, что мне здесь не работать. Еще много лет после того, когда по той или иной причине к душе подступало отчаяние, я вдруг начинал ощущать этот запах, а перед глазами возникала косматая шапка дяди Саши, пошитая из шкуры какой-то косматой собаки.

Лишь в конце третьего месяца поисков работы я наконец пристроился завхозом и по совместительству кладовщи-

ком в петушковской санэпидемстанции с окладом 120 рублей, отчего счастлив был безмерно.

Числа десятого декабря 1976 года к калитке моего дома подошла женщина, сказала, что из милиции, и сообщила милицейское распоряжение: в ближайшие субботу и воскресенье сидеть дома и никуда не выезжать с места прописки.

На вопрос: «Чего это ради?» – ответила: «Так надо».

В ближайшие выходные я никуда не собирался, но я ж не под надзором, потому возмутился и попросил передать родной милиции мое искреннее «начхание» на сие распоряжение. Дама обещала передать.

Утром следующего дня я обнаружил в почтовом ящике повестку в милицию на «двенадцать ноль-ноль». В милиции дежурный, глянув на повестку, сказал, что мне надо в десятый кабинет. Вот он – десятый. Никакой таблички. В кабинете «родные, знакомые лица», которые не спутаешь ни с какими другими. Тот, что за столом, представился оперуполномоченным КГБ, второй, на стульчике рядом, ни больше ни меньше – прокурор района.

– Леонид Иванович, у нас к вам просьба. Подчеркиваю, именно просьба. Девятнадцатого декабря в Москву не ездить.

– Почему?

– Вы же знаете, какой это день.

– Николая Чудотворца.

– А верно! – подтвердил райпрокурор. – Только это еще и день рождения Леонида Ильича Брежнева. Так можете нам обещать?

– До вашего Леонида Ильича мне нет никакого дела, это во-первых, – отвечаю, – а во-вторых, я не под надзором.

– Значит, нет?

– Значит.

– Тогда мы вынуждены будем принять меры. – Это опер мне. А я, соответственно, прокурору:

– Гражданин прокурор, сколь законно такое заявление?

Прокурор улыбается и говорит:

– Леонид Иванович, я вам гарантирую, что никаких незаконных мер против вас предпринято не будет.

– Тогда я пошел?

– Что ж, очень жаль. Вы свободны.

– Вот именно! Разве нет?

Гордым я выходил из отделения милиции. А на следующий день в почтовом ящике повестка. Только уже не в милицию, а на четырехмесячные армейские сборы. В соответствии с... При себе иметь... Явиться в райвоенкомат города Покрова 19 декабря... к... В случае неявки...

То была полная катастрофа! Жена с грудным ребенком на руках. Родители... Заняв у правозащитницы Людмилы Алексеевой 1900 рублей на несколько лет в рассрочку, я перевез к тому времени родителей из белгородской хатенки, что под соломенной крышей и с глиняным полом, в маленький, но настоящий домик в деревне Аннино, что недалеко от Петушков. Мать была больна. Как вскоре оказалось – смертельно. Жили они разведением кроликов, которые периодически массово дохли... Долг, кстати, я выплачивал аж до 1981 года какому-то доверенному лицу Л. Алексеевой после того, как она эмигрировала... И горд, что выплатил до копейки.

В те же дни – ну воистину, хоть вой! Ведь еще к тому же в эти четыре месяца зарплата выплачивается только наполовину!

Съездил к отцу, попросил, чтоб наведывался. В Москву позвонил друзьям – обещали наезжать.

19 декабря ранним автобусом отправился в Покров и прибыл в райвоенкомат к десяти часам, как того требовала повестка. Дежурный предложил посидеть подождать. Сидел ждал, читал книжку. Через пару часов спросил: «Что дальше?» Дежурный предложил посмотреть вместе с ним телевизор. Смотрели. Еще через час заявил, что хочу есть. «Так столовка рядом, сходи». Сходил. Щи, биточки, компот. Потом снова сидел, читал книжку. Час, другой... «Так что, может, мне в кино сходить?» – «Сходи». Когда часам к пяти вернулся, дежурный сказал сочувственно: «Ну чё, измаялся, да? Езжай домой. Повестку отдай».

«Счастливый» финал этого эпизода совершенно перечеркнул всю предыдущую маету, так что через день мы с женой с юмором комментировали его. А ведь и верно! Никаких незаконных действий предпринято не было, и да здравствует соцзаконность!

Через некоторое время меня снова пригласили в десятый кабинет раймилиции. Кроме уже знакомого опера там

оказался подполковник из владимирского КГБ, который сказал, что приехал специально для того, чтобы сделать мне предложение. Суть предложения заключалась в следующем: если я по-прежнему пребываю на враждебных позициях к существующей власти, то рано или поздно снова окажусь в лагере, потому в этом случае логично было бы эмигрировать. Если, как это нынче принято, мне некомфортно «отбыть» по израильской визе, КГБ готов рассмотреть другой вариант. Если же я принципиально не желаю эмигрировать, то мне следует пересмотреть некоторые свои позиции, и в случае такового пересмотра КГБ готов помочь в жизнеустройстве. Есть, к примеру, хорошая работа в суздальском музее, проблема с жильем тоже решаема.

Предложение было истинно джентльменское. Никаких подписок. Исключительно устное обещание не принимать участия в действиях, каковые могут быть квалифицированы как антисоветские. Немедленного ответа не требуется.

Что и говорить! Был я весьма смущен сделанным предложением. Правда, только одной его частью. Как раз в это время мой бывший сокамерник по Владимирской тюрьме Анатолий Радыгин писал из Штатов, где трудился на конвейере пластмассового завода, что готов помочь с трудоустройством на том же заводе, что надо пользоваться ситуацией и уезжать, что иначе «сяду»...

В том году уже потянулись на Запад первыми птичьими клинами правозащитники семидесятых и демократы шестидесятых. А не оценившие «джентльменства органов» уже начали заполнять камеры Лефортовского следственного изолятора.

Но тогда я еще не знал, что подобные собеседования проводились с большинством «инакомыслящих» всех сортов. Тем более что большинство уехавших тактично умалчивали о предыстории своей эмиграции, объявляя себя изгнанными, выдворенными по политическим мотивам, обретая таким образом многообещающий статус непоколебимых борцов с режимом.

Но сам-то? Если применить условно-сослагательное наклонение, то есть предположить, что в те столь «смутительные» дни мог я достоверно знать, что через несколько лет буду приговорен к пятнадцати годам, фактически до конца жизни, и при этом **не** знать, что отсижу из них только пять...

Не был я готов к такому варианту, потому мог элементарно струсить и сбежать. Уехавших по той же причине не сужу. Другое дело – как многие из них там повели себя и как сегодня подают себя общественному мнению.

Георгий Владимов, возглавлявший одно время Российское отделение «Эмнести интернэшнл»[36], сокрушался, помню, по поводу того, какие «доброхоты» вдруг валом повалили в его организацию, еще вчера обещавшую срок заключения, а теперь ставшую трамплином для «политической» эмиграции.

Моя же личная «смута» – ехать, не ехать – продлилась две недели. Наклюнулась работа в эпидемстанции, и проблема снялась сама собой. Запомнился только ужас при мысли о том, что если уеду, то никогда не увижу больше своих родителей, дочери (от первого брака), родины вообще и Байкала в частности.

Заканчивая главу этим эпизодом, я делаю как бы особую отметину в биографии, имея в виду, что, сложись все иначе, дальнейшая моя судьба... и ныне решительно не представима.

Похвальное слово «органам»

За без малого тридцать лет «полунелегальщины» имел я не менее сотни «контактов» с представителями Комитета государственной безопасности – от лейтенантов до генералов. Поскольку все эти «контакты» были, как говорится, «по делу», то в большинстве случаев какие-либо личностные характеристики моих «контактеров» удавалось скорее угадывать, чем отчетливо фиксировать. То есть всякий раз передо мной была скорее функция, нежели личность.

Однако множество случайных или неслучайных встреч с прочими людьми напрочь забылись и порой вспоминаются лишь по какой-нибудь ассоциации, в то время как каждый «контакт» с представителем «органов» помнится ну как будто вчера, и при том ничто ни с чем не перепутывается: время, место, обстоятельства, последствия – все живо памятно и хронологически выстроено.

Самая отчетливая картинка – это мои первые допросы в 1957-м. На меня, студента первого курса истфака Иркутского госуниверситета, заведено дело по «антисоветчине», но я не арестован и даже не на «подписке», меня попросту «таскают» на допросы после лекций. Поставивший на себе крест, я более всего трепещу за судьбу моих «кружковцев». Саша Дулов, сын уважаемого профессора истории, Наташа Симонова – дочка начальника иркутского гарнизона... И остальные... Всех их я «вовлек», «заговорил» обязанностью нашего поколения «докопаться до полной правды в культе личности»... Я – инициатор. Они – жертвы моей инициативы. Так подает «дело» следователь майор Анфисов, и в этом я с ним полностью согласен. Но только в этом...

В полутемной комнате в углу стол. Свет настольной лампы нацелен неопределенно между мной по одну сторону стола и Анфисовым по другую. Задавая вопрос, он, как-то через голову закидывая руку, направляет свет мне в лицо и держит руку на лампе до конца моего ответа, потом отводит свет на середину стола и пишет. Не по делу, а от природы хмурый брюнет лет сорока, совершенно непредставимый с улыбкой на физиономии, он и голос имеет соответствующий – ровное, глухое гудение без хрипотцы и без всяких амплитуд.

Вопрос: признаете ли вы, что такого-то числа там-то в присутствии таких-то распространяли клеветнические измышления на руководителей партии и государства, в частности на Климента Ефремовича Ворошилова?

– Да нет же! – отвечаю искренно. – Я просто пересказал слова Хрущева на двадцатом съезде, что Ворошилов был членом суда над советскими генералами, которые были несправедливо осуждены и расстреляны.

И так далее.

В конце допроса читаю в этом месте: «...да, я признаю себя виновным в том, что там-то и в присутствии... действительно распространял клеветнические...»

Я возмущен. Я не подпишу!

Удар ладони по столу так, что абажур настольной лампы опадает...

Анфисов вырывает листки из моих рук. Безэмоционально рычит:

– Так и зафиксируем. От подписи отказался. Завтра в десять ноль-ноль сюда... как штык... дежурный! вывести!

В час ночи я иду через весь Иркутск от улицы Литвинова домой на улицу Чкалова... Я шокирован, я возмущен нечестностью поведения сотрудника доблестных органов, я продумываю технологию завтрашнего выражения моего возмущения...

Но назавтра дежурный ведет меня на третий этаж, заводит в просторный, светлый кабинет, вежливо предлагает присесть на диван и немного подождать... Минут через десять появляется подполковник, он присутствовал при моем задержании, у него красивая фамилия – Мятежный.

Подполковник Мятежный, симпатичный, русо-седовласый, весь как из кино про разведчиков, увидев меня, радостно улыбается, руки раскидывает.

– А, Леня! – говорит, садится рядом на диван и вдохновенно пересказывает мне будто бы только что услышанное по радио сообщение о новом важном решении советского правительства по внеочередному осчастливливанию граждан первого в мире государства рабочих и крестьян. – Слушай, Леня, – говорит Мятежный, по-отечески обнимая меня за плечи, – вот ты про Никиту Сергеевича басню написал, а хочешь, поспорим, что лет через пять ты будешь удивляться тому, как ты о нем думал? Я тебе, считай, по секрету скажу, а ты уж сам решай, болтать о том или не стоит. Знаешь, кто такой в действительности Никита Сергеевич? Он, – Мятежный перешел на доверительный шепот, – он, если хочешь, первый обычный нормальный русский мужик у власти. Через пару лет ты поймешь, что я имею в виду. Между прочим, ты знаешь, что вчера в Иркутск прилетел Лазарь Моисеевич Каганович? Ага, слышал. Ленинского призыва партиец. В общем, настоящий... Так вот, вчера на обкоме он рассказывал о некоторых планах на ближайшее пятилетие.

Картинно откинулся на спинку дивана, закинул русовласую главу, мечтательно улыбаясь.

– Жизнь, Леня, будет интереснейшая! Так что по-дружески скажу, не валяй дурака, зачеркивай так вот, крест-накрест, всю эту свою нынешнюю историю и начинай жизнь заново! Какие твои годы!

И тут без перехода подполковник Мятежный закатывает наизусть не менее чем на полстраницы (к сожалению, не помню, что именно) из Гоголя. Что-то про русский харак-

тер... Потом еще о великолепных личных качествах Лазаря Моисеевича...

Через месяц, исключенный из университета и из комсомола, вызванный на «прощальное» собеседование, я узнаю, что свободой обязан не кому-нибудь, а именно Лазарю Моисеевичу. На втором заседании обкома первым пунктом повестки было «дело Иркутского университета» – мое дело. Но Лазарь Моисеевич спешил и предложил «скинуть» это дело на «суд общественности». Что было вторым пунктом повестки, я узнал через три года, когда после мотаний по Сибири с грехом пополам поступил на истфак Улан-Удэнского пединститута. Был приглашен в военкомат для профилактического собеседования на предмет моей «остепененности» и готовности реализовывать личное бытие в форме простого советского человека.

Опять подполковник, то же сплошное дружелюбие и та же предрасположенность к «рискованному» откровению. Оказывается, сталинский прилипала Лазарь Моисеевич приезжал в Иркутск позондировать почву поддержки уже в то время задуманному плану свержения Хрущева, верного ленинца, подлинного любимца партии. Каганович же, «мы-то это знали», отродясь был сплошь аморальным типом... «Не для общего пользования вот вам один пример». Любил Каганович приходить на работу до того, как появятся секретари. Придет придурок и нахаркает во все чернильницы. А потом в дверную щель смотрит, как секретари мучаются с перьями, смотрит и хихикает. А Маленков – это же был такой обжора. Даже в Кремль приезжал со специальным врачом, который ему три раза в день клизмы ставил. Ну, чтоб пожрать на полную катушку. Против Никиты Сергеевича ни один нормальный член партии не пойдет. Только такие, как Каганович, переродившиеся. Как говорится, в семье не без урода. У Сталина, как мы теперь все знаем, ошибки были... Так что Никита Сергеевич по большому счету первый настоящий преемник Ленина.

Пройдет десять лет, и однажды в кабинете следователя, где я, арестованный по делу ВСХСОН, – на допросе, появится начальник следственного отдела ленинградского КГБ полковник с отличной фамилией – Сыщиков. Склонится над протоколом допроса, что перед следователем на столе. Ухмыльнется, крупной круглой головой покачает.

Пред тем я только что на вопрос о причинах негативного отношения к Советской власти апеллировал к материалам знаменитого XX съезда партии. Сыщиков дружески положит на плечо следователя руку, значимо прищурится в сторону зарешеченного окна и скажет тихо, не мне, а так, в порядке общения с сослуживцем:

– Н-да... Если бы этот... – Пальцем другой руки ткнет в страницу протокола. Этот – значит, Хрущев. – ...если б этот... еще, ну, лет пять, скажем... Такого натворил бы... За десять лет потом не расхлебать.

Затем пристальный, строго-справедливый взгляд на меня, как на щенка, по глупости и озорству облаявшего своего доброго и строгого хозяина.

– Знаешь, что я думаю...

Это опять не мне, а следователю.

– ...Мы виноваты. Да, да. Мы.

В голосе самокритичное сокрушение, во взгляде на меня – забота от носа до бровей.

– ...Пока вот этот...

Еще раз пальцем в протокол, то есть Хрущев.

– ...пока он куролесил, мы упустили целое поколение. Да... Упустили...

Полковник скорбно склонит голову и молча вынесет свою скорбь вон из кабинета. Следователь тоже не менее минуты будет пребывать в позе роденовского «Мыслителя» и лишь потом, проморгавшись, встряхнется с тяжким вздохом и скажет тихо:

– Так. Вернемся к нашим баранам.

Пройдет пятнадцать лет, и в кабинет Лефортовского следственного изолятора войдет мой очередной следователь подполковник Губинский со сдержанным, но отчетливо зримым торжеством на славном русском лице и при исключительном изяществе всего своего гражданского одеяния. После моего наводящего вопроса ответит, не соря словами:

– Да, Юрий Владимирович теперь генсек. Пора в стране наводить порядок, Леонид Иванович. Хватит! Никаких больше обменов и выдворений. С диссидентством все. Могу даже сказать, кто будет следующий. Шафаревич, к примеру...

И наконец, через семь лет на заправке случайно (или не случайно) я встречусь с «опером» – капитаном (или майо-

ром?) Яковлевым, очень даже симпатичным русским мужиком, который в свое время «вел» мое дело в оперативной стадии, затем «обеспечивал суд», то есть стоял в дверях и не пускал в зал суда кого не положено, а в восемьдесят седьмом исполнял формальности по моему освобождению. Исполнял их так же добросовестно, как и все предыдущие, не выказывая при этом даже тени недружелюбия. Более того, помог мне с первой литературной публикацией... Эта маленькая, но по-своему фантастическая история стоит того, чтобы о ней вспомнить.

Шел 1987-й. В соответствии с горбачевской демократической эйфорией я был освобожден в числе прочих политзаключенных особым помилованием верховных судебных органов. Помилован – то есть милостиво прощен во грехах перед все еще существующей Советской властью. «Прокаженность» оставалась в силе. Не могло быть и речи о работе в школе, например. С работой вообще была бы проблема, когда б не издательство «Посев», каковое к этим годам сумело организовать переводы моих писаний в нескольких европейских странах и фактически прежними энтээсовскими каналами[37] перебросить мне кое-какие гонорарные деньги, что позволило хотя бы временно не озадачиваться проблемой заработков.

После осторожного прощупывания политико-психологического состояния издателей «толстых» журналов выяснилось, что соваться, как в народе говорят, с кирзовой мордой в хромовый ряд бесполезно. Советские писатели еще вовсю бдели относительно имиджа лояльности. За полгода до моего освобождения покойный ныне поэт Алексей Марков тщетно пытался собрать подписи писателей за мою свободу. Подписали Олег Волков, Вячеслав Кондратьев да Белла Ахмадулина. Принципиально отказавшихся не упомяну...

Однако ж соблазн прорваться в официальную прессу был весьма велик, но имел при том скорее спортивный характер, потому что большая часть мною написанного, вовсе не являясь так называемой «антисоветской чернухой», тем не менее никак не вписывалась по тем временам в диапазоны прозаической тематики.

И я пошел другим путем. Один мой знакомый, имевший какое-то отношение к газете «Литературная Россия», изъ-

явил готовность показать тогдашнему заму главного Юрию Идашкину несколько моих рассказов – анонимно. Якобы я забыл подписаться, а он знает меня только по имени. Рассказы были выбраны предельно нейтральные, и, прочитав их, зам выразил готовность напечатать их все поочередно.

Как-никак – это уже было признание, и, лично встретившись с Идашкиным, я откровенно поведал ему, кто я есть по статусу и положению. Никак не выявив своего отношения к полученной информации, Идашкин заверил меня, что на редакционном обсуждении будет твердо за публикацию.

Как я узнал позже, он в тот же день прозвонился в КГБ, и оттуда явился в редакцию мой бывший «куратор» К. Г. Яковлев и не только дал добро, но и собственноручно помог составить «врез», то есть краткую информацию об авторе, как это предусмотрено правилами публикаций. «Врез» был исполнен изящнейшим образом, в полном соответствии с неопределенностью общей политической ситуации: родился, обучился, имел профессию и... трудную судьбу. И разумеется, в газете публикуется впервые. Заметим, именно в газете, а не в стране. Корректность, скажем прямо, поражающая своей адекватностью «переходному моменту».

Обнаглев, я отдал «Третью правду» в «Наш современник», но получил вежливый отказ. Редакция не сочла возможным «поднимать данную тему силами прозы». Через два года «Третью правду» все же напечатал там ставший главным редактором С. Ю. Куняев.

Но возвращаюсь к моему «куратору» К. Г. Яковлеву. Итак, весной 1992-го мы столкнулись на заправке. Выглядело это как встреча двух хорошо знакомых и давно не видевших друг друга людей. За несколько минут общения я успел напомнить ему те свои предположения относительно возможного развала страны, что высказывал когда-то, пытаясь выяснить позицию его ведомства относительно уже ощутимых катастрофических тенденций. Он, помнится, попросил меня в тот раз в его присутствии воздержаться от отрицательных суждений о Генеральном секретаре, то есть о Горбачеве. Он по-прежнему осознавал себя солдатом охранного отряда партии.

Теперь молчал, неопределенно кивая. И лишь прежде чем захлопнуть дверцу своей машины, вроде бы этак в по-

лушутку крикнул мне вслед: «Ничего, Леонид Иванович! Как разваливали, так и восстановим»!

Больше мы с ним не встречались. Моя попытка навести о нем справки успеха не имела.

Как и большинство моих бывших «соратников» по Социал-христианскому союзу, после «отсидки» за участие в нем я более не предпринимал никаких действий по воссозданию организации. И причиной тому было не только убеждение в невозможности серьезного нелегального строительства.

При четком осознавании неизбежности краха коммунистической государственности полностью у меня, по крайней мере, отсутствовало предчувствие сроков этого краха. Оно вроде бы и неудивительно, если даже пресловуто-знаменитое ЦРУ пребывало в этом отношении в полном неведении. Злокачественной опухоли в коммунистическом организме удалось законспирироваться столь успешно, видимо, потому, что она, опухоль, не имела какого-либо конкретного центра, но и «центр», и «периферии» успешно мутировали синхронно в одном направлении.

Все было бы куда как проще, если бы имел место заговор, положим, или хотя бы совокупность неких осознанных действий со стороны группы лиц или отдельных ведомств – социальных организмов, – тогда бы не затронутые мутационным процессом лица или социальные организмы смогли бы предпринять превентивные меры или хотя бы обозначить и озвучить проблему...

Игорь Огурцов, создатель питерской подпольной организации, и обозначил, и озвучил, но услышан и понят не был, потому что, видимо, его прозрение было равнозначно пророчествам, каковые осознаются и признаются только по факту свершения.

Замечательная Татьяна Петрова каждое свое выступление заканчивает словами популярной патриотической песни: «Встань за веру, русская земля!»

И зал всякий раз встает. Это все, на что он способен. За веру. Потому что земля уже давно не имеет веры.

В этой же песне слова о России: «Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал!»

Увы! Это «предательство» свершилось многим ранее, уже столетие тому. Да и тогда это не было собственно предательством, но национальной трагедией, в причинах каковой многие пытаются в наши дни добросовестно разобраться.

А песня... Что ж... Она как бы дистанцирует исполнителей и слушателей от тех, кто уже в самом процессе катастрофы сделал сознательный выбор не в пользу России исторической, от тех, кто приложил руку к усугублению трагедии, от тех, в ком обычное шкурничество затмило все прочие человеческие чувства, от тех, кто и по сей день длит смуту в откровенно корыстных целях. В какой-то мере это дистанцирование нужно. Для упрощения ситуации – как математическое уравнение, каковое, чтобы его решить, надо сначала упростить. С другой стороны – фиксируется позиция, которая в некотором смысле уже сама по себе обязывает...

* * *

Упомянул о корысти, и значит, самое время вернуться к заявленной теме «похвалы “органам”».

Уникальнейшее спецподразделение, сотворенное коммунистической властью, ни в коей мере не соотносимо оно с учреждениями разведки и контрразведки в иных странах, поскольку названные функции для ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ всегда были вторичны. И если уж с чем сопоставлять великолепный продукт коммунистической идеи, так разве что со жреческим сословием времен египетских фараонов или с орденом иезуитов – с одной, однако, непременной оговоркой: никогда, даже в самые «энкавэдэшные» времена, «органы» не имели автономии от верховной власти, но были ее прямым формопродолжением.

Если социализм мог существовать и тем более развиваться исключительно в тоталитарной ипостаси, то есть при жесточайшем контроле за идеологическим состоянием народа, то и сам народ, исповедуя социалистическую идею, был по-своему заинтересован во всякого рода чистках и зачистках идеологических нечистот. И именно таковая взаимная заинтересованность являлась главным сущностным содержанием лозунга о единстве партии и народа, ибо лишь господство единоверия могло обеспечить те великие завоевания социализма, каковыми и сегодня спра-

ведливо гордятся коммунисты «перестроечного призыва», сознательно или бессознательно отделяя сами достижения от способов достижения, без которых они просто были бы невозможны.

И верно, как только натяжение единства провисло, ослабло, тотчас же и началась эпоха так называемого застоя, затем породившая агонию.

Пиковым же периодом российского социализма следует считать годы где-то от тридцать девятого по сорок пятый. Война, как это кощунственно ни прозвучит, явилась великим подарком социалистической идее, ибо весь пропагандистский аппарат был нацелен на внедрение лозунга защиты именно социалистического отечества. В некоторых современных исторических трактатах прошлая война объявляется походом капиталистического Запада на социалистическую Россию. И доля истины в том, безусловно, есть, хотя справедливости ради следовало бы перед тем добросовестно рассмотреть историю «похода» социалистического Коминтерна на весь несоциалистический мир. Это во-первых. Затем – победой в Великой Отечественной войне оправдывается вся предшествующая специфика утверждения социализма в отдельно взятой... Дескать, когда б не сталинская суровость в 30-х, не устоять бы в 40-х...

Что ж, когда б русский царизм имел златые горы монархического чувства, не бывать социализму. Вместе с Англией и Францией Россия принимала бы капитуляцию Германии после Первой мировой, и тогда даже самый захудалый состав дипломатов, понимая важность европейского равновесия, не позволил бы довести Германию до того унижения, каковое через десять лет породило реваншистский психоз, нацизм и все последующее...

И до того русские бывали и в Берлине, и в Париже в роли победителей, навечных друзей они там не приобретали, но врагов остепеняли весьма...

Так что все, что произошло в двадцатом веке с человечеством, и положительное – антиколониальный процесс, уступки мирового капитала мировому труду (умно учились на чужих ошибках), и самое ужасное – Вторая мировая, – все напрямую связано с социалистическим экспериментом в России, для нее, для России, оказавшимся в итоге почти что роковым. Почти – потому что еще не вечер...

И не диво ли, что сегодняшним «невечерним» судорогам возрождения российской государственности мы обязаны тем самым бывшим «жрецам» социализма, каковые по примитивно понимаемой логике предшествующих событий должны были бы и «вдрызь искаяться», и начисто раствориться в беспредельном потеплении и затоплении теплокровным либерализмом всей угловатой несуразности российско-советского бытия.

Шаблонное политологическое мышление – вспомним – каких только кошмаров оно не предсказывало лет десять назад: гражданская резня да еще в национальном окрасе; натовские миротворческие десанты и резервационное обособление Московии чуть ли не в пределах Московской кольцевой; «красная контрреволюция» и повсеместная народная расправа с демократами-разрушителями – все виделось равновозможным на фоне катаклизма мировой державы.

Равновозможность взаимоисключающих социальных решений – это и есть типовые признаки гражданской смуты. Изживание смуты начинается с сокращения списка ожидаемых или допускаемых вариантов социальной реализации. Как правило, первыми «отпадают» самые желаемые и самые нежелаемые варианты, и соответственно маргинализируются полюсные политические силы. В растерянности отсидевшиеся во время пика смуты и, следовательно, сохранившие по причине невостребованности социальную энергию автоматически выдвигаются на первый план, и далее уже все зависит от множества еще вчера казавшихся вторичными обстоятельств, каковыми будет сопровождаться обращение бытия смуты в государственное бытие.

В нашем случае «отсидевшимся» политическим кланом оказались те самые «органы», на вполне справедливом обличении каковых сделали себе «работающий имидж» многие зачинатели и вдохновители смуты из интеллигентского сословия, их, «органов», собственные «предатели», поспешившие искренно или конъюнктурно отмежеваться от родной, а точнее – родимой структуры.

В итоге сегодня именно «распроклятые органы» оказались инициаторами пока еще, к сожалению, только судорог государственного возрождения. Но свежи в памяти судороги распада, и кто-то сравнивает и колеблется, кто-то в ожи-

дании и в готовности к работе... А кто-то, кому смута – кормушка, тот в готовности к сопротивлению. Каждому свое...

Свое было и у меня, когда в начале 80-х верховной властью в стране овладел Ю. Андропов.

Явление Ю. Андропова на вершине коммунистической пирамиды было воспринято мною как тревожнейший симптом того, что страна входит в период хронической безысходности. В моем понимании Андропов самим фактом «вспрыга» на пирамиду как бы «официально» зафиксировал абсолютную неспособность добровольно потеснившихся коммунистических старцев-правителей сохранять то разболтанное статус-кво, что уже тогда именовалось застоем, то есть длительной паузой перед...

...А далее додумывать не моглось и, признаюсь, не хотелось, не до того было. Мне искусно изготавливали фактически пожизненную неволю. Помню одну фразу, сказанную следователю: если государством призван на руководство полицейский, то это значит, что у государства больше нет государственных резервов. Следователь-латыш, самый глупый из всей следственной группы, ничего не понял, лишь зафиксировал антисоветскость высказывания.

Но я-то имел в виду некую концепцию, до каковой когда-то додумался. Смысл ее в том, что полицейское сознание в позитивном значении этого словосочетания строго функционально и государственному сознанию объемно не равно. Полицейский может знать о государстве больше всех вместе взятых правительственных лиц, но знание сознанию рознь, и потому самый талантливый полицейский никогда не должен подниматься на верхнюю ступень власти, и коли такое случилось, знать, все худо в датском королевстве...

Что до Ю. Андропова, то, как ныне принято говорить, по информации, не подтвержденной независимыми источниками, то есть по слухам, будучи в свое время послом в Венгрии, проявил себя Андропов там далеко не лучшим образом.

В сущности, кем был посол Москвы в стране, полностью Москве подвластной? Хозяин. Андропов не сумел предотвратить уже ставшие «немодными» расстрельные политические процессы, сыгравшие известную роль в последующих трагических событиях; информация, поступавшая от него в Центр, не отражала всей сложности сложившейся политической си-

туации, то есть как человек, ответственный за подвластный регион, Андропов, угождая кремлевским настроениям, по сути, дезинформировал Кремль, поставив его затем перед фактом неподконтрольного хода событий.

Повторюсь, таковы были слухи, исходившие от людей, вместе с Андроповым работавших в Венгрии в 50-х.

Когда Андропов возглавил КГБ, то уже через год о нем говорили как о марксистском догматике, склонном к антирусским и антицерковным настроениям. Считалось, что именно с его благословения большой нынешний демократ А. Н. Яковлев выступил в начале 1970-х в «Литературке» с погромной антирусской и антиправославной статьей-инструкцией[38], и его же, Яковлева, Андропов сделал козлом отпущения, срочно сплавив на посольскую работу, когда «ропот» по поводу статьи дошел до ушей Брежнева.

Еще в 1970-х ходил слушок о заигрывании Андропова с некоторыми «оттопыренными» интеллигентами, и объяснение тому было простое: к тому времени «железный занавес» оставался «железным» уже только для «простых советских людей», страна, сползая в долговую яму займов, вынуждена была все чаще и чаще принимать западные правила игры; так называемое Хельсинкское совещание-соглашение позволило московским евреям в их борьбе за право на эмиграцию вполне успешно шантажировать власть известной «поправкой Джексона».

В целях сотворения положительного общественного климата на проклятом Западе начались продуманные и просчитанные «десанты» московской полуфронды в европы и америки. Как раз они, наши литературные гастролеры, создали Андропову на Западе имидж этакой загадочно-неоднозначной личности. Первый интеллектуал у власти – это уже потом, когда взошел... (Вспомним: Хрущев – первый настоящий русский мужик у власти.)

Сегодня для меня определенно ясно, что именно Ю. Андропов – сознательно или нет, этого уже не узнать – продвинул прозападнический интеллектуальный слой на перспективные позиции, что известным образом сказалось на характере так называемой перестройки. Достаточно глянуть да послушать его, Андропова, бывшую «команду» – Арбатов, Бурлацкий, Бовин и прочие. Коммунисты? Антикоммунисты? Да ничего подобного. Образцовая команда циников.

Циники даже не прагматики, и если они у подножия власти – приговор социальной системе. Доказательства в истории.

Из многочисленных воспоминаний чекистов всех мастей не просматриваются, если не считать создания знаменитого Пятого управления, какие-либо реконструктивные действия Андропова в ведомстве безопасности, каковое он возглавлял достаточно продолжительное время. Скорее всего, в них не было необходимости. Жреческо-инквизиторское сословие к тому времени достигло стадии самовоспроизводства, практически – совершенства, если под совершенством в данном случае понимать пределы возможностей. Страна находилась под абсолютным контролем. Если еще точнее – в стране контролировалось все, заслуживающее контроля. Видоизменялся, а то и размывался смысл контроля. Но система функционировала в автоматическом режиме, и новой русской Смуте пришлось основательно подсуетиться, чтобы на всякий случай обезопасить себя со стороны самой отлаженной службы в бывшем, а затем и в полуразрушенном государстве.

Полицейская служба есть инструмент порядка в любом государстве. Понимание порядка определяется идеей, формирующей конкретное историческое бытие. Коммунистическая идея, в силу определенных причин пришедшая в Россию на смену идее христианской (именно христианской, а не капиталистической или монархической), могла государственно осуществляться только в сопровождении постоянного, хотя и видоизменяющегося насилия, поскольку сама она (идея) была насилием над бытием, несовершенным по природе, а сутью ее (идеи) было как раз сотворение совершенного бытия, как его понимало антихристианское сознание.

Иначе говоря, коммунистическая идея заключалась в намерении организовать совершенные отношения по природе несовершенных людей – более великой, более фантастической и более жестокой идеи не возникало в истории человечества.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Неосуществимость задачи таилась в недоразумении, смысл которого в том, что главным несовершенством природы человека была его невечность, смертность, как бы «обратной связью» определяющая его поведенческий императив.

Идеи не возникают сами по себе, без прообраза. Коммунистическая идея также имела свой прообраз – Царство Небесное, где торжествует всеобщая радость. Царство Небесное надо заслужить определенным типом земного бытия. Можно не заслужить и кануть... В выборе – быть там или не быть – человек свободен. И если он туда не попадает, никто, кроме него, не виноват.

Вот оно – «несовершенство» Божественного замысла! А почему бы, собственно, не помочь человеку, ведь он порой сам не понимает своего счастья, своей возможности быть счастливым – отвлекается, увлекается, развлекается – так одерни его, шлепком ли, подзатыльником, ведь он в легкомыслии своем опасен не только для самого себя, но и для окружающих, как дурной пример, как соблазн, а по большому счету он опасен самой идее всеобщего благоденствия.

И наконец, человек идеи ответствен за человека безыдейного и потому правомочен принимать за него решения – ему же, неразумному, во благо.

А теперь вспомним главную формулу кибернетики: «Кибернетика объявляет сущностью вещей их организацию». В этом смысле величайшим кибернетиком был вовсе не Норберт Виннер, а Карл Маркс.

Поскольку «в действительности» никакого Царства Небесного не существует, то должным образом организованное, структурированное бытие имманентно воссоздаст соответствующее сознание, каковое в свою очередь доорганизует бытие до полного его совершенства. И никакой тебе проблемы «курицы и яйца».

Поскольку опять же не существует Небесного Царства, то идея торжества всеобщего счастья есть не что иное, как «церковниками» извращенно озвученная возможность самого земного человеческого бытия. И потому прежде прочего нужна беспощадная борьба с извращениями и, естественно, с его носителями.

Одновременно должна вестись работа по ликвидации тех бытийственных самовоспроизводящих структур, упрямый консерватизм которых по определению не способен к реструктурированию. Любое, даже самое неправильное, бытие склонно к сопротивлению, каковое должно быть подавлено.

Но только после выполнения вышеперечисленных задач настанут самые трудные, самые коварные испытания великого дела построения совершенного общества. Как только исчезнет напряжение, обеспеченное фактом борьбы с откровенно сопротивляющимся неправильным бытием, каждая конкретная человечья личность, утратившая мобилизационный стимул, как ее при этом ни коллективизируй, все равно обретает тот опасный люфт свободы, который высвобождает в сознании свойственные самому сознанию неправильные мотивы, и главный из них – сомнение.

Замечательному поэту XIX века Ивану Никитину однажды была предложена чиновничья служба в Иркутске. Но что-то не сложилось... Однако состоялся стих: «И мнится мне, что вижу я Байкал...»

Мнить – то есть грезить, то есть воображать несуществующее, а значит, неправильное. Мнить про себя человеку не свойственно, и потому сомнение – это общение с себе подобными по поводу мнения, то есть не что иное, как известной 70-й статьей предусмотренные разновидности агитации или пропаганды. И как следствие – двойное бытие: напоказ и для души; а в душу, как известно, не залезешь, если душевное сообщение удовлетворяется в пространстве кухни. Опрометчиво или сознательно преступивший границы кухонной территории, то есть ставший собственно диссидентом, практической опасности уже не представляет, потому что мгновенно становится доступным контролю, воздействию или изъятию.

Иначе говоря, на том новом этапе построения совершенного общества, когда уже решены принципиальные организационные вопросы, потенциальным врагом дела становится всякая более или менее самой себе предоставленная личность.

Знаменитый тезис И. Сталина относительно усиления классовой борьбы по мере социалистического преобразования общества следует считать не просто правильным, но гениальным, ибо в нем даже от самого Сталина в шифрованном виде высказано великое и трагическое предчувствие, каковое полностью подтвердилось.

Российский социал-коммунизм, в борьбе победивший и собственный народ, и тьму народов, пошедших на него войной, рухнул, пребывая в непобедимой позе, пораженный

ржой мнения-сомнения-неверия-равнодушия. Экономические и геополитические причины краха российского коммунизма можно посчитать вторичными, потому как известно, что именно вера сдвигает горы... Либо их «задвигает»... Экономика же лишь способствует и соответствует...

И прежде чем перейти к рассуждениям о роли «органов» в кратковременном бытии российского коммунистического государства, позволю себе еще несколько слов о событийной конкретике начала 90-х...

«Однажды темной-темной ночью несколько очень известных человек, пробравшись в очень известный заповедник, росчерками авторучек вопреки воле многомиллионного народа развалили Великое государство».

Этот анекдот и сегодня имеет хождение не только в прессе – в прессе какого только хождения нет, – но и в чувствах отдельно замечаемых, а иногда и весьма замечательных личностей, потому что кое-что действительно было: был заповедник, были человеки и даже авторучки были...

Однако ж не было главного – воли или воления народа, с каковым будто бы не посчитались гнусные предатели.

Перед тем прошедший референдум предложил ответить «как на духу» каждому гражданину: «Ты за старое, но известно что, или за новое, неизвестно что?»

«Конечно, за старое!» – ответил гражданин, обеими руками голосуя за кандидатов в Верховные Советы от демократии против кандидатов туда же от русофилов, патриотов и прочих «замаскированных коммуняк».

Вот это самое «волеизъявление народа» будто бы и было преступно попрано «беловежскими заговорщиками»[39].

Безусловно, инициатор всегда в ответе, даже если его инициация всего лишь называние вещей своими именами. В данном же случае честностью не пахло, но откровенно смердело самыми низменными побуждениями.

У меня перед глазами телекартинка: в первом ряду по центру Ельцин то с красным лицом, то с белым, на губах имитация ухмылки; на трибуне строголицый министр внутренних дел СССР Бакатин хладнокровно, с уловимой интонацией презрения повествует о недостойных похождениях недавнего любимца партии на мосту и под мостом; в президиуме Горбачев, полуоткинувшись в кресле, он даже не смотрит на «объект разборки», он – Первый, он – Генсек

ордена, существованию которого ничего не грозит, поскольку все, как и прежде, под контролем... Вот оно снова в кадре – лицо Бориса Ельцина. По условной проекции можно догадаться, что смотрит он не на Бакатина, который прямо перед ним, но на того, Главного... Но Главный в состоянии торжества, ему нипочем не увидеть, *что* в глазах зарвавшегося выдвиженца.

А там ненависть. Личная ненависть. И никаких идей – что такое идеи в сравнении с личной ненавистью! Но если личная ненависть совпадает с псевдоидеей, овладевающей обществом, то нет цены таковой личности. Волна смуты вздымает ее на гребень и бережно несет к островам сокровищ, где главное сокровище – миллионогранный изумруд власти.

Волна, вздыбившая Ельцина на гребень и благословившая его на проникновение в белорусский заповедник, имела свое имя – Российский парламент. И если союзный парламент, правящий смуту, походил на пауков в банке, то российский, спаянный ненавистью и завистью к вышестоящему органу смутоправления, был к тому времени единым пауком, которому в его банке было уже нестерпимо тесно. Российский парламент, так же всенародно избранный, как и союзный, жаждал быть первым. Забегая дорожку прогрессу распада, он уже отметился парой самозванских подвигов: заключил договоры «на государственном уровне» сперва России с Латвией, а затем и того круче – России с Бурятией. Общественность сих подвигов не заметила. Народ тем более. Тем более что народа уже и не было. Было население территории, мгновенно освобожденное от контроля за лояльностью к издыхающей идее и мгновенно оказавшееся безыдейным ровно настолько, сколько нужно, чтобы спокойно безмолвствовать, глядючи на грызню и чудачества вчерашних советских «чебурашек».

И если распад коммунистической державы был предопределен фантомностью идеи, ее основавшей, и тут можно говорить о трагической объективности, заслуживающей минуты скорби, то исполнители сего исторического действа-развала ничего, кроме отвращения к себе, вызывать не могут – так и лики самозванцев семнадцатого века отвратны нам изначально, хотя и они были закономерным порождением своей эпохи и как бы оправданы исторической неизбежностью своего появления.

Но коли уж зацепились за век XVII, то как не отметить одно примечательное обстоятельство: мы осуждаем самозванцев поименно, мы говорим о роли польско-литовской интервенции, даже о тяжких грехах казачества готовы упомянуть, но тактично молчим о русском боярстве, «классово» испакостившемся в смуте.

Молчим не потому, что не знаем, а потому что знаем, что оно, это испакостившееся сословие, однажды, хотя и не сразу, протрезвев от хмеля смуты, составило костяк нового возрожденного Русского государства. Еще по меньшей мере в течение пятнадцати лет мы находим в исторических документах имена вчерашних смутьянов, добросовестно исполняющих государственное дело. Мы их вроде бы и не прощаем, но и не корим. Возможно, потому, что понимаем: нет у нас права на укор, если им не воспользовался русский народ в лице тех его современников, кто словом и мечом положил конец смуте.

Воспитанные на идее обязательности возмездия, дивимся, когда читаем в документах о том, как князь Пожарский не позволил казакам поднять на копья Романовых и Воротынских, вышедших из Кремля вместе с поляками, как определил им охрану, как обеспечил безопасный проход по русским землям в свои родовые имения, как затем вместе с другими победителями призвал в Москву их и многих им подобных быть на равных в решении главного русского вопроса – восстановления Царства.

Дивимся, потому что воспитаны и жизнь прожили не в государстве собственно, а в идейно-военно-политической структуре, где понятие государственной целесообразности было подменено целесообразностью выживания и торжества великой фантасмагорической идеи, лишь в исключительно прагматических целях напялившей на себя государственные одежды. Когда она, идея, была только теорией, в государстве не нуждалась, устремленная на земные пространства...

Однако среди значительной части русской интеллигенции и поныне в ходу концепция, согласно которой в 40-е годы и в последние годы сталинского правления коммунистическая идея, по сути, уже изживала себя, что «народ перемолол» ее, что Советское государство именно посредством Советов – порождения коммунистической идеи – претворилось в соответствующее времени типичное имперское гособразо-

вание, где осознавшим роль национальных факторов вождем восстановлены традиционные институты национальной имперской власти, оплодотворенные чуть ли не христианской по происхождению социальной программой. Отсюда и фразеология: социалистические общины первых христиан; Христос – первый коммунист; колхоз – наследник русской общины...

Последняя формула столь же успешно используется в русофобии, как важнейший аргумент в пользу рабско-коллективистской сути русского этноса.

Главным же постулатом «советских державников» является соображение, с каковым невозможно не считаться, зная историю славянофильских изысканий: русский коммунизм есть не что иное, как национальный протест против торжества всемирной буржуазности.

Лично мне с этим проще бы простого согласиться: чего-чего, а буржуазности никогда в себе не обнаруживал, и друзья по жизни все были сплошь небуржуазны по складу души, то есть не просто непрактичны, но в сути босяки-интеллектуалы, которым знай подавай идею, да такую, чтоб восторгом захлебнуться, чтоб дыхание вперехват, чтоб идейной своей башкой в стенку назло врагам... Красиво жили... И где они теперь все, бывшие друзья?..

Зато сегодня, куда ни глянь, – и тот преуспел и отхватил, и другой изловчился, приспособился и процветает, и третий... исповедуя великую антибуржуазность, недурно живет при поддержке детей-коммерсантов...

На днях испытал сущее потрясение. Стоял в магазине в очереди. Впереди меня изящно одетая женщина лет тридцати пяти ждала, пока продавец просчитает сумму за набранные продукты. Просчитал, назвал. Женщина достала объемный бумажник: в одном отделении стройный ряд инвалюты, в другом столь же ровненькая пачка крупных российских купюр. Подала продавцу две из них, и он заколебался в подсчете сдачи. И тут она ему милейшим голоском: сто сорок три пятьдесят!

Эти «три пятьдесят» совершенно лишили меня равновесия. Я понял, что со своим «небуржуазным» менталитетом не имею морального права в такие вот времена руководить предприятием, обреченным на самоокупаемость, что надо быть порядочным и честно уйти, уступив место кому-то,

способному адекватно функционировать в супербуржуазной обстановке новейших времен...

И лишь откровенно корыстное соображение – уходить-то некуда! – лишь оно остановило и псевдовоодушевило в том смысле, что надо учиться крутиться-вертеться, учиться ловчить и считать, считать, считать...

Делаю вид, что у меня это получается...

Хочу сказать, что если, как говорится, принять за основу положение «национал-большевиков» об уклонении от буржуазности за главный, исторически потаенный смысл коммунистического эксперимента в России, то вывод запросится наибанальнейший: за что боролись...

Помним ли мы, что у русского эксперимента был микропрообраз в истории? А как же! Замечательные начинания великого утописта Роберта Оуэна. Его коммунистические колонии сначала в Англии – Нью-Ленарк, а затем в Америке – Нью-Гармони... В одну из них даже возили русского царя, чтоб полюбовался, как доярки, отдоив коров, садились за фортепьяны изучать гаммы. Жаль, что история не сохранила царского мнения по поводу увиденного.

А ведь успехи Р. Оуэна поначалу были потрясающими. Производительность труда на его коммунизированных предприятиях росла неслыханными темпами; взаимоотношения работников выжимали слезы у посетителей колоний – истинное братство при полном равенстве духовном и материальном; вознаграждения за особые успехи в труде – подумать только! – не конверты с деньгами, а флажки разного цвета... (Все помним – «переходящие знамена», их торжественное вручение на торжественных заседаниях.) Всеобщая грамотность колонистов и бесплатная медицина...

Одного только не было у великого английского утописта: полицейского корпуса, который бы отслеживал процесс и вовремя удалял не соответствующих процессу индивидуумов, каковые постепенно возобладали и превратили английскую колонию в приют бродяг, шарлатанов и бездельников. Тогда Р. Оуэн поехал в Америку, страну, как он полагал, еще не испорченную мелкобуржуазностью, и там повторил свой отчаянный эксперимент. С решительно теми же результатами. Сперва успех, достижения, рекорды вся-

ческого рода. Затем крах. Уже окончательный. Американские колонисты-коммунисты сожрали остатки его капитала, скопленного прежде посредством обыкновенного капитализма, и разбрелись по Новому Свету, не оставив разоренному энтузиасту даже благодарственных посланий.

Невозможно было построить коммунизм в отдельно взятой колонии.

Другое дело – в отдельно взятой стране! Которую не жалко. Отсталая... Тюрьма народов... Жандарм Европы... Цари – выродки... Народ – рабы... Сверху донизу – все рабы... Зато тут оно и есть – слабое звено в капиталистической цепи. Рванем, братцы!

Идея превыше всего. Долой классы, враждебные идее! Долой классы, негодные для идеи! Немного погодя – долой фанатиков идеи, не улавливающих диалектических нюансов становления идеи.

Но прежде прочего строим базис для торжества идеи, для защиты ее от враждебного окружения.

Базис и социальные достижения Страны Советов... Золото – зэки, уголь – зэки, металлы для «оборонки» – зэки... Норильск, к примеру. Вряд ли кто представляет, чем был Норильск для военной промышленности. Какая-нибудь Болгария или Монголия были бы процветающими, подобно Эмиратам, странами, имей они свой Норильск. Заполярье. Мороз, метели... Двадцать лет сотни тысяч зэков, то есть рабов, вгрызались в кладовые вечной мерзлоты от Архангельска до Чукотки...

А еще – Караганда, Тайшет, Пермь... Сталинградская ГЭС – зэки, Куйбышевская ГЭС – зэки, Волго-Дон – зэки. Даже знаменитый Московский университет – даже там – зэки.

Да пусть мне назовут хотя бы один производственно-промышленный регион той самой одной шестой части суши, где бы зэки не были трудовым резервом... А то и ударным отрядом...

Исторический материализм (истмат) объяснял: падение рабовладельческих государств Древнего мира обусловлено непроизводительностью рабского труда...

Для начала неплохо было бы объяснить, что есть собственно свободный труд, с каковым сравнивается рабский. Колхозник, положим, не имеющий паспорта и права выхода из колхоза, – это свободный работник?..

Но, в конце концов, какое из мировых государств достигло процветания без предварительных жертв? Америка? Франция? Англия?

Наша трагедия, во-первых, в том, что мы пошли на жертвы, когда во всем остальном мире они уже были «не модны». А во-вторых, не успели мы «отжертвоваться», как тут же снова и рухнули в пропасть. Снова у разбитого корыта, и напраслина жертвы вопиет... И просится на дубль... Потому что жертва не осознана.

На одном из политических процессов 1970-х случился примечательный эпизод, по поводу которого можно было бы и этакий поучительный трактатик накатать...

Обвинитель задает вопрос свидетелю обвинения: «Давал ли вам такой-то для прочтения книгу Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ”?».

«Давал», – отвечает свидетель. «И вы ее прочли?» – «Прочел». – «И как вы считаете, там правда написана или это клевета на советский государственный и общественный строй?» – «Конечно, клевета». Тут бы обвинителю и остановиться – факт пропаганды подтвержден, чего еще, казалось бы. Но возжелал прокурор продлить «час торжества своего». «И последний вопрос: почему вы считаете эту книгу клеветой?» Свидетель хмурится, напрягаясь, отвечает, оглядываясь по сторонам: «Ну, если это правда, тогда как жить?.. Тогда жить... невозможно...»

Свидетель был не прав. Возможным оказалось не только жить и делать вид, что не слышишь многомиллионного стона рабского стада, не видишь чуть ли не ежедневных эшелонов с решетками и не знаешь, куда подевались твои соседи по этажу и подъезду. Возможным оказалось моральное, подчеркиваю, именно моральное, а не историческое, что еще бы куда ни шло – моральное оправдание жертвы социалистического построения, и оправдание это сформулировано не кем-нибудь, но интеллектуалами постсоветских времен. Правда о великой трагедии в первую очередь именно русского народа отдана на откуп и, соответственно, на извращенное потребление кому угодно... Трагедия сведена к фарсу...

«Двадцать миллионов положили, шестьдесят миллионов, сто миллионов», – выкрикивают одни, кому народная беда обернулась аргументом-приемчиком для санкционирования хаоса.

«А вот и неправда ваша! – возражают другие, деловито пересчитав трупы. – Всего лишь каких-то два миллиона! А сколько из них обычных уголовников. Зато каковы достижения!»

Равнозначно корыстное отношение. Одним надо оправдать криминальный капитализм, другим – криминальный социализм. Обе позиции откровенно утробны, но у первой отнюдь не формальное преимущество на общем фоне «гуманизации» эпохи.

Так вот и случилось, что некоторая звучная часть русского патриотического голоса сама загнала себя в маргинальное пространство именно по причине того самого идеологического бессердечия, каковое столетия было чуждо русскому национальному сознанию и лишь в последние десятилетия социалистического бытия сформировалось в эталон «советскости» как таковой.

В сущности, русский патриотизм первых лет «перестройки», выявив исключительно верную интуицию относительно грядущего государственного развала, именно в государственном смысле оказался решительно безыдейным, поскольку все его позитивные ориентиры оказались как бы за спиной, **а идти в бой с вывернутой шеей – дело заведомо проигрышное.** Проигрышное не только перед лицом непосредственного противника, но и в глазах потенциального союзника – народа.

Каждому человеку своя жизнь видится исключительной. И это справедливо, ибо не бывает одинаковых жизней и судеб.

Исключительность своей судьбы я вычислил давно. Точнее, давно догадывался, в чем она состоит. Однако более-менее отчетливо сформулировал много позднее. Смысл моего открытия про самого себя заключался в следующем: жизнь ни разу не предоставила мне возможность волевого личного выбора.

Не было! Все, что случалось, случалось по стечению обстоятельств. Личный выбор, как я понимаю, предполагает наличие равных по возможности реализации альтернатив. Возможность реализации в данном случае, разумеется, следует понимать как сугубо субъективное представление самого человека, оказавшегося перед необходимостью выбора.

Итак, два обязательных условия: субъективно понимаемая равновозможность выбора и его необходимость. Сказал бы даже – неизбежность.

Так вот, ничего подобного я в своей жизни припомнить не могу. Все свершалось в силу сложившихся обстоятельств.

И в этом смысле жизнь моя прошла легко и безответственно. К примеру, многочисленные и некраткосрочные пребывания в лагерях и тюрьмах являлись возмездием не за принятые решения или поступки, а за непреодолимые обстоятельства, продиктовавшие те или иные решения и поступки. Потому и «возмездия» всегда понимались как неизбежные следствия обстоятельств, каковые я не имел права игнорировать. И если порой вскипал злобой или прочими недобрыми чувствами к некоему адресату, будь то человек, ведомство или даже государство, как виновнику своих неприятностей, то после непременно сожалел и стыдился как слабости...

Разумеется, речь идет о важнейших событиях в жизни, поддающихся несложному пересчету, а не о том, скушать ли на обед гречку с биточками или пюре с котлеткой. Потому бездейственные раскаяния-терзания также оказались вне моего жизненного опыта, что отнюдь не означает, будто не приходилось искупать, то есть одними поступками искупать-исправлять другие, насколько это вообще бывало возможно. Чаще, к сожалению – невозможно. Допустимо ли искупление убийцы? Мертвого не воскресишь... Но и намного менее значимые неверные действия зачастую оказываются непоправимыми и неисправимыми, и если у человека нет должного религиозного опыта, обречен он на пожизненную муку, тем более тяжкую, чем непреодолимее были обстоятельства, при которых принимались ошибочные решения. А вовсе не наоборот – когда человек осознанно и независимо от обстоятельств совершает дурной выбор.

Любой внимательно прочитавший вышеизложенные соображения без труда подметит очевидные противоречия в тексте. Что ж, я их тоже вижу... И да будут они списаны на то самое – на недостаток религиозного опыта, единственно способного «по-гегелевски снимать» подобные противоречия. Действенность религиозного покаяния и отпущения грехов уму моему известна и будто бы понятна... Но – увы! – этого недостаточно...

И не стал бы я упражняться в самоанализе, если бы обстоятельства, определившие главные вехи моей жизни, самым причудливым образом не были бы связаны-повязаны с важнейшим феноменом всей советской жизни-действительности, с ведомством, контролировавшим идейное состояние общества в течение всего времени его исторически недолгого существования.

Ранее уже было высказано намерение сказать «похвальное слово» органам, и право на это слово я обосновывал достаточно богатым личным опытом «общения» с его представителями.

Считается достоверным эпизод французской революции, когда королева Мария-Антуанетта, восходя на эшафот, нечаянно наступив на ногу палачу, принесла ему свои извинения. Думаю, любой согласится, что ей, несчастной, в эту минуту было не до кокетства. Просто палач-исполнитель в ее сознании никак не ассоциировался с самой сутью происходящего – столь ничтожна была его роль... Почти приравненная к гильотине... Еще определеннее у Р. Бернса:

Я умереть хотел в бою.
Умру не от меча.
Изменник предал жизнь мою
Веревке палача.

Здесь веревка и палач в одном, определенно вторичном смысловом ряду.

Эти примеры я привожу в оправдание своего, прямо скажем, весьма нетипичного отношения к «исполнителям» моей судьбы, если происхождение данного слова рассмотреть по аналогии: коса – косить – косьба; друг – дружить – дружба; суд – судить – судьба... Процесс!

Знаю, что многие арестованные по нашей политической «70-й» в кабинетах следователей вели себя как «партизан перед фашистом». Такое поведение, безусловно, гарантировало подследственного от «проколов», то есть проговоров, способных причинить неприятности кому-то, кто этих неприятностей не хотел. У меня же сложилась и, как мне кажется, оправдала себя совсем иная система взаимоотношений с представителями органов.

С моим последним следователем А. Губинским, откровенно «стряпавшим» мое «дело» из ничего, до самого по-

следнего дня следствия сохранялась исключительно тактичная форма общения. Допросы походили на дружеские беседы. Положим, задавался очередной вопрос, имеющий целью получение информации о чьей-то персоне. Я вежливо улыбался. Следователь столь же вежливо записывал: «Ответа не последовало». Если же вопрос касался моего личного отношения к какому-либо аспекту советской действительности – ради Бога!

Правда, чуть ранее, в 1977 году, эта моя тактика-метода обошлась мне слишком дорого. Тогда Пятое управление, «ведущее» диссидентов всех мастей, уже вполне успешно поигрывало на идейных противоречиях «патриотов» и «демократов». Известны факты сознательного сотрудничества и тех и других друг против друга как на следственном уровне, так и на оперативном. На втором поболее... Особенно в околодиссидентской среде.

Я даже знал человека с весьма разносторонними связями, имевшего такое хобби – собирание досье отдельно на «стукачей» и отдельно на «болтунов». «Болтунами» он называл людей, имевших определенный социальный вес, «неформально» контактирующих с кем-нибудь из органов и извлекающих из этих контактов «малую» пользу в личных или клановых интересах. Когда-то я оказал этому человеку пустяковую бытовую помощь, и он в знак благодарности, разумеется, взяв с меня слово, поделился со мной своим увлечением. То, что мне удалось посмотреть (далеко не все), без сомнения свидетельствовало о его собственных связях с «конторой».

В начале девяностых, как я недавно узнал, он умер от тяжелой и мучительной болезни. Но годом раньше при случайной встрече признался, что уничтожил свой многолетний труд по причинам, как сказал, «истощающего соблазна» предать материал огласке – во-первых, во-вторых – по пониманию, что этого делать нельзя из нравственных соображений, и, в-третьих, – из-за опасений за свою жизнь.

В 1977 году КГБ возбудил дело против Александра Гинзбурга за его руководство «Фондом помощи политзаключенным», созданным А. И. Солженицыным из гонораров за «Архипелаг ГУЛАГ», к тому времени переведенный на многие языки.

С А. Гинзбургом я долгое время был в одном лагере в Мордовии, а затем и в одной камере Владимирской тюрь-

мы. Как-то мне попало на глаза его интервью, где на вопрос о нашем знакомстве он ответил так: «У меня с Бородиным были хорошие дружеские отношения. Но если б начали разбираться по убеждениям, то хоть хватайся за автоматы».

Безусловно, в «конторе» были прекрасно осведомлены об «идейно-автоматных» нюансах наших отношений и, имея уже конкретный опыт «промежидейной» игры, рассчитывали на меня, как свидетеля, по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Никак не могу вспомнить фамилию следователя калужского КГБ, призвавшего меня повесткой для дачи показаний... Какая-то неприятная была фамилия... Раз-другой пообщался я с ним в свойственной мне дружеской манере и думаю, что именно способом общения крайне обозлил его. На меня было возбуждено дело по факту отказа от дачи показаний. Мало того, что статья пустяковая, но она еще вскорости – через месяц – попадала под амнистию по случаю круглой годовщины Великого нашего Октября.

За пару недель до объявления амнистии хитрец-следователь оставил меня в покое и вызвал лишь неделей позже. Ласков был необычайно.

– Так что, отказываемся от дачи показаний, Леонид Иванович?

– Да уж так вот, отказываюсь, – отвечал я, разводя руками.

– Ну ладно. Про амнистию-то знаете, конечно.

– Слышал.

– Прошла.

– Прошла, – согласился я.

– Вот именно. Прошла!

Лицо его просто сияло торжеством, смысл которого я, конечно же, не понимал.

– А теперь я по новой официально задаю вам вопрос: что вы можете сказать по делу Александра Гинзбурга?

– Ничего не могу.

– Так и запишем, да? А вы подпишете?

Я подписал.

– А теперь, – он просиял пуще прежнего, – открою вам один секрет! Мне удалось доказать начальству, что в данном случае имеет место длящееся преступление. Если б вас судили перед амнистией – как говорится, гуляй. Но сейчас, поставив подпись, вы ка́к бы снова совершили или повторили, ес-

ли хотите, преступление, предусмотренное статьей сто восемьдесят второй УК РСФСР. А закон, как известно, обратной силы не имеет. Амнистия, имею в виду. Подпишем еще одну бумажку о мере пресечения – подписку о невыезде. И будьте здоровы, Леонид Иванович. Ждите повестки в суд...

И вот только сей момент вспомнил я фамилию следователя – Гайдельцов. Обиженные им диссиденты говорили – Гаденцов. Дескать, пакостник. Несправедливо. По отношению лично ко мне он проявил стратегическую инициативу, по достоинству оцененную моими следующими следователями в году восемьдесят втором, когда, ссылаясь на гайдельцовскую инициативу, отменившую так называемый «срок давности» первой моей судимости, объявили меня рецидивистом и смогли уже по другой статье дать максимальный срок – пятнадцать лет.

* * *

Трижды судимый, приговоренный фактически к небытию, я все же выжил и имею нынче возможность, насколько это вообще возможно, объективно оценить творческий момент в деятельности соответствующего подразделения КГБ по борьбе с политической оппозицией в стране.

Еще раз оговорюсь, что объектом борьбы органов были носители некоммунистических (к примеру, религиозных) или откровенно антикоммунистических взглядов. Тот или иной человек мог быть тысячекратно заслуженным работником государства, но если он позволял себе мало-мальский люфт в отношении к партийной догматике, то, попав в поле зрения «органов», тотчас же становился объектом соответствующих инициатив. О неформальном, о подлинно творческом характере этих инициатив нужно будет сказать отдельно. Здесь же я специально подчеркиваю ранее уже отмеченный мною, по существу, трагический фактор означенной деятельности: всей мощью своего аппарата «органы» защищали не государство Российское в его историческом звучании и значении, но исключительно идеологию, народом фактически уже не исповедуемую.

Ныне широко известная докладная Ю. Андропова в Политбюро об опасности так называемого «русизма» и о необходимости борьбы с ним – ярчайшее тому свидетельство[40].

Когда на повторном суде Владимира Осипова адвокат попытался зафиксировать прогосударственный, то есть патриотический, аспект его издательской деятельности, прокурор отмахнулся столь небрежно и презрительно, что не оставалось сомнений – понимание государственности как некой субстанциональной реалии у него отсутствует напрочь. Более того, всякое акцентирование на государственной идее как непреходящей ценности по определению враждебно идее коммунистической, ориентированной по высшему ее смыслу на космичность. Имеет ценность только советская государственность как гнездилище-хранилище коммунистического опыта, временно огороженное «железным занавесом», но так или иначе, рано или поздно предназначенное всему человечеству во благо.

При том я вовсе не уверен, что люди «органов», как и прокуроры-кураторы политических процессов, сами искренно исповедова́ли что-либо подобное. По крайней мере, в наши, уже «не расстрельные» времена. Прежде прочего они исповедовали другое – обрядность! Уже говорил, что свои многочисленные «вынужденные контакты» с людьми «органов» я неизменно проводил «на дружеском уровне». Именно благодаря этому неоднократно удавалось уловить больший или меньший идеологический люфт самих блюстителей «советскости». Но обряд, то есть исполнение функции пресечения ереси, каковой некоторые из них и сами отнюдь не были чужды, – то было в инстинкте, это было работой. И едва ли будет преувеличением сказать, что после «ударников ВПК» борцы с ересью были самыми добросовестными работниками в стране, где «сачкование» стало уже элементом индивидуального имиджа.

Летом 1990 года по одному из подмосковных каналов мы плавали на лодке с Филиппом Денисовичем Бобковым. Доброволец сорок первого, прошедший всю войну, на собственных руках в окопе принявший смерть своего отца-офицера, уйдя после войны в «органы», дослужился он от младшего офицера до самого высшего звания, какие только возможны в КГБ, – генерала армии.

Внешне абсолютно не впечатляющий, мимо пройдешь, взглядом не зацепишься, никакой генеральской стати в фи-

гуре, ни малейшей государственно-чиновничьей значимости на лице – люди с такой внешностью достигают жизненных высот исключительно благодаря врожденным качествам: трудолюбию и исполнительности. Генерал армии... То есть он был генералом той самой, никем не считанной армии невидимого фронта, что дислоцировалась промеж всех нас, всех нас и имея в виду... Постоянно и систематически...

Судя по культу Ю. Андропова в семье Бобковых, он, Филипп Бобков, был вернейшим его соратником и, соответственно, единомышленником. Рискну предположить, что единомышление в спецслужбе – это все же нечто иное, чем обычный дружеский контакт людей одинаковых убеждений.

Цель моего журналистского контакта с человеком – символом уходящей эпохи – была многопланова. Но был один, главный вопрос, который и так и этак предлагался к ответу: готов ли он, бывший шеф центра идеологического надзора, признать, что главной мотивацией деятельности «внутреннего» (в отличие от разведки и контрразведки) отдела КГБ были установки исключительно партийно-идеологического характера; что борьба за формальное исповедание обществом марксистско-коммунистических догм, за принуждение к лукавой лояльности сыграла решающую роль в дезориентации общества на момент социальной катастрофы; что, наконец, сами «органы», объявив себя «мечом и щитом» партии, утратили совершенно необходимую любой полицейской службе государственную ориентацию, то есть ту ориентацию, каковая помогает сохранять системное мышление и распознавать центробежные и центростремительные тенденции в опекаемой социальной структуре.

С чрезвычайной осторожностью и «корректностью» высказанный позитивный ответ мне получить все-таки удалось. И в книге, которая в это время им уже писалась – «КГБ и власть», я по наивности надеялся отыскать следы того не слишком охотного, но все-таки признания...

Увы!

Зато я нашел там еще в 70-х годах усердно распространяемую работниками КГБ в доверительных разговорах с доверенными лицами информацию о «природной либеральности» «органов» в сравнении с партийными функционерами не только Центрального Комитета, но и Союза писате-

лей СССР. К примеру, генерал КГБ Бобков защищал отдельных, лишь слегка пошаливающих писателей от гнева «писательского генерала» Феликса Кузнецова, готового по партийному усердию размазать их по стенке.

Главная же мысль книги в следующем: КГБ, как мог, сопротивлялся отступлению руководства партии от ленинских норм. И уж совершенно оригинально звучит утверждение Ф. Д. Бобкова:

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не привлекали инакомыслящих к уголовной ответственности и не применяли к ним каких-либо других мер наказания» (с. 347).

Я, конечно, догадываюсь, о каких ненаказуемых инакомыслящих идет речь. В 70-х был такой анекдот.

Одного ИНАКОмыслящего спросили: «А КАКО он мыслит?» На что тот с гордостью ответил: «А ТАКО!»

Бобков приводит много фактов профилактирования политической ереси и положительных результатов этого профилактирования. И я из собственного опыта готов подтвердить, что и профилактика, и результаты действительно имели место. Лично «профилактировался» не менее десятка раз.

Но прежде еще несколько слов о Ф. Д. Бобкове.

Человек, безусловно, симпатичный – было с кем сравнивать. Крайне редко, но встречались сущие выродки. Как говорит современная народная мудрость: «В народе не без Мавроди».

Несколько лет назад мы с Георгием Степановичем Жженовым были приглашены в город Владимир, как бывшие зэки двух поколений, на встречу с общественностью. И когда я, рассказывая о своем пребывании в знаменитом Владимирском централе, упомянул фамилию кагэбиста, курировавшего политических в сем заведении, зал неожиданно оживился. Поинтересовавшись причиной такого поведения зала, получил чуть ли не хоровой ответ. Оказывается, в нынешние перестроечные времена бывший капитан КГБ «весьма одиозно» функционирует в роли директора Центрального рынка города Владимира. (Если б не одиозно, кто б знал его фамилию?)

Свой единственный контакт со мной во Владимирской тюрьме куратор из «конторы» начал с вопроса: «Ну что, Леня, бабу хочешь?» На что, сохраняя предложенный уро-

вень беседы, я скромно возразил: «Не. Я лучше с тобой пообщаюсь». Конец контакта. На следующий день начальник по режиму, застав меня в числе других сокамерников в дневное время лежащим на «шконке»-койке, отправил на десять суток в карцер. Было лето 1972-го. Вокруг Владимира горели леса и торфяные болота, как горели они и вокруг Москвы. Десять суток я провел, лежа голым на цементном полу, обливая цемент водой ежечасно. Чтоб не задохнуться в прочно закупоренной камере-карцере...

Между прочим, этот «куратор-придурок» объявился в КГБ не из подворотни, а с юрфака МГУ, каковой окончил с достойными показателями. С другими показателями в наши времена в КГБ уже не приглашали.

Потому подавляющее большинство оперативных и следственных работников КГБ, с кем приходилось «иметь дело», делая свое дело, личных антипатий, как правило, не вызывали. И Ф. Д. Бобков в известном смысле прав, всем текстом достаточно объемной книги характеризуя свое ведомство как некое элитное подразделение, потенциально способное на социальную инициативу. Но только потенциально. Идеологическая зашоренность и «припартийное» самоосознавание по большому счету обрекли коммунистическое полицейское ведомство на роль соучастника развала страны и национальной катастрофы.

А что до книги с многозначительным названием «КГБ и власть»...

Не желая уподобляться генералам Калугину и Судоплатову, Ф. Д. Бобков обрек свои писания на безызвестность. И тут уж ничего не поделаешь! Разведчик, даже не становясь предателем страны и соответствующего ведомства, со временем может поведать подробности своей шпионской судьбы. Но генералу «внутренней спецслужбы», не созревшему для «предательства», весьма сложно заинтересовать широкого читателя своими откровениями.

О дальнейших причудах судьбы правой руки Ю. Андропова генерала армии Ф.Д. Бобкова судить не берусь по причине противоречивости информации на этот счет. Лишь последнее: мне было чрезвычайно странно слушать его пространное интервью на радио «Свобода». Воистину инфернальны выкрутасы нынешней российской политической погоды.

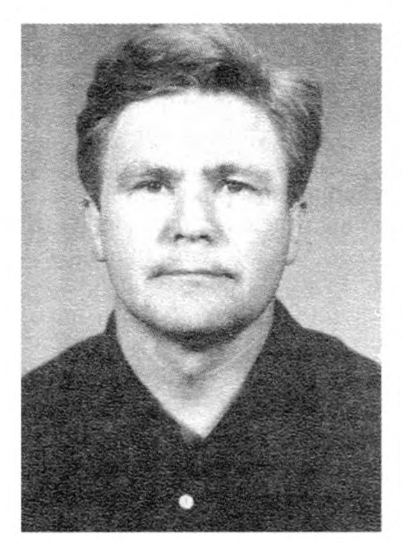
И снова годы семидесятые

«Разделившееся в себе царство падет». К середине 70-х немногочисленный «клан» русистов не просто разделился в себе, он рассыпался по «двойкам» и «тройкам» взаимообщавшихся. Началось с распада и разгрома первого русского самиздатского журнала «Вече», затем последовал арест священника отца Дмитрия Дудко. И без того хилые контакты меж диссидентами-русистами и русистами официальными практически прекратились или приняли почти конспиративный характер.

А ведь чуть ранее того казалось, что вот оно, свершается пробуждение России. Официалы вовсю дерзят власти в вопросах русско-исторических, журнал «Вече» нарасхват что в Москве, что в Иркутске, то там, то тут возникают прицерковные общины мирян, активно распространяющих христианскую литературу... Глядишь, еще два-три года – и возможна переориентация общества на исконно российскую проблематику, а затем медленное, без революций и контрреволюций, действенное переосмысление всей тысячелетней истории России, от какового никак не могут остаться в стороне и представители высших слоев общества, смыкающихся с властью. По крайней мере, некоторые из них...

Где-нибудь под Царицыном собирались десяток-полтора православных и всерьез обсуждали возможность однажды, в один день и час всем, кто еще верит в Бога, совершить соборную молитву о даровании России пробуждения от марксистского полусна – и да будет она услышана, и да не допустит Господь распада и тления, а восстановит чудом Своим и милостью Россию вечную, где б все доброе сохранилось, а худое истекло или истлело в бессилии.

Только духовная травма, нанесенная обществу хилиастической утопией, – она продолжала смердить. Вот объявилась в Москве известная «Велесова книга»[41], и заплясали вокруг нее неоязычники, объявляя христианство еврейской диверсией против великого многотысячелетнего Русского государства, следы которого будто бы старательно уничтожались христианами – диверсантами от иудаизма. И бдительные «органы» тотчас же включились в игру, направляя и без того весьма хиленький гражданский энтузиазм рус-




Владимир Осипов, Светлана Мельникова – издатели первого в СССР русского самиздатского журнала «Вече».

ской интеллигенции в еврейскую сторону, выставив и на этой стороне достаточную стеночку, чтоб страсти не накалялись до стадии плавления.

Между прочим, и сегодня относительное общественное равновесие обеспечивается в значительной степени тем же самым проверенным приемчиком: какая-нибудь Алла Гербер пророчит нам фашизм, а с другой стороны – вопль о всеобщем еврейском засилии, при котором никакое «русское дело» принципиально невозможно. На антиеврейской литературе сегодня можно выстроить хороший бизнес, но вовсе не потому, что антиеврейские настроения созрели до социального их выражения. Отнюдь! Для некоторой части русского общества антиеврейство-антижидовство нынче превращается в ту самую гражданскую самодостаточность, роль каковой в 70-х выполняли песенки В. Высоцкого или Б. Окуджавы, чтение «Мастера и Маргариты» или стихов Б. Пастернака. Послушали, почитали – приобщились, а лбом против стенки – это для дураков и шизофреников. Возможно, кто-то из евреев искренне обеспокоен, поскольку «расклад», что в финансах, что в СМИ, мягко скажем, весь-

ма пикантен, для большинства же это всего лишь многоплановая игра, или, как ныне принято говорить, откровенный пиар. Истерия в апреле 1990 года относительно будто бы намеченных на пятое мая общероссийских погромов – ярчайший тому пример. Именно в это время, находясь в США, случилось мне прочитать в популярной американской газете заметку Ирины Жолковской, жены Александра Гинзбурга. Женщина, насколько я ее помню по Москве, спокойная, всегда уравновешенная, по природе чуждая любого рода скандалам, здесь же она буквально «вопила» по поводу того, что вот-вот, почти завтра зазвенят стекла в еврейских квартирах и выродки-антисемиты будут громить дома, зверски убивая ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. Можно только вообразить, какие средства были брошены на воссоздание соответствующей атмосферы. Инициатива же, без сомнения, исходила непосредственно из Москвы, и мы никогда не узнаем, кто к тому руку приложил.

Возвращаясь к годам 1970-м, следует сказать, что слово «застой», каковым характеризовалось это десятилетие, не только неверно, но и лживо. То была эпоха общего гниения организма, когда лицемерие и двоемыслие стали нормой, более того – признаком «порядочного человека»; когда «растяжка» между «социальными завоеваниями социализма» и аппетитами ВПК достигла предела, за которым уже зримо просматривалась катастрофа экономики, в которой именно «неуставные отношения» – человек и производство, человек и продукт – и создавали видимость того самого застоя, каковой преподносился обществу и понимался им как явление временное, всего лишь ждущее очередного пассионария во власти.

Пассионарию, однако же, явиться уже было неоткуда. Андропов в этом смысле был последней и решительно бесплодной судорогой властной пассионарности.

Что лично до меня, то после разгрома журнала «Вече» я еще отчаянно цеплялся за идею необходимости неофициального русского печатного издания как своеобразного центра уже не собирания, но хотя бы сбережения того уровня русского общения, что наметилось в годы издавания «Веча». С помощью доброхотов подготовленные как бы в продолжение «Веча» три номера «Московского журнала» не имели ни малейшего эффекта. Распадались контакты и связи.

Еще продолжал писать трактаты-импровизации Геннадий Шиманов, уверовавший в скорейшее и неизбежное совокупление Православия и коммунизма; дерзил апокрифическими биографиями «верных ленинцев» А. Иванов-Скуратов; А. Огородников пытался сколотить «молодняк» на христианско-патриотических позициях.

Но где ж им было соперничать с прекрасно изданными за рубежом сочинениями Г. Померанца, А. Меня, А. Зиновьева, Краснова-Левитина. Еврейские интеллектуалы, «под давлением властей» отбывшие в палестины, что ни месяц, пополняли «тамиздат» своими «свободными от цензуры» толкованиями-толковищами российской истории вообще и вероятными вариантами ее прекращения в частности.

А вчерашние наши полусоюзники – официалы-патриоты? Эти занялись «борьбой» с еврейским засилием в советской культуре. При этом тактично умалчивалось то же самое «засилие» в так называемых закрытых городах, где, высасывая из экономики страны последние соки, выковывались мечи и щиты Родины.

Утратившие государственное сознание «органы» поощрительно щурились на всю эту возню русских патриотов, выписывая рекомендации кому на поощрение, кому на собрание сочинений, кому на загранпоездки, кому на ордена. Подчеркиваю, из первоисточников знаю, что большинство вышеперечисленных благ советской творческой интеллигенции чаще всего проектировалось на Лубянке или в близрасположенных помещениях, имеющих меж собой тоннельное сообщение. Красиво и умно выиграв игру у диссидентов, «органы» проиграли страну, и не страну социалистическую (провал социализма был имманентен), но страну историческую.

Правомерно говорить о неизбежности тех или иных великих исторических событий, обусловленных миллионом факторов, но столь же правомерно говорить и о том, что те или иные процессы, сопровождающие великое событие, доступны коррекции, когда есть понимание и еще важнее – должное отношение к своим обязанностям у тех людей и ведомств, кому по регламенту предписано право на инициативу.

Однажды, это было в 1989 году, в одной весьма разноликой компании актеров, адвокатов, бывших высоких номенклатурщиков и еще Бог знает кого, мой сосед по застолью в состоянии значительного подпития вдруг признался, что

он из «органов», что звание у него «приличное», что причастен он ко многим тайнам нынешнего дня, что, к примеру, у него на руках «такой охренительный компромат на Шеварднадзе» (тогда еще министра иностранных дел СССР) – дай он ему ход, что будет!!!

Я, тогда уже имевший много добрых контактов с «толстыми» журналами, тут же «задружил» с интересным соседом, и мы жали друг другу руки, и он клятвенно обещал отдать мне «материал», разумеется анонимно, а дальше уже не его дело, лишь бы оно было сделано, это «дело».

С тех пор я более никогда не видел этого человека и ничего не слышал о нем. Большинство людей, если они не отпетые алкоголики, прекрасно помнят все, что с ними происходило в стадии опьянения. Могу представить ужас протрезвления этого человека.

И после неоднократно слышал о том, что «органы» даром хлеб не ели, что информацией на так называемых «агентов влияния» в высших сферах была «полна коробушка», и, соответственно, многих горьких, сопутствующих распаду обстоятельств можно было бы избежать. Но «припартийность» силовых ведомств сыграла с ними злую шутку – утратив «крышу», они остались как бы сами по себе и вскоре превратились в рядовой объект манипуляций вождями смуты.

* * *

Чем ближе к нашим временам, тем труднее выдерживать хронологию повествования. Слишком уж плотно-причинно повязаны меж собой года 1970-е и 1980-е.

В конце 1970-х я наконец перебрался в Москву и тотчас же увяз в старых проблемах: работы не было. Сторожил, переплетал, даже детективчики пописывал на заказ. Какое-то время фактически жил на средства жены, зарабатывающей редактурой в технических журналах и издательствах. Общение минимальное: кружок друзей Геннадия Шиманова да Игорь Ростиславович Шафаревич, с давних пор первый читатель всяческих моих писаний.

Случались внезапные радости. В Австралии эмигранты первой волны издали отдельной книжкой на русском мою повесть «Год чуда и печали». Я написал ее еще во Владимир-

ской тюрьме и утратил по собственной вине. При освобождении все писания изымались на проверку «антисоветчины», и мне всего лишь надо было через пару недель явиться в оперчасть – уверен, эту повесть мне бы вернули. Но ни через две недели, ни через полгода, когда была возможность, не смог себя заставить объявиться в славном граде Владимире и предстать пред очи моих недавних надзирателей. Лишь через год отыскал на скамеечке, что напротив тюрьмы, подполковника, ведавшего «шмотками» освобожденного зэка, который поведал, что всякая писанина, изъятая при освобождении, если не попадает по содержанию в папку для будущего дела, хранится в архиве не более двух месяцев, после чего подлежит уничтожению.

Я восстановил повесть через три года, а еще через три она оказалась в Австралии. До сих пор храню это издание как самое дорогое из всего, что было издано за границей.

Собственно, с момента моего появления в Москве «органы» начали готовить меня к очередному сроку, но ведь решительно не помню ничего, что могло быть достаточным поводом для того убийственного срока, каковым одарили меня в 1982 году. Отнес сей факт на счет их необъективной злобы лично против меня, и лишь по освобождении, из признания «опера-куратора», узнал подлинную причину столь сурового приговора.

Оказывается, в моем оперативном деле находились «неопровержимые доказательства» моего членства в так называемом НТС – Народно-трудовом союзе, но доказательства эти, полученные якобы оперативным способом, в суде использованы быть не могли, потому «шили» мне всяческую туфту, каковая нынче смотрится просто смешно: «...такого-то числа подписал поздравительное письмо ко дню рождения Солженицына»; «...своему бывшему подельнику Анатолию Судареву в своей квартире показывал журнал “Континент”»; «...через такого-то передал для ознакомления о. Дмитрию Дудко документ под названием “Манифест национал-христианского движения”»; «...С разрешения Бородина проживающий на его квартире зять ознакомился с книгой клеветнического содержания...» И все в таком стиле и на таком уровне.

Однако подозрения «органов» относительно моих контактов с НТС были не столь уж неосновательны. Дважды я

имел личные встречи с представителем этой по тем временам для меня весьма странной организации. Чуть ранее в одном из журналов «Посев» прочел я следующее: «Поскольку Социал-христианского союза, созданного И. В. Огурцовым, более не существует, НТС считает себя единственным преемником русской революционной традиции».

Но более оскорбительного слова, чем «революционер», для нас, членов организации в бытность ее, не существовало. Мы были всего-навсего обычными русскими людьми, всерьез озабоченными судьбой будущего страны и изъявившими готовность действовать во спасение тысячелетнего государства средствами, предложенными программой И. Огурцова. Слово «революционер» для нас было равнозначно слову «бес», и никак иначе. Русские революционеры начала XX века были для нас бесами, одержимыми сатанинской идеей воплощения Царства Небесного на Земле исконно сатанинскими средствами.

Безусловно, мы понимали, что бесы без причины в том или ином народе не объявляются, что именно глубокий кризис Православия, начавшийся в предыдущем веке, одна из главнейших причин русской революции. Но... проклятие тому, через кого зло приходит в мир, вне зависимости от объективности причин... Проштудировав программу НТС, обнаружил там массу определенно неприемлемых положений относительно будущего России и средств его достижения. К тому же «подпольщиной» был сыт по горло, так что проблема «быть или не быть» даже и не возникала. Случилось к тому же так, что оказался я свидетелем «разборки» между «эмиссаром» НТС и, так сказать, тутошним их «резидентом». Объект разборки – деньги. Впечатление осталось удручающее, и от предложения «эмиссара» занять место этого самого «резидента» я отказался категорически. Свидетелем этого разговора был еще один человек «из наших», фамилию назвать воздержусь. Позднее, во время моего второго следствия, этот «наш» дал на меня массу глупых показаний, но про эпизод, который мог бы реально повлиять на мою судьбу, отчего-то умолчал. Хороший человек, но отношения мои с ним с тех пор прекратились.

В 1988 году, когда узнал о подлинной причине столь сурового осуждения, без труда вычислил человека, давшего оперативную «дезу» относительно моего участия в НТС.

Будучи за границей, в одной компании даже встретился с ним, скорее всего, типичным двойным агентом; мило пообщались и расстались по-доброму. Во-первых, каждому свое! Во-вторых, был процент сомнения. Нам ли, простым смертным, постичь «кухню» самой профессиональной тайной полиции в мире?

В 1979 году мои мотания по Москве неожиданно-сюрпризно привели меня в Калашный переулок, и так или иначе в последующие три года, вплоть до второго ареста, самые яркие воспоминания связаны с ним, с Калашным переулком.

Резервация в Калашном

Уверен, кто бы, что бы и сколь пространно ни написал о Глазунове, в любом описании Глазунов присутствовал бы лишь частично – столь сложна и противоречива сия личность. И я даже и пытаться не буду давать какие-либо принципиальные характеристики художнику, с которым в течение почти трех лет имел самые тесные и самые дружеские отношения, насколько таковые вообще возможны с ним – Ильей Сергеевичем Глазуновым.

Оставлю в стороне обстоятельства, при которых соприкоснулись наши интересы. Тем более что они и самому мне не очень ясны. На момент нашего знакомства я, по сути, «бичевал». Посредством счастливо сработанного приема удалось прописаться в Москве после шести лет мотаний-мытарств по стране «от Москвы до самых до окраин». Устроиться на работу в Москве с политической статьей – разве что дворником, да и то по чужому паспорту. Не один я был в подобной ситуации, и к началу 1980 года один из «наших», более проворный, сумел создать целую бригаду сторожей, обеспечивавших «безопасность» совучреждений в самом центре Москвы. Лично у меня были два пункта, где я отсиживал ночами: на Малой Бронной и на Качалова. Что это были за учреждения – не помню. Но в одном из них, на Качалова, у меня был доступ к пишущим машинкам с неограниченным количеством бумаги и копирки. Именно там ночами накатал я роман «Расставание», который позже супруг

Беллы Ахмадулиной художник Борис Мессерер вывез в Германию для Георгия Владимова, редактора «Граней», где Владимов его и опубликовал.

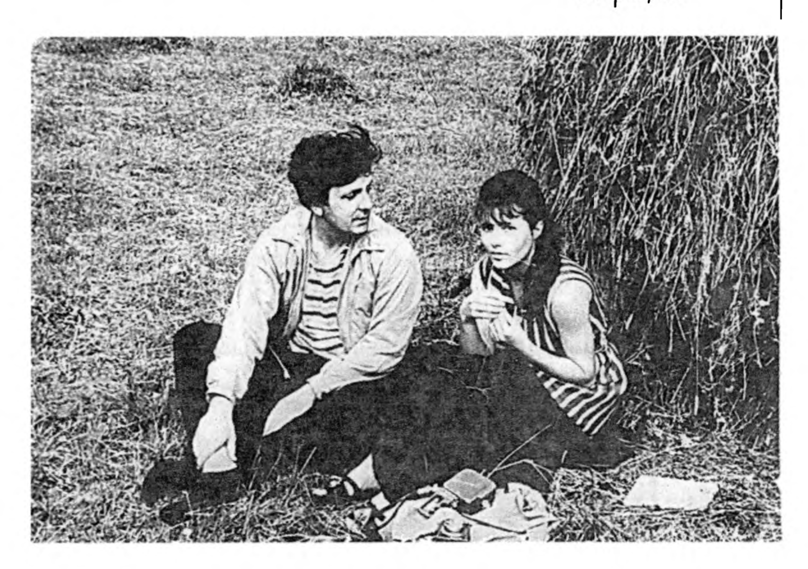
За свои два сторожения я получал чуть более ста рублей, редакторской работой что-то добывала жена. По крайней мере, мы не голодали...

То был период воистину бессмысленного существования. Русский самиздат разгромлен на корню. Прерваны практически всякие контакты с единомышленниками – то были прямые последствия «антирусистской» активности Пятого управления. Правозащитники-демократы пачками выбывали на Землю обетованную, затем расползались по необетованным европам, откуда вещали о продолжении борьбы... На что И. Р. Шафаревич в свое время остроумно заметил: «Сложилась пикантная ситуация, когда борцы находятся в одной стране, а борьба в другой».

Писательские же дела всегда были для меня лишь на уровне хобби и могли только приглушать уныние, но отнюдь не избавить от него.

И вдруг, в силу случайных обстоятельств, я занырнул в оазис «имени Ильи Глазунова». То ли оазис, то ли маленькое, по крайней мере по внешним признакам, сепаративное царство на Калашном переулке, в доме с башенкой... Герой Ибсена жаловался, что перестали люди строить дома с башенками... Глазунов, конечно, тоже не строил, но счастливо пристроился благодаря Сергею Михалкову, пристроился «над Москвой – столицей первого в мире социалистического государства», государства сего отнюдь не игнорируя, но имея с ним лишь взаимовыгодные отношения на изящном дипломатическом уровне. «Изящество уровня» было перманентным объектом слухов, сплетен, подозрений и обвинений. И не без оснований.

Квартира Глазунова и мастерская, что этажом выше, были, по сути, клочком русской резервации. С московской улицы попадая туда, сначала слегка шалеешь от запаха краски, от самих красок, что вокруг и даже над... Машиной времени перенесенный в обстановку дворянского гнезда середины девятнадцатого, поначалу чувствуешь себя плебеем, самозванцем и элементарно не подготовленным к сосуществованию с интерьером, каковой будто бы вопрошает тебя: «А помыл ли ты шею, сукин сын?»



Илья и Нина Глазуновы.

Хозяин дворянского гнезда капризен. Терпеть не может так называемых «советизмов» в речи. Попробуй ответить на вопрос о делах или здоровье словом «нормально». Прищурится хозяин, спросит, что, дескать, означает это «нормально»? Вопрос-то по-русски конкретный, а не какой-нибудь иноязычно формальный «хау ду ю ду», что означает – я человек вежливый, но до тебя мне никакого дела, потому и можешь отвечать свое «о'кей», что и означает – «нормально»...

Или другой пример. В первый год моих посещений Глазунова оказался я в его квартире вечером восьмого марта. Еще не освоившийся, не уловивший многих нюансов глазуновского бытия, робея, спросил Нину: «Извините, пожалуйста, я не знаю... Мне надо поздравить вас с международным женским?» На что, хитро улыбнувшись, Нина ответила: «Можно, но лучше это делать в скафандре». С Ниной всем всегда было легко.

С Глазуновым же – бди да бди! Сохрани Бог от панибратства. Причем с обеих сторон. Однажды, во время организации выставки в Манеже, я сумел только на второй день обустройства забежать на несколько минут. И тут же барский выговор: «Ну ты где? Все тут в поте лица...» Я тут же

по-английски исчез. День-другой, звонит дорогой мой Илья Сергеевич – он тоже бдителен, просек. «Привет, композитор, что-то тебя не видать?» – «Да вот, – отвечаю как ни в чем не бывало, – приболел слегка...» «Поболев» еще пару дней, на очередной звонок мчусь на Калашный. И снова все в порядке. Уровень взаимной корректности восстановлен.

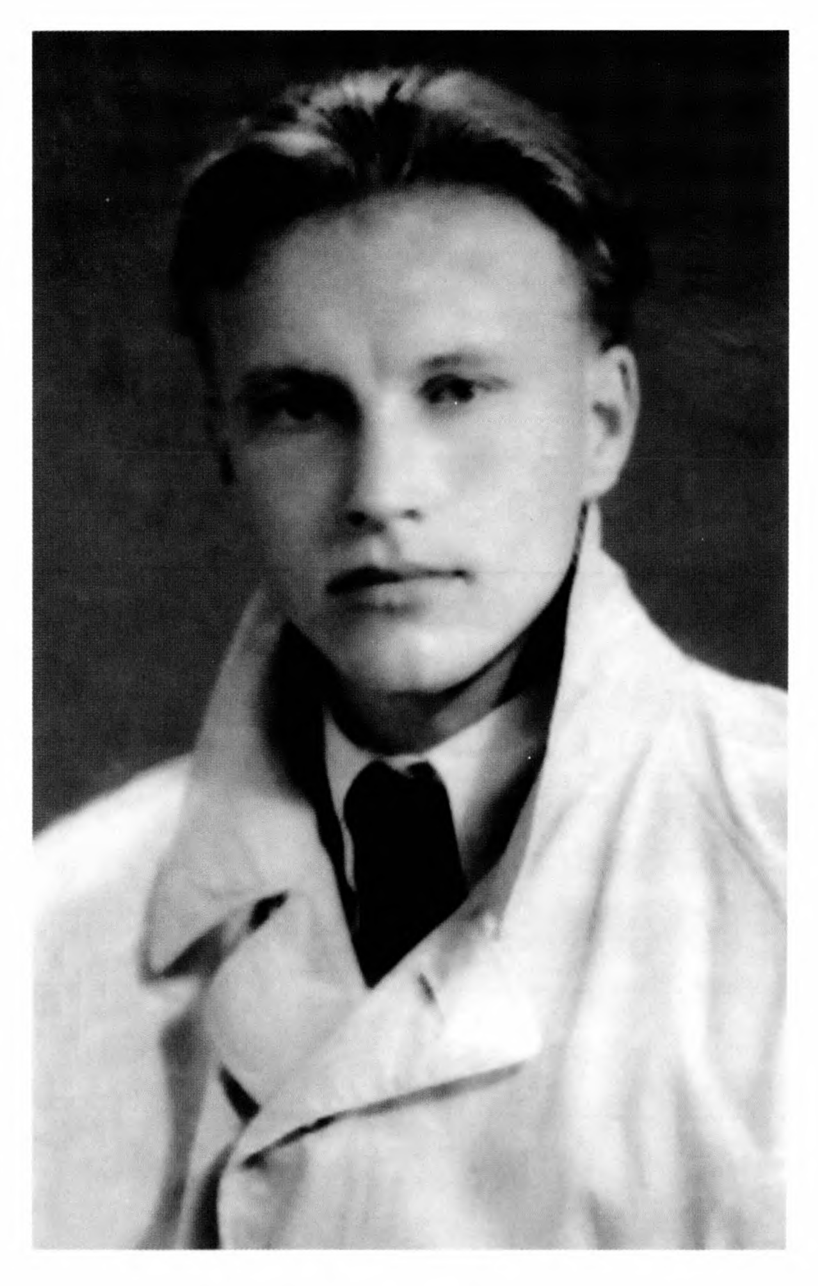
Те годы, что я провел в тесном контакте с художником, запомнились прежде всего нескончаемым общением с людьми самого разного толка: писатели, студенты, министры – наши и иностранные, корреспонденты и проныры-проходимцы, деловые люди и таковыми прикидывающиеся, актеры, певцы, чиновники разных рангов...

Безусловно, такой оазис общения соответствующие органы без внимания оставить не могли, и все присутствующие это в равной степени понимали.

Тогда Илья Глазунов умел спать не более четырех часов в сутки. Где-то с девяти-десяти часов вечера начинались те самые общения, коэффициент полезного действия которых для самого Глазунова мне почти никогда не удавалось даже прикинуть. Но он был. Ибо ни на что определенно «пустое» Глазунов времени не тратил принципиально. Не пьющий даже кофе, он всегда был центром общения, блистал остроумием и острословием. Присутствующие могли очаровываться им мгновенно и столь же мгновенно разочаровываться и превращаться в злейших врагов. Последнее требует особого пояснения.

Думаю, что у Глазунова никогда не было друзей «просто так». Для Глазунова друг – это помощник в делах его. Человек, будь он трижды очарован, восхищен, влюблен в Илью Сергеевича или в его творчество, если выявлялась его очевидная бесполезность для дела (а у Глазунова на очереди непременно было какое-нибудь дело и непременно на благо России, и не менее того), такой человек рано или поздно, мягко или жестко «отшивался», зачастую посчитав себя обиженным или даже оскорбленным.

Именно в это время бывшим советским журналистом, «выбравшим свободу», Александром Яновым была запущена на Западе многостраничная сплетня о том, что, испытывая социальный и экономический кризис, правящей комму-



Леонид Бородин. *1964 г.*

Урок физкультуры в Сиропитательном приюте, где работала бабушка писателя Ольга Александровна Ворожцова (крайняя справа). *Иркутск. 1910 г.*

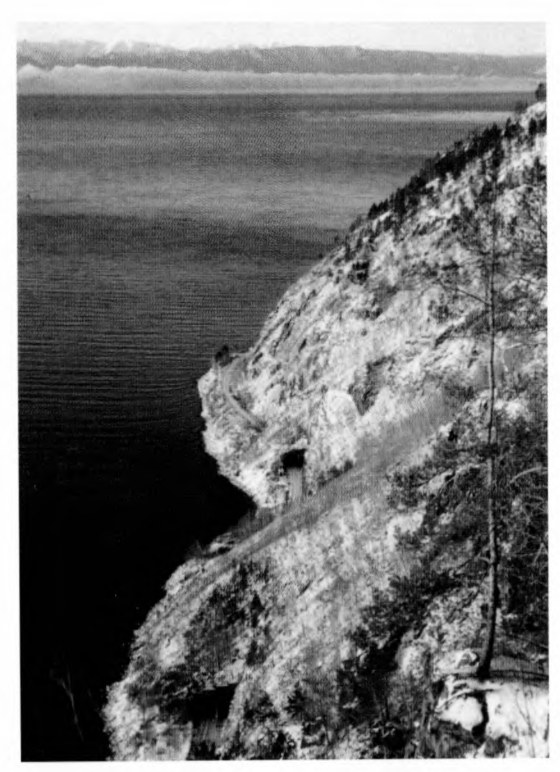
Лёня Бородин (слева). *1947 г.*

Курсант спецшколы МВД Леонид Бородин. *Елабуга. 1955 г.*



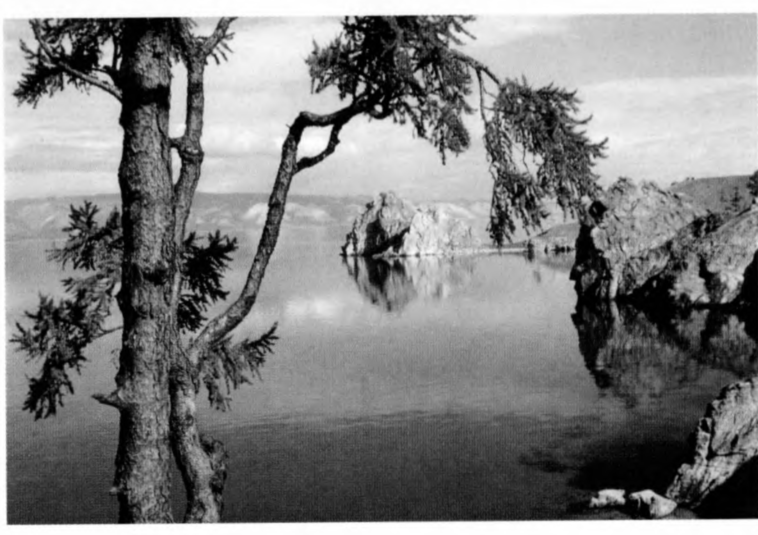
Первая работа в бригаде срезки откосов. *Кругобайкальская железная дорога. 1956 г.*



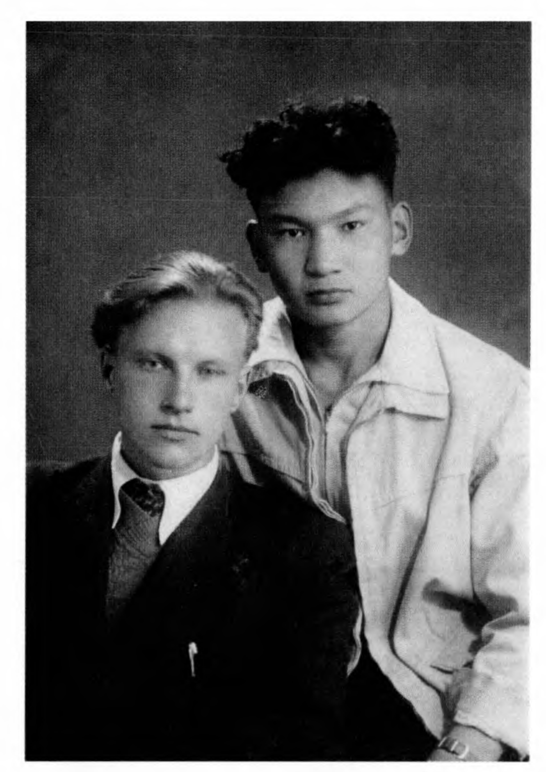


Кругобайкальская железная дорога с высоты птичьего полета.
Фото С. Сомова. 1999 г.

Озеро Байкал.

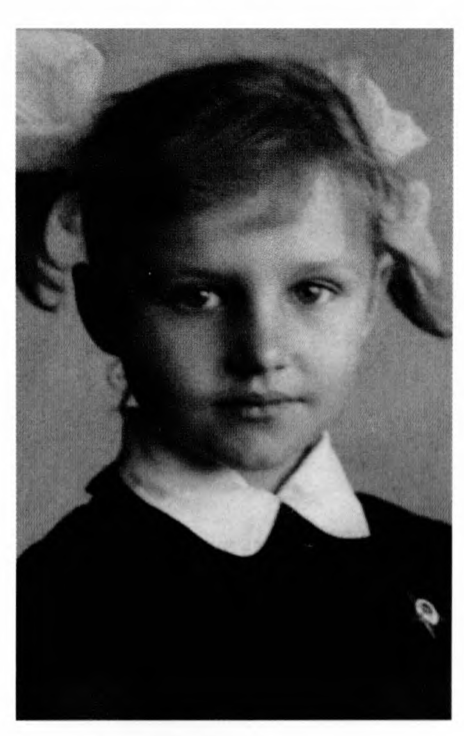


Леонид Бородин с другом — студенты Педагогического института. *Улан-Удэ. 1959 г.*



С первой женой Верой. *1961 г.*





Дочь Лена —
первоклассница. *1969 г.*

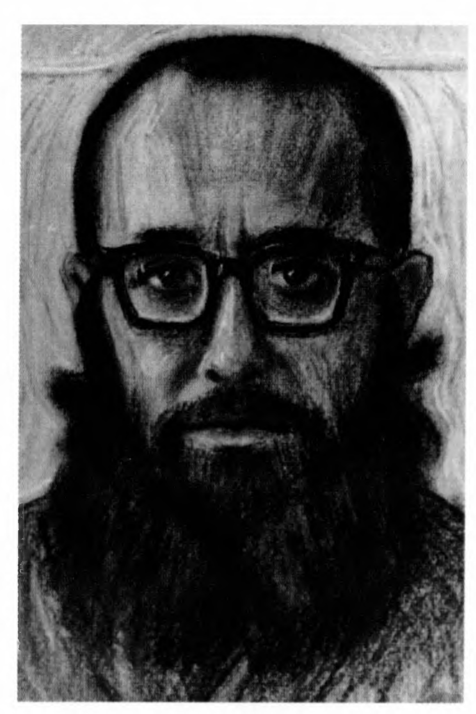
Семья Бородиных:
Леонид, его отец Иван
Захарович, мама
Валентина Иосифовна,
брат Саша, жена Вера.
1962 г.





Директор школы Леонид Иванович Бородин с учениками.
Бурятия, ст. Гусиное Озеро. 1964 г.

Леонид Иванович Бородин (в первом ряду крайний слева) с учениками в походе. *Кругобайкальская железная дорога, ст. Маритуй. 1964 г.*



Николай Викторович Иванов, искусствовед, преподаватель ЛГУ. Член ВСХСОН. *1965 г.*



Вячеслав Михайлович Платонов, востоковед. Член ВСХСОН. *1965 г.*



Тридцать лет спустя: бывший руководитель ВСХСОН Игорь Вячеславович Огурцов (справа) с писателем Василием Ивановичем Беловым. *Вторая половина 1980-х гг.*



Владимир Ивойлов и Леонид Бородин после освобождения. *1975 г.*

Бывшие члены ВСХСОН: Леонид Иванович Бородин (стоит), Александр Андреевич Миклашевич, Игорь Вячеславович Огурцов, Михаил Юханович Садо. *Вторая половина 1980-х гг.*

Справка об освобождении.
1973 г.

Форма Б

СССР
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

21/IV-73

Серия БД

СПРАВКА № 032553

Учреждение ОД-1/ст-2

„17" февраля 1973 г.

Выдана гражданину(не) Бородину
(фамилия)
Леониду Ивановичу
(имя, отчество)
дата рождения 14 апреля 1938
(число, месяц, год)
уроженцу(не) гор. Иркутска
(город (селение), район, область, край, республика)
национальность русский
семейное положение женат 8 марте 1959 г. в с/совете
(если состоит в браке, указать, каким органом ЗАГСа, когда и с кем
ст. Слюдянка, Иркутской области с
Кокориной Верой Васильевной 1941
(фамилия, имя, отчество, год рождения) зарегистрирован брак)
года рождения
отношение к военной службе военнообязанный
осужденному(ой) 4-5/IV-1968 года Ленинградским
Городским судом по ст. ст. 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы

имеющему(ей) в прошлом судимости не судим

в том, что он(а) отбывал(а) наказание в местах лишения свободы с „18" февраля 1967 г. по „17" февраля 1973 г.,
откуда освобожден(а) по отбытии срока наказания

Начальник учреждения
(подпись)

Начальник отдела
(части)
(подпись)

Встреча бывших членов ВСХСОН после освобождения: Юрий Бузин, Георгий Бочеваров, Вячеслав Платонов, Евгений Вагин, Леонид Бородин, Анатолий Сударев. *1975 г.*



С дочерью Леной после освобождения. *1973 г.*

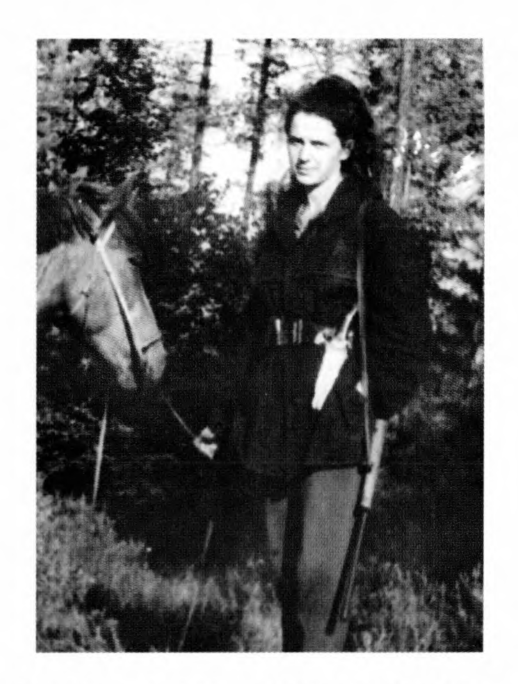
База Байкальского зверопромхоза «Хологор». *1973 г.*



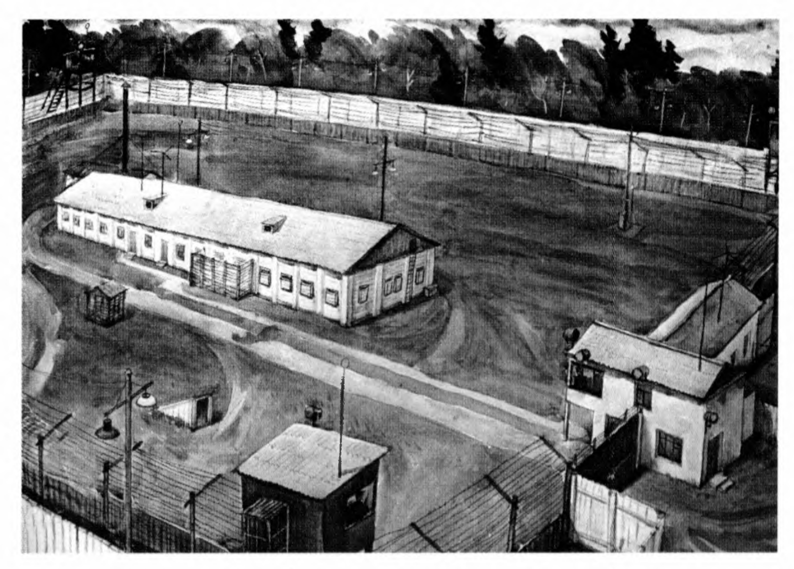
Сторож Байкальского зверопромхоза Леонид Бородин. *1973 г.*



Лариса — «... дал мне Бог в напарницы жизни женщину, перед жизнью страха не имевшую совершенно...». *1973 г.*



Таежное житье. *1973 г.*
«Сегодня, спустя тридцать лет, наше с женой пребывание в прибайкальской тайге вспоминается как счастье».



Политическая зона № 36 особого режима, где Леонид Бородин отбывал второй срок. *Пермская область. Ныне музей.*

Камера особого режима,
в которой Леонид Бородин сидел с 1983 г. *Фото 2000 г.*

нистической клике не остается ничего иного, как «сворачиваться» к фашизму, потому-де в ближайшее время надо ожидать смыкания «правой истеблишмента с правой диссидентской»...

Вспомним, как у М. Горького в его «Варварах» некий Павлин возражает против агрессии иностранных слов: «Раньше говорили – сплетня. А теперь говорят – информация». Как раз про Янова. Сей бойкописец каких только прогнозов не насочинял под сенью свободы импровизации.

Однако ж не с пустоты яновские фантазии воплощались в прогнозы – доносы прогрессивному человечеству. Из кругов официального патриотизма постоянно истекали слухи о том, что, дескать, в Политбюро раскол, что какие-нибудь Черненко с Кириленко сколачивают патриотов, что «наши» вот-вот возьмут верх, что у Косыгина в столе программа, а у Щелокова наготове дивизии МВД...

Сей блеф, не очень понятно кем инспирированный, весьма воодушевлял патриотическую интеллигенцию. Воодушевлял, разумеется, не на борьбу или хотя бы на некую активность, а всего лишь на готовность принять победу «под белы ручки», то есть по мере возможности воспользоваться ею, ибо никакой мало-мальской собственной идеи и уж тем более – программы возрождения или «перерождения» у глашатаев официального «русизма» (термин Андропова) не было.

Абзацем выше упомянул Щелокова, тогдашнего министра внутренних дел. С ним и с его (по крайней мере, на первый взгляд) скромной и симпатичной супругой мне тоже случилось однажды встретиться на глазуновской территории. Щелоков, безусловно, симпатизировал Глазунову. Глазунов же одно время преподавал эстетику, если не ошибаюсь, в Академии МВД и, как всякий работник эмвэдэшного учреждения, имел и соответствующее удостоверение, и звание, пропечатанное в данном удостоверении. Сей документ, между прочим, не раз помогал ему выпутываться из коварнейших ситуаций, каковые он, Глазунов, создавал, лихачествуя на тогдашнем своем «жигуленке». Об одном случае расскажу.

Был день рождения, наверное, круглая дата у писателя Олега Михайлова. Еще с середины дня Глазунов, замотанный «вечно срочными» делами, твердил, что сегодня вечер у него занят, что все побоку – он во что бы то ни стало не-

пременно должен попасть на юбилей Михайлова и вручить ему подарок – старинную литографию, каковая еще с утра была выставлена на видное место в мастерской в напоминание...

Но вот уже шесть вечера – Глазунов с кем-то решает какие-то проблемы, семь – опять кто-то пришел и опять, конечно, дело, не терпящее отлагательства... Восемь – то же самое... Подарочная литография уже упакована и спущена из мастерской в квартиру... Девять... Если память не изменяет, только в одиннадцать измотанный Глазунов хватает подарок, и мы с ним бежим к машине, что чуть в стороне от подъезда, садимся и с визгом вылетаем из Калашного переулка. Я уже не первый раз в машине Глазунова. Однажды в полном смысле «слетали» на Бородинское поле... «Полет» тогда закончился тем, что километрах в семидесяти от Москвы на скорости около ста двадцати «жигуль» втерся в бордюр, передняя резина в клочья... Диму Васильева оставили при машине, с Глазуновым добрались попутками до дома, кому-то он срочно звонил, кто-то срочно выехал выручать машину и Васильева...

Что вытворял на этот раз лихой Илья Сергеевич – пересказу не поддается. Вопреки всем и всяческим правилам мы вылетели на какой-то мост, а на мосту будка с гаишником. Свисток. Глазунов, оставив меня в машине, с удостоверением в руках буквально бежит к будке и, как я начинаю понимать по типу жестикуляций, нарывается на принципиального блюстителя дорожного движения, которому до лампочки, кем подписан документ, мелькающий у него перед носом. Трудно предположить, чем бы вся эта история закончилась, если бы в это самое время к будке не подкатил милицейский уазик и другой гаишник, «не врубившись в ситуацию», не выволок бы ящик с пивом. Как только пиво вознеслось на высоту постовой будки, ситуация резко изменилась – в руках Глазунова уже было не удостоверение, но авторучка и бумажка, в центре внимания не гаишники, а номер уазика...

Через пару минут злющий Глазунов вернулся в машину, и мы промчались мимо бездвижных гаишников и на их глазах по красному свету ушли куда-то вправо. Когда наконец прилетели на место, то обнаружили темноту окон в учреждении и запертые двери...

Но все же несколько слов о Щелокове. Его дружеские отношения с Глазуновым, безусловно, строились или выстроились не просто на личных симпатиях. Хозяин собственной, весьма представительной картинной галереи, министр, надо понимать, разделял многие взгляды Глазунова на живопись и искусство вообще. Таковое «разделение» не могло не смыкаться и с прочими мировоззренческими аспектами, каковые в недрах другого ведомства уже к тому времени определенно были отнесены к разряду враждебных коммунистической догматике. И без всяких на то оснований, то есть не имея ни одного факта в подтверждение, я рискну предположить, что в каких бы грехах Щелоков ни был уличен, его «уход» в значительной мере – часть той общегосударственной политики в идеологической сфере, что была в свое время сперва публицистично декларирована Александром Яковлевым в «Литературной газете», а затем документально сформулирована Ю. Андроповым в известной «записке» для Политбюро: «Русизм – идеологическая диверсия, требующая особого к себе внимания и мер воздействия».

Падение Щелокова, несомненно, «содрогнуло» и без того вечно дрожащую «русскую партию», но в самом факте существования определенно мнимой «партии русистов», на которую столь агрессивно настроился Ю. Андропов, следует видеть и нечто, имеющее свою непреходящую ценность, – любовь к России во всех ее ипостасях, в том числе и в советской, ибо, как бы ни перемолотила коммунистическая идея русский этнос, остался и генотип, и стереотип поведения, хранилась, не убывая, вера, в худшем случае – надежда на национальное возрождение... Наконец, сохранился русский язык, по крайней мере его основная база, на основе которой возможно было литературно-художественное творчество, в русском исполнении непременно ориентированное на светлое и доброе, и как его ни упаковывай в соцреалистические одежки – швы трещат, и вечное русское вот оно!.. Такая литература была, и высшими своими образцами она вписалась в контекст мировой русской литературы, как бы ни оценивать степень ее подлинного реализма, то есть меру соответствия правды факта и образа...

Парадоксально, но в социальном плане абсолютно беспомощная, робкая без меры, а иногда и до неприличия, чаще всего охотно опекаемая «органами», так называемая интелли-

гентская «русская партия» сумела найти ответ на пресловутый русский вопрос: «Что делать?» Быть! Просто быть – и все!

Для предотвращения национальной катастрофы этого оказалось недостаточно. В том – поражение. Поражение социальное, гражданское. Но и победа – в нравственном противостоянии распаду. Противостояние кривобокое, кривошеее – ни веры православной, ни идеи более-менее вразумительной. Одно только, инстинктом диктуемое, чувство некой русской правды, отличной от прочих, что должно быть сохранено в душах для необходимого, сначала хотя бы душевного возрождения. А там, глядишь, дорастем и до духовного...

В этом смысле квартира Глазунова была микроплощадкой русского бытия. Просматриваемая и прослушиваемая, для андроповских борцов с «русизмом» она служила полигончиком проверки «русизма» на вредность, на опасность – как ее, эту опасность, привыкли понимать органы за десятилетия непрерывной войны с собственным народом, то и дело порывающимся выпихнуться за социалистические стойла то внаглую напролом, то втихую – бочком...

Дело в том, что квартира Глазунова – площадка – была еще и крохотным полем, где, как уже сказал, вроде бы и под контролем, но прорастало то самое «русистское», что так основательно тревожило руководителя КГБ. За два с лишним года моего обитания у Глазунова я был свидетелем нескольких подлинных обращений людей, пришедших к Глазунову Бог знает кем, а ушедших, иногда даже порвав отношения с Ильей Сергеевичем, прочно «обращенными». Кое-кто из таковых сегодня в лидерах патриотического направления. Ни от кого из них ни разу не слышал и слова о роли Глазунова в их «образовании».

Одно такое слово, однако ж, и сказано было, и прописано.

* * *

«De mortuis aut bene aut nihil»*.

Таково правило. Постараюсь его не нарушить так называемыми объективными суждениями. Но от субъективных – куда денешься.

---

* О мертвых или хорошо, или ничего (*лат.*).

В 1960-х годах Комитет государственной безопасности в целях изучения общественного мнения выпустил спецтиражом исключительно для своих сотрудников «Письма из Русского музея» Владимира Солоухина. По каким-то причинам нам, некоторым подследственным по делу Социал-христианского союза, дали на прочтение в камеры эту книгу. Причину я предположил позже. Ее мне приоткрыла одна фраза в тексте книги. Речь шла об иконе, древней, ценной, намоленной и какого-то редкого письма. После восторгов и оценок произведения древнего иконописца следовала та самая фраза, каковая сперва потрясла меня своей, как бы это сказать, несуразностью, что ли, а затем и приоткрыла смысл «доброты следователя», с многозначением во взгляде вручившего мне книгу. Вот фраза: «Такая икона может оказать честь любому современному интерьеру».

В те времена весьма немного зная о писателе Солоухине, я для себя отметил со свойственной молодости резкостью, что сей мужик писать научился раньше, чем «по-русски плакать».

Итак, икона, церковь, религия – при должном понимании недурная и практически безвредная игра интеллектуала. Надо только согласиться с правилами игры, и тогда все будет смотреться бескриминально. Отдавая должное В. Солоухину как мастеру слова, с тех пор и до конца его дней ни его православность, ни его монархизм я всерьез не принимал, в чем, очень возможно, ошибался, ибо духу человеческому свойственно совершенствоваться...

С В. Солоухиным я встречался у Глазунова часто. Но одна вечеринка особо отложилась в памяти. Был, если не изменяет память, день именин Нины Глазуновой, о которой так много хотелось бы сказать. И сказать стихами... Но стихи мои примитивны и банальны. Потому только молиться ее светлой памяти – достойно...

Солоухин пришел с молодой красивой девахой, каковую представил племянницей. За весь вечер не помню, чтоб племянница сказала хотя бы слово. А может быть, и верно – не помню. Был Юрий Селезнев, симпатичный, сдержанный в речах и тостах. Был любимый поэт Ясира Арафата с приставленной ему от МИДа яркой блондинкой. Через два года его подстрелили во время очередной интифады. Был посол Испании в СССР (после – глава Олимпийского комите-

та), внешне не слишком приятный человек, постоянно намекающий на свои профранкистские настроения. Был «прорусофильски» настроенный корреспондент агентства Рейтер Кевин Роуэн со своей женой. Был сотрудник югославского посольства, обучающийся у Глазунова живописи, бывший партизан, верный титовец, которого все подозревали в сотрудничестве с КГБ... Был, конечно, и Дима Васильев, острослов и весельчак, бывший директор клуба при заводе «Серп и молот», изгнанный оттуда за организацию «несанкционированной» выставки И. Глазунова, ставший после того ближайшим помощником Глазунова по всяким организационным и фотоделам. Еще был красавец рыцарской породы оперный певец Огнивцев, по слухам, внебрачный сын Шаляпина, на которого очень даже походил и статью, и лицом.

Я на таких вечеринках присутствовал всякий раз под разными личинами. Если компания была пестрая и сомнительная, Глазунов мог представить меня как угодно, в зависимости от цели вечеринки. Когда же вечеринка затевалась как повод для разговора «по русскому вопросу», то я бывал в роли Кисы Воробьянинова – полутайного полупредставителя «полнорусской» общественности. И в том, и в другом случае половина присутствующих тем не менее косилась в мою сторону, совершенно определенно угадывая, какое у меня звание в «конторе». Сербский дипломат был уверен, что я майор. А вот Юрий Шерлинг, директор тогда им создаваемой Еврейской камерной оперы, который прицелился с помощью Глазунова «протолкнуть» сие культурное деяние сквозь соответствующие преграды, – он полагал, что я всего лишь капитан, чем слегка уязвлял меня.

И хотя мелкие бесы, всякие известные «недотыкомки» шуршали по всем углам глазуновской квартиры, глазуновские вечера для меня всегда были и интересны, и познавательны. Присутствующие, как правило, отдавали себе отчет в том, что соответствующие уши торчат изо всех стен шикарно обставленной квартиры, и получали при этом особое удовольствие от проговора умеренной, но очевидной крамолы, некой грани, однако же, не переходя...

«Она по проволоке ходила, качала белою ногой...»

Степень озорства «качания белой ногой» бывала в прямой связи от информированности глазуновского гостя на

предмет границ дозволенного и недозволенного. Иной неинформированный, впервые пришедший, случалось, только хмыкал весь вечер многозначительно и нажимал на спиртное, чтоб при случае сослаться на «запамятование»...

* * *

Вечер на квартире Глазунова, о котором я начал рассказывать, в общем-то был нетипичным по причине присутствия на нем достаточного числа иностранцев, но как раз что ни на есть рабочим. Помимо живописи, работой Глазунов называл «прочистку мозгов от интернационального мусора» посредством «разъяснения» роли исторической России в мире, всемирной миссии одуховленной русской культуры, и литературы в частности... Иными словами, работа с иностранцами – вербовка русофилов. Разумеется, никаких «домашних заготовок» не было. И чаще бывало так: часам к шести вечера выяснялся возможный состав посетителей, а он почти всегда складывался стихийно, и если контингент намечался интересный, Глазунов звонил мне домой и кратко уведомлял: «Композитор (конспирация!), приветствую! Есть работа. Хватай такси, да?» Такси, разумеется, оплачивал он.

К слову, вся немногочисленная диссидентская «русская партия» фактически жила на средства Глазунова. От шапки до ботинок – все от него. Пишущие машинки, пятитомники Н. Гумилёва парижского издания, всякий прочий «тамиздат» – от «Посева» до «Континента» и «Русского возрождения»*... Даже зажигалки...

В моей жизни между двумя сроками был период, когда в течение нескольких месяцев мы с женой не могли найти работу. На руках ребенок... Когда б не И. С. Глазунов да И. Р. Шафаревич – не представляю, как бы выжили...

Кстати, о женах... А в чем они, жены наши, ходили? Нина Глазунова – светлая ей память! – легко решала с ними этот вопрос.

---

* Журнал «Континент» выходил с 1974 г. в Берлине, Мюнхене, с 1990-го – в Париже под редакцией русского писателя-эмигранта В. Е. Максимова. Журнал «Русское возрождение» выпускал в США русский эмигрант священник Александр Киселев. – *Ред.*

С тостов в честь нее, всегда милой, изящной, внимательной, всегда уставшей, но с неизменно доброй улыбкой к каждому присутствующему, – с этого началось наше полуночное сидение за громадным деревянным столом в мастерской художника. Торжественный тост Огнивцева; по-восточному многословный и витиеватый – арабского поэта; медлительное говорение с покачиванием головы и с непременным «оканьем» Солоухина; заикающееся бормотание испанского посла; громогласное оглашение великих добродетелей виновницы торжества Димой Васильевым...

«Официальная» часть заведомо недолга. Кто-нибудь подбрасывал вопрос Глазунову о творческих замыслах, и тогда исполнялся второй «канон» общения: Глазунов жаловался на врагов, ставящих ему палки в колеса в его русских делах, на академию, которая никак не хочет сделать его академиком, на Союз художников – не дают «народного», на искусствоведов, поносящих его в эмигрантских изданиях...

Перед тем как раз И. Голомшток разразился разгромной статьей в одном из журналов «третьей волны». Я, искренний поклонник многих работ Глазунова, ответил ему в киселевском «Русском возрождении», на что откликнулся А. Синявский в третьем номере «Синтаксиса» «продолговатым» опусом Леонида Седова, и поныне правой руки нашего «ведущего» социолога Левады...

* * *

Тут просто вынужден сделать некоторое отступление от темы.

Левада во все времена был этаким «сбоку ведущим». Его полуофициальные семинары, тоже, безусловно, «просматриваемые», были своеобразной школой «антирусской подготовки молодых интеллектуальных кадров». Его любимый ученик Л. Седов, писавший в самиздате под пошлейшим псевдонимом Л. Ладов (произнесите вслух – Элладов!..) стал популярен в середине 70-х статьей с наукообразным названием: «Типология культур по отношению к смерти». В статье не было не только науки как таковой, но даже элементарных понятий о сути тех или иных русских традиций. А весь смысл статьи сводим к простейшему утверждению: все народы мира ведут себя прилично по отношению к смерти, и только

русские придурки на поминках нажираются до блевотины и напиваются до свинства, что свидетельствует о полнейшем отсутствии у них подлинного религиозного чувства. Зайдите в католический или протестантский храм, – советовал Элладов, – там устремленность к небу, там ощутите присутствие Божества... А в русском храме? Своды вдавливают тебя в пол, стены задушены-завешаны малеванием и златом – откуда там взяться Богу... Пересказываю не дословно, но, безусловно, близко к тексту... Вывод: русские никогда в истории не были народом религиозным, а следовательно, и культурным. Но только втемную – суеверным. То есть – всуе-верным. Суть – бескультурным язычником. Что важно, потому что были язычники культурные – Эллада, например.

Религия – продукт культуры, вторил уже на высоком профессиональном уровне главный теоретик философского русофобства Г. Померанц, постоянный участник и главный идеолог левадовских семинаров. Интеллигенция, как носитель подлинной культуры, антиприродна, то есть – антинародна по существу и диаспорна по мироощущению... Мы – жуки в муравейнике, со скорбным достоинством свидетельствовали братья Стругацкие. Сегодня задача всякого интеллигента определить себя вне так называемого русского народа – еще одно откровение в самиздате... Утверждаю ответственно, потому что был свидетелем процесса: и «Память», и «Русское национальное единство» (РНЕ), и еще что там – адекватная реакция на откровенное публичное русофобство «образованцев», как русских, так и нерусских, не освоивших глубинной сути русской культуры, с одной стороны, и отчего-то именно в 1970-х, в самый разгул так называемой «андроповщины», утративших бдительность – с другой. Иными словами, попросту слегка охамели...

Я до двадцати пяти лет прожил в Сибири, в этой своеобразной Америке – тоже вроде бы «плавильный котел». Ни о каком антисемитизме и понятия не имел. Прибыв в столицы, я прежде наткнулся на русофобство и только потом на ему ответную реакцию...

На нескольких семинарах Левады я был. На одном, где Глазунова определяли как творца «кича», даже речью разразился.

Аудитория – в основном молодежь, научившаяся уверенно отличать Ренессанс от Росинанта и Добужинского от

Бжезинского. Хитровато-многозначительное выражение лиц, до конца не проговариваемое взаимопонимание своей исключительности и обреченности на пребывание в стране варваров, безнадежных к «обращению»...

Нечто подобное видел много позднее на телезаседаниях так называемого «Пресс-клуба». Те же мальчики, главное в жизни понявшие, а об остальном догадавшиеся. Некоторые из них, обородевшие, омохнорылевшие или облысевшие, ныне успешно телеимпровизируют на заданные темы...

* * *

Все присутствовавшие на том вечере, о котором начал рассказывать, уже по сложившемуся ритуалу вторые тосты посвящали деятельности Ильи Сергеевича Глазунова, ибо воистину было чему посвящать хорошие слова, которым каждый человек так или иначе обучен. Тут тебе и защита памятников старины, и возрождение традиции педагогики живописи, и возвращение гипса в систему преподавания, и мужественное отстаивание великого русского реализма перед истинным штурмом живописного искусства шарлатанами и конъюнктуристами, и личный опыт Глазунова по набору учеников и русско-православному воспитанию, и, наконец, его выставки в Москве, Питере, Иваново, и десятки тысяч посетителей, и сотни отзывов в специальной книге, где люди искренно признавались, что открывали для себя Россию, что впервые почувствовали себя именно русскими, а не просто некими советскими... Книга отзывов была прекрасно издана в Германии с помощью Олега Красовского, и я сам был свидетелем того впечатления, какое она производила даже на тех, кто посещал выставки Глазунова. Да простит мне родной человек Валентин Распутин – Глазунов давал почитать часть его письма как раз по поводу этой книги, где речь идет не о впечатлении просто, но о некой мировоззренческой революции во взглядах писателя, который и сам к этому времени уже был возвестником возрождения классической русской прозы или, по меньшей мере, ее достойным продолжателем.

Две речи запомнились мне по этому поводу, то есть по поводу исключительных «борцовых» качеств Глазунова.

Одна из них – это истинный панегирик арабского гостя, имени которого, к сожалению, не запомнил. Концовка его

пространного выступления звучала примерно так. Пришел однажды к великому Ибн Сине один знаменитый мудрец Востока и пожаловался, что враги его учения уже семью семь трактатов написали, понося его и развенчивая перед великими мира сего. Что устал он от споров и опровержений клеветы и пребывает по этому поводу в унынии и скорби. На что великомудрый Авиценна ответил ему: «Собери все труды врагов своих в одну кучу и встань на сию кучу – и тогда сразу увидишь, насколько ты выше всех твоих врагов». «Так и ты, дорогой Илья Сергеевич, знай: чем больше у тебя врагов, тем ты выше их, да будут они попраны твоими ступнями!»

Вторая запомнившаяся мне речь – Солоухина. Как равный, а может быть, и первый среди равных, он не встал, но, напротив, склонил голову к столу, помолчал немного и заговорил своим окающим тихим басом: «Ты, Илюша, не просто художник, и ты не просто великий русский художник, ты есть одновременно и образ, и прообраз того русского человека, какой родится и расплодится по всей Руси-матушке, когда всякая сволочь и нечисть прочая вонючим ручьем истечет из земли Русской. Канавку мы ей с Божьей помощью пророем, когда очистим авгиевы конюшни русской культуры, выпустим в русские поля резвиться орловских рысаков, то бишь русаков. А ты есть первейший Геракл, и за великие твои подвиги по защите Руси тысячелетней я вот и выпью сейчас, и не поморщусь, этот армянский русский коньяк, будто воду святу».

За дословность солоухинской речи не ручаюсь, более двадцати лет прошло, но за суть, за пафос, за сердечность интонации, за истинно любящий взгляд, брошенный как бы мимоходом на лукаво ухмыляющегося Глазунова (он всегда иронически относился к выспренним речам, хотя и сам был великий мастер захвала всех, рядом с ним находящихся), – ручаюсь, как и за то, что у всех присутствующих сложилось общее мнение: если у Глазунова и есть хоть один истинный и преданный друг, то это, несомненно, Владимир Солоухин.

Но дело в том, что именно в эти годы Солоухиным уже писался или даже был написан роман «Последняя ступень». Говорят, что Солоухин давал его читать Глазунову, и тот будто бы одобрил... Не верю. Роман заканчивается тем, что главный герой, в котором всякий узнает Глазунова, оказы-

вается не просто стукачом КГБ, но сознательным провокатором, то есть человеком, воссоздающим ситуацию преступления, этаким наставником по совершению в данном случае политического преступления, сдающим своего ученика соответствующему учреждению в «готовом» виде.

В 1993 году, уже будучи главным редактором журнала «Москва», я слышал, что в «Нашем современнике» сей роман лежит уже почти год. Ситуация меж тем изменилась. Станислав Куняев к тому времени более никаких «третьих правд» не искал и не жаждал, и потому роман православно-монархических, то есть антисоветских, настроений уже никак не вписывался в идейные установки журнала. Я же находился на продолжительном лечении, когда узнал, что Солоухин забрал роман у Куняева и предложил Крупину, тогда меня замещавшему. Владимир Крупин не только согласился публиковать, но уже и в очередной номер наметил, когда я, наконец добравшись до редакции, взял роман на прочтение...

Я был не просто шокирован. Я был потрясен. Итогом романа не только совершенно бездоказательно был ошельмован лучший друг Владимира Солоухина, но и поставлена под сомнение вся та часть русской правды, или правды о России, каковую на сотнях страниц текста обговаривали, оспаривали, утверждали, иногда и с заведомыми переборами и перехлестами, два основных действующих лица романа – Глазунов и Солоухин. Не узнать их под псевдонимами мог бы разве некто, никогда этих имен не слыхавший и не читавший ни строчки.

На обсуждение проблемы публикации я собрал редсовет. Глубоко убежденный в том, что литература не может служить дубинкой для сведения общественных или тем более личных счетов, я так и не сумел убедить ни В. Крупина, ни В. Артемова, заведующего отделом прозы, что вопиющая некорректность последних страниц романа в давние времена могла быть причиной дуэли, а в наши безалаберные дни – причиной обычного мордобоя. И Крупин, и Артемов высказывались в том смысле, что это типичные межписательские разборки, что и раньше писатели поносили друг друга, и это ничуть не вредило литературе как таковой.

Но был еще один момент в самом конце текста, где некий странным образом информированный монах сообщает ге-

рою, то есть Солоухину, о чуть ли не платной провокационной деятельности Глазунова. Речь идет об антисоветской подпольной организации в Ленинграде, где со временем всех арестовали и посадили, кроме некоего Володи, тоже будто бы члена организации, но отнюдь не пострадавшего от репрессий. Вот этого самого Володю будто бы можно часто встретить у Глазунова, что, разумеется, тоже не случайно.

И этот момент уже имеет непосредственное отношение ко мне, потому что действительно у Глазунова можно было встретить этого самого Володю (имя не изменено). Мой давний друг, действительно знавший о существовании организации Огурцова, но никакого отношения к провалу организации не имевший, – каково ему было бы прочитать сей навет и как бы он сумел оспорить гиганта советской литературы?

Не придя к общему мнению на редсовете, я написал письмо В. Солоухину с предложением пересмотреть последние страницы в целом безусловно интересного текста именно на предмет корректности слишком ответственных суждений. Переговоры с Солоухиным взял на себя Артемов, но ничего путного из его намерений не получилось. А роман к этому времени уже вышел отдельным изданием...

Всю эту историю я бы озаглавил одним словом: «Бесиво». Ибо воистину, как беленой, было отравлено советское общество бесивом подозрительности и – что самое для меня непонятное и удивительное – страхом! Страхом, когда уже не расстреливали, не сажали, не мордовали семей, когда этот самый пресловутый КГБ действительно был и умней, и либеральнее вождей-маразматиков, и если своим «либерализмом» КГБ приблизил эпоху распада, то это самая ничтожная вина сего ведомства из тех, что числятся в его истории.

Незадолго до своего второго ареста я как-то с азартом перечитал «Московский сборник» и переписку К. П. Победоносцева. Боже! Какая же трагическая личность предстала предо мной в итоге прочитанного. Он, этот ненавистный тогдашнему обществу человек, может быть, один только он и понимал обреченность России на революцию. Страна требовала реформ и всяких вольностей – он видел в этом путь ускорения революции. Консерваторы требовали ужесточения

режима, он и в этом видел все то же самое – ускорение революционного процесса. И как мне кажется, сознательно из двух равно безнадежных средств выбрал то, каковое хотя бы по чистой видимости «вредило» – тормозило ненавистный ему процесс духовного и политического распада Империи.

В подобном состоянии находилась страна в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Но уже не было в стране ни таких великих пессимистов, как Победоносцев, ни таких выдающихся оптимистов, как Столыпин. Сплошь и рядом, над и под, был нормальный советский человек, который и прикончил самым безвинным способом – кухонным двоемыслием – когда-то велико задуманный эксперимент исправления ошибок Божьего Творения, а вместе с ним притоптал и то доброе и путное, что было в народе от века, – нравственное неприятие бессмысленного стяжательства, то есть воровства не по нужде, а по азарту.

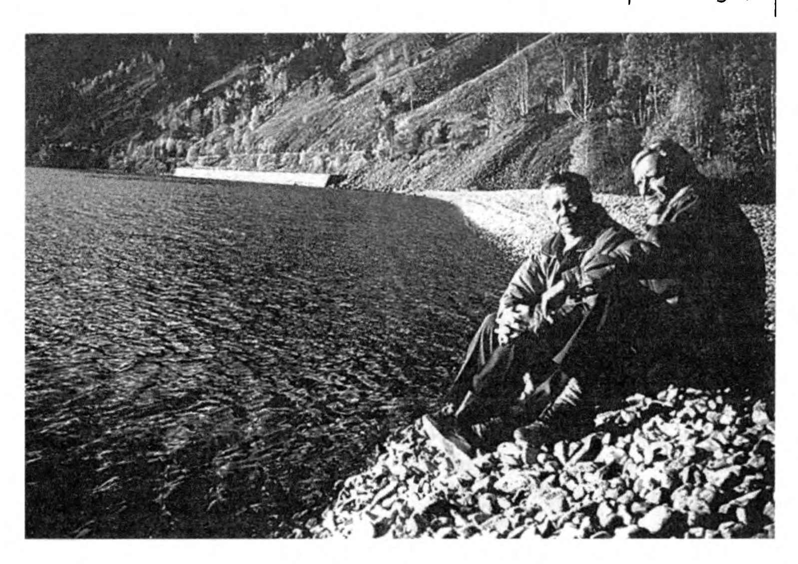
Нынче ведь что ни день, то узнаешь, как то один из вчерашних борцов за народовластие «неплохо устроился», то другой вдруг оказался «совладельцем» или «крупным акционером»; что ни галстук – непременно глава какого-то фонда; что ни свитер по уши – то консультант по ответственнейшим проблемам; что ни борода – то уж обязательно специалист по социальным или экономическим вопросам...

И все в конспирации, ни к кому не подберешься с простым человеческим вопросом: где взял? кто дал? кто продвинул? И уж тем более – на чью мельницу воду льешь, сукин сын?

Сибирская экспедиция

Прочитал на днях книжку и заболел завистью. Почему не я? Почему я не смогу написать так? Книга-то ведь о Сибири, и я ли не сибиряк, и, наконец, нешто я люблю Сибирь меньше, чем он, мой земляк – Валентин Распутин? Зависть, даже если она не черная, все одно – грех. Начал соображать. Думать. Думанье – процесс, нейтрализующий страсти. Нашел две причины.

Я *любил*, а он еще и *знал*. Вторая же причина – главная. Я дезертировал, убежал в поисках ответов на вопросы, адекватные моим претензиям к жизни... А мои претензии –



Валентин Распутин и Леонид Бородин на берегу Байкала.

это уже тема исповедального характера, к разговору на эту тему я пока еще не готов, да и не уверен, что такой разговор уместен вообще.

Тоску же по Сибири переживал изматывающую. Особенно в первый свой срок заключения. До слез. Приснится ущелье мое незабвенное, и вот я пошел... От берега Байкала в падь, километр за километром, до деталей восстанавливая в сонной памяти всякий поворот, и камень на обочине, и пни, и где однажды копылуха взлетела из-под ног, и где первого рябчика подстрелил из «мелкашки», и где промазал, где рысь дорогу перебежала, и где родник наисладчайший... И вот бы уже один поворот до зимовья, где ночи проводил и дни, один только поворот... Но тут-то непременно и просыпаешься, и не то что глаза – подушка мокрая, мерзкой махрой провонявшая. А ведь только что дышал таежным запахом, хвоей кедровой, мхами брусничными... И вот тебе в морду явь – храпы, хрипы, вонь махры и портянок...

Не скажу, чтоб я уважал эту доводящую меня до слез тоску, ведь знал же – всякий человек сам творец своей тос-

ки. Уважать-то, может, и не уважал, но лелеял, смаковал, в добрые качества души записывал: вот, мол, какой я привязчивый да патриотический, слезой ностальгической утрами умываюсь, а вечерами только мордой в подушку, не Господу молитву, но идолу Морфею: «Будь мил, дай хоть раз по тропе до зимовья моего дотопать или хотя бы увидеть его с последнего поворота...» Но на то Морфей и идол, чтоб манить да терзать.

Однако ж если без ерничества, то в моей привязанности к байкальским местам было нечто чрезвычайно счастливое, и это с очевидностью выявлялось всякий раз, как удавалось попасть в родные места: я получал реальную поддержку для продолжения жить и быть самим собой, то есть быть таким, каким я мог себе нравиться. И не случайно, что сущие припадки тоски случались именно тогда, когда я решительно переставал себе нравиться.

Была весна 1980 года, когда напала на меня очередная хандра. Очередная, да необычная. Все валилось из рук. Лица вокруг превращались в физиономии, самые умные и праведные речи – в треп, правильные дела – в суету, дружеские отношения – в тягость бессмысленного общения. И эти московские окраины, где жил, – спичечный коробок стоймя, спичечный коробок плашмя... Обрыдли разговоры о спасении России, пустопорожние споры с национал-большевиками, с иудеохристианами – такие вот кентавры объявились в те времена. И с единомышленниками голос в голос – тоже сколько же можно!

Байкал! Все как прежде. Опять сны и тропа, не доводящая до зимовья, опять мокрая подушка, как у девицы-бесприданницы, мокрая, хотя и своя, не тюремная. И сумасшествие планов – как туда попасть, на родину, как?

Друг мой, ныне покойный, Игорь Николаевич Хохлушкин, герой и мученик, обучил меня переплетному делу. Руки мои от рождения, увы, не золотые, но обучил-таки, клиентов разыскивал. Старый переплетный пресс начала девятнадцатого века подарил сын Бориса Пастернака, клей и годные обрезки ледерина доставал тоже ныне покойный Сережа Бударов, пристроившийся сторожем в какой-то типографии. Инструменты выточил и всяческие приспособления из-



Игорь Ростиславович Шафаревич, Игорь Николаевич Хохлушкин.

готовил он же, дорогой мой Игорь Николаевич. Терпеливо над душой стоял, пока я азы осваивал, похваливал меня, неумеху, за всякий малый успех. Одна книга – полдня работы – три рубля от силы... Семья... Ребенок... С голоду не помираем – помогает Глазунов. Раздетые не ходим – Глазунов помогает. Но поездка на Байкал по причине сущей блажи...

И рождается в моем заболевшем мозгу сложнейший и хитрющий план! В эти дни я серьезно занимался историей Столыпинской реформы. Главный источник – журнал «Вопросы колонизации», где не суждения и пересуды, но сама история реформы в фактах и цифрах.

Между прочим, к Столыпину за советами в первые годы перестройки кинулась тьма дилетантов, что левых, что правых. С кем ни говорил, ни один о существовании подобного журнала не слыхивал...

Так вот, вычитал я в тех журналах, что крестьянам-переселенцам в Сибири доставляли специальные корчевальные машины. Была одна такая даже отечественного образца и имела доброе название – «Илья Муромец». Кого бы могла заинтересовать такая тема, спрашивал я себя, разумеется, лукавя, потому что знал кого – Василия Захарченко, главного редактора журнала «Техника – молодежи» и, что самое главное, друга Ильи Глазунова. Как уж я подъехал к ним со

своей идеей, подробностей не припомнить. Захарченко с поощрительных кивков Глазунова заинтересовался и выдал бумагу обычного образца – под логотипом журнала просьба ко всем организациям: содействовать такому-то в подготовке материала на соответствующую тему. Глазунов профинансировал поездку и даже вручил «на всякий случай» невиданную по тем временам редкость – газовый пистолет...

Ни за что не взял бы, если б знал, какова будет роль этой игрушки во всей истории...

С Василием Захарченко при случайных встречах здоровался с почтением, хотя он меня напрочь не помнил. Причина моей симпатии не только в том, что помог когда-то. В разговорах о том о сем уловил я, или мне только показалось, что он, длинноногий седой старикан, так же, как и я, поклонник движения. Имею в виду автомобиль. У меня лично ненормальная, отнюдь не «славянофильская» страсть к машинам. Как бы ни устал – физически или мозгами, – влез, включил, что надо, нажал, на что надо, и поехал, поехал, поехал, куда глаза глядят и куда дорога позволяет. А если еще и с целью да пользой, ну, тут вообще – «счастье!». Лучше только – женщина, да простится мне сия пошлость...

Но вот случилось то, о чем мечтал-болел. Тронулся поезд от Ярославского вокзала в далекую сторону иркутскую, «где между двух огромных скал обнесен стеной высокой Александровский централ». На централы мне наплевать, ими меня не удивишь, насмотрелся на них и насиделся – хреново, но жить можно. А вот без Байкала, если очень долго, можно несправедливо весь небайкальский мир возненавидеть, а есть ли грех больший, чем ненависть к Божьему миру?!

Но как только тронулся поезд, «тронувшиеся» на тоске мозги мои тотчас же «встали на место». И теперь одна забота: во что бы то ни стало оправдать доверчивость Захарченко, так и не спросившего меня, зачем, мол, сто верст киселя хлебать, когда все нужное можно отыскать в соответствующих московских архивах, и деньги Глазунова – их тоже надо честно отработать...

Но первые часы по мере удаления поезда от Москвы все равно проторчал у окна, отсчитывая километры удаления. Процесс удаления требовалось зафиксировать так, чтобы все помыслы только в одну сторону – на восток...

Стучат колеса ритмом скуки,
Пьяны бессонницею сны.
И непрощавшиеся руки
Тоской пожатий не больны.
Неоправдавшейся весною
Соблазн отчаяния изжит.
Ничто из брошенного мною
За мной по рельсам не бежит.

Конечно, я убегал, но побег теперь уже, с момента начала движения, был не бессмысленным.

Перед тем, в 1973-м и в 1975-м, мы с женой, вынужденной безработицей гоняемые по стране, два сезона отработали в прибайкальской тайге, откуда нас в конце концов выперли по причине практической неподконтрольности. Расфуфыренная дама в Слюдянском райисполкоме так сформулировала невозможность нашего с женой дальнейшего пребывания в полях невидимости: «Мы не можем позволить вам заниматься антисоветской пропагандой среди разрозненных работников леса, оторванных от основных масс сознательного пролетариата».

Мой стишок несколькими строками выше – сущая банальность перед этим истинным шедевром почти платоновской прозы... Авторство, конечно, не ее. Это из ориентировки, спущенной умными московскими оперативниками в забайкальскую глушь изнывающему от безделья местному оперу, который наконец-то получил под свою опеку «злодея» по профилю.

Мы с женой устроились тогда разнорабочими на дальний участок тайги Байкальского зверопромхоза. Жили впроголодь. Зато на воле. В радиусе сорока километров ни одной человечьей души. Начальник участка, молодой парнишка, озабоченный прокормлением семьи в основном посредством браконьерства, к нам заглядывал редко. Пока его не достал слюдянский опер: «А ну, дуй на базу, узнай, как там Бородин. И бинокль ему зачем, узнай».

Парень прибегал взмыленный, косился на бинокль, проклинал опера, но нас терпел. Пока однажды не получил задание все от того же опера «точно» узнать, где Бородин прячет рацию!

Взмолился парень. Ему ж зарабатывать надо, а тут опер-псих вконец задергал дуростью своей...

Мы с женой уволились и ушли в другую часть прибайкальской тайги «бичевать», то есть добывать кедровый орех – труд воистину каторжный...

Но эти два сезона болтания по тайге открыли мне некоторую специфику взаимоотношений между двумя хозяевами тайги: лесхозами и леспромхозами.

И когда наконец решилось-поверилось, что еду, что через четыре дня распахнется для меня на все четыре стороны чудо мое замечтанное, этого чуда мне уже было недостаточно: очертания дела, и дела непременно полезного, уже роились в мозгу, уже группировались по принципу: хорошо–плохо, и первые шаги, первые действия конспективными строками уже выстраивались в ряды на первых страницах блокнота.

В общем-то никого ни к чему не обязывающая бумага, выданная мне добрейшим Василием Захарченко, как ни странно, возымела на местных начальников лесхозов и леспромхозов почти магическое действие. И объяснение тому было одно: реальные противоречия между названными ведомствами зашли к тому времени настолько далеко, что даже столь некомпетентного вмешательства якобы «сверху» оказалось достаточно, чтоб заинтересованные лица и ведомства зашуршали бумагами, отстаивающими их прерогативы в столь прибыльно-полезном деле, как пользование великих сибирских лесов, никем не саженных и никем по-настоящему не опекаемых.

В споре приоритетного владения, по крайней мере тайгой кедровой, я определенно взял сторону лесхозов. Но по тактическим соображениям свои предпочтения скрывал, чтобы отчетливей представить себе позицию леспромхозовского начальства Иркутской области. Не очень поверив моей нейтральности, оно, начальство, тем не менее уже официально командировало меня в тот самый прибайкальский леспромхоз, где мы с женой когда-то тщетно пытались решить свои безнадежные финансовые проблемы. В Култуке, в правлении промхоза мне выделили «своего» лесника, который должен был, по замыслу начальства, показать мне всю пригожесть ведения хозяйства. Только, на их беду, лесник тоже оказался «хитрецом», и в итоге за два дня на лошадках-монголках мы объехали-обскакали все самые безо-

бразные участки так называемых санитарных вырубок, каковые я добросовестно отфотографировал и снабдил фотоматериал горькими комментариями лесника, коренного байкальца, кому сущий бардак в кедровых массивах, как он сам выразился, сверх терпежа!

Когда наконец спустились с гор, хлынул страшенный ливень, и наши лошадки добрый десяток километров летели галопом в сторону родных конюшен. Вымокший с головы до пяток, добрался я до своего друга еще байкальских лет, обсушился слегка, на диван плюхнулся, попросил друга включить «ящик», и первое, что я увидел, – родное лицо благословенца нашего отца Дмитрия Дудко, повествующего о том, как он всегда хорошо относился к советской власти, потому что «нет власти аще не от Бога», и как попал он, горемыка, в злокозненные сети нехороших антисоветчиков, как поддался их дьявольским внушениям и согрешил, в чем искренно и крестоположенно раскаивается. Вот так, за пять тысяч километров от Москвы, получил я «привет» от вождя русских патриотов. Нет, не подумал тогда, что сломали. Подумал – вынудили... Опыт по вынуждению многолетний...

Но тем более не захотелось в Москву. Нынче я при деле, пустяковом «по сравнению с мировой революцией», но зато при деле верном...

Только после «экскурсий» по Прибайкалью сунулся я в Иркутское правление лесхозов, где уже своего мнения не скрывал и был снабжен рекомендациями к начальнику Нижнеудинского лесхоза, с которым мы сразу же нашли общий язык по вопросу Тофаларии, чудной страны на юго-западе Иркутской области, что по площади почти равна Армении, где тридцать миллионов гектаров кедровника, ранее топором не тронутого, теперь «высшие начальства» готовы уже были перевести в лесопромысловую зону. Уже будто бы и дорогу прокладывать начали... До того – только самолетом.

Совместно с директором лесхоза мы составили целый пакет документов, обосновывающих необходимость перевода Тофаларии в управление лесхозом. Для моего личного знакомства с ситуацией меня включили в режим полетов нижнеудинских «пожарников», совершающих периодические рейсы в страну нерубленого кедра. На вертолете Ми-4 я облетел весь притофаларский район, получил полнейшую информацию о «пожарной» ситуации, а ситуация тем летом

была критическая. Затем принял участие в противопожарных мероприятиях уже на «Аннушке»...

Поначалу летчики, молодые парни, но опытные пилоты, отнеслись ко мне, старику (к тому времени мне было уже сорок восемь – отнюдь не командировочный возраст), с юморком: дескать, на борт-то залез, а мешками для блевотины не обеспечился...

Заметили возгорание опушки небольшого лесного участка. Сказали, что положено сбросить «вымпел» на лесничество в ближайшем населенном пункте. Постарались! Разве что «мертвой петли» не проделывали. Не знали, что нет для меня большего удовольствия, чем эти их воздушные выкрутасы. Поглядывали на меня, не отлипающего от иллюминатора. Еще сомневались. Тогда сказали, что еще один вымпел надо сбросить на крышу участкового лесника. И здесь меня испытывали: на хвост вставали, и хвостом падали, и, как говорится, мордой вниз, а уж виражи закладывали – рукой пятку перехватывал, чтоб сердчишко не вывалилось... Думаю, что если б еще один «вымпел» – остаться мне без кишок. Почти достали. Зато теперь я был свой. Теперь мне все объясняли и показывали, в том числе и так называемую «сухую грозу» – истинное диво: в небе ни дождинки, а из крохотной, даже не черной, а лишь темно-синеватой тучки вдруг тончайшая огненная стрелка, а внизу на полянке сперва дымок, потом огонек, а через минуту-другую степной или лесной пожар.

Летчики привязывают меня массой всяких ремней, и я, свесившись из раскрытой двери самолета, любительской кинокамерой «Спорт», взятой в Москве напрокат, снимаю прыгающих через меня пожарников-парашютистов, примитивным трансфокатором вылавливаю их фигурки на очаге пожара, фиксирую их действия и однажды даже заснимаю сцену с нарушителем – мужичком, обжигавшим свой прилесный сенокосный участок и не удержавшим огонь под контролем, – перекинулось пламя на ближайший лесок. «Нарушитель», увидев прыгающих пожарников, пытается скрыться на «жигуленке». Не успел, задержан. Кадр, достойный любой хроники...

Следующим днем мы пытаемся прорваться в Тофаларию, где всего два более-менее крупных населенных пункта: Нижняя Гутара и Верхняя Гутара. Нижняя, что у самых



Летчики Нижнеудинского авиаотряда. 1981 год.

подножий гор, доступна. Сели на полянке метров в сто. Нас ждали, мы везли рыбакам сахар, крупы, соль. Нас же встречали застольем из рыбы всех возможных видов изготовления и пречудным самопечным хлебом, какого уже давным-давно не пробовал. Рыбу я не ем; напившись молока с хлебом и медом, подался на речку Гутару, где поражен был истинно индийскими пирогами, узкими, длиной не менее восьми метров. А речка-то при том мала и извилиста, с густо обросшими берегами, с протоками и отмелями... И как они, местные, умудрялись?..

Закинул удочку – хариус. Закинул еще раз – точь-в-точь такой же. Минут через десять рыбалка потеряла всякий смысл. Когда вернулся в барак-едалище, все были навеселе, но в меру. Поторопил – впереди высоченное горное плато, время полдень. Тут все заторопились. Летчики кинулись загружаться дармовой харюзятиной.

Демонстрируя профессионализм, умудрились взлететь на встречном ветре с пятидесяти метров и, набрав высоту, ринулись в тофаларские туманы.

Увы – бесполезно. И так и этак пытались облетать многокилометровые сгустки грозовой мокроты – все напрасно.

Тофалария не пропускала нас, и я был в полном отчаянии. В конце концов мужики признались, что с самого начала знали метеосводку над Верхней Гутарой и просто понадеялись на удачу. И чтоб хоть как-то компенсировать свой промах, устроили мне сущий праздник.

Снова привязанный на сто ладов, сидел я теперь у раскрытой двери самолета, болтал ногами, а парни, уйдя на высоту полтораста метров, катали меня по моим нижнеудинским местам: над рекой Удой, над известным водопадом, куда каждой весной приходят выпускники школы и расписываются на скалах... И свою фамилию двадцатипятилетней давности исполнения я увидел на том самом – бреющем...

Восторгом моим зараженные, парни свернули на юг, достигли той самой Бирюсы, которую воспела когда-то Пахмутова, вошли в каньон и летели так, что вершины скал были над нами, а под нами истинная синь Бирюсы, еще не изуродованная драгами... Дальше-то именно так, но туда мы не полетели.

Теперь я знал, как смотрится Земля с так называемого птичьего полета, и это смотрение ни с чем не сравнимо...

Пусть пачки гадостей расскажет мне кто-нибудь об Илье Глазунове и Василии Захарченко – мимо уха! Потому что когда через три года я снова окажусь в клетке без выхода, когда в оставшуюся жизнь не останется ни малейшего просвета, даже вроде щели в чердаке, тогда я буду сражаться с обреченностью воспоминаниями о моих птичьих полетах над своей Сибирью. И мне никак не забыть, кому я обязан этим праздником души, этим великим счастьем – сидеть, свесив ноги, в самолетике, а самолетику – лететь туда, куда просится душа, наполненная самым праведным хмелем, каковой только известен человеку.

В Иркутске совершенно случайно познакомился я с Татьяной Хомутовой, самой сердитой ведущей иркутского телевидения. Потрошила чиновников, с чинами не считаясь. Идеей спасения Тофаларского кедровника увлечь ее удалось без труда. И в Нижнеудинск повторно я уже ехал с воинствующей телегруппой. Но там меня поджидал сюрприз.

Тот самый газовый пистолет, что подарил мне Глазунов для личной безопасности и каковой в общем-то оказался без надобности, однажды, уходя по делам, оставил я под подушкой в гостинице. Бдительная уборщица номера, случайно нащупав, сообщила куда следует.

И в итоге, когда телегруппа, как это положено по правилам общения прессы с местными властями, выкатилась из кабинета, лица у всех были банного отсвета. Секретарь райкома поведал им, что днями раньше слонялся по Нижнеудинску, по всей вероятности, шпион, без соответствующих санкций снимал с самолета разные территории, интересовался Тофаларией, где якобы имеются секретные объекты, и теперь разыскивается органами в поте лица этих самых органов. В Тофаларию ввели пропуска, каковые и надо сперва раздобыть телегруппе, прежде чем подыскивать самолет, который еще неизвестно когда полетит, поскольку метеосводки пессимистичны...

Пришлось всей хомутовской команде пересказывать биографию, что их отнюдь не воодушевило. О моем полете в Тофаларию не могло быть и речи. Поелику терять было уже нечего, я разыскал Нижнеудинское отделение КГБ и заявил о явке с повинной. Дескать, если весь городок взбудоражен поисками шпиона, то к чему напрасный шорох – вот он я сам, собственной персоной. Документы вот они, а шифры скушал еще за завтраком.

Глядя на меня чистыми, светлыми глазами Добрыни Никитича, подполковник отвечал:

– Даю вам честное слово, Леонид Иванович, что впервые от вас слышу вашу фамилию. А что до шпионов, то уж извините, мало ли что в народе говорят... По паспорту москвич... Если не секрет, к нам по каким делам пожаловали?

– Пожаловал, – отвечаю, – с единственной целью перевести тофаларские кедрачи в ведение лесхоза с дальнейшим прицелом организации заповедника на месте последнего в Сибири топором не тронутого миллионогектарного кедровника.

– Так ведь замечательное дело, – согласился подполковник, – как говорится, Бог в помощь.

– А пропуска, – спрашиваю, – это по линии Божьей помощи или чьей-то другой?

– О чем вы говорите, Леонид Иванович, – подключается к разговору присутствующий тут же капитан, глядя на

меня преданными глазами Алеши Поповича. – Я сам только позавчера прилетел из Тофаларии по пропуску.

– Тогда, если я не шпион, а совсем наоборот, то и мне можно получить пропуск?

– Конечно, – с готовностью отвечает подполковник. – В райисполкоме... заявочку... Могу даже позвонить, походатайствовать...

И действительно звонит, только никто не отвечает. Обеденный перерыв, надо понимать...

Оба провожают меня истинно любящими глазами. И мой опыт говорит мне: любимых долго на свободе не держат. Нахожу в Нижнеудинске «дно» и оседаю там до возвращения из Тофаларии телегруппы – сценарий-то мой и интерес... он тоже мой...

«Дно» оказывается ненадежным, и я поспешно товарняком рву в Иркутск, оттуда в Слюдянку, а в Слюдянке сразу же просекаю самый обычный «хвост». У меня только одна компра – дурацкий газовый пистолет. Оторвавшись от «хвоста», упаковав пистолет в полиэтилен, закапываю на ближайшей лесистой сопке и спокойно, не оглядываясь на «хвостов», еду в Иркутск к родственникам, куда со дня на день должны приехать жена с зятем.

Через день вместе с ними в квартиру вваливается целая бригада в форме и без. Форма, естественно, милицейская, но «своего» я вычисляю без затруднений – он самый вежливый и самый молчаливый.

Смешней некуда: у моего дяди, коммуниста и бывшего «чоновца», на дне предряхлого сундука находят пулеметную ленту, от и до набитую патронами для мусинской винтовки, а также для пулемета «Максим», а также для пулемета Дегтярева. Но времена не те, не расстрельные. Дядя только руками разводит, оперативник же, патроны пересчитав добросовестно, упаковывает ленту в спецмешок для вещдоков. Но лента – не вещдок. Тот, вежливый, предъявляет мне основание для обыска: некто добропорядочный гражданин сообщает родным органам, что у Бородина Леонида Ивановича имеется боевой пистолет, каковой мне и предлагается сдать добровольно.

Если честно, Глазунов пистолета мне не дарил, а дал на пользование. Кто-то ему сказал, что с этой штукой даже встреча с медведем нос к носу не страшна: если в упор, нос

медвежий начисто зашибет, и тогда – ноги в руки... Сдавать пистолет не в моих интересах, и я сердечно предлагаю поискать таковой...

Ищут, однако же, не только пистолет. ГБ уверена, что жена с зятем должны привезти антисоветчину, потому каждый листок бумаги и так и этак – и на просвет, и на прогляд... Нету антисоветчины... Забирают фотокамеру, и кинокамеру, и все фото- и кинопленки, а на дне моего чемоданчика (вот она, небрежность) выщупывают коробочку из-под газовых патронов. Коробочка немецкого производства, с рекомендациями и пояснением, что сии патроны годны для всех систем данного калибра.

– Где пистолет?

– Нету. И не отдам. Во-первых, всего лишь газовый, во-вторых, подарок. Спрятан надежно.

– Тогда возбудим дело. Соответственно, подписка о невыезде. А возможна и другая мера пресечения, поскольку доказательства, что газовый, нет. Значит, может, и боевой. Ждите повестки.

Повестка приходит через два дня. А в кабинетике меня уже поджидают мои московские опера – примчались по долгу службы и по зову сердца, того самого, что при холодной голове и чистых руках.

– Прокольчик получился, Леонид Иванович! – с любовью констатирует один.

– Пистолет – это уже серьезно, – искренно досадует другой. – Большими неприятностями попахивает.

– Чушь. Газовый, – отвечаю.

– Да хоть бы и газовый. К употреблению запрещен... Может быть приравнен к боевому. Ну, это, конечно, как посмотреть.

После долгих дружественных переговоров решили «посмотреть» так: пистолет я сдаю, причем их вполне устраивает вариант – шел, гляжу, лежит, поднял, пошел дальше. «Они» же не мешают мне довести до конца мои тофаларские дела. Происхождение пистолета им явно известно, и они отнюдь не жаждут моих признаний на этот счет.

Недосказанным, конечно, осталось большее и главное: после тофаларских дел я нахожу какие-нибудь тому подобные дела, глядишь, и втянулся в нормальную советскую жизнь, с «их» активной и, разумеется, бескорыстной помощью.

В тот момент главным для меня было – оправдать захарченко-глазуновские надежды и затраты. Мы расстались с охапками двусмысленностей и недоговоренностей. «Топтуны» пропали из зоны видимости, зато немедля нарисовался из Улан-Удэ дружок студенческих лет, который объявлялся всякий раз, когда вокруг меня появлялся запашок «жареного». И тут уж он от меня ни на шаг. Ну да на то и щука в реке, чтоб карась, как говорили в норильских рудниках, не «разевал чухальник». За исключением «того самого», был он хорошим, добрым парнем, умер он рано, и уверен, Господь простил ему все грехи... А я тем более...

Свою программу я выполнил: фильм о Тофаларии по моему сценарию вышел; материалы о преобразовании Тофаларского края подготовил, и они, по замыслу Глазунова, при помощи Щелокова или министра культуры РСФСР Мелентьева должны были лечь на стол Соломенцева, тогдашнего Председателя Совмина РСФСР. Для газеты «Лесная промышленность» написал статью относительно беспорядочных отношений между лесхозами и леспромхозами. Для журнала «Пушнина и пушное хозяйство» подготовил уникальный материал о «проигрышности» пушного промысла в России со времен дореволюционных до наших дней.

В журнале «Пушнина...» главным редактором тогда был мой земляк Гусев (имени и отчества не помню). Славен он был тем, что пешком обошел Байкал – наверняка единственный случай, – был патриотом Байкала и Сибири вообще...

Статью приняли с полным одобрением и в номер поставили. Только имел я глупость с домашнего телефона поинтересоваться о сроках публикации – и через некоторое время получил по почте вежливый отказ...

С газетой «Лесная промышленность» – и того курьезнее. Там мою статью приняли, как говорится, «в хват», потому что совпадала она с тематикой вот-вот предстоящего на уровне министерства совещания работников лесного хозяйства страны. Редактор, заверивший меня в немедленной публикации, узнавший, что в данный момент я тружусь при Главном управлении культуры Москвы, по принципу «тибе–мине» тут же всучил мне свою уже многовизированную пьесу про сорок первый год, дабы я помог ему пристроить ее в московские театры в канун сорокалетия начала войны.

С дамами из Управления культуры я ранее немного общался – кухарки, призванные к управлению, как правило, пышнотелые, бдительные от перманента на голове до каблуков на подошвах, полновластные в пределах своих весьма резиновых компетенций, если бы даже и взяли что-то из рук рядового методиста по парковым мероприятиям, так только для того, чтобы заполнить полку в стенном шкафу...

По доброте редактор «Лесной промышленности» предложил мне ознакомиться с предварительной правкой моей статьи. Глянул я и ошалел. К этой ошалелости редактор был готов и тут же сунул мне под нос список тем, запрещенных к публикации. Зарплата лесников – запрещено; количество лесных пожаров – запрещено; площади возгорания – запрещено; количество пожарных вертолетов и самолетов – запрещено; технические характеристики вертолета Ми-4 – запрещено; технические характеристики парашюта пожарника – запрещено; места расположения отрядов авиапожарников – запрещено...

– Ну а профессиональные журналисты, – спросил я в растерянности,– они-то как... вообще... работают?..

– Как и положено, – был ответ, – вникают в суть проблемы. Вот и у вас. Суть-то ясна. Потому и ставим срочно в номер в пятницу, чтобы, так сказать, приурочить к совещанию...

Утром в пятницу в киоске на площади Революции хватаю газету, глазами туда-сюда – статьи нет. Звоню.

– Да вот, знаете ли, приходили тут... Отсоветовали... У вас что, какие-то неприятности с известными товарищами?..

Но оставалось у меня еще одно дело совершенно иного характера. Однажды в Москве на квартире Людмилы Алексеевой встретил человека по фамилии Маретин. Питерчанин, работал он в одной команде с Львом Гумилёвым. У Алексеевой он оказался случайно, услышал ее фамилию по радио «Свобода» и решил обратиться за помощью. А суть в том, что попала в руки Маретина необычная рукопись о гибели русского дворянства, той его части, которая не захотела или не сумела покинуть Россию.

Роман – около тысячи машинописных страниц – имел название «Лебединая песнь».

– Книга, как бы это сказать, несоветская... Но это такая вещь... Ее обязательно надо где-то опубликовать.

На что Людмила Алексеева резонно ответила, что книгу такого объема, да неизвестного автора на Западе никто публиковать не станет. Вконец растерявшемуся Маретину я предложил:

– Ничего гарантировать не могу, но если других вариантов нет, давайте я попробую кого-нибудь заинтересовать... Конечно, сначала сам прочитаю.

Маретин нехотя расстался с рукописью, сказал, что завидует мне, впервые ее читающему.

В те дни как раз мы с женой собрались навестить моих родителей на Белгородчине, и родители остались на меня в обиде за то, что вместо общения с ними я все эти дни читал, и читал, и читал... Вещь потрясла меня. Ничего подобного в современной «несоветской» литературе не было, а я уж, слава Богу, отслеживал все стоящее.

По времени это событие совпало с моим байкальским «бзиком». Кому показать книгу? Кто оценит по достоинству? Конечно, Валентин Распутин. Пару раз мы встречались с ним у Глазунова, особых отношений же не сложилось... И все же... Ценной бандеролью я отправил рукопись человеку в Иркутске, которому безусловно доверял. И вот теперь, по окончании тофаларской эпопеи, решил заняться судьбой рукописи.

В те дни в иркутском Доме литераторов проходило обсуждение новой повести Распутина. По окончании дискуссий я увязался проводить Валентина до дому. Сперва о том о сем... Потом сказал: есть рукопись... исключительная... не возьмется ли он посмотреть ее, и хорошо бы с карандашом в руках, поскольку первые две главы, на мой взгляд, слегка торопливы и небрежны...

Нет, Валентин интереса не проявил, сослался на свою работу, которая ни на что прочее сил не оставляет... Конечно, я понял его, но не скажу, что не огорчился. С другой стороны, кто я ему, уже почти классику! Что он обо мне знает! Только «иркутскую историю» – ну выперли кого-то из университета почти четверть века назад, ну был шумок... Потом этот «выпертый» объявляется у Глазунова. А у Глазунова кого только не встретишь...

За границей у меня уже вышли и «Третья правда», и «Повесть странного времени», и «Год чуда и печали»... Да кто знал об этом?

Распутин посоветовал мне обратиться к В. Я. Лакшину.

После новомировской истории Лакшин литературно забронзовел[42], без соответствующей рекомендации к нему соваться было бесполезно.

Между прочим, я все-таки побывал у него, уже в перестроечные времена. Кажется, он был замом главного в «Знамени». «Нет, – сказал он мне категорично, – перепечатывать западные издания мы не будем. Это точно. Напишете что-нибудь новое, приносите. Не ко мне, конечно, в отдел прозы. Желаю удачи».

Я тогда по нескольким журналам пробежался, из чистого любопытства скорее, чем целенаправленно. «Наш современник» отказался от «Третьей правды», «Москва» отказалась от «Года чуда и печали».

Вопреки ожиданиям «Юность» с тогдашним Андреем Дементьевым распахнулась мне настежь, за что и чту по сей день зав. отделом прозы Эмилию Алексеевну Проскурнину – первое добро памятнее прочих.

Возможно, к месту подметить и следующее. С. Ю. Куняев дал санкцию немедленно печатать «Третью правду», как сам признался, не читая. Немногим ранее того журнал «Москва» отказался от «Чуда...». А причина меж тем одна. Начало 1990-х – короткий период, когда наши патриоты скидывали партбилеты, и было в их сознании нечто, после начисто перечеркнутое, – рискнул бы назвать это совестливостью перед фактом явного зла системы, в которой они, прямо скажем, неплохо существовали. «Толстые» журналы, что левые, что правые, равно кинулись в поиски «критической» литературы. Потому «Третья правда» была в масть, а «Год чуда и печали» – безвинная сказочка – на фоне общего критического настроя «не смотрелась». Но кто-нибудь скажет, что она хуже написана?

Теперь даже смешно вспоминать, что мне, завзятому антисоветчику, приходилось в Америке втолковывать нашим патриотам, что не след бегать им на радио «Свобода» и доказывать, какие они объективные интернационалисты. Так ведь не послушались, сбегали. Иные и не по разу.

Потом все изменилось. Наступил период самореабилитации. Патриоты теперь стыдились своей недавней совестли-

вости. Что ни мемуары, то непременное отстраивание боевых рядов задним числом. Отважная борьба с сионистами и демократами, отстаивание государственности против разрушителей таковой... Но, между прочим, любой профессионал из бывшего Пятого управления КГБ скажет, что лодочку социализма раскачивали левые влево, правые вправо. Только вторые это делали «робчее» – не хотели рукавов замочить, чего левые (теперь они – «правые») не боялись, хотя бы потому, что им было у кого подсушиться. «Кувырк» соцлодки левые себе приписывают напрасно, так же как правые гордятся «охранительством». Лодка перевернулась по причинам маразма рулевых, напрочь прогнившего днища и кухонного двоемыслия, которым, как проказой, было поражено все общество – от колхозника до члена Политбюро.

* * *

О радио «Свобода», однако ж, не могу не сказать особо.

На фоне многолетней культурно-политической борьбы-соперничества России советской и «пост», с одной стороны, и «всего прогрессивного человечества», – с другой, радио «Свобода» доросло до явления, как принято говорить, не имеющего аналога. Сказать о высочайшем профессионализме – это ничего не сказать. Американская (именно американская, а не проамериканская) радиостанция русскоязычного исполнения, она выработала-изобрела изощреннейшие приемы и методы культурно-политической пропаганды.

О диверсионном характере деятельности радиостанции можно говорить, лишь имея в виду латинский смысл слова «диверсия» – отклонение, отвлечение. Антикоммунистические заявки «Свободы» всегда были не более чем рекламными клипами-заставками между тщательно продуманными и в большей части великолепно исполненными импровизациями на предмет исторической несостоятельности России как в политическом, так и в культурном отношениях. Из завидного разнообразия программ я бы выделил две как наиболее показательные, хотя и на первый взгляд меж собой никак «идейно» не связанные: это «Русская идея» Бориса Парамонова (после «разоблачения» «идеи» программа стала называться «Русские вопросы») и «Сорок девять минут

джаза». Если бы руководство радиостанции ставило эти программы непременно одну вслед другой – любопытный был бы эффект! Но не только умные люди руководят радиостанцией. Еще более умные подбирают людей для руководства. Уму тех и других радиостанция обязана тем, что она прежде всего *интересна*. Признаюсь, это единственное радио, которое я регулярно уже в течение десятилетий слушаю – и не раз благодаря радио «Свобода» в предчувствии тех или иных событий оказывался «впереди планеты всей». Являясь «отжимом» кропотливой аналитической работы множества специфических государственных ведомств, радио зачастую – сознательно или нет – «пробалтывало» ту или иную тенденцию к изменению американской политики. Случалось, что «хозяин» использовал фирму по прямому назначению, и тогда появлялись такие передачи, как «Балтийский маяк»... Бывали и откровенные проколы. Торопливо высчитали «специалисты» в начале девяностых, что зарождающиеся независимые профсоюзы могут оказаться мощной деструктивной силой, и тогда второпях старую передачу для прозападно оттопыренных интеллигентов «Когда мы едины» с неизменным музэпиграфом Окуджавы приспособили под новую политическую конъюнктуру. И «мама» российских правозащитников Людмила Алексеева теперь страстно призывала «профсоюзников» всех мастей срочно «взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке». Профсоюзы, однако ж, не оправдали возложенных на них надежд, просчет был осознан, передача – в архив, а Л. Алексеева, разумеется, без работы не осталась.

Величайшее гуманистическое открытие – права человека – немереная целина для геополитики. Именем прав человека разбомбили человеков в Белграде и Багдаде. Нас пока, слава Богу и атомной бомбе, не бомбят, и права человека пока – единственное стратегическое действо по предупреждению, предотвращению возрождения Российского государства, *поскольку оно действительно никак не может возродиться без покушения на права человеков, по тем или иным причинам не желающих этого возрождения, поскольку имеют право, гарантированное «международным правом», не хотеть – и все тут!*

И «парашютисты» из радио «Свобода», и само радио успешно совершенствуют стратегию сердечной заботы о со-

ответствующих человечьих правах на развалинах империи. А за более подробными и добросовестными разъяснениями сути российского «правозащитничества» я бы рекомендовал все же обращаться не к Людмиле Алексеевой, каковая нынче во главе, но к Валерии Новодворской. Честный ответ гарантирован.

Между тем история с таинственной рукописью имеет непосредственное отношение к теме, которой коснулся вскользь, о чем, возможно, и пожалею. Вернувшись в Москву, я первым делом озаботился проблемой перепечатки рукописи. Экземпляр был практически полуслепой. Денег на перепечатку тысячи страниц у меня, естественно, не было. Обращаться к Глазунову после его столь щедрого раскошеливания просто совесть не позволяла. И тут друг мой Игорь Николаевич Хохлушкин вроде бы отыскал бабулю, готовую, не торопясь, справиться с работой. Тогда были еще такие бессребреницы... Именно они, добровольцы, перепечатывали мой журнал «Московский сборник» и были горды доверием...

В Москве я снова столкнулся с той же проблемой – с безработицей. На очередном сходняке Глазунов насел на лидера Общества по охране памятников Виноградова и выбил из него согласие пристроить меня в их ведомство. Виноградов после того надолго исчез, а при случайной встрече признался, что не может рисковать подставкой своей организации, с которой и без того, кому надо, глаз не спускают.

Была еще одна попытка. Глазунов предложил мою кандидатуру писателю Дмитрию Жукову в качестве личного секретаря. Я добросовестно рассказал Жукову о всех хвостах, что за мной тянутся, и он пообещал навести справки в «конторе», где у него были «свои люди». Жукова после того я тоже больше не видел.

Проблему решил не кто иной, как Дмитрий Васильев («Памяти» еще и в помине не было). Он трудился техником-оператором в так называемом Едином научно-методическом центре при Министерстве культуры. Директор Баранова (и.о. запамятовал) мною же была поставлена в известность относительно всех моих «подвигов» и тем не менее с подачи Дмитрия Васильева взяла меня методистом по парковой работе с устной договоренностью, что, если или я,

или она заметим «осложнение ситуации», я немедленно ухожу «по собственному», дабы не осложнять...

Именно так и произошло через полтора года. Проводы отдел мне организовал по высшему разряду. Напутственную речь произнесла сама Баранова. Она же совместно с председателем месткома после моего ареста в восемьдесят втором на запрос КГБ отписалась отличной характеристикой – хоть тут же освобождай и извиняйся за хлопоты!

Итак, я трудился при культуре, а мой друг Игорь Хохлушкин – реставратором в Бахрушинском музее, будучи и любим, и ценим всеми его сотрудниками. Туда, к себе в мастерскую, и отнес он на временное хранение рукопись, с которой я столько без пользы носился по Москве.

Но и он, Игорь Хохлушкин, бывший зэк еще сталинского призыва, с незапамятных времен был под негласным надзором органов, каковые однажды и нагрянули с обыском в его мастерскую. Наводку дал один сущий сукин сын, который после того не только поменял фамилию, но и волосы перекрасил, и веру свою баптистскую срочно поменял на Православие.

Как бы то ни было, забегаю я однажды к Хохлушкину в мастерскую, а там... полным-полно... В числе понятых и сама директриса музея. У меня с ней, с директрисой, с подачи Игоря был составлен договор о переплетных работах некоторых архивных материалов. Не обращая внимания на слегка опешивших «обыскников» в милицейской форме, я начал тут же выяснять отношения относительно договора... На предложение показать документ охотно сунул красную книжицу Министерства культуры, а затем как ни в чем не бывало заспешил по делам. Непременно присутствовавший при обыске гэбист, видимо, не решился раскрыться и позволил милиционерам не задерживать меня, как строго положено в подобных ситуациях.

Произошел тот редчайший прокол, который позволил мне немедленно позвонить на квартиру Хохлушкина и предупредить его жену, чтобы она «вычистила» квартиру. Но итог – увы! – был печален: в бездонных «закромах» «органов» пропала удивительная рукопись... Пропала, как мы думали, навсегда.

Но вот девяностые годы, вместе с группой писателей я еду в Америку и там Куняеву, с которым живем в одном номере,

я еще по свежей памяти пересказываю роман о трагической судьбе потомственного русского дворянства, о бессмысленной жестокости новой власти к и без того умирающему сословию... Видимо, удалось мне передать и суть, и слог...

Через несколько дней по возвращении в Россию встречаюсь с радостным Станиславом Юрьевичем, и он сообщает мне о чуде: оказывается, как только он вернулся из Америки, тут же и обнаружил у себя в редакции ту самую... Какая-то женщина из Ленинграда привезла и оставила, и теперь он, Куняев, срочно откомандировал своего зама за выяснением деталей и подлинного авторства. Благородно вопросил меня главный редактор «Нашего современника» – не буду ли я в претензии, если вещь появится у него, а не в «Москве», где я уже к тому времени работал.

Неделей спустя встречаю того самого «зама», отосланного Куняевым в Питер, и он рассказывает мне целую историю поисков и находок... Ну воистину чудо! Я в общем-то верю в чудеса. Но редко.

Да и Станислав Юрьевич обладает одним для меня завидным качеством – явным свидетельством основательного запаса добрых начал в душе. Однажды он сам признался, что, наслушавшись моих рассказов о таинственном романе, по возвращении из Америки сразу же обратился к своим приятелям из КГБ, и они отдали ему то, что в общем-то по закону должны были вернуть тому, у кого изъяли, – Игорю Хохлушкину. Я же для себя решил так: Хохлушкин не пошел бы в КГБ принципиально; я не пошел бы... что-то тяжко было бы мне переступать порог... Книга напечатана – и добро! Название – «Побежденные», пожалуй, даже точнее отражает суть повествования, чем то, самиздатское – «Лебединая песнь». Автор – Ирина Головкина (Римская-Корсакова)[43].

Я, правда, мечтал написать нечто особое вместо обычного предисловия... Ведь и мой род, не дворянский, купеческий, сгинул, будто его никогда и не бывало...

О наших сибирских купцах зато написал некий Иванов... Сценка там такая имеется: подобострастно, холуйски изгибаясь хребтами, цвет сибирского купечества, обходя вокруг стола, на котором взгромоздилась дочка, надо понимать самого богатого, – каждый подходит-подползает и целует туфлю девке... Признаюсь, книгу сего плодовитого я не читал, но зато видел фильм, в котором нет ни одного исторически

правдивого эпизода. Типичная партийно-заказная туфта, римейк с «Поднятой целины», где подлинной исторической правды о коллективизации тоже днем с огнем... И эту туфту народ смотрит, не отрываясь от экранов. Но никому уже теперь не придет в голову экранизировать «Побежденных»...

И вопрос: опубликовал ли бы сегодня «Наш современник» мою «Третью правду» или «Побежденных»?

Потому что, как оказывается, не было ее, «нехорошей» советской власти. Ошибки были. Просчеты были. Были и отдельные жертвы этих ошибок и просчетов. Но главное в другом: были нехорошие диссиденты, нехорошие агенты влияния, нехорошие сионисты при в общем-то хорошем советском народе, народе – победителе фашизма... Нехорошие дяди обманули хороших, и пошла гулять-разгуливать беда по Руси-матушке.

Так случилось, что, не имея в сознании собственного национального образа России, образа иносоветского, большинство наших патриотов, сами того не заметив, превратились в диссидентов. Те же эмоции, тот же слог, та же самоудовлетворенность борьбой... Но борьба – дело, как говорится, обоюдное. Отчаянно размахивая кулаками на недосягаемом для враждебных носов расстоянии, борцы постепенно заколесили грудями, борцовость как некое состояние бытия возвели в степень самодостаточности, не догадываясь о том, что всего лишь исполняют вторую партию в общем хоре смутогласия – необходимого условия дления смуты.

Еретическая мысль давно мучает меня: будущие минины и пожарские выйдут не из новгородов, а из Кремля, по мнению патриотов, оккупированного врагами России.

Простейший анализ востребованности политической литературы в магазине журнала «Москва» показывает, что по-прежнему велик спрос на обличительную и разоблачительную литературу. Но и весьма заметен рост спроса на литературу позитивно-аналитическую, где проблема восстановления российской государственности увязывается не столько с политическими персоналиями, сколько с пока едва заметными тенденциями выдыхания смуты как состояния общества в целом. Поиск стержневых начал русской государственности – над этой темой трудятся сегодня лучшие

русские умы, к ним и особое внимание представителей самых различных слоев общества.

Диссидентствующая патриотическая печать так или иначе зовет на бунт, каковой в принципе не исключен – буде еще один «дефолт». Она, эта пресса, будто обречена на выковыривание булыжников по самой логике мышления, то есть, в сути – по инерции диссидентского протеста. Тьму лет назад высказанная Г. П. Федотовым характеристика отдельной части русской интеллигенции ныне парадоксальнейшим образом подходит к настроениям просоветско-патриотической, искренней и честной по намерениям пишущей братии: безусловно, высокая идейность задач и решительно беспочвенная идейность. И еще неизвестно, что опаснее для становящегося государства: откровенная безыдейность на почве стяжательства или воинственно беспочвенная идейность...

Но при том! Как бы ни оценивалось в целом то, что сегодня именуется патриотическим движением, – движения как такового в общем-то нет, но есть некий фронт русского мировоззрения. В чем-то он, может быть, и одиозен в проявлениях и эпатажен, но это не что иное, как именно фронт, противостоящий классам, кланам, группам смуты, и при том совершенно неважно, стоит ли он лицом к лицу к противнику, махая кулаками и извергая проклятия, или стоит к нему спиной – важно, что это противостояние имеется – своеобразное стояние на Угре, на чуть более высоком берегу, откуда видны перебежки и перебежчики... Не все переходят речку, но многие обособляются и на «татар» нынешних поглядывают отнюдь не дружественно. Русское наследство, в том числе и наследство государствоустроительное, подзабытое, но памятью все же полностью не утраченное, хранится в генетическом коде народа, как бы низко он ни пал под воздействием духовных сквозняков. Потому эффект присутствия в переболтанном обществе упрямого «русизма» переоценить невозможно, поскольку он и есть собственно фундамент будущего государственного устроения.

Собственной воли он, «русизм», скорее всего, не получит, но дело свое сделает, если это дело пока еще угодно Богу.

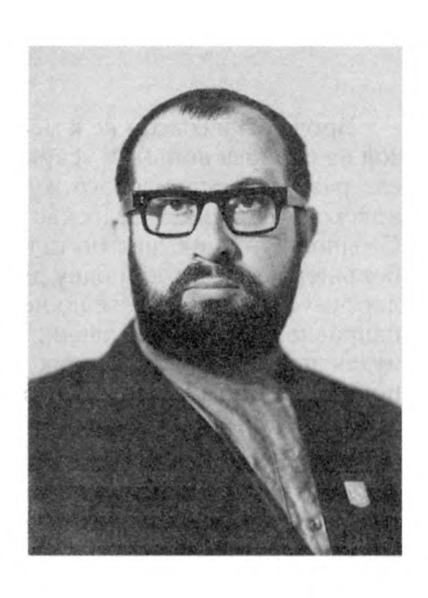
* * *

Вроде бы и совсем не к месту вспомнился мне один эпизод из периода попытки «скрыться в тайге» – это когда после разгрома осиповского журнала «Вече» и моего «Московского сборника» в Москве вдруг стало тошней тошного. С одной стороны, нас пытались «скрестить» с национал-большевиками, чтоб в одну дуду – «да здравствует генералиссимус и маршалы великие его»; с другой – меневское направление в Православии, дескать, несть ни эллина, ни иудея, но есть первоисточник – Библия, зарывайся по уши и поменьше общайся со всякими сомнительными батюшками-стукачами и подпевалами куроедовскому ведомству; опять же добрейший и порядочнейший Геннадий Михайлович Шиманов развил бурную агитацию за совокупление Православия с советской властью на предмет улучшения породы. Было у нас с ним в записных книжках даже зафиксировано пари: через три года, то бишь к году восьмидесятому, советская власть призовет Церковь к управлению государством. Сие благое пожелание диктовалось все тем же: предчувствием катастрофы. Только каждый понимал ее по-своему и относился по-разному.

Ко дню рождения Шиманова в 1975-м я преподнес ему, большому русскому оригиналу, стихопосвящение, каковое рискну привести, потому что, как мне кажется, оно удалось:

Не сочту за мечту, за утопию –
Ради правды за рифму берусь.
Царство Зверя грядет на Европию,
Царство славы – на матушку Русь!
Для масона, жида или выкреста
Сладко ниц пред антихристом пасть.
Но не примет! Не примет антихриста
Наша вечно советская власть!
Не поддавшись идеям обмановым,
Осознав свое время и век,
Троекратно, по-русски, с Шимановым
Расцелуется старый генсек.
И вздохнет: «Ах, мой друг, ведь не вправе я
Умолчать, коль твоя правота.
Не воскреснет без нас Православие!
Да и нам так его нехвата...
Но под знаменем, вышитым золотом,

Геннадий Михайлович Шиманов.



Поплывем мы с тобой в два весла:
Матерь Божья в руках с «серп и молотом»,
Власть советская плюс правосла...»

В своем деле, в показаниях одного моего активного «показателя» я обнаружил совершенно вздорное утверждение: с момента отбытия Солженицына за границу еще ранее существовавшее монархическое движение, своеобразный монархический центр, возглавил Шафаревич. Ему же, этому «показателю», как я подозреваю, принадлежит и стишок следующего содержания:

Осипов, Шиманов, Бородин
Встанут у Престола, как один.
Граждане, а ну, целуйте крест!
Кто не поцелует, тот не ест!

В действительности ни о каком монархизме в те времена серьезного разговора быть не могло. В монархизм поигрывали наши «легализованные» дворяне, безобидные служащие разных советских ведомств. Их как-то сразу много развелось – Голицыных, Милославских и даже один Голенищев-Кутузов объявился. Красивые игры взрослых дядей никого не волновали, но квартиры их служили таки-

ми же «просмотровыми площадками», как и квартира Глазунова.

От всего этого «игралища» и потянуло меня прочь, в Сибирь, в тайгу. К тому же тяга к писанию объявилась сильней прежнего.

Официально я оформился сторожем базы зверопромхоза, фактически же был полновластным хозяином кедровой тайги приблизительным диаметром в сорок-пятьдесят километров. Только я имел право на ружье и собаку. Я же распоряжался теми жалкими продуктами, что завозились на базу для прокормления будущих сезонников-договорников. Но сезон начинался с конца июля. Сперва жимолость... Но ее было немного на моем участке. Потом черника, и тут уже толпы шли мимо моего зимовья, обратно же, чтоб не сдавать, как положено по договору, большинство базу обходили стороной. Но что-то все же сдавали, и сданное жена превращала в варенье в особом котле-печке. Затем варенье разливали по деревянным бочкам.

Первая проба варева завершилась комически. Жена никак не могла отрегулировать пропорции ягоды и сахара, и как только варево закипело, поперла пена – знай подставляй ведро. Какой-то проходящий бич подсказал, что грех добру пропадать, что из пены можно сварганить отменную брагу, что мы и проделали. Брага была сладкой, алкоголь не чувствовался. И мы до того допробовались, что поочередно залазили в собачью конуру и соревновались в подражании собачьему гавканью.

Жители Прибайкалья заключали договоры с промхозом на заготовку ягод, брусничного листа, но первее прочего – кедрового ореха, обязательность сдачи какового и была моим главным делом. Договор составлялся так, что каждый получал определенный участок кедровника, каковой и должен был обработать. При хорошем урожае за пятнадцать дней каторжного труда можно было заработать на мотоцикл, вещь, необходимую во времена, когда коней держать уже давно запретили, а автомобиль еще был недосягаем даже для профессионала-железнодорожника.

В числе моих обязанностей была и такая: бдить, чтоб «дикари» не обколачивали участки, отведенные по договорам рабочим-сезонникам.

Одним субботним вечером на базу нагрянули гости. Неожиданно заявились двоюродный брат из Иркутска и тот самый начальник участка – мальчишка, которого уже вовсю «доставал» слюдянский опер.

Все слегка поддали, но в этом «поддатом» состоянии узрели на противоположной гриве – напрямую километров пятнадцать, а по тропам и того более – огни костерка, которого там быть никак не должно. Хозяева кедрового участка «хуторились» по другую сторону той гривы. Значит, дикари-разбойники. Пока хозяева обколачивают западный склон, эти обчищают северный, самый рясный, хотя и менее спелый.

Поймать! Наказать! Святое дело! На трех монголках, до зубов вооруженные, отправились мы на карательную экспедицию, когда уже перевалило за полночь. Ночная горная конная тропа даже без серпа месяца в кедровых просветах – в таких условиях не то что уважение, истинное почтение испытываешь к лошадкам, в полной темноте перешагивающим валежины через каждые полста шагов, на глинистом спуске столь аккуратно тормозящим всеми четырьмя, что не испытываешь ни малейшего беспокойства за свою посадку, небрежную и не шибко трезвую. Лошадки будто понимают, что подход нужен тихий, ни одна не фыркнет, лишь сопят ноздрями бдительно – глушь таежная не пуста жизнью, жизнь кругом, но поскольку только сопят, значит, в данном месте и в данное время мы здесь самые главные, а всем прочим хорониться и присутствия своего нам не выдавать, потому как тварь таежная не в курсе – видим мы что-либо в темноте или беспомощней котят новорожденных.

«Дикарей» мы обошли левее и километром выше по гриве, чтоб отрезать единственную тропу, идущую мимо базы. С трех сторон подобрались, видим: не хищники, наколотили себе по мешку шишек и поутру намеревались круговой тропой смотаться незаметно. Как только мы их «хипишнули», безмятежно спящих у едва тлеющего костерка, сперва вскинулись было, у одного одностволка тридцать второго калибра, у другого и того смешнее – двадцать четвертый трехзарядный, наверняка еще дореволюционного производства. Как бы там ни было – два ствола против трех, да в упор, да все право за нами, распались мужички, стволы покидали, уселись рядком у костра по требованию, молчат, злые.

Мы им: что ж вы, такие-сякие, своих же грабите? Люди договоры заключают, орех по рублю, считай, задарма сдают, чтоб только заработать лишнюю копейку, отпуск на это тратят...

– Что грабим-то? – бурчит один. – Три мешка, да они во мху потеряют больше. Мы ж не на торговлю...

– А стволы? – спрашиваем. – Будто не знаете, что не положено.

Другой, косматый, непроспавшийся, говорит зло:

– Кончай базар. Чё надо, то делай. Нечего нам морали читать.

Теперь сидим вшестером у костерка, курим. Все свои, местные. По закону что – полная конфискация продукции, стволов, само собой, соответствующая «телега» по местам работы, а там по-всякому, могут еще и в административном порядке штраф прикатать.

Начальничек мой – хапуга, он уже вовсю нацелился на мешки. Знаю же, никакого протокола не будет. Но хоть он и начальник, а командир-то здесь я. Я с людьми работаю и «грабителей» со «щипачами» не путаю. Все меня здесь уважают, потому что продукты отдаю по цене ведомости, а не как до меня – пачка «Беломора» двадцать две копейки, а с «договорника»– тридцать.

Потому и говорю – приговариваю:

– Значит, так, мужики, один мешок забираем за труды. Ночью мне спать положено, а не по тайге шастать. Стволы забираю. Завтра пойдете через базу, стволы верну. Ниже по тропе маяк, знаете ведь, что ничейный участок, там набьете себе третий мешок...

– Ну да, набьешь, – ворчит косматый, – там от кедры до кедры колот* таскать замучаешься.

– Зато честно и никому не во вред.

– И стволы вернешь? – не верит.

– Сказал.

Я нарушал инструкцию, за которую расписывался. Начальничек хмурее тучи. Братан мой – ему все по это самое, мужики нормальные, никто не задирается, в чересседельнике еще фляга браги, можно бы и погутарить по-человечески.

---

* Приспособление для сбивания кедровых шишек. – *Ред.*

– На фига тебе этот мешок? – спрашивает. – Те за гривой при норме сорок наколотят...

– Для порядку, – отвечаю. – Смотри, начальничек бородой в шею ушел от жадности. Топать надо. Обратно короткой тропой пойдем. Подъем! – командую.

Забираем стволы, грузим реквизированный мешок на начальникову лошадку, чтоб ехал и чем надо терся.

И без прощаний – опять в темь, как в яму. Только теперь тропа крутая, лошадки то и дело скользят, а впереди внизу промеж грив еще поджидает ручей с тремя мною самим когда-то не слишком аккуратно брошенными поперек бревешками. Мало того, что едем да песни орем, у самого спуска давай еще из стволов палить. Тут нас и наказал «хозяин» за недобросовестное выполнение служебных обязанностей. Видать, залег где-то неподалеку, а мы расшумелись, что бичи дурные. Выскочил рядышком – бульдозер поперек бурелома. Лошадки наши взбеленились, друг на дружку прут, одна, братанова, ухнулась на мои бревешки поперечь ручья, по колени передними и провалилась. Я кричу: «Давай лошадь вытаскивать!», а братан и начальничек палят во все стороны и орут: «Я попал! Падла буду, попал!»

Когда выяснилось, что никто ни в кого не попал, еле-еле выволокли лошадь из бревенной ловушки, сами вымокли по пояс, промерзли и уже без песен и пальбы еще более часа добирались до базы, где и увалились без говору.

Утром пришли мужики, отдал я им стволы их допотопные, а чаем поить не стал, зол был то ли на них, то ли на себя.

Но что помню – это о чем думал, когда остался один после отъезда брата и начальника с мешком на хребтине.

А думал я о том, что если и есть такое понятие, как русский порядок, то суть его мы сами не всегда способны понять, хотя ни о чем так не мечтаем всю нашу историю, как о порядке, который для того и должен быть кем-то установлен, чтобы кто-то другой, ловкий да смекалистый, непременно нашел в нем слабину, каковую тут же назвали бы не чем иным, как правдой-матушкой, а потом с нее, с этой новооткрытой правды-правдушки, началась бы новая тоска о новом порядке, куда бы и сам комар носа не всунул – так там все прописано истинно и по-божески...

* * *

Замечал я за хорошими поэтами одно странное свойство: то ли не ценить, то ли не понимать глубинного смысла иной, будто бы походя вставленной в стих строки. Больше десяти лет назад прочитал я у С. Куняева такую вот строку: *«Чем ближе ночь, тем Родина дороже»*.

Думаю, нынче он ее сам не помнит. А я чем старее становлюсь, тем чаще по поводу и без такового строка эта всплывает в памяти... Она даже будто вообще не в памяти, а во мне самом. Будто мной придумана и переживается как нечто глубоко личное и собственное.

Кто-то из немногих моих литературных критиков, кажется Лев Аннинский, не то в похвалу, не то в порицание уличал меня в романтизме. В действительности переход от романтизма к сентиментальности столь малозаметен, что порой, мне кажется, их даже можно перепутать. Ведь что есть в сути литературный романтизм? Попытка через некое, видимое как возвышенное, уйти от реальности. Но не бывает ухода без возврата, только возврат этот свершается как бы спиной к реальности, а тоскующими глазами все туда же – в несвершенное, несостоявшееся, а иногда и разоблаченное и обличенное в пустомыслии «романтическом», за которым, как оказывается со временем, с самого начала не числилось никакого содержания вообще, кроме, как бы сказал экзистенциалист, пустой интенции души...

Но как же, оказывается, порой дорога нам эта самая душевная интенция! Столь дорога, что, глядишь, и капают литературные слезинки на сухой лист бумаги, и бумага оттого нежнеет, а бумажная нежность – это уже и есть миазм литературного сентиментализма.

Знаю, литературовед-профессионал назовет сии рассуждения дилетантскими... Ну а кто я, собственно?..

Только пусть он, профессионал, разъяснит мне при этом, отчего куняевская строчка, та самая – «Чем ближе ночь (моя ночь), тем Родина дороже», – почему она мучает меня в бессоннице, почему сотни, тысячи прекрасных литературных строк, сопровождавших меня по жизни, каковой, если откровенно, никому не пожелаю, почему эти строки, из памяти не исчезнув, большей частью как бы пребывают в «запасниках», а эта вот, и не пушкинская, не тютчевская, не гумилёвская, – почему она...

Второй срок

Тринадцатого мая 1982 года я был арестован на подходе к Антиохийскому подворью, где работал тогда сторожем и дворником. В те месяцы и дни шла последняя, как теперь бы сказали, зачистка Москвы от всей и всякой инакомыслящей шушеры. Брали без разбору и «демократов», и «патриотов», и «самиздатчиков» разного толка... Короче – зачистка. Давно все шло к тому, и я почитал себя подготовленным!

Все у́же круг. Все ближе холод стужи.
И крик-сквозняк задул мою свечу.
Но я готов. И мне никто не нужен... –

и т. п.

Пустое! К этому быть готовым нельзя. Невозможно. Это всегда неожиданно, всегда внезапно. Всегда шок, и дело только в том, умеешь ли ты скрыть от чужих и от своих неизбежное состояние потрясения. У меня был большой опыт. Я умел. Но на данном этапе тем и заканчивались мои достоинства. После квартирного обыска был я переправлен для временного пребывания в обыкновенное отделение милиции и помещен в камеру, куда на ночь свозилась районная пьянь. Там предстояло мне пробыть, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, три дня до предъявления обвинения. Могли бы и сразу в Бутырку или в Лефортово, но несколькими месяцами раньше «хрустнул по всем позвонкам» один «единомышленник», чьи показания явились формальным поводом для моего ареста. Возможно, была надежда, что «мрак» первичного места заключения воздействует и на меня должным образом...

Пустяковый факт, что я, человек «интеллигентного вида», был доставлен в наручниках и в трезвом виде, произвел на безвинных алкоголиков, валявшихся в камере, неожиданное впечатление: они прониклись ко мне необоснованным уважением, чем я немедленно воспользовался, чтоб навести элементарный порядок в помещении. Были вытребованы тряпки и ведра с водой, вымыты и протерты полы, и единственный «алкаш», пребывавший в предблевотном состоянии, уже не мною, но остальными сокамерниками был убедительно предупрежден, что в случае «дрянеизвержения» сам выжрет и вылижет...

Спокойствием и деловитостью я произвел впечатление и на дежурных милиционеров, и на следователя районной прокуратуры, попытавшегося, как говорится, по горячим следам провести «ударный» допрос, назвав, как бы между прочим, несколько имен друзей и знакомых, уже давших на меня показания.

Гляжу с улыбкой им в лицо.
Мой взгляд не жесткий и не колкий...

Именно так. Твое дело говорить, мое – слушать. Следователь разочарован, а я снова возвращен в камеру.

Только все мое «бравое» поведение было чистейшей туфтой. В действительности я был на грани слома. К тому времени, то есть на момент ареста, за мной не числилось ничего, что могло бы подпадать под действие даже такой безразмерной статьи, как знаменитая 70-я. Ни организаций, ни самиздата, ни «агитации и пропаганды». Именно в этом, в 1982-м, я серьезно увлекся «писательством». Я вовсе не боролся с властью, это она боролась со мной как с безнадежно инородным существом. Власть зачищала идеологическую территорию и защищала верноподданных или прикидывавшихся таковыми от возможного тлетворного влияния, причем с их полного и откровенного согласия.

Ведь даже знаменитую песенку Б. Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» мы понимали совсем иначе: не от власти строили стенку добропорядочные «шестидесятники», а от нас, способных спровоцировать их на поступки. Именно так отреагировал один из наших ведущих «славянофилов», лишь взгляд кинув на первый номер самиздатского журнала «Вече», – провокация! Немедленно прекратить! И напрочь захлопнулся в своем академическом патриотизме. Как раз «поодиночке» и удавалось «не пропадать» официальным фрондерам всех мастей. Всякий раз, как стихийно сколачивалась даже самая хилая стеночка, власть реагировала адекватно, а участники стенки, дружно сдав лидера, расползались по углам выжидания...

Мой арест помимо зачистки имел и другую цель, не менее важную для органов. Личные связи и знакомства в среде московской интеллигенции в случае моего «распада» не ахти сколь, но все же пополнили бы информационные накопления органов, ориентированных властью на усиление контроля над

обществом, уже давно живущим не по вере, а по расчету. Потерявшая уважение власть самонадеянно полагала, что ювелирной работы органов вполне достаточно для сохранения статус-кво, что инстинкт выживания, став доминантой поведения кланов советской интеллигенции, практически «совокупаем» с партийными идеологическими постулатами как бы «на договорной основе»: вы нам скромное и пусть даже молчаливое «за» – мы вам поощрения по силам и возможностям. Груди самой фрондерской писательской части интеллигенции были украшены орденами, в то время как можно было бы припомнить десяток писателей-ортодоксов, не удостоенных чести быть уколотыми орденскими булавками.

Противное это было время – таким оно мне запомнилось еще и потому, что с разгромом русских самиздатских журналов завяла, а то и (не люблю этого слова) похерилась идея формирования национально-государственного сознания, способного перехватить бесповоротно инициативу у маразматирующей марксистской клики, ибо в сути власти как таковой уже не было. Была пачка бездарных старцев и «органы», замордованные идеей своей партийности. Не оговорка, а убеждение: если в последующей катастрофе есть вина «органов», то она в том только и состоит, что они осознавали себя не государственными, а партийными. По этой же самой причине ни в каком из силовых ведомств СССР не было столько перебежчиков-предателей. При отсутствии государственного сознания достаточно было только основательно усомниться в правильности или правоте партийно-идеологической базы, чтобы приоритетными стали сугубо личные интересы.

Противное было время. Противно оно и окончилось для меня – арестом. Думал, готов. Гордился, что всегда готов. Но когда это произошло, оказалось, что нет, что не хочу я больше сидеть! Совсем как в песенке Юлия Кима: «...ослабли ноги до колен, когда узнал, что снова лагерь и снова ни за сучий хрен». И вот уж в чем и на исповеди не признаюсь – какие подлые силлогизмы способна выстраивать в мозгу трусость, как эти силлогизмы перемалывают волю, как превращают человека в жалкое животное, опуская его на четвереньки и готовя глотку к судороге стона.

Внешне – да! Изображать непоколебимое спокойствие – этого искусства я утратить не мог. Безобидные алкаши, почуяв во мне бывшего зэка, даже галдеть старались

потише: «Кончай базарить, мужики, Лехе поспать надо!» Но «Леха» не спал. «Леха» жалкими остатками воли сопротивлялся слому. Уже вовсю хрустели периферийные косточки, хруст подбирался к позвоночнику...

И тут нужны пояснения.

Зачистка инакомыслящих, а если точнее – инакоживущих, в эти годы проходила, осуществлялась отнюдь не формально. Вовсе не ставилась цель непременно всех посадить. Сломать – было важнее для дела и почетнее для конкретного человека-следователя. К концу 70-х КГБ имел на своем счету несколько побед по этой части, самой звонкой из каковых было дело отца Дмитрия Дудко.

По предложенной выше классификации: обиженные, сопротивляющиеся и борцы – Дмитрий Дудко был не просто борец, он был духовным вождем борцов в стане «неофициальных русистов», как обозвал нас Юрий Андропов в своей докладной Центральному Комитету КПСС в начале 1980-х. Был период, когда на фоне активности бунтующего батюшки потускнело даже имя Солженицына, выдворенного за рубежи Отечества. Солженицын что? Солженицын писатель. А батюшка вот он, здесь, и каждую субботу в храме на Преображенке на его знаменитых «беседах» толпы людей, готовых по его слову, слову страстному, болью за Отчизну насыщенному... Про готовность толпы говорю не со слов. Сам стоял, слушал, слезу патриотическую сгонял со щеки... «Помолимся, братья и сестры, за всех убиенных безбожниками, за всех замученных в лагерях Соловков, Колымы и Караганды! За возрождение Святой Руси помолимся! Да воссияет град Китеж!.. Помолимся!»

Тайные крещения детей на квартире батюшки (старшую свою дочь у него крестил). Листовки и обращения к «людям русским». И наконец, книги – по одной в полугодие срочно переправляемые за границу рукописями и скорейше возвращенные на родину в цветных обложках... И лишь когда пошли еще и стихи, тогда только почуял я (горжусь, я первый почуял) дух гапонизма.

Имя Гапона[44] вошло в историю в непременном сопровождении слова «провокатор». Но «провокаторство» Гапона было лишь следствием соблазна, каковой я и называю гапонизмом. Это соблазн лидерства, причем лидерства политического. По-своему Гапон был честен и перед миряна-

ми, которым искренно хотел добра, и перед политической полицией, когда надеялся «скорректировать» свои действия с главным принципом власти. Но гордыня! И вот он уже игрушка и в руках полиции, и в руках эсера Руттенберга... Есть сведения, что в Швейцарии, куда был «командирован» Руттенбергом, встречался Гапон с Лениным... То была уже агония. В итоге, повесив его, как провокатора, Руттенберг (будущий активист сионистского движения) как бы для истории зафиксировал типовую аномалию священнического сознания.

У нас, мирян грешных, тьма соблазнов. У батюшек в основном два: политика и литературщина. Могу лишь предположить, что причина этих соблазнов в отсутствии чувства самодостаточности священнического подвига. Логический и «законный» исход из таковой ситуации – монашество. Семейному же, честолюбием обуянному батюшке такой путь закрыт. Тогда-то – либо политика, либо писательство. Отец Дмитрий укололся обоими соблазнами.

Кстати, первый свой срок Дмитрий Дудко получил за... стихи! Безобидные лирические стихи, но публикуемые в немецкой оккупационной газете. Я знал человека, чья койка в лагерном бараке была рядом с койкой Дудко. Он и там писал стишки, но, видимо, уже не безобидные, если постоянно перепрятывал их, причем иногда под матрац своего соседа...

Меж тем определилась реакция власти на активность патриотического батюшки. Он был изгнан из московского храма и переведен в Подмосковье. Затем была странная автоавария с переломом ног, самим отцом Дмитрием трактуемая как очевидная попытка покушения. Держался он героически. Активность его только возросла. Особенно литературная. Батюшка буквально оседлал те немногие каналы связи с печатными органами за границей, которые нам были доступны. Перед каждым очередным вояжем за рубеж Ильи Глазунова он появлялся в квартире на Калашном с туго набитым портфелем (или сумкой, не помню) и втолковывал художнику важность срочной публикации его нового сочинения на тему, как нам спасти Россию-матушку.

Однажды я получил очередное послание батюшки. Исполнено оно было в форме «думы» о России. И все бы ничего... Но меня потрясла подпись. «Священник Дмитрий Дудко. Гребнево. Три часа ночи».

В этом «три часа ночи» уже просматривалась не просто неадекватность самовосприятия, но почти патология.

С кем-то я пытался поговорить о том, как бы потактичнее «тормознуть» батюшку в его политическом галопе, но все, абсолютно все были истово влюблены в него, симпатичного, славного русского мужичка, ставшего священником в неблагоприятные для Церкви пятидесятые годы и теперь вот фактически возглавившего русское направление в оппозиции; а в самом этом факте просматривалась добрая и достойная логика всего столь желаемого процесса освобождения Родины от диктатуры атеизма, причем не банальными революционными средствами (подпольщиной и нелегальщиной мы уже были сыты по горло), но через возрождение Православия – непобедимого духовного оружия.

К тому же со стороны, говоря нынешним языком, конкурирующей фирмы – демдвижения – начались лукавые подкопы под отца Дмитрия. Дескать, ишь как разошелся, а вот почему-то не сажают, знать, не зря не сажают...

«Не сажают, потому что мы не дадим его в обиду! Потому что за ним – тысячи православных...» Похоже, мы и вправду верили в это «не дадим». И сам он уверовал в свою неприкосновенность не без нашего поощрения. Провели обыск. Ну и что? Эка невидаль в наши-то времена! И батюшка тут же достойно откликнулся красноречивым посланием к духовным детям своим с подтверждением непоколебимости позиции и готовности к продолжению правого дела.

Но взяли. И был шок. Помню, несколько вернейших сподвижников отца Дмитрия собрались на квартире Ильи Глазунова, к тому времени фактически в полном смысле кормившего всю немногочисленную и абсолютно нищую «русскую партию». Глазунов тут же выделил деньги на адвоката и на теплые вещи для узника всегда весьма прохладных камер Лефортовского следственного изолятора.

Нам, политически бессильным, ничего не оставалось, как идти проторенной дорожкой правозащитного движения, то есть создавать «Комитет в защиту отца Дмитрия Дудко» с соответствующими действиями: обращениями к мировой общественности, к прорусским эмигрантским изданиям, к властям, наконец, с невразумительными вразумлениями... Не помню, что-то, кажется, было сделано в этом направлении. Никто из наших официальных патриотов,

охотно контактировавших с батюшкой, когда он был в фаворе славы православного борца, не объявился с желанием заступиться, подпись черкнуть или хотя бы просто посочувствовать, как и в недавнем деле Владимира Осипова...

Напротив, арест батюшки как бы все поставил на свои места. Броня по-прежнему крепка и танки наши быстры, и можно не вибрировать на предмет меры патриотического усердия. Чем было явление воинствующего попа? Да обычной провокацией. И слава Богу, что не поддались, не увлеклись, и можно, как и прежде, не рискуя социальным и бытовым комфортом, поругивать мировой сионизм, разумно используя блага, отвоеванные социализмом у народа для одаренных народных детей.

Полуподпольные поклонники мировой демократии также пережили чувство не очень глубокого удовлетворения: обнаглевшему русопятству нанесен еще один весомый удар, и можно надеяться, что маразматирующая власть и впредь до момента издыхания будет выкашивать, к счастью, немарксистские поползновения русофилов сколотить ряды и изготовиться к реальному политическому действию.

Так бессознательно, на инстинкте вырождения, власть подготавливала состояние идеологического вакуума, обеспечившего к середине 80-х торжество сил распада и разрушения. Роль «органов» в том, по моему глубокому убеждению, вторична. Верные солдаты партии, когда истинно государственная измена уже вершила свое черное дело, они все еще продолжали гоняться за «антипартийными элементами»...

В 1989-м, когда впервые с группой писателей я приехал в Иркутск, по улицам городка за мной ползала машина... В 1991-м в Новошахтинске КГБ устроил обыск на квартире, где перед этим я с телегруппой снимал фильм о поэте Валентине Соколове... Ленинградский КГБ в это же время отлавливал энтээсовца Евдокимова...

Ну и где он нынче, этот самый страшный враг советской власти – Народно-трудовой союз (НТС), которым столько лет пугали и без того пугливую советскую интеллигенцию?

Скоро, однако, пополз слушок, что батюшка «ломается». Не верили, потому что было непредставимо в сравнении со сложившимся образом...

Как-то в газете «Завтра» прочитал восторженную статью о Дмитрии Дудко, где главным нравственным подвигом

батюшки было названо то, что он «пошел на сотрудничество с органами». В кавычках – значит, дословно. Не помню имени подписавшего статью, но он либо сам бывший безыдейный стукач (такие тоже были), либо человек, как говорится, совершенно не владеющий темой.

Во всей мировой следственной практике сотрудничество арестованного по подозрению или по фактам со следственными органами означает одно: способствование раскрытию преступления, выходящего за рамки конкретного обвинения. В уголовном мире когда-то это называлось «раскол по групповухе», то есть подследственный не только дает показания на так называемых соучастников, но посредством «оценочных» и письменно засвидетельствованных суждений формирует обвинительную базу им очерченной «преступной группы», сам при этом получая гарантии льгот.

Круг общения отца Дмитрия был плотно замкнут так называемой русофильской, или, по терминологии Ю. Андропова, русистской, средой. С русофобами он не общался, с правозащитным диссидентством контактов не имел, и, следовательно, если автор статьи в газете «Завтра» прав, то отец Дмитрий попросту предельно «отстучался» в адрес своих духовных детей, ибо все мы без исключения были им благословлены на патриотическое действо.

Но у меня, между прочим, нет никаких данных о том, что отец Дмитрий «сотрудничал с органами», как утверждает автор газеты «Завтра». По крайней мере, его показания обо мне лично, когда я был с ними ознакомлен через пару лет уже на моем следствии, не содержали ничего такого, что могло мне как-то повредить. Возможно, показано было не все, и автор статьи более информирован на этот счет...

Мне же известно то, что известно всем, поскольку отец Дмитрий дал согласие на «телевизионное покаяние», где, к сожалению, не столько каялся (хотя и это было), сколько утверждал, что оказался жертвой преступных антисоветских элементов, использовавших его верность Православию в целях, коим сам он, священник Дудко, был, оказывается, в сущности, глубоко чужд. Что его писания без его ведома отправлялись за границу (откровенная неправда, и в том мне свидетелей не нужно). Что вообще лукавый попутал, сбил с толку... Короче – простите, я больше не буду.

Когда б тот самый «лукавый» не приплясывал на губах батюшки, покаяние его лично мною, по крайней мере, было бы и понято, и принято без осуждения.

Но что человек, благословивший в свое время все оппозиционно русские начинания, по-настоящему сломался, стало ясно сразу по его освобождении, когда, едва оклемавшись от «камерного бытия», он стал набиваться на встречи со своими им же осужденными духовными детьми, убеждать их, что показания его добывались под гипнозом... Следователь, видите ли, во время допросов не мигая смотрел ему на переносицу... Что от главного – от Бога – он не отрекся (но в наши времена этого уже ни от кого и не требовали!). Что исключительно ради своих духовных чад пошел он на компромисс...

Не найдя понимания, через некоторое время он уже потребовал, чтобы осудившие его сами явились к нему, а кто не явится, тот больше не его сын... И долго еще метался батюшка, то утверждая, что его неправильно поняли, то вдруг обратное – что был во всем прав, а кто не с ним, тот не с Богом... Потом как-то исчез с горизонта. И объявился уже в перестроечные времена на патриотических и коммунистических митингах, где опять кого-то благословлял и кого-то клеймил. Опять пишет и статьи, и стихи...

И уж совсем на днях прочитал, что призывает отец Дмитрий Православную Церковь канонизировать русских писателей XIX века: Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого...

То не иначе как расплата за «гапонизм», поскольку речь идет о принципиальном непонимании не только сути литературного творчества, но и смысла канонизации.

Нынче Бог ему судья.

Но семнадцать лет назад, в ночь на 14 мая 1982-го, валяясь на нарах «опохмелки» 46-го отделения милиции, я испытал некий коварнейший искус: образ сломленного батюшки то и дело возникал в моем смятенном сознании.

Впрочем, для слабого и хворостинка – колодина, а тростинка – бурелом. Слабина в человеке рассредоточена по закоулкам души, но только дай волю, и сползется, стянется, сгустится ртутной тяжестью под сердцем, и сердце тогда уже не сердце, а сердчишко.

Ну не нужен мне второй срок! Первый был университетом, и сам тогда был молод и весело опрометчив. И главное – тогда я сидел за дело. За дело в нескольких смыслах, а не только в одном, на суде озвученном...

Теперь же предстояла ответственность за бездействие – так воспринимал я очередную напасть, ибо вчистую разгромленное, не успевшее толком начаться русское дело уже как бы и не нуждалось в лишней жертве. А сам по себе я решительно ничего не значил для доблестных «органов». Арестованный по девяносто третьей статье, что всего лишь до трех лет, с первым же допросом я понял: не наказание ждет, потому что наказывать не за что. Будут, говоря всегда неприятным для меня языком блатарей, ссучивать, поскольку, разделавшись с полулегальным русофильством, готовятся «органы» к мягкой, но всеохватной зачистке русофильских настроений, и посему более прочего нужна им полнота информации о соответствующих настроениях в обществе и о людях-персонах, в этих настроениях так или иначе повинных. И если я откажусь от сотрудничества по предложенной теме, моя девяносто-блатная статья тут же обернется семидесятой со второй ее частью, и тогда десять лет особого режима и пять ссылки – по сути, это конец...

Так оно и получилось. И когда получилось, сожалений уже не было. Но пред тем была одна, первая ночь, когда пропахшую блевотиной камеру-опохмелку от пола до потолка раздирал никем не слышимый вопль моей ломавшейся души: «Не хочу! Не хочу!»

Тогда-то и произошло чудо. Впрочем, как я теперь думаю, если б и не произошло, исход был бы тот же, не верю, что мог бы поломаться. Однакож «не верю» – это еще не «уверен»...

Было уже не менее двух часов ночи. Алкаши в жизнеутверждающем мажоре исполняли храповую симфонию. И вдруг захрустел ключ в камерной двери. Лампочка-сороковка, что над дверью, высветила фигуру дежурного милиционера, вошедшего в камеру. И он именно мне делал какие-то знаки. Я поднялся.

– Пошли, – тихо сказал сержант и вывел меня из камеры, не закрывая двери.

Допрос? Среди ночи?

Но он остановился, достал из кармана что-то, завернутое в шелковый платочек, подержал в руке, протянул мне.

– Знаешь, от кого? – спросил.

Я развернул платок. То было выточенное из дерева пасхальное яйцо. Искуснейшим образом яркими, праздничными красками на дерево нанесен был вкруговую Московский Кремль и Москва-река.

– Она тут два часа стояла, плакала. Пожалел... Ну, так знаешь, от кого?

– Конечно. Спасибо, сержант.

– Между прочим, она сказала, что ты не из трепливых...

– Само собой.

– Ну, дуй на место.

Такой вот короткий диалог шепотком, и я снова в камере.

Всего лишь за неделю до ареста в пасхальные дни были у меня в гостях Георгий Владимов и его жена Наташа. Тогда они подарили нам с женой два Владимовым выточенных, а Наташей расписанных пасхальных яйца. Работа с деревом – хобби Владимова. В подвале дома, где жил, он устроил мастерскую. Мы тогда засиделись допоздна. Литература... интеллигенция... эмиграция...

Владимовым надо было уезжать. Колебались. А дела уже были заведены на обоих. Наташа прокололась с подпольной «Хроникой»[45], Владимов – на контактах с энтээсовским журналом «Грани», куда его приглашали на главного редактора...

Поздно ночью пошел проводить и помочь поймать такси на нашей аппендицитной улице. Ловить такси не пришлось. Оно уже поджидало рядом с домом, как и другая машина чуть поодаль, – Владимовых «пасли вплотную».

Нынче наши пути разошлись. Я не нашел для себя возможным поддержать его в двусмысленном конфликте с издательством «Посев», которому я обязан и русскими, и переводными изданиями за границей. Он мне этого не простил. Меня, в свою очередь, коробят его выступления на радио «Свобода». Если сегодня есть политические позиции, то мы, кажется, на разных... Наташа умерла... К ней, мягко скажем, по-разному относились друзья Георгия Владимова. Для меня же...

...Я стоял, прислонившись к стене камеры, исписанной снизу доверху всякими суждениями о жизни вообще и совет-

ской милиции в частности. В руке сжимал драгоценный подарок и явственно чувствовал, как что-то меняется в моем сознании и сознавании ситуации, что перемена эта добрая, спасительная... Но чудо еще было не завершено. Прямо напротив моих глаз на стене я прочел размашистую карандашную надпись:
«ДОХРЕНИЩА ВСЯКИХ ГАДАВ КТО ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ».

Я так громко рассмеялся, что некоторые из храпевших умолкли и заворочались на грязных матрацах у моих ног. Все! Действительно! Все мгновенно встало на свои места. Не по логике, а по чуду. Потому что именно вмиг. Я начал расхаживать на свободном от храпящих тел пятачке... Туда-сюда... По пять маленьких шажков... Ходил и нашептывал... стихи. Стихописание – это всего лишь один из множества способов и приемов выживания в неволе. От того, что нашепталось за одиннадцать невольных лет, я отнюдь не в восторге. Но четырнадцать строк, сложенных той вечно памятной ночью, – ими горжусь. И не постыжусь привести:

Накрыла тьма средь бела дня,
Замуровала в нишу.
Пропал. Исчез. И нет меня.
И сам себя не вижу.
Давлюсь назойливостью мглы,
Безмолвьем плесневелым.
Но, натыкаясь на углы,
Не задыхаюсь гневом.

Для гнева – мертв.
Для стона – мертв.
И в том оно – искусство:
Я снова зэк, я снова тверд.
Я снова зэк...
Мне грустно...

Конечно, тьма проблем была еще впереди. Предстояло отвыкать (или научиться запрессовывать в себе) от весьма поздно проснувшегося чадолюбия. Раньше-то все дела на первом месте... Писанина, ставшая привычкой, – тут как раз в стихописании спасение... Из друзей кое-кого исключить... Кому случалось, тот знает, как это противоприродно – заштриховывать в душе любовное отношение к человеку.

И многое, многое в себе, чему попросту надо было свернуть шею. Дрожь в коленках... Знал, она тоже еще посетит,

но теперь знал, что справлюсь. Прежний опыт неволи подсказывал, что чудеса, укрепляющие дух, также еще будут. И были. В Бутырках на втором месяце сидения, опять же в весьма критический момент, тем же способом, через охрану, получил коротенькое добронапутственное письмецо от Нины Глазуновой. Или не чудо?! В Лефортово, когда уже была предъявлена убийственная 70-я, следователь Губинский, все еще не терявший надежды «расколоть» подопечного, разрешил забрать в камеру изъятую при обыске книжку «посевовского» издания – «Год чуда и печали». И мой родной Байкал стал словно рядом, всего лишь под подушкой...

Я должен был освободиться в 1997 году. Едва ли выжил бы. Но случилось.

Не случилось другого – радостного преображения России, о котором грезили русские люди нескольких поколений ГУЛАГа...

Уважаемый Генеральный секретарь ЦК КПСС!

К Вам обращается жена Леонида Ивановича Бородина, писателя, осужденного в 1982 году Московским городским судом за антисоветскую пропаганду к 10 годам лагеря особо строгого режима и пяти годам ссылки. Столь суровый приговор мужу был вынесен за то, что лет десять тому назад он пытался издавать самиздатовский журнал "Московский сборник". В журнале не было ничего антисоветского, но дух журнала был признан "великодержавным" и "шовинистическим". Вина мужа в том, что он по своему горячо любит Россию, но его взгляды несколько расходятся с официальными, поэтому суд явно был не объективен в своем приговоре. Если бы Вы поговорили с мужем или посмотрели дело, то Вы бы сами могли убедиться в этом.

Муж тяжело болен /язва желудка/ и отбытие назначенного срока практически приведет его к гибели.

Мы все ответственны перед Богом и Родиной, и я готова ехать за мужем в любую ссылку, если бы ему тюрьму заменили ссылкой.

Письмо жены, направленное М. С. Горбачеву.

Лагерная эсхатология

Свойственно людям верить в добро, и вторично при том: само добро – свойство ли то души человеческой, дар ли Божий или просто случайность, каковая кому-то выпадает счастливым жребием, а кого-то минует. Оно возможно – добро. Оно, по крайней мере, возможно, сколь бы ни были злы времена, обстоятельства, люди.

У добра миллионы форм. Да какой там миллионы! Сколько людей, столько и представлений о нем, о добре. И двух душ не сыскать, кто б помышлял о добре одинаково...

Однако ж есть категория людей, теми же миллионами исчисляемая, чья мечта о добре – звук в звук, буква в букву, стон в стон. Имя этим миллионам – рабы! Имя добра – свобода!

Велико счастливы люди, чьи пути-дороги нигде и никак не пересекались с тропами рабов! Сколь же радостно и благостно должно быть мироощущение тех, что рабских троп не пересекали и скопищ рабских не зрели, но полагали по счастливой наивности, что это «простые советские люди» сотворили оружейный арсенал под названием «Норильск», что они же с энтузиазмом возводили первые «великие стройки коммунизма», что они очертя голову полезли в урановые рудники, что добрая половина тысячекилометровых железных дорог, как и другая половина, – тоже их рук дело. Что вообще в мерзлоте российской аграрности фундамент индустриализации выдолблен и бетоноисполнен исключительно социалистическим энтузиазмом. Что наша великая «оборонка»... Да что «оборонка»!

Говорил уже и повторюсь, что развал советской экономики начался не в так называемую эпоху застоя, а намного раньше, когда Хрущев легкомысленно посягнул на ударную трудармию Страны Советов – на ГУЛАГ!

Тридцать лет назад, комсомолец из комсомольцев, я сам впервые по-настоящему был неизлечимо ранен открывшейся второй стороной социалистической медали. Поначалу мое ранение, естественно, было «детоарбатского» типа. Дескать, как же так! Герои революции, маршалы всякие, да

верные ленинцы, да мудрецы-марксисты... Да что же это такое?! Но когда в поисках «полной правды» попал в Норильск, кого я там увидел? Прежде всего – солдат и офицеров доблестной Красной Армии; затем «остарбайтеров», людей, угнанных в Германию и «возвращенных»; далее – жителей оккупированных областей; далее – всякую «мелочь»: «белоэмигрантов», точнее, их детей; «колосошников» (за колоски, померзшую картошку, капусту, морковь и т.п.). Большинство из таковых остались в Норильске по доброй воле. Не в колхозы же возвращаться! Были и бендеровцы, и прибалтийские «зеленые», и немцы Поволжья... И уголовники, конечно. Но большая часть их как раз получила по амнистии полную волю и смоталась на «материк».

Шесть громаднейших рудников, столько же угольных шахт, крупнейшая в стране обогатительная фабрика, заводы и «подземки-секретки» – все это преогромнейшее хозяйство в руках зэков. Правда, когда я туда прибыл, зэки уже были вольными. Но приписанными к Норильску трудиться на благо Родины теперь уже не «задарма» и не «за» проволокой. Впрочем, проволока там всегда была лишь для порядку – бежать некуда. Зэками же построенная железная дорога от Норильска до Дудинки просвечивалась насквозь. А на юг – мертвая тундра на пару тысяч километров.

Это только Норильск. А Воркута, а Колыма, а Мордовия, а Пермь, а Тайшет... Воистину архипелаг. Точнее названия А. Солженицын и придумать не мог. Когда прочитал книгу, содержанием поражен не был. Поражен был единственностью названия.

Когда из Норильска вернулся «на материк», приглядывался к людям, знают ли то, что узнал сам, догадываются ли, кто страхует их скромное благополучие? Если догадываются и тем более знают, что в душе? Пригляделся и понял.

А НИЧЕГО! Решительно ничего! И вот тогда впервые сказал себе: «Нет, что-то очень неладно в Датском королевстве! За это самое ничего когда-нибудь наступит страшная расплата! Я, конечно, до нее не доживу, как-никак, но «семимильными шагами идем к торжеству социализма». Вот, к примеру, бригады коммунистического труда – возможно, в этой форме компенсация уменьшения труда рабского?.. Или целина... Говорят, идея добрая и энтузиазм что надо. Лет на полсотни хватит...»

Но, с другой стороны, как такое возможно, чтобы одна часть народа десятилетиями упрямо делала вид, что не знает о существовании другой? Ведь вот тот же добрый и славный Станислав Юрьевич Куняев... Он начал мотаться по стране раньше меня, и не как я – изгой, но с журналистским удостоверением в кармане. Места наши сибирские – Иркутск да Тайшет – куда ни плюнь, везде зона... И что? Да то самое – НИЧЕГО. Не было! Были писатели и поэты, мужички интересные и говорливые, места, прекрасные природой сибирской...

Именно в это время учитель и друг С. Куняева Б. Слуцкий пишет известное стихотворение: «И вот объявили ошибкой семнадцать украденных лет... И снова сановное барство его не пускает вперед. И снова мое государство вины на себя не берет!»

Народ и партия едины – это и есть государство. Какая же может быть вина у народа? Тем более – у партии. Нет вины. Была и есть историческая необходимость. Сперва ликвидировать классы, исторически отжившие. Потом доблестная коллективизация, потом славная индустриализация, затем величайшая победа, а после победы – героическое восстановление. Одним лишь перечислением горда душа. И поныне горда. От гордости в облака взлетала б, когда б не досадные колдобины на пути торжества русского социализма в лице «некоторых евреев». А в остальном, прекрасная маркиза...

Людей тысячами выбрасывали на пустынные берега, говорили: «Окапывайтесь, если хотите выжить». Люди окапывались и начинали рубить, долбить и добывать, добывать, добывать...

Уголовники? Паханы? Воры в законе? Они сидели у костров и потом в отчетных ведомостях делили выработку. План давали «мужики», миллионы русских мужиков и баб, забытых и преданных другими миллионами баб, мужиков и интеллигентов. Никакой самый ударный труд советских людей не давал такой «дармовой» себестоимости нужнейшей для страны продукции: угля, руды, золота, леса. За счет неслыханной разницы в себестоимости писатели получали гонорары, о каковых нынче тоскуют, ударники комтруда – льготные санаторно-лечебные месяцы, партийные работ-

ники – вторые зарплаты в конвертах; всяк имел хоть кроху, хоть не кроху от преданных и забытых.

Любимица советского народа актриса Зоя Федорова. Исчезла. И что? Да ничего! Сама душа России – Лидия Русланова... Опять же ничего страшного, можно пожить и без души. Более того, жители окрестных поселков гордились, что в их краях «сидит» сама Русланова! Я слышал эту «гордость»! Что да, «сидела». Но хорошо сидела! Разъезжала по зонам с концертами. Ее, видите ли, все лагерное начальство просто обожало! Тоже люди. Они обожали бы и Утесова, и Орлову, и маршала Жукова, и самого Сталина обожали бы. Представляю, с каким пылом «шмонали» бы они Иосифа Виссарионовича на каждой пересылке!

Наконец, где отыскал писатель Сергей Смирнов своих героев Брестской крепости?[46] Да все там же, в лагерях...

Ну а что зэки тех времен, как они понимали свою «проклятость» остальной частью народа? Чего желали они этому народу и государству, принесшему их в жертву осуществления всемирового счастья? Упертых марксоидов в счет не примем. Их было ничтожное меньшинство.

Я знаю про ужасное, я слышал это ужасное из первых уст: мечта о третьей мировой, чтоб раздолбали американцы своими страшными атомными бомбами государство придурков, чтоб повздергивали на кремлевских башнях всех этих кругломордых вождей, а их помощничков да писак всяких про счастье народное сюда, в мерзлоту, в шахты и рудники, а ментов-надзирателей оставить тех же – в том самая изощренная кара, какую только могли вообразить вымороженные мозги «врагов народа», объявившего и признавшего врагами народа их, замордованных по Великому Плану и Великому Историческому Почину.

Разумеется, не в головах «иванов денисовичей» вызревали подобные отчаяние и злоба. И поскольку мое знание темы подсказывает, что основную рабочую силу составляли именно они, мужики, «иваны денисовичи», то я, разумеется, не могу представить себе солженицынского героя, рассуждающего или хотя бы мыслящего столь беспощадно и сурово.

Но перечитайте рассказы В. Шаламова – там иной стройнакал душевного состояния, среди его героев отыщутся «буйные головы», проклявшие и весь мир Божий.

Но зато я вполне могу представить Ивана Денисовича, молча, но внимательно рассматривающего столь популярную в сталинских и послесталинских лагерях «пирамиду Иоанна Кронштадтского».

Мне неизвестны сколь-нибудь убедительные доказательства, что «пирамида-пророчество» имеет какое-либо отношение к великому подвижнику Православия. Но так уж она называлась: «пирамида Иоанна». Суть же в следующем.

Рисуется обыкновенная равносторонняя пирамида, параллельно основанию пересекается двумя линиями. В левом углу пирамиды прописывается дата – 1905. Начало русской революции. Далее по двенадцатилетнему циклу на точках пересечения даты: 1917, 1929. На вершине пирамиды соответственно (1929+12) 1941. Вниз по правой стороне на пересечениях: 1953 и 1965. Левый угол пирамиды венчает дата – 1977.

Легенда-трактовка

На короткое, как известно, время будет дана Господом воля, или попущение антихристу. И не когда-нибудь, но уже! В том самом тысяча девятьсот пятом! Началось! Двенадцать лет понадобилось врагу Бога и Человечества, чтобы подготовить Россию к полному смятению умов и водворению во власть бесов. 1917-й! Но в душах православных еще жило противление. Не в городах же смердящих, подобных Содому и Гоморре, но в простом люде крестьянского звания и сословия. И вот опять же через двенадцать лет руками послушных бесов порешает антихрист покончить с тайным противлением посредством «раскулачивания и коллективизации», чтоб одних взять измором и изводом, других же сперва «обнищарить», а после согнать в послушные стада – колхозы, где б за руками и за душами контроль был бы строг и суров. 1929-й!

И к 1941 году антихрист достигает своего высшего могущества. Еще продолжаются «зачистки» сомнительных и сомневающихся, к тому же не ведает враг Божий о сроках, ему отпущенных, и готовится в гордыне к господству мировому, потому рассылает по миру агентов своих – коминтерновцев, чтоб рыхлили почву для скорого плуга, коим намерен рассечь народы и перессорить их для быстрого покорения.

Да только опережает его другой бес, тоже восхотевший быть первым и единственным, и начинается меж бесами

война, кидают они свои обманутые народы друг на дружку второпях, тылы толком не проверив и не укрепив. Первым антихрист обнаруживает, что не все столь ладно в противобожьем царстве его: мало того, что целые народишки встречают беса враждебного хлебом и солью, но сотни тысяч своих, отборных встают под знамена беса взбунтовавшегося, а миллионы используются врагом в тыловой пользе... (Четыре миллиона пленных и мобилизованных советских граждан обслуживают тылы немецких армий, дивизий и даже полков. По одним только приговорам СМЕРШа с 41-го по 46-й расстреляно за трусость, отступление не по приказу, за мародерство, дезертирство и насильничество сто пятьдесят тысяч человек – пятнадцать полнокровных дивизий...)

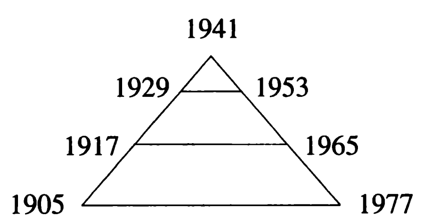
Не к такой войне готовился антихрист, возопил в отчаянии: «Братья и сестры!..» Бесенятам своим, смертями грозя, приказал: «Ни шагу назад!» Родина! А она же была, Родина, у народа еще и задолго до пришествия антихриста, – Родину в дело пустил. И клались людишки друг на дружку, и по дружкам другие дружки шаг за шагом бесу малому штыком под нос, и попятился малый бес... Тут и прочие народы, свою корысть имея, подсуетились со «вторым фронтом» в расчете, что истощиться бесы должны поровну, пусть бы даже, если один совсем в распыл, а другому еще и отдышаться надо, прежде чем по новой на весь мир замахнется.

Только антихрист, надо понимать, это не просто некто в едином человеке воплотившийся, антихрист – это самая обманная идея из всех обманных. И вот по Божьему предусмотрению в 1953 году лопается главная струна в антихристовой балалайке. А прочие неглавные струны с того момента – кто во что горазд: кто в кукурузу, кто в космос. Главная-то идея – всемирное антихристово царство и посрамление Имени Божьего – оно как бы на потом... И с 1965 года завоняло, засмердело антихристово поле. Народишко, что еще вчера всеми ноздрями вперед, к обманному бесовскому благоуханию, теперь ноздри в сторону, и всяк за себя, потому что истекало время Божьего попущения. Что после того – никому не ведомо, но жить-то надо...

Те, что на воле, им некогда задуматься всерьез. А вот те, кто за проволокой, – им и открывается великое предсказание Иоанна Кронштадтского о кратком времени царства

антихриста. И скоро! Очень скоро – конец! А там или Пришествие Второе, или геенна огненная за измену Божьему слову и доверение извечному врагу Божьему...

А в доказательство истинности пророчества глянем-ка еще раз на пирамидку сию – и что обнаружим? А обнаружим мы не что иное, как то самое число – 666!



Возьмем три основные цифры: приход антихриста, год торжества его и год кончины позорной. То есть – 1905, 1941 и 1977.

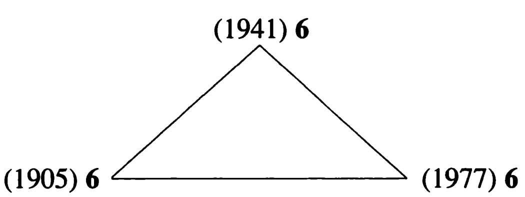
Теперь сложим цифирки.

1905. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+5=6

1941. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+4+1= 6.

1977. 1+9=10. Ноль не в счет. 1+7=8. 8+7=15. 1+5=6

Вот оно и вылупилось, число Зверя – 666! Авось и доживем, земляки!



(Ошибка в дате краха Союза всего лишь в десять лет. Червонец. Средний срок для «среднего» зэка! Пустяк!)

Глянет на сию картинку, положим, герой писателя Дьякова («Повесть о пережитом»), сплюнет: дескать, бред мракобесный. Но выжить надо. По идейности «стукнет» на кого-нибудь слегка и пристроится в хлеборезке, где уж точно не пропадешь.

Глянет герой Шаламова, отмахнется только. «Ерунда, – скажет, – не сбегу – не выживу!»

А вот солженицынский герой, Иван Денисович, он едва ли будет столь категоричен. Покачает головой: мол, кто

знает? Все ж Божий человек сие придумал... Только известное дело – на Бога надейся, да сам не оплошай! А пирамидку на всякий случай зарисуем на бумажке да заныкаем понадежнее...

Неизбежность краха коммунистического режима в зонах была вещью бесспорною. Спорными были сроки. И не удивительно! Вокруг себя зэки видели только самих себя. И в каком немыслимом количестве видели. Да где ж такое слыхано, чтоб целый народ величиной с иное государство за проволоку загнать и уморять трудом да голодухой! Да нигде такого не слыхано! И все это будто бы во имя грядущего всеобщего счастья! Откуда взяться этому всеобщему, если у каждого где-то семья, плачущая над фотокарточками, дети, согнанные в детдома, друзья-сослуживцы, которых ссучили на подлые показания, – а у кого-то и совесть есть, им ли счастьем наслаждаться? А те, что отреклись и в тряпочку помалкивают – они что, вообще снов не видят? Говорят, все «усатый» закрутил, дак не вечен же он, сдохнет когда-нибудь! Пусть не свобода, но хоть послабление для жизни непременно настанет.

«Ильич! За что же ты боролся...»

Повторюсь. Мои зоны и тюрьмы были уже иными, но я застал и предания, и сказания, и пророчества, и молитвы о погибели государства, «измывающегося над людьми похужее, чем над скотом безмозглым».

Боже, сколько было их, пророков, уже в мое время! Какой только год очередной не попадал в «тот самый, когда...».

Печатал в «Юности» рассказ о реальном человеке – А. А. Петрове-Агатове, который истово уверовал, что 1969-й – год коммунистического краха. Никаких деталей. Детали его не интересовали. Но точно он знал одно: что не позже мая шестьдесят девятого над нашими мордовскими лагерями спустится десант и всех нас вывезут на свободу! И не в «большую зону», где поражения в правах, запрет на места жительства и работу по профессии, надзоры гласные и негласные, – нет! Мы станем свободны, как птицы, и всякий сполна еще успеет насладиться счастьем жизни. Ему, А. А. Петрову-Агатову, за много лет до того еще на Колыме было видение. Верил. И многим запудрил мозги...

* * *

Эта глава о лагерной эсхатологии. Но вот история, случившаяся с человеком, который уже отбыл свой немалый срок, пожил в «большой зоне» и понял, что единственное ему место – в монастыре. Постригся. Любим был и собратьями по монастырю, и людьми мирскими, и бывшими солагерниками. Особо, по-любовному, был привечаем в семье Ильи Глазунова, где мы с ним и встретились впервые, поскольку сидели в разные времена.

Однажды уже как-то говорил, что люди, пришедшие к Православию в лагерях, где и тексты необходимые были в большом дефиците, и батюшка не всегда под рукой, чтоб направить ход мыслей и порыв душевный по верному руслу, а «самотолковцев» всяких полно, особенно из бывших марксистов... Иными словами, непросто это было – в зонах, где тексты религиозные изымались как антисоветчина и «отцы-опера» следили, чтоб иной «не шибко-то в религию зарывался», – непросто было выстроить в душе истинное отношение к Богу...

Тот, о ком рассказываю, вроде бы избежал «отклонений», многим свойственных, потому и принят был Церковью уже как полностью зрелый, как свой, и в пострижении помех не имел...

Но вот однажды, придя очередной раз в гости к Глазуновым, под большим секретом признался сперва только им двоим, что два года внимательно читал Священное Писание и Отцов Церкви и открыл-обнаружил чрезвычайное: что скоро, а именно 29 октября 1979 года, в одиннадцать часов вечера Господь единым тайносвященным действом Своим «прекратит коммунизм», восстановит православную монархию, и не кому-нибудь, но именно ему (жив и здоров человек, имя изменю – положим, Николай), так вот, именно ему торжественно вручит скипетр державный, и быть ему, Николаю, новым русским государем.

И Илья Сергеевич, и жена его Нина, любя этого славного человека, забили тревогу. Ведь прямой путь в «психушку», откуда уже не возвращаются. Во всяком случае, в человечьем облике.

Уверенность Николая в своем открытии была непоколебима, а дата – не больше недели оставалось. Глазуновы

избрали единственно верный вариант реакции: «поверили», надеясь за короткое оставшееся время каким-либо способом повлиять, воздействовать..

Николай попросил Нину сделать кое-какие приготовления для его скорого восшествия на престол. А именно: купить (сам-то был нищ) соответствующий материал и сшить трехцветный русский флаг размером три на четыре метра. Нина купила и сшила. Еще попросил отыскать граммофонную пластинку с исполнением «Боже, царя храни», и чтоб исполнение качественное. Илья Сергеевич отыскал. Затем Глазуновы убедили Николая, что круг посвященных необходимо расширить. Тогда в этот круг попали Виктор Бурдюк, глава многодетной православной семьи, отец Дмитрий Дудко и я.

Но проблему «расширения круга» Николай понял несколько по-своему. Пошел на Лубянку, добился приема у достаточно высокого чина и дружески, истинно по-христиански посоветовал «органам» покаяться в содеянных за десятилетия грехах и не откладывать сие покаяние надолго, ибо времена рядом. Его даже не задержали.

В назначенный день, 29 октября, на квартире Глазунова собрался своеобразный «штаб по спасению». По разработанному плану Виктор Бурдюк должен был завезти Николая к себе домой за несколько часов до «часа X», «укачать» его хорошей порцией снотворного под предлогом краткого отдыха пред вступлением на престол... Нас же более всего беспокоил час пробуждения. С такой-то уверенностью в неизбежность события проснется человек, а ничего не происходит! Как отреагирует психика? Рядом на подхвате был знакомый психиатр, впрочем, как многие психиатры, и сам не без «привета».

Мы сидели за столом в мастерской Глазунова, и отец Дмитрий через каждые полчаса звонил Бурдюку – как он там? Пока спит – отвечал Бурдюк. На всякий случай по общему решению надумали спящего Николая вывезти подальше из Москвы, что и проделали.

В итоге, проснувшись утром следующего дня, Николай, к общей радости, никакого шока не испытал, помолившись, не шибко-то сокрушаясь, признался, что, видимо, где-то ошибся в расчетах, чем и займется немедля по возвращении в монастырь. На том все и закончилось. После никаких поползновений на пророчества за ним не наблюдалось.

Я говорю здесь о лагерной эсхатологии как о явлении, заслуживающем и внимания, и понимания в пику тем бывшим советским и полусоветским, кто по прошествии лет склонен отмахиваться от темы, как от некоего, скажем, всего лишь досадного и неприятного эпизода в истории «Великого государства», ни в коей мере не определяющего нравственно-исторические параметры русского социалистического опыта. Имея достаточно реальное представление о «величине и значимости» ГУЛАГа, берусь утверждать, что без него, без этого «эпизода», невозможны были бы ни воистину ошеломляющие успехи в промышленном развитии страны, ни Великая Победа, ни скорое послевоенное восстановление. И это так легко доказуемо, что и тратить время на то не стану.

Советское государство не вышло бы на те впечатляющие позиции по экономической и военной мощи без «врагов народа», так же как фашистская Германия в кратчайший срок не превратилась бы в процветающее государство на предвоенный момент, если бы идеологически обработанное население ее не было психологически настроено на присутствие вокруг нее «народов-врагов».

За все приходится платить. Те же Соединенные Штаты, поимевшие трамплином в «первоначальном накоплении» негров, – их проблемы еще впереди. В одном, по крайней мере, моменте негры уже отыгрались на своих бывших рабовладельцах: они начисто «сожрали» культуру «Новой Англии», ту культуру, каковую унаследовали у Европы переселенцы и долгое время пытались ее сохранить и даже развивать... Теперь это всего лишь «кантри»...

Причины трагедии Советского государства многоаспектны, но одним из этих аспектов, без сомнения, является факт использования огромной части населения – подчеркиваю, **своего** населения! – в качестве рабов. Ведь роль крепостного права в России в специфическом ее дальнейшем развитии не отрицает никто, хотя при том разве сравнима степень «органичности» возникновения этих двух явлений: крепостного права и ГУЛАГа?

Не к ночи будет сказано...

Странно, что никто из наших нынешних радикалов до сих пор еще так и не решился проговорить план быстрей-

шего и вернейшего выхода России из кризиса. Знаю, он у многих «про себя», а у некоторых даже в намеках... Но ведь все удивительно просто!

Для начала следует объявить ситуацию чрезвычайной и катастрофической, что вовсе не далеко от истины. А далее...

По меньшей мере пятая часть населения страны сегодня в конфликте с действующим законодательством. Остановите любую иномарку стоимостью за сорок тысяч «зеленых» и заводите дело на владельца. Опечатайте любой особняк «за пол-лимона» – и то же самое...

Правда, сначала надо «изъять» треть судейского состава, прокурорского и следственного, адвокатов изъять не менее двух третей... Причем наугад – остальные сразу станут честными и неподкупными. Олигархов – на министерские оклады. Мелкому и среднему бизнесу – зеленую улицу. И – никаких ГУЛАГов. Всяк трудится (кроме «изъятых») на своем месте. То есть всего-навсего повторить китайский опыт «культурной революции» с учетом национальной и социальной специфики. Иностранным инвестициям максимум льгот и гарантий. Одни «за бугром» будут кричать о правах человека – им тоже надо на хлеб зарабатывать, другие потащат капиталы в Россию, даже если будут догадываться, что однажды их обдерут... Как и везде, срабатывает феномен «пирамиды» – авось успею урвать и вовремя смыться!

Российским спецслужбам в теснейшем контакте со всякими «ЦРУ» дружно отлавливать «бен ладенов» и прочих мировых пакостников. По изловлении всех подготовить новых...

И при этом ни в коем случае не покушаться на демократию – пусть всяк вещает по степени своей дурости, именно всяк, тогда никто делу не помеха.

Разумеется, в порядке исключения ввести смертную казнь, «шлепнуть» пару совсем уже зарвавшихся и потерявших имидж олигархов и тотчас же торжественно объявить мораторий. Еще пару наиболее ненавистных олигархов швырнуть в толпу на оплевывание и на облевывание – именно так мгновенно восстановится взаимопонимание между властью и народом.

Принципиально плюнуть на всяких там арабов – они все равно ни на что не способны – и, надрываясь, защищать права Земли обетованной. Тогда хитроумное мировое еврейство отыщет мильон юридических и стратегических оп-

равданий всем нашим социальным инициативам, как то уже случалось в 30-х годах прошлого века. Новые «фейхтвангеры и роменролланы» заткнут всяким мракобесам их антирусские смердения в их противные глотки.

Не бранить и не разоблачать Америку (учителей бранить неприлично). Напротив, следует признать ее «старшим братом» по опыту демократических завоеваний и прочих завоеваний тоже. До той поры, пока общенародным напрягом (наш напряг – то не ИХ напряг!) не придумаем такую бомбу, какой свет не видывал. Тогда исключительно с либеральных позиций станем добиваться возвращения исконных территорий оставшимся американо-индейским племенам. Поскольку к тому времени истинным гарантом существования государства Израиль будем уже мы, а не Америка, то опять же извечно свободолюбивые евреи всего мира поддержат нас в наших гуманных намерениях. С Америкой, по крайней мере, будет покончено.

И лишь после того, как будет покончено, нам наверняка откроется неправедное состояние на Ближнем Востоке, и, движимые чувствами сострадания и справедливости, мы объективно рассмотрим наконец и палестинскую проблему по всей совокупности накопившихся там противоречий. Осиротевшая (где Америка-то?) Европа нам поможет...

За спиной, правда, еще Китай... Ну да всему свое время...

Разумеется, я не только отшаржировал, но и «скентаврировал» имеющую место быть радикальную русскую тоску, то есть совместил несовместимое даже в тоске. Как раз большая часть политически озабоченных граждан именно к Америке настроена исключительно непримиримо. И уж тем более – к Израилю. Но сам по себе радикализм мышления постулируется парадоксально, и средств против парадоксальности мышления не существует.

Сегодняшний политолог, то есть человек, специализирующийся на импровизациях на политические темы, должен быть последователен в одном: если нынешнему нашему государственному состоянию он говорит решительное «НЕТ», то тогда или он обязан добавлять «ДОЛОЙ!» и указывать, каким именно способом «ДОЛОЙ!», за что и

должен быть готов к соответствующей личной ответственности, или, сказав «НЕТ», должен и обязан знать и говорить, «КАК НАДО». Если ни в первом, ни во втором случае политолог последовательности не выказывает, то се попросту болтун и подстрекатель.

Большую часть жизни прожив в состоянии диссидентства (не выношу этого слова), я доподлинно знаю цену пустозвонному «НЕТ». То самый легкий, самый безответственный способ политического мышления, не требующий ни должных знаний, ни должной отваги.

Если не умеешь плавать и притом очень хочешь жить, старайся не гулять берегом реки, потому что можешь наткнуться на утопающего, и нет ничего более постыдного, чем дуэт с утопающим на тему: «Спасите! Помогите!»

В своей жизни я знал людей, не принимавших режим и лишенных свободы только за то, что не скрывали своего неприятия. Но они принципиально воздерживались от изобретения всяческой «рецептуры», потому что честно не знали, «КАК НАДО».

«Кандалы на руках – пушинки», когда знаешь или думаешь, что знаешь то самое «КАК НАДО»! Они же гнут долу, если лоб не подперт «программой», и тогда какая воля нужна, чтобы не сутулиться! Мне повезло пережить оба этих состояния, и мне есть что сравнивать.

Возвращаясь к теме лагерной эсхатологии, попробуем представить, что должны были испытывать зэки сталинского призыва, увидев себя в таком количестве и в качестве. Что до качества, то не только какие-нибудь там крепостные, но даже рабы Рима или Египта – счастливцы в сравнении с зэками Колымы или Воркуты. Да, были фанаты коммунистической идеи, те, что, опухая от голода, шамкали беззубыми ртами о праведной перманентности террора, зачисляя себя в те самые «щепки», что неизбежны при тотальном лесоповале. Но есть основания и усомниться в искренности этого «шамкания» – кому удалось вырваться из ГУЛАГа, о всем пережитом помалкивали и, если еще могли, пытались наверстать упущенное.

И вы молчите, нас встречая,
Как мы, встречая вас, молчим.

Ольга Берггольц – исключительно точно!

И у сидевших, и у тех, кто делал вид, что ничего не знает о ГУЛАГе, и у тех, кто «понимал» государственную пользу ГУЛАГа, – у них было о чем помолчать. Хотя бы о том, сколько ТАМ еще осталось народишку.

А среди прочего «народишка» оставался там, к примеру, еще и дивный поэт, правомочный стоять в любом ряду русских поэтов, – Валентин Соколов по кличке Валентин Зэка. Его стихи, впервые появившиеся в печати только (или уже) в девяностых, были приняты абсолютным молчанием собратьев по перу и вообще литераторами всех мастей. Но то уже была иная форма молчания: не по страху, как в сталинские времена, а по непринятию такого типа сознания, такого духовного опыта, каковой просто не мог «поместиться» в душах, не желавших и не готовых рисковать собственной уравновешенностью, – позицией призвания «посетить сей мир в его минуты роковые». А стихи Соколова требовали соучастия в его страстях, честной реакции требовали... Они были «заразны» и тем опасны для вчерашнего советского человека вне зависимости от того, насколько он продолжал оставаться советским.

Как-то, выступая по телевизору, актер Валентин Гафт прочел знаменитые строки Иосифа Бродского.

Ни страны, ни земли не хочу выбирать.
На Васильевский остров я приду умирать...

Режиссер предоставил актеру хорошую паузу: скорбно сжаты скулы, глаза требовательно вперены в камеру – в глаза зрителя-слушателя, чтоб вздрогнул, проникся мистическим трагизмом фразы. Я, помню, только улыбнулся, и не потому, что в действительности и выбор был, и «неприход по заяве», именно духовный неприход, а, разумеется, не физический. Я улыбнулся, потому что захотелось сказать: «А вот такого не хочешь, “двугражданный” гражданин?!»

Я Родины сын. И это мой сан.
А все остальное – сон.
И в столбцах газет официальных
Нет моих орущих стихов –
Так я служу Родине!

Да это что! Вот попробуйте-ка проглотить да прожевать такие строки:

Все красивое кроваво
Дней веселая орава
Прокатилась под откос
Здравствуй, матушка Россия,
Я люблю тебя до слез
Говорят, тебя убили
Для меня же это бред
Знаю я, что без огня
Не бывает света
Голубой высокий свет
За собой ведет меня
И приду я к той стене
Где лежат твои сыны
Кто-то вырвет автомат
Из-за спины
Твоим сыном честным, чистым
Дай мне встретить этот выстрел

(Пунктуация – автора.)

Это вам не страсти преследуемого интеллектуала! Эти строки написаны остатками крови вечного зэка, никогда и ни с кем не боровшегося, даже в диссидентах не числился – не было его ни в каких списках борцов «за» или «против»... В России он не жил, потому что жил в ГУЛАГе. И слово «патриотизм» здесь даже неуместно, поскольку идеологизировано. Тут особая форма бытия – будьте добры на цыпочки, да шею тяните, сколь позвонки позволят!

Можно предположить, что больно задевал и даже оскорблял Валентин Соколов своими стихами вчерашних советских литераторов – сделали вид, что не заметили.

Я у времени привратник.
Я, одетый в черный ватник
Буду вечно длиться, длиться
Без конца за вас молиться
Не имеющих лица...

Как-то спросил одного уважаемого мною литературного критика, первым угадавшего многие таланты и опекавшего их: «А вот Соколов... Как?..» «Знаете, – отвечал хмуро, – поэзия по итогам, что ли, должна быть радостной...

Жить помогать должна... Басни, заметьте, тоже раба, Эзопа, к примеру. А Соколов – это мрак без просвета. Его поэзию невозможно любить... А если любить невозможно, то значит, все-таки это не совсем поэзия...»

С последним я готов согласиться, что Соколов – это не совсем поэзия, точнее – не только поэзия. Это уже по сути иное качество – это явление, характеризуемое скорее неким иным «объемом», нежели, положим, большей степенью истинности. Явление – спорно. Это его право быть спорным. Быть принимаемым или непринимаемым.

Другой пример – Солженицын. Несомненно – явление, с чем никак не могут примириться многие его коллеги по писательской функции. Может, есть, может, будут писатели талантливее Солженицына, но они будут именно писателями, как, положим, И. С. Тургенев и, к примеру, И. А. Бунин были писателями, а Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский – явлениями, что, наверное, бесспорно.

Конечно, здесь уместно было бы переключиться на иной уровень рассуждения с соответствующим терминологическим рядом... Только стоит ли? В данном случае имею целью угадать (на большее не претендую) причину лишь на первый взгляд полного неприятия русскими литераторами поэзии Валентина Соколова и той откровенной неприязни (пожалуй, еще мягко сказано), что испытывают к А. И. Солженицыну часто достойные, случается, и недостойные представители современной российской и собственно русской литературы. Нечувствование или нежелание почувствовать особую функциональность... Ну да хватит об этом.

Эсхатология советских рабов – такова нынче моя тема. К ней и вернусь.

* * *

Борьба за элементарное выживание требовала от заключенных максимального напряжения физических и духовных сил; однако сколько ни требовала, некий «лишок» все же оставался. И на что «шел» этот малый «лишок»?

На грезы о свободе...

Легко было господину Гегелю рассуждать (опять же не через Евангелие, а у Гегеля зазубрил в девятнадцать лет и на всю жизнь), что идея подлинной свободы, каковую не

знали ни Платон, ни Аристотель, пришла в мир через христианство, согласно которому «индивидуум как таковой имеет бесконечную ценность, поскольку он является предметом и целью любви Бога» и потому как бы «объективно» сам в себе «предназначен для высшей свободы».

Большинству обреченных на неволю и безбожие впереди ничего «объективного» не светило. «Объективное» для совзэка – это нечто, что по закону или по чьей-то пробудившейся совести, что невозможно... Оставалось «субъективное» – даже не грезы, бред о свободе через чудо. Будь то атомная бомба, или космические пришельцы, или мифические американские ледоколы, будто бы курсирующие во льдах нейтральной зоны от Воркуты до Колымы, готовые принять беглецов, коли таковые осмелятся «рвануть» по льду из приморских зон-лагерей. Или чудо истинное, беспричинное – раз! – и свобода. Просто так! Объявили – свобода!

Сколько этих воображенных, через «голоса» услышанных, реальными сумасшедшими придуманных, истерическими молитвами «выпрошенных» у Господа – сколько этих мифов о свободе нарассказывали мне бывшие и настоящие зэки!

Расскажу об одном. Этот миф – увы! – свершился. Состоялся. И надеюсь, то будет последний эпизод из тюремно-лагерного бытия. Не вижу я сегодня читателя, кому вообще может быть интересна гулаговская тема. Ловлю себя на том, что навязываю ее... Так, наверное, и есть... Но пройдет время, и в многотрудности бытия сотрется в народной памяти память о тех, кто уложил себя в фундамент здания, именовавшегося социализмом. К сожалению, мои собратья по перу приложили немало усилий, чтобы ассоциировать в общем сознании «истребленный народишко» с «детьми Арбата» и Дома на набережной. Эта лукавая, политической конъюнктурой продиктованная неправда не дает мне покоя, возбуждает во мне недобрые чувства к тем, кто искренно надеется повторить в России социалистический опыт, не пуская в дело «мясорубку», но пользуясь ей аккуратно, исключительно по назначению, то есть по справедливости, и притом корыстно – иначе не скажешь – тасует прошлую колоду трагических судеб именно таким образом, чтобы в раздачу выпадали одни «короли», которым так и надо, «за что боролись, на то и напоролись», и, дескать, именно через их «возмездную» погибель «переварились» дурные стороны в

целом правильного и праведного пути, коим торжественно и победоносно маршировали семьдесят лет и лишь по вине отдельных «нечистых» в итоге рухнули в яму.

Но, с другой стороны, по любой отдельной человеческой жизни судя – разве выживешь, имея в памяти одно дурное? Память о радостях, сколь бы мало их ни было, – в том опора для дления жизни человеческой. В том же, возможно, и правота литературного критика, которого цитировал выше. Значит, мера нужна. И если я эту меру нарушил, то справедливо буду наказан непониманием.

* * *

Лето 1983 года было для меня излишне тяжким. Знал, что суд будет фарсом. Но не до такой же степени!

Крохотный зал суда был до отказа забит курсантами КГБ, друзей попросту отшвыривали от дверей – мест нету!

Мой адвокат не перенапрягался, заранее зная исход дела.

Приговор сегодня без смеха читать невозможно. Один пример приведу – формулу обвинения... Поясню для незнающих: следствие готовит для суда документ, именуемый обвинительным заключением. Из этого объемного документа «выжимается» обвиняющей стороной лишь та часть предъявленных обвинений, каковая признается стопроцентно доказанной.

Так вот, в формуле обвинения в антисоветской деятельности среди прочего есть строки, в которых мне инкриминируется призыв к советской интеллигенции осознавать себя диаспорой в чуждом ей народе. В данном случае имелся в виду мой весьма гневный отклик на популярную в среде московских интеллигентов статью Г. Померанца «Человек – имя прилагательное», где он, Г. Померанц, настаивает на диаспорности самочувствования советской интеллигенции. На нескольких страницах машинописного текста я спорю, возражаю, протестую против подобной концепции, усматривая в ней отчетливую русофобскую позицию автора...

Адвокат пытается разъяснить старцам-судьям, что, дескать, Бородин не утверждает, а спорит... Бесполезно. Прокурор уточняет: спор – это только приемчик распространения антисоветских взглядов. Старцы удовлетворены, и обвинительная фраза перекочевывает в текст приговора...

Ни одного свидетеля защиты в зал не пустили – суду и так все ясно. Три старика-пенсионера имели четкую установку – провернуть дело за три дня – и с задачей справились.

Ко всему этому я вроде был готов и свою роль в спектакле, коль спектакля не избежать, надеялся отработать достойно.

Но уже к концу третьего дня суда недоволен был собой до отвращения: где-то что-то не так сказал, на какую-то реплику не отреагировал, как следовало бы, «последнее слово» вообще скомкал... Да и приговор... знал же... на всю катушку... Но когда эту «катушку» проговорили, тихая злоба разлилась, затопила мозги, мутя зрение...

Старички судьи торопливо покинули свои места и вышаркались из зала. Но задержался прокурор, шпаргалки свои запихивая в портфель. В этот момент я увидел, что дочь плачет, и заорал: «Не сметь плакать, смотри, он (прокурор) жиреет от твоих слез!»

Пять лет спустя мой опер-опекун признался, что это дело они считали проигранным – раскаяния не добились. Если б тогда мне это знать – куда как легче было бы...

За «проигрыш» мне по-своему отомстили. За полтора года следствия у меня накопилось много всяких вещей, каковые в зоне не нужны, и обычно в таких случаях на последнем свидании разрешают все лишнее вернуть родственникам. Мне не разрешили. Два тяжеленных тюка я должен был таскать по пересылкам в течение почти полутора месяцев, пока этапным поездом добирался до своей «особо опасной» рецидивистской зоны. Главную пакость мне приготовили на последнем шмоне в Лефортово перед отправкой на этап: изъяли (не конфисковали по акту, как положено, а просто отобрали) все бумаги. И в том числе почти «начистую» написанную за время следствия повесть о старшине Федотове. Лишь через пятнадцать лет я восстановил, точнее, написал ее заново...

То же самое, кстати, было и по первому сроку: во Владимирской тюрьме я написал «Год чуда и печали». Изъяли при освобождении. Восстановил через пять лет.

Два любопытных момента в связи с этим.

Самые мои «аполитичные» вещи, романтические и сентиментальные, были написаны в самые тяжкие времена. Байкальскую повесть я «сделал» за три месяца так называемого «пониженного питания», предусмотренного режимом

Владимирской тюрьмы для тех, кого из зоны перегоняют в тюрьму за безнадежностью «исправления». К концу этого режимного срока те, что комплекцией покрупнее, падали в голодные обмороки на прогулках...

И второе. Был при КГБ некий «четырнадцатый отряд». До сих пор так и не выяснил, что это за зверь. Экспертный отдел. Давал политическую и литературную оценки всей писанине арестованных по политическим статьям. Так вот, было там такое заключение: «Так называемые рассказы и повести подследственного Бородина Л.И., изъятые у него при обысках, художественной ценности не представляют». По намекам следователя понял, что с экспертным отделом сотрудничают отнюдь не второстепенные советские писатели. На этот счет имею, конечно, кое-какие догадки, но догадки к делу не пришьешь...

Этапный поезд, так уж принято было, начиная свой нескорый путь на Казанском вокзале, сперва делал обширный объезд центральных провинций, подбирая осужденных, и лишь после, так же не торопясь, через Казань и Свердловск уходил на Пермь, «рассаживая урожай» по северным зонам. Хлеб и селедка – традиционная пища этапника. И поскольку селедку по каким-то вкусовым капризам я есть не мог, то на подъезде к Свердловску мало того что отощал – почти месяц добирались до вотчины будущего первого российского президента, – но и простудился, а простуда моя всегда без температуры, и по этой причине на пересылке в Горьком пожилая медсестра, справедливо заподозрив во мне симулянта, от профессионального общения со мной отказалась, лишь глянув на градусник. И не по жестокосердию – каких только «мастырок» не насмотрелась она за годы общения с хитроумными зэками... Подумать только – ложки глотают, чтоб только попасть «на больницу»... Во Владимирской тюрьме один шустрый съел добрую половину партии домино. Зэки из соседних камер орали ему через окно: «Гришуня! Выс... дупль шесть! Слабо?!»

Единственное благо моего «этапного путешествия» – изоляция. Не положено политических смешивать с прочим «социально близким» элементом. И если в обычном купе натолкано по четырнадцать человек, то я в купе один!

В середине жаркого августовского дня, после долгого мотания по путям и не менее чем трехчасового стояния в тупике нас, «пассажиров» этапного состава, наконец-то выпихнули из раскаленных вагонов и выстроили по четверо в ряд вдоль состава для отправки на «воронках» в Свердловскую пересылочную тюрьму. Тут уж не до изоляции – я в общей куче, мои будто высохшие руки-плети оттянуты тяжелыми узлами, чем и уравновешен, иначе качался бы из стороны в сторону от слабости и полутемноты в глазах. Мое состояние гриппа-простуды, как уже сказал, бестемпературное, но все тело словно взвод солдат «кирзами» обрабатывал... Только б до очередной «шконки» добраться, только б в горизонталь...

Вокруг охрана, собаки... И вдруг команда: «Всем взяться за руки и бегом!» Я в середине колонны крайний слева, «за руки» – это не про меня, руки заняты... Удивительно, но первые сто метров вдоль путей я бегу, даже не спотыкаясь, но всякому резерву есть предел. Рядом со мной справа бегущему зэку, молодому парню, шепчу хрипло: «Возьми!» Он не без удовольствия освобождает мою правую руку от узла со шмотками, и меня тотчас же выносит из ряда влево на солдата с собакой. Занос настолько сильный, что я сталкиваюсь с солдатом и чуть не затаптываю овчарку, каковая – ей-богу! – с удивлением шарахается в сторону и лишь после, очухавшись, разражается лаем-воплем. Солдат плечом заталкивает меня в строй, но перед глазами уже этакий сизый туман и ноги подкашиваются.

– Я болен! Я сейчас упаду! – кричу я подбежавшему офицеру охраны, практически зависая на спине впереди бегущего зэка. Каков я, видимо, зримо со стороны, и офицер подхватывает меня под локоть. «Уже близко!» – кричит он мне в ухо. Но бесполезно, ноги завиваются... И на счастье – команда: «На колени!» На коленях я оказываюсь раньше всей колонны. Минут пять мы пропускаем выходящий со станции товарняк. Оставшиеся метров пятьдесят офицер практически тащит меня на себе, и перед первым в ряд выстроившихся на платформе «воронков» я просто сажусь на землю. Над моей головой перебранка офицеров охраны... В конце концов я заброшен в «воронок» и затолкан в «стакан». Я не просто политический, я еще и рецидивист, мое место в «воронке» в «стакане» – металлической кабинке,

что рядом с сиденьем для охраны. В «стакане» можно только сидеть, упираясь локтями, спиной, коленями в железо... Но – спасение! От потери сознания, к чему близок... Ехали, кажется, недолго, но я почти полностью пришел в себя...

Эту свердловскую пересылку вспоминать не люблю. Стыдно вспоминать. Впервые и единственный раз за два срока меня там побили...

Во всех аэропортах есть такое место, что именуется «накопителем». Уже проверенных пассажиров «накапливают» в специальном помещении перед посадкой в автобус, что повезет до самолета... В некоторых аэропортах я даже табличку такую видел: «Накопитель». В советском быту немало позаимствовано у ГУЛАГа. В том числе это слово... Громадная комната, куда сгоняют – локоть к локтю, не продохнуть – прибывших этапников, прежде чем разгонять их по камерам. Впрочем, нет, в камеру попадаешь не сразу из накопителя, если ты особорежимник. Еще поторчишь опять же в «стакане»-кладовке, грязной и вонючей, пока тюремщики разберутся с менее строгими режимами.

Меня выпустили из «стакана», когда накопитель уже был почти пуст. Перед дверью, за которой уже собственно тюрьма, стол. За столом женщина в форме... Этакая откормленная бабища со свирепой физиономией...

– Фамилия, имя, отчество, год рождения, срок, статья... Статья!

Отвечаю:

– Семидесятая, часть вторая.

– Шо это за статья такая?

Отвечаю вяло, привычно, потому что привычен вопрос:

– Политическая.

– У нас нет политических! Тоже мне, декабрист нашелся.

Отвечаю опять, как всегда:

– У вас нет. У нас есть.

И тут подскакивает сержантик монголоидного типа, кричит:

– Ты как разговариваешь, сука! – и бьет меня по голове.

Мне много не надо, падаю. С боков два офицера. Один пинает в левый бок, переворачиваюсь, другой – в правый бок... И оба еще по разу...

Не помню, чтоб кому-нибудь рассказывал об этом. Стыдно. Стыдно, что не дал сдачи, даже не попробовал

дать. Обязан был! Болезнь и слабость – не оправдание. Струсил. Знал, что тогда покалечат. Дело простое – отобьют почки. Не захотел, чтоб калечили.

Был и другой вариант. Можно было после добиться вызова местного гэбэшника, нажаловаться – какой-то результат был бы, политических бить не принято... Их принято или перевоспитывать, или уморять постепенно в полном соответствии с законом...

Но это уже чисто сучий прием.

Сколько потом было пустых, душу истязающих грез! Вот я освободился, разыскал, выследил эту усатенькую сержантскую гниду и мордую, мордую... Бессильна Нагорная проповедь перед черной злобой и стыдом...

Впрочем, коль так разоткровенничался – долгое время числился за душой еще один схожий «стыд».

Меня «взяли» 13 мая 1982-го на подходе к месту работы. Трудился я тогда сторожем и дворником Антиохийского подворья, что у метро «Кировская». «Стыд» был в том, КАК они меня взяли. Шел по тротуару, подкатила машина, из нее вышел молодой и бравый и сказал, что я должен ехать с ними. Второй даже не потрудился выйти из машины. Зачем? Антисоветчик – это ж овечка. И прав. Я покорненько полез в машину... А ведь мог бы... Самбист. Хоть и бывший. Но реакция еще, дай Бог каждому... Берут? Пусть берут. Но отдаваться... Нельзя... Не в идейности и убеждениях дело! Отдаваться... Стыдно... Апостол, и тот мечом махнул... По-человечески это. Только богам под силу большее...

Пересыльные тюрьмы и в те годы – под завязку. В главном помещении положенного отдельного места не нашлось. Поселили в полуподвальном этаже для «смертников», то есть – приговоренных к расстрелу (в основном за убийства) и ждущих решения кассационных... Ждущих, как после узнал, по полгода и более. Там – свободная камера. Время обеденное – принесли целую миску вермишели. Сглотал, рухнул на шконку и выключился из жизни на полтора суток – сон всегда лечил меня лучше лекарств.

Уже к вечеру другого дня надзиратель стуком ключей по дверце «кормушки» поднял-таки на ноги. У «смертников» режим вольный, по утрам с коек не подымают, отбоя не объявляют, кормят много лучше, но главное – почти полная свобода общения. Оказалось, что поднял меня над-

зиратель по требованию «народа». «Народ» жаждал информации от вновь прибывшего – давненько никто новый не прибывал.

Я подошел к раскрытой «кормушке».

– Жив? – спросил надзиратель вполне добродушно. – Тут тебя обкричались уже. Я им – дайте человеку отоспаться с этапа. Сутки терпели... Щас, погоди...

Подошел к камере напротив и тоже открыл «кормушку».

– Побазарьте. Через час обход – закрою.

В «кормушке» напротив нарисовалась бородатая физиономия лет тридцати.

– Привет, земляк! Я Саня. А ты? Понятно. Мы уж думали, ты подох! Нормально поначалу. Через месяц по пять часов спать будешь. Сколько трупов?

– Где? – спрашиваю.

– Чо где? По делу, конечно. Я ж тебя не колю, сколь в натуре.

До меня наконец доходит смысл вопроса.

– Нет, – говорю, – я по другой статье.

После моих пояснений Саня долго изумленно шевелит растительностью на лице, затем, высунувшись из «кормушки», орет:

– Слышь, братва, к нам политического спустили!

«Братва» ближайших камер бурно реагирует на сообщение, и я, в юности, конечно, знавший «блатную феню», но подзабывший, понимаю перекличку лишь частично.

– За что ж вам такие срока дают? – спрашивает Саня. – Боятся?

– Да нет, – отвечаю, – просто не любят.

Мой ответ отчего-то вызывает у Сани и ближайших соседей дружный хохот.

– Слышь, братва, они их не любят! – орет Саня и хохочет, широко раскрывая свою металлозубую пасть.

Так получается, что благодаря этой машинально сказанной фразе я становлюсь любимцем всего этажа. На этаже одиннадцать человек. По одному в камере. Из одиннадцати только у пятерых «по одному трупу». Но те, у кого больше, утверждают, что «в натуре» тоже один, других «взяли на себя» для «ментовской раскрытки», за что обещан шанс на жизнь. «Смертникам» разрешены посылки, и после отбоя надзиратель передает мне дары: белый хлеб, колбасу, мас-

ло, сахар, конфеты. Я не отказываюсь, но мне все же немного не по себе от этой, мягко скажем, нелестной заботы убийц о моем желудке. Гомон на этаже стоит такой, будто люди, здесь сидящие, не смерти ждут, а скорой свободы. Прислушиваясь, пытаюсь уловить противоестественность беспечного звучания голосов – не улавливаю и решаю для себя, что «они» либо уже привыкли к мысли о смерти, либо не верят и надеются, либо общением глушат...

Находится исключение – мой сосед справа. Он в панике. Утверждает, что ему «шьют»... Просит меня посмотреть его обвинительное заключение – по лагерной «фене» – «объе...н». Надзиратель охотно передает сброшюрованную пачку листов. Читаю и не верю собственным глазам! Федюля – так зовут соседа, – отрок девятнадцати лет, обвиняется в том, что такого-то числа во столько-то – а именно средь бела дня – застрелил из двустволки... дуплетом... картечью... свою учительницу по математике из вечерней школы, где Федюля учится, когда трезв, что бывает, согласно показаниям учителей, не часто.

Показания соседей: за два дня до убийства Федюля пьяный приходил к дому учительницы, тряс деревянную калитку, матерился, грозил, что если «она» не выдаст ему аттестат, то он «натянет ей глаз на ж...». Был слегка побит мужем учительницы и прогнан.

Это все Федюля охотно подтверждает: приходил, грозился.

Но он же пятью строками ниже заявляет, что в день убийства был на работе, и требует допросить «бригаду» – четырнадцать человек вместе с бригадиром. Я ищу показания рабочих и... И не нахожу их. Проверяю нумерацию страниц – все в порядке. Федюля обвинен в убийстве на основании показаний двух соседей, которые будто бы видели его, убегающего огородами от дома жертвы. Найдена также и двустволка, принадлежащая отцу Федюли, со следами недавнего ее использования по назначению.

Федюля – новичок, салага, и я обучаю его общению через спаренный санузел: берется веник, откачивается вода из унитаза одновременно в обеих камерах, и тогда можно, даже не наклоняясь над унитазом, спокойно общаться с соседом. Слышимость идеальная. Опыт Владимирской тюрьмы по первому сроку.

Сосед мой действительно в панике. Он не хочет не только умирать, но и вообще сидеть за «чистую туфту». Говорю ему про недопрошенных рабочих, говорю, что так не бывает, что проверка алиби – первейшее дело следствия. Не бывает!

– В Москве, может, и не бывает, – бурчит Федюля.

– Если не ты, то кто? – спрашиваю, не надеясь на ответ.

Но парень отвечает без колебаний:

– Известно кто, папаня мой. Он эту суку год пас, а она не давала.

Торопливо пересматриваю страницы. Допрос отца. Шофер леспромхоза. В день убийства был в поездке. Вернулся ночью. И ни строчки о проверке...

Спрашиваю:

– А что адвокат?

– Да он ихний. Он давит, что я псих. И помиловку про то намотал.

– Да не бывает так! – сам себе говорю.

За стеной взрывается Федюля:

– Да пошел ты! – И спускает воду. Общение прерывается.

Следующий весь день я пишу «заяву» в областную прокуратуру от имени Федюли, вскрывая вопиющую недобросовестность следствия и суда в рассмотрении «настоящего дела». Требую отмены приговора и возвращения дела на стадию следствия с полной заменой следственной бригады.

Столь далеко ушел я от заявленной темы, наверное, по причине «особой памяти» моего пребывания на свердловской пересылке. Уже и откормленный, и выздоровевший уходил я на этап по направлению Пермь–Соликамск–Пермь–Чусовая и, наконец, «домой», в свою «тридцать шестую особую», откуда летом восемьдесят седьмого самолетом был доставлен в Москву – в Лефортово, а через три месяца освобожден.

Но в последнюю ночь моего пребывания у «смертников» состоялся тот самый разговор с бородатым Саней в камере напротив, тот самый, что впервые в жизни «столкнул» мое всем объемом рационализированное сознание с иррациональным, «непереваренным» до сих пор.

Саня утверждал, что всегда был верующим. И теперь через «кормушку» демонстрировал мне бумажные иконки и

Новый Завет, который уже «назубок», но все равно перед сном – чтение. Знать, только смертники могли в те времена иметь в камере то, чем владел Саня. Религиозность не помешала ему в его тридцать два иметь две «ходки» за поножовщину. Выйдя после второй в восьмидесятом, уже через полгода – новая драка, и на этот раз за ним уже один труп и один «урод». Никаких сожалений или покаяний в разговоре. И не по причине жестокосердия, а потому, что не принято...

– Слушай, Леха, что я тебе скажу, и запомни так, чтобы и меня вспомнить, когда время придет. Свой срок ты сидеть не будешь. Запомни! В общем, немного посидишь, конечно, а потом свобода. Щас как хочешь понимай, потом поймешь по-другому. Значит, такая хреновина: в восьмидесятом в ночь перед освобождением было мне сообщение... Ну, в общем, неважно как... Сказано было так, что скоро в русском царстве один за одним подохнут подряд три царя. А четвертый придет меченый. И тогда всему тому бл...у марксистскому придет полный ...! Сечешь? Два уже сдохли. Как только Андропов сдохнет, готовься на свободу. Придет меченый. Ты понял?

– Что значит «меченый»?

– Не знаю, Леха. Если до того не шлепнут, оба узнаем. Про то все я слышал, как тебя сейчас. Даже лучше. Будто кто-то прямо в ухо говорил, аж щекотно было. Знаешь, я в ожидаловке уже четыре месяца. Шансов, честно, ноль. Шлепнут в натуре. И чо жаль? Да это самое – что не увижу. Так, Леха, жаль, что хоть яйцо прищеми!

Я что? Я только отшутился. Побереги, сказал, не прищемляй, если не шлепнут, пригодится.

Великие святые подвижники – каким напряжением духа получали они Откровение Духа Наивысшего! При том сколь многозначны, сколь разнотолкуемы были полученные ими свидетельства Бытия иного! А тут, значит, уголовнику-рецидивисту прямо в ухо – нате вам по вашим понятиям без всякого многозначения и всего лишь с одним «темным» словом – *меченый*... Нате вам про судьбу Царства Российского всю правду-матку на ближайший исторический период! Даже обидно как-то... Это если всерьез принять...

Конечно же, бред смертника я всерьез не принял. И когда уже в зоне узнал, что умер Андропов, про Саню и его «бредятину» даже не вспомнил. Но помнят ли любители по-

читывать газетки, что первые портреты Горбачева, в газетах по крайней мере, были ретушированы? И когда нам было разрешено раз в неделю смотреть «зонный» телевизор, и когда я впервые увидел сверхнеобычное, на лоб сползающее родимое пятно нового генсека – вот тогда пережил сущее нервное потрясение, вспомнив Саню со свердловской пересылки. Все мое нутро протестовало, бунтовало против такого вопиющего совпадения, виделся в нем некий наглый вызов всему моему жизненному опыту, каковой весьма ценил и полагал, что он, опыт мой, знания мои – ведь когда-то всю мировую философию перелопатил – и, наконец, плохо ли, хорошо ли, но и Православию я не чужак, уйма чего прочитано, осмыслено и пережито, но при том никаких предчувствий ни через душу, ни через разум... Никакой логикой не просчитывается скорый крах режима, все на своих местах, ничто нигде не трещит и не осыпается...

Подавляющее число зэков моего времени не сомневалось в том, что когда-то режим рухнет, дружба народов сменится резней народов, ибо все границы искусственны, что нищета обрушится более прочего на Россию, «сосущую кровь из покоренных и завоеванных народов и теперь лишенную института донорства». Что только Америка своим экономическим могуществом и великим военным потенциалом, вмешавшись, сможет навести порядок на той самой «одной шестой»... Напоминаю еще раз: политзэки моего времени – это либо националисты, либо демократы американского одушевления. По большинству принципиальных вопросов судьбы России меж ними разногласий не было.

Однако ж таким вот образом все это представляя и воображая, никто не говорил о сроках. Никто не видел предзнаменований... Говорили о скором будущем, но, по крайней мере, сроки свои жуткие готовились и готовы были отсидеть полностью, если прежде помереть не придется.

Это только Станислав Юрьевич Куняев еще в 1982-м уже слышал треск «несущих конструкций». «Прослушивая» добросовестнейшим образом всю «одну шестую», «слухачи» из ЦРУ ничего подобного не слышали, как явствует из опубликованных документов, и кропотливо строчили рецепты для долгосрочной, затяжной игры...

Ну, кто еще?..

Игорь Вячеславович Огурцов в 1963-м «научно» обосновал неизбежность коммунистического краха. Сроки же были плавающие...

Андрей Амальрик чуть позже предсказал срок, но без малейших обоснований, и работа его была скорее этаким вызовом режиму, чем приговором.

Диссиденты, отсидевшие и несидевшие, уезжали «за бугры» с уверенностью, что навсегда...

И лишь Солженицыны твердили упрямо: «Вернемся!» А. И. Солженицын, безусловно, не сомневался в неизбежности краха, когда говорил, что после падения коммунистов стране следует еще какое-то время пребывать в авторитарном режиме, дабы предотвратить структурный развал. Но нигде ни слова о сроках.

«Мы верили, что вернемся!»

Они верили. Но вера – то особая форма знания, не детерминированная ни отдельными фактами, ни их совокупностью.

Так откуда же, черт возьми, вылупилось это самое – о трех скоромрущих царях и четвертом «меченом»?!

Когда же в камере зашел о том разговор, то выяснилось, что не только мне известна эта «байка», а Саню-смертника никто не знал. Присвоил? Но был же кто-то первый, кто придумал... И придумал ли...

Если не ошибаюсь, тот же Гегель говорил, что государства, как и люди, часто умирание принимают всего лишь за очередную болезнь. Но в отличие от людей, умерев, государство сохраняет элемент сознания. Однако ж это остаточное сознание способно только изумляться случившемуся!..

Уходящие

Да что же это такое! Они умирают и умирают! С кем же я скоро останусь? Умирают люди – знаки моего времени. Кто-то из них был интересен, кто-то нет... Но все – как изгородь моего жизненного пространства. И вот падают один за другим, а сквозняк со всех сторон ощутимее с каждым днем. Так скоро умрет вся *моя* Россия.

За себя спокоен, потому что принципиально не думаю о том, потому что одним днем живу. Но душа источается с каждым уходом кого-то, кто сопровождал по жизни своей известностью. Кто-то обязательно должен уверенно пережить меня, чтобы не терялся смысл вечности, иллюзия вечности, чтобы сопротивляться, хотя бы пятиться, но не соскальзывать в никуда.

Из тех, кто уже ушел, с кем-то и знаком не был и знакомства не жаждал, но оттого еще страшнее их исчезновение из жизни...

А кого знал (любил или не очень – это другой вопрос), кого знал и привык видеть или видеться при случае или по необходимости, кто вписан был в мое собственное жизненное пространство как момент самого пространственного смысла – и вдруг его не становится, и за спиной вакуум, потому что, оказывается, чем-то и как-то он, исчезнувший, подпирал мой собственный, уже не держащий прямоты, позвоночник...

Невозможно представить, что в Москве больше нет Кожинова и Хохлушкина. Что их больше нигде нет... С Кожиновым близкими друзьями вроде бы и не были... Не знаю, почему, но он должен был меня пережить – я ТАК это чувствовал... И до сих пор не могу свыкнуться, что уже не позвонишь...

Вадим Кожинов был великий работник. А Игорь Хохлушкин был герой. Не герой борьбы или деятельности, а просто человек-герой. Безызвестный. Человек-герой – редкость. С таким человеком общавшиеся (или, тем более, дружившие с ним) утрату ощущают как физическую боль...

А впервые ТАК было с Юрием Галансковым почти тридцать лет тому... В воображаемой линейности жизненного пространства я всегда уверенно видел его спину: то есть он еще идет, а я уже нет. К счастью, я не видел его смерти и позволяю себе обманываться, что он где-то в недосягаемой параллельности отслеживает происходящее в мире, а все происходящее со мной – в особенности, потому что в том его право и обязанность.

Бездумно самовоспитанный на «Трех мушкетерах», я всегда был чрезвычайно требователен в мужской дружбе, по крайней мере, к женщинам я и десятой доли той требовательности не предъявлял... И опять же Гумилёв...

Я жду, исполненный укоров:
Но не веселую жену
Для задушевных разговоров
О том, что было в старину.

И не любовницу...
....
Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне
За то, что я томился много
По вышине и тишине.

И как преступен он, суровый,
Коль вечность променял на час,
Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас[47].

В строгой и требовательной мужской дружбе мне всегда виделся сколок или осколок идеального бытия, этакая положительно заряженная молекула, способная силой собственного излучения по-доброму перезаряжать мутные сферы человеческого быта или, как нынче принято говорить, позитивно структурировать среду, в данном случае среду индивидуальную.

Увы! Похвастаться нечем. «Принявши дерзко за оковы мечты, связующие нас», уходили друзья, оставаясь приятелями. И только он, Юрий Тимофеевич Галансков, ушел не от меня, и в том величайшая несправедливость...

* * *

Весной 1968 года следственное управление ленинградского КГБ «подбивало бабки» по делу подпольной организации Игоря Огурцова. За год пребывания в камерах Большого Дома (так называли питерчане дом, построенный еще С. М. Кировым для областного отделения НКВД – говорили, что по тем временам это был и вправду самый большой по объему и высоте дом в Ленинграде), так вот, за год пребывания в следственном изоляторе мы, подследственные, уже настолько освоились в нем, что не было проблемы связи друг с другом.

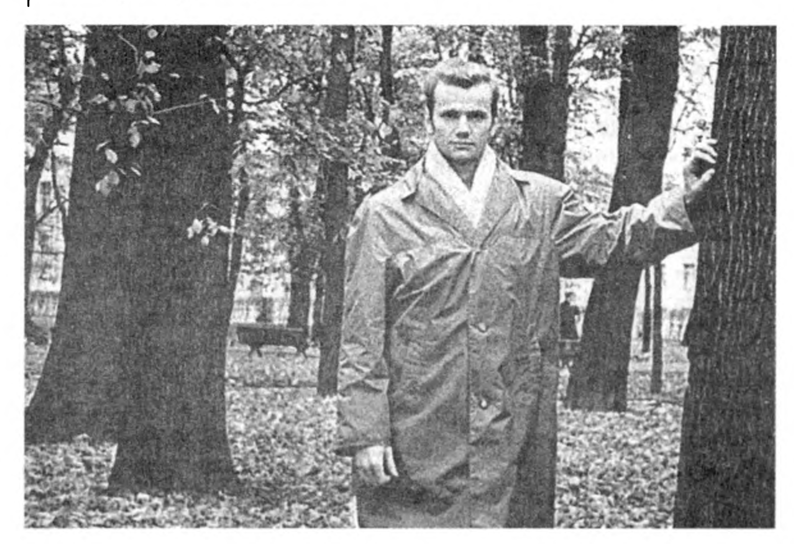
Обычно после ужина, когда уже не «дергают» на допросы и в коридорах, по которым когда-то водили и народовольцев, и эсеров-максималистов, и самого Владимира Иль-

ича Ленина, – когда в коридорах, устланных коврами для «тихой проходки», устанавливалась воистину мертвая тишина – именно в это время оживали стены изолятора. Еще в начале следствия мы все освоили морзянку. Поначалу попытка общения строго пресекалась надзирателями. Но по мере того как завершались следственные действия и «подельники» практически уже ничем не могли повредить ходу следствия, контроль за «стенами» ослабел, и мы, на воле по законам конспирации не знавшие друг друга, теперь активно общались, благо стены изолятора не имели так называемой «шубы» – особой штукатурки-глушителя.

Кажется, в июне 1968-го моим соседом по стенке оказался Валерий Нагорный. Самый молодой из нашей организации, инженер-физик из первого выпуска по программе квантовой радиоэлектроники, сын полковника Советской Армии, когда-то командовавшего гарнизоном Будапешта и выводившего советские войска из восставшего города в 1956-м, Валерий Нагорный имел блестящие перспективы для карьеры... Впрочем, как и большинство членов организации, что было особой загадкой для следователей.

«Застенная» дружба наша с Валерием так и начиналась – с автобиографий. Морзянкой мы владели в совершенстве, скорость «общения» была воистину фантастической... Замечу, и по сей день иногда пробую – та же квалификация...

Однажды Валерий сообщил мне, что ему разрешено свидание с отцом, к тому времени, кажется, уже генералом. Иные были времена, отцы за детей ответственности не несли, тем более что, переведя большинство членов организации со статьи по измене Родине на статью 70-ю (агитация и пропаганда, чем мы как раз вовсе и не занимались), следствие как бы отделило жертв от злоумышленников – основателей организации. Последние во главе с Игорем Огурцовым были выделены в отдельное дело с той самой статьей – измена Родине, получили большие сроки, отсидели их и, что самое примечательное, в отличие от всех остальных, кто был причислен к «жертвам» и осужден на сроки значительно меньшие, они, четыре человека: Игорь Огурцов, Михаил Садо, Евгений Вагин и Анатолий Аверичкин – дважды, последний раз совсем недавно, получили отказ в реабилитации, то есть и по сей день являются преступниками...



Валерий Нагорный.

Можно предположить, что юристы высших юридических инстанций, оставившие приговор Огурцову и остальным в силе, являются подпольными членами КПРФ, и тогда, конечно, они правы в своем решении по-прежнему считать Огурцова предателем коммунизма и изменником социалистической Родине. Нынешние полуподпольщики осудили бывших подпольщиков...

Но возвращаюсь к истории свидания Валерия Нагорного со своим отцом. Мне ли пришло в голову, Валерий ли предложил – не помню, но отстучал я через стенку коротенькое письмо, которое Валерий намеревался тайно всучить отцу, советскому генералу, для переправки моим родителям.

Вот часть текста того прощального послания.

«Мама, папа!

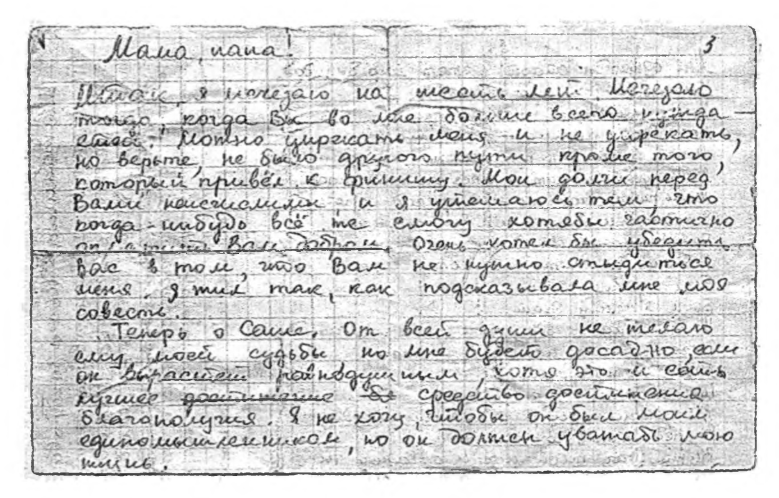
Итак, я исчезаю на шесть лет. Исчезаю тогда, когда вы во мне больше всего нуждаетесь. Можно упрекать меня и не упрекать, но верьте, не было другого пути кроме того, который привел к финишу. Мои долги перед вами неисчислимы, и я утешаюсь лишь тем, что когда-нибудь все же смогу хотя бы частично отплатить вам добром. Очень хотел бы

убедить вас в том, что вам не нужно стыдиться меня. Я жил так, как подсказывала мне моя совесть...

Не удивляйтесь чужому почерку. Письмо диктую через стенку.

Прощайте. Целую всех.

Леонид».



Мама, папа! 3

Итак, я исчезаю на шесть лет. Исчезаю
тогда, когда Вы во мне больше всего нуждались.
Можно упрекать меня и не упрекать,
но верьте, не было другого пути, кроме того,
который привёл к финишу. Мои долги перед
Вами неисчислимы и я утешаюсь тем, что
когда-нибудь всё же смогу хотя бы частично
[illegible] Вам добром. Очень хотел бы убедить
вас в том, что Вам не нужно стыдиться
меня. Я жил так, как подсказывала мне моя
совесть.
Теперь о Саше. От всей души не желаю
ему моей судьбы, но мне будет досадно, если
он вырастет равнодушным, хотя это и есть
лучшее ~~достижение~~ средство достижения
благополучия. Я не хочу, чтобы он был моим
единомышленником, но он должен уважать мою
жизнь.

Письмо «через стену», записанное Валерием Нагорным.

Отчетливо помню, что именно когда отстукивал текст, тогда-то и прощался с родителями. Шансов на то, что передача письма состоится, практически не было.

А как все произошло в действительности, знаю от Валерия. На встречу с отцом ему дали полчаса. Разумеется, в присутствии двух надзирателей. Полчаса они говорили. И когда настало мгновение прощания, Валерий сунул в руку отцу, изготовившемуся для прощального рукопожатия, плотно скомканную бумажку. О том, как побледнел советский генерал, о том, как долго сын тряс руку отцу, чтоб эта рука соответствующим образом отреагировала на «подарок», знаю с его же слов... Валерий что-то говорил, говорил и тряс, тряс руку... Наконец, как он рассказывал, папина рука ответила должными судорогами... И это все на глазах у офицеров... Затем прощальное объятие, и руки разомкнулись. «Ксива» ушла!

В бумажке, что Валерий всучил отцу, он приписал адрес моих родителей и страстную просьбу отправить письмо по адресу. Как сам признавался, не был уверен, решится ли отец... Не нарушение – преступление!

Но вскоре мои родители получили чужой рукой переписанное письмо, разумеется, без обратного адреса. Сохранилось и письмо, и та бумажка... Она передо мной, и я с трудом разобрал карандашную запись...

Тютчев прав много больше, чем сам предполагал. Не только Россию умом не понять, но и русского человека... Даже когда он советский генерал. Нет! В особенности, когда он советский...

Моя дружба с Валерием Нагорным в лагере продлилась недолго. По прошествии стольких лет с грустью думаю, что «мечты, связующие нас», я все же умудрялся превращать в оковы. Он отстранился. И правильно сделал. Потому что я мог еще раз поломать ему жизнь, поскольку относительно своей жизни у меня все уже было определено по максимальному раскладу. Мы встретились в Питере через тридцать лет, и не было для меня большей радости, чем убедиться, что он, прожив свою жизнь по-своему, прожил ее порядочно, как и было заложено в нем от роду.

Тем не менее именно в лагерях да тюрьмах познал я цену подлинной мужской дружбе, когда воистину «один за всех, и все за одного». Не перечесть, сколько раз я стоял в стенке, защищая или поддерживая кого-то, сколько раз стенка выстраивалась передо мной, защищая меня. Для большинства это было нормой, и ни возраст, ни национальность, ни убеждения не были препятствием вести себя по-мужски, то есть когда сугубо личное без напряжения отступало на второй план, а на первом плане высвечивался призыв-табло: «Требуется поступок. Условия исполнения – честь и мужество».

На воле, то есть, как мы говорили, в «большой зоне», особенно сразу после выхода из «малой зоны», – все иначе, все не так, и весьма долог процесс адаптации.

И чем в более интеллектуальную среду я попадал, тем реже встречал образцы подлинных мужских взаимоотношений.

* * *

Не с того я разговор начал. Начал я его с необходимости символов вечности. И не великих и всеобщих, но для каждого сугубо личных. Есть, положим, невдалеке четыре, пять, шесть человек, чьи имена даже помянуть пострашусь в связи с такой темой, – так вот, кажется, что, не дай Бог, переживу их, тогда, как в русской песенке: «Во поле березонька стояла».

И нет, не о каких-то близких друзьях речь. Даже единомышленниками не рискну назвать, поскольку тьма тем никогда и оговорена не была. Но – оплоты! Иначе никак не сказать.

Да и, в конце концов, должен же быть хоть какой-нибудь символ вечности, как тот парус одинокий на горизонте – оглянулся и увидел: белеет! И ей-богу, плевать, прав он или не прав, что так и не определился относительно бури. Важно, что белеет!

Я же счастлив только тем, что научился не думать о себе – Бог дал крепкие приключенческие сны, в них нет муки. Чтоб спокойно доживать, надо уметь засыпать быстро и легко просыпаться. А в каждом утре должно быть дело. Большое или пустяк, но встал – и за дело, и только ухом в сторону – кто нынче еще ушел, не простившись по незнакомству.

С каждой утратой всякий раз поражаешься тому, сколь многих любил, не задумываясь. В сущности, каждый встречный сперва напрашивался на любовь, и если я не проявлял «бдительности», то попадался и расплачивался. Но честно – без особого сожаления. Думаю, что вообще вот-вот скоро обнаружится, что в действительности был полон любовью к человекам, что, может, одной любовью и жил, а вражду и отталкивание только изображал, чтобы не казаться самому себе скучным и пресным...

* * *

...Всякая добросовестно додуманная мысль о жизни способна причинить боль...

Не мне принадлежит сие грустное суждение. Его высказал как-то Василь Стус, дивный украинский поэт, погибший в лагере. Год был 1985-й. В стране уже что-то начиналось

непредвиденное, но мы, заключенные лагеря особого режима, так называемые политические рецидивисты, то есть неисправимые, то есть обреченные на вымирание сроками и изоляцией, мы не знали, не верили, не надеялись... Нам было некогда верить или надеяться, мы были озабочены выживанием...

Когда в конце лета 1983-го после месячного мотания по пересылочным тюрьмам я прибыл на знаменитую тридцать шестую особую, там было всего тридцать человек. Всем за сорок и за пятьдесят, у всех один и тот же срок – десять плюс пять, у всех хронические болезни и хроническое упрямство: никто не соглашался на свободу в обмен на компромисс, каковой был до смешного прост – надо было обещать более никогда «не высовываться», только и всего...

Из политических я был единственный русский. Остальные – украинцы, прибалты, армяне. Еще несколько человек «за войну» и один «гэрэушник», когда-то перебежавший к американцам, когда-то добровольно вернувшийся и получивший свой червонец вместо высшей меры по причине раскаяния.

Ныне усилиями энтузиастов Пермской области наша зона превращена в музей. Посетителям рассказывают, что это была самая суровая зона с жесточайшим режимом...

И правда, и неправда. Режим приемлемый, питание намного лучше, чем, положим, в мордовских лагерях, где мы все пересидели в разное время, работа не тяжелая, норма выполнимая, обращение вежливое... И тем не менее – это была зона на умирание.

Умирать начали в начале 1980-х. Сначала Олекса Тихий, потом Валерий Марченко, один за другим двое из тех, что «за войну», затем Юрко Литвин покончил с собой... Василь Стус...

Каждый раз за несколько дней, иногда за неделю до чьей-то смерти на проходной всю ночь выла сторожевая овчарка.

За исключением Юрко Литвина и Василя Стуса, у каждой смерти была конкретная причина – болезнь. У каждого своя. Но была и общая причина, наипервейшая. Звание ее – безысходность.

Дни тягучи, сны грустны.
Бред и бредни вперемежку...
Молча шахматную пешку
Двину прочь от короля
В лад постылому дебюту.
И затертого Золя
Перечитывать не буду.
Между строчек все одно –
Явь и призраки былого.
Убивающее слово –
Безысходность – вот оно...

Что ожидало каждого из нас, приговоренных формально будто бы только к сроку заключения? Если переживешь червонец в клетке – ссылка в наимедвежий угол необъятной Родины, в окружение ссыльных уголовников. Тяжелая физическая работа, на которую мы уже были не способны... Положим, и это пережил. Далее нищета, безработица, бесправие, постоянный надзор. Как правило – потеря семьи.

Прежде прочего, чтобы жить, надо было научиться не думать о будущем. И я не знаю ничего более трудного для души, для воли, для ума... Это вообще невозможно... Возможно только всякий раз пресекать... переключаться... отключаться...

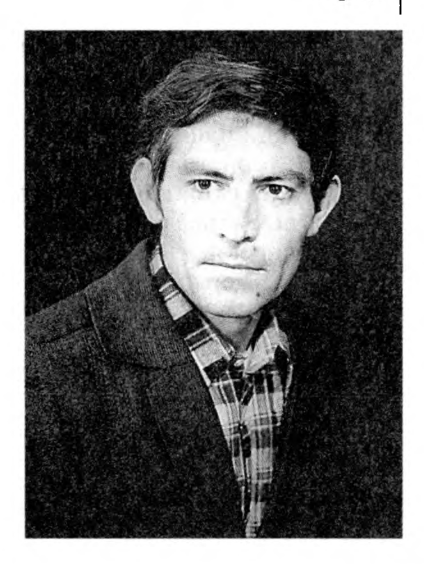
Здесь тоже жизнь!
Я снова должен верить
сознательной неискренности фраз.
Еще не раз подсчитывать потери,
еще не раз бессмысленную злость
гасить усмешкой, шуточкой, остротой...
Печальное предчувствие сбылось –
как челюсти, захлопнулись ворота,
и за спиною боле ни души...
Философы, мечтатели, поэты,
Отечества достойные мужи!
Я
вами
жил...
Еще б дожить до лета
и сущий пустячок преодолеть:
не грызть зубами каменную клеть
и не болеть бы...

Увы! Последнее неподконтрольно. Зато подконтрольно другое – взаимоотношения сокамерников, когда уже не новички, когда в возрасте, когда давно выяснены все возможные разногласия и запрещены к возбуждению, когда взаимоуважение построено на крепчайшем фундаменте – каждый судьбой проверен на стойкость. Она, стойкость, и есть основа тюремного товарищества. И вторично – кто за что стоит. Не место и не время разбираться в том. И потому, положим, украинский националист Михайло Горень, оказавший мне помощь в труднейшие для меня минуты, – и люб и дорог, и всегда желанный гость в доме. Мы и теперь, встречаясь, не выясняем отношений. У него свое, у меня свое. Общее – зона особого режима, где нам было одинаково тяжко и где каждый помогал друг другу эту «тяжкость» перенести, пережить и, следовательно, – выжить. И еще одно общее – невыжившие. Среди них Василь Стус. О нем особо.

Перед тем как я оказался в одной камере со Стусом, он только что закончил перевод сборника стихов Рильке, и при очередном обыске камеры у него изъяли труд почти полутора лет. Обещали вернуть, если там нет антисоветчины. Считаю, что именно с этого момента он заболел. Заболела душа. Есть ли такие врачи, что могли бы не лечить – угадать заболевание души, когда она только начинает маяться?.. Есть ли филолог, способный вразумительно объяснить значение этого слова?

На прогулке он ходил с низко опущенной головой по диагонали прогулочного загона и бурчал одни и те же слова одной и той же песни: «Так за мной хлопци шли, гей-гой, так за мной хлопци шли, гей-гой, так за мной шли хлопци, як дошчавы хмары».

Мы общались с ним на украинском языке, он вынудил меня к тому из единственного побуждения – показать мне красоту его родного языка. С самого раннего детства поклонник украинской песни, я вел с ним постоянный спор на одну-единственную тему: верлибр – принижение русского и уж тем более украинского языка, в котором «бегающее» ударение открывает несравнимые возможности для ритма и рифмы. С запалом читал ему Антонича: «То чи струны, чи нэ струны, то чи може вистря шпаг...» Он перебивал и читал верлибры того же Антонича, доказывая, что верлибр – простор для образа, что в верлибре поэзия дорастает до фи-


Украинский поэт Василь Стус.

лософии... Философия убивает поэзию, – горячился я и читал Вячеслава Иванова...

Болезнь души его, однако же, прогрессировала. Он находился на той стадии поэтической зрелости, когда, как я мог предполагать или как мне казалось, поэт непременно должен иметь аудиторию, иначе само поэтическое дарование начинает как бы «закольцовываться» в душе, как раз и являясь причиной ее маеты.

Все началось с того, что в камерах он, с кем бы ни сидел, создавал ситуацию конфликтности. А нет ничего страшнее для камерного бытия, чем напряжение в отношениях между сокамерниками. Ситуация осложнялась еще и тем, что существовали установки «попечителей» местного КГБ относительно того, кто с кем может сидеть, а кого ни в коем разе вместе соединять нельзя. Последний конфликт Стуса со своим сокамерником едва не закончился побоищем. Мы в своей камере провели совет, и поскольку ни Михайло Горень, страдавший в то время сердечными приступами, ни Иван Кандыба, сам конфликтер, в пару к Стусу не годились, то я предложил себя на роль «разбивки»... То есть предложил начальству посадить меня либо со Стусом, либо с его напарником, а Стусу подыскать кого-либо из литовцев или армян. Местному гэбисту вариант показался интерес-

ным – свести русского и украинского националистов на восьми квадратных метрах и посмотреть, что из этого получится.

«Русский националист» – всего лишь штамп. Сам я такой характеристики не признавал. По мне, вообще словосочетание «русский националист» – чистейшая бессмыслица, в известном смысле принижающая того, к кому отнесена. Я и мне подобные были скорее «державники», чуявшие неизбежность державной катастрофы как итога коммунистического правления и пытавшиеся так или иначе воспрепятствовать национальной катастрофе – всяк по степени своего разумения. Национализм же понимали исключительно как проблему малых народов.

Столкнуть «державника» с «националистом» – таков был подлинный смысл решения опекунов из местного КГБ.

Уже не помню, сколько мы просидели со Стусом, но удовольствия «шефам» не доставили. Стус прекрасно знал русскую литературу. К тому же сумел заразить меня интересом к польскому языку, и через месяц я уже без словаря читал романы Крашевского, десятитомник которого оказался в лагерной библиотеке. Нам разрешалось выписывать любую советскую прессу, мы получали почти все серьезные литературные журналы. Особенно запомнилось обсуждение романа С. Залыгина «После бури». Уж столько-то было споров... Роман пошел по камерам... И было общее мнение, что залыгинский роман – самое значительное событие литературной жизни 1980-х. Как выяснилось позже, «на воле» роман вовсе не был замечен, что меня удивляет и поныне.

Поэзия, литература, история, а также завтрак, обед, ужин и часовые прогулки на свежем воздухе – вот то, благодаря чему мы выживали. И пусть никого не покоробит выстроенный ряд.

Но было и нечто, что так или иначе укорачивало нам жизнь, а некоторым и в полном смысле укоротило. Опять речь о них, об «органах», но уже определенно без похвальных намерений.

Казалось бы, ну, упекли неисправимых, «перекрыли воздух» до конца жизни – и оставить бы в покое. Так ведь нет же! Откуда-то из «центра» требуют от местных «органов» систематической работы по перевоспитанию обречен-

ных, инициативы требуют, оперативных разработок и результатов – результаты им подавай! Не может такого быть, чтоб хоть кто-нибудь, хоть один да не прогнулся, сопли не пустил, домой не запросился...

А местные «органы» – кто там? Психологи-самородки? Гении оперативных интриг? Знатоки человечьей души?

Да нет же! Честолюбивые недоучки, понимающие свою работу с политическими рецидивистами как единственный шанс пробиться куда-то там в их гэбистской иерархии, положительно засветиться, получить повышение или очередное звание, а может быть, и вовсе ничего такого, но просто – удовольствие распоряжаться судьбами: это ведь так щекотно, взять, к примеру, и лишить зэка долгожданного свидания с родственниками, или конфисковать письмо, или даже просто попридержать его месяц-другой, чтоб помаялся «злодей-антисоветчик», чтоб усох от дум тревожных...

– Где письмо? – требует зэк.

– Не пишут. Не мне ж за них писать?

А вся беда в том, что чем отчетливей понимание собственной обреченности, тем, вопреки логике, отчаяннее цепляешься за них, за близких своих, – в том слабость. Возможно, единственная слабость – на ней и прокалываешься, а тебе тут же в рану штырем: «А вы уверены, что нужны? Что ждут?»

Да нет, конечно, не уверен. И жена еще может устроить себе жизнь, и дети взрослеют и отдаляются душевно, а родители, если еще живы, сколько протянут...

Правда, у большинства жены соответственны мужьям, и дети воспитаны на культе отцов-мучеников... А уверенности-то все равно нет...

Так погиб Юрко Литвин... Намекнули «опекуны», что не пишет сын потому, что не хочет... А кроме сына у Литвина больше никого, кто ждет... Или ждал...

Сказался больным, не вышел на работу. На обед пришли сокамерники, видят – лежит на шконке, укрывшись одеялом с головой. Последние дни хандрил, избегал общения... Не решились потревожить. И лишь возвращаясь в рабочую камеру, кто-то рискнул окликнуть... Молчит. Приподняли одеяло... Заточенной ложкой зарезался. Еще был жив. Увезли, несколько операций... Бесполезно. Умер на операционном столе.

И что? Этот случай чему-нибудь научил опекунов из местного КГБ? Ничуть! Через некоторое время точно та же игра с Василем Стусом. Одно письмо от сына задержано, другое. Разговорчики с намеками. А Стус на грани нервного срыва. На очередном «собеседовании» сорвался, каждому выдал поименно, не корректируя выражений. Словно того и ждали. В карцер. Я последний видел Василя Стуса живым. В карцере он объявил голодовку. Следующую ночь на проходной надрывалась-выла овчарка. Причина его смерти не ясна и по сей день...

Искушение уходом

Смерть Стуса была пятой по числу смертей в зоне в течение менее чем года. Шестым умер украинский полицай, из тех, что «за войну». Умер от рака почки. Рассказывали, что умирать его вывезли в больничную зону, где он всю последнюю ночь прокричал, запертый в больничной камере. Больничная зона от нашей – километров за пятьдесят. Но овчарка выла...

Каждый думал – не думал, но как бы оглядывался по сторонам: кто следующий?

И когда я однажды как бы мимоходом высказал озабоченность состоянием своего горла – что-то там, в горле, побаливало и мешало глотать, – я поймал взгляд одного из сокамерников, взгляд, от которого в полном смысле зашатался. Из шестерых четверо умерли от рака. Через несколько дней я уже не сомневался, что следующая очередь моя. По сей день горжусь: недели не потребовалось, чтобы я свыкся, приготовился и достиг полнейшего спокойствия души. Была календарная весна 1986-го, только календарная – морозы, сугробы, весной и не пахло, лишь иногда утреннее солнце вспыхивало ярче прежнего...

Так снова начиналось утро.
В сыром безмолвии сначала
Ворона каркала кому-то
Иль просто глотку прочищала.
Потом стальными голосами
Лениво лязгало железо...
А из-за леса, из-за леса
(И это видели мы сами

Сквозь геометрию запрета)
Вставало солнце залпом света.
И чудо розовое это
Нам было продолженьем сна.
Стояли, щурились, молчали.
И в нашей утренней печали
Рождалась поздняя весна.

Я уже понял, что до лета мне не дотянуть. С каждым днем горло хуже и хуже. Очередное свидание с родственниками в июле. Не дотянуть! Не помню, но где-то я вычитал о сроках, отпущенных при раке горла. Максимум – июнь.

В эти же дни произошла очередная «пересменка» у «опекунов». Опера-зануду сменил мальчишка-офицерик, донельзя самонадеянный, болтливый, не имеющий ни малейшего представления о том, с каким контингентом «работает», с каким уровнем интеллекта и воли вступает в контакт. Начались индивидуальные собеседования. Впечатление общее – дурачок. Но дурачок, жаждущий активно действовать на поприще оперативно-перевоспитательном. В первые же дни своей активности он сумел обозлить наших армян, высказав какие-то собственные суждения по истории Армении...

Замечу по ходу, что «призонные» кагэбисты бестолковостью своей в полном смысле воспитали, то есть «довели до уровня» многих лидеров нынешнего так называемого ближнего зарубежья. Ашот Навасардян, к примеру, баллотировался в президенты Армении, во главе ведущих националистических организаций в первые годы смуты стояли бывшие политзэки – Лукьяненко, Гамсахурдиа и многие другие. До вождей они доросли именно в лагерях. Антирусские настроения их обрели программность в немалой степени «с помощью» перевоспитателей – мы, русские, видели и порой на себе испытывали результаты кагэбистской работы с националистами. Ни знания, ни понимания, ни такта – одна хамская уверенность в незыблемости ситуации... Насколько «тонко», а порой и просто «изящно» делало свое дело Пятое управление КГБ, сумев в кратчайший срок очистить Москву от русско-еврейских диссидентов хотя бы посредством подачки – эмиграции, настолько топорно, безграмотно, а с русской точки зрения – откровенно «по-вредительски» смотрелась вся «перевоспитательная» деятель-

ность КГБ в лагерях и тюрьмах. И нет, речь не идет о суровости режима или жестокости администрации политических лагерей и тюрем – на всех всего было поровну, что русским, что нерусским. О провоцировании антирусских настроений посредством, попросту говоря, откровенной тупоголовости – вот о чем речь...

Уже говорил ранее, что в отличие от некоторых политзэков, принципиально не общающихся с гэбистами, я никогда от контакта не отказывался. Люди попадались интересные, да и весьма часто удавалось выудить кроху ценной информации. Теперь же встреча с «опекуном» имела конкретную цель...

По-видимому, перед тем получив «афронт» от какого-то сердитого зэка, симпатичный офицерик-мальчишка прямо-таки распахнулся навстречу моей доброй расположенности к беседе. После обычных вопросов относительно просьб и пожеланий разговорился чуть ли не на час, найдя в моем лице доброжелательного слушателя. И было что послушать. Сперва, конечно, о политике партии и правительства относительно всяких антисоветчиков: поскольку советская власть крепка, как никогда, курс не столько на покарание, сколько на профилактику. Многие же по дурости вляпались, следовательно, только докажи, что тебе вся эта политика до фени, и пожалуйста, гуляй себе. Вот, к примеру, с Высоцким – там, в Москве, разобрались.

Оказывается, нормальный советский мужик, а песни всякие, что с душком да уголовщиной, так это – доказано на сто процентов – и не им написаны вовсе, а дружками, которые подставляли и споили, между прочим... Другое дело, положим, Солженицын. Опять же установлено, что свой «ГУЛАГ» он внаглую списал у какого-то француза, обставил чистой туфтой, ну, чистейшей туфтой – вранье от первой страницы до последней. Только француз-то, он не лопух, на Солженицына в суд, вот сейчас там разбираются...

На этом месте «опекунчик» прищурил юные глазки и высказал заветную свою мечту: лично всадить Солженицыну «девять грамм» в лоб.

Я корректно спросил:

– Из-за угла или как?

Слегка нахмурившись, мальчишка отвечал голосом верного солдата партии:

– А как приказали бы, так и всадил бы. Потому что вражина.

Он верил в то, что говорил!

– Да, – отвечал я с мечтой во взоре, – хорошо бы на доказательства взглянуть. У кого списал? Сколько списал?

– Сделаем, Леонид Иванович! Запросто! Запрошу Москву, и будут вам доказательства!

– Да надо бы, – продолжал я разговор по-деловому, – а то ведь, знаете ли, я лично с большим уважением к Александру Исаевичу...

– Вот именно, И-са-евичу! – многозначительно.

– Думаете? – с сомнением...

– Еще бы! Стопроцентно! – с полной уверенностью.

Тут я поинтересовался, не пора ли прерваться на ужин, потому что у меня есть серьезное дело, и надо бы обсудить...

Предполагаю, что именно в эту минуту у мальчишки родилась уверенность, что он меня «сделает», потому что засиял весь, засветился и, будто бы даже слегка смущаясь, спросил, не нуждаюсь ли я «в чайку», но спохватился, руками замахал.

– Ладно, ладно, я в курсе, что у вас это не принято. Так что, через часок встречаемся?

– Обязательно, – подтвердил я.

Этот часовой перерыв, по моим соображениям, должен был предельно расслабить мальчишку, а мне надо было узнать, с кем последним из наших он встречался, чтобы точнее сыграть на контрасте.

Вторая часть нашего общения была короткой. Я ему сказал, что у меня рак горла, что до августа я не дотяну и что требую (именно требую!) досрочного свидания с женой и дочерями. Что готов на голодовку, даже если она ускорит...

К такому повороту разговора «опекун» был не готов, но чутье, видимо, подсказывало, что поле его игры расширилось беспредельно, потому поторопился застолбиться:

– Ну, это вы так думаете. Может, ничего и нет... А если, предположим... Я, конечно, уверен, что вы ошибаетесь, но предположим худшее... Тогда на фига вам вот это все нужно?

Развел руками вокруг, имея в виду тюрьму.

– Эту тему мы обсуждать не будем, хорошо? – отвечал я наимягчайше и нужный результат получил. Мальчишка уверился, что «слабина» найдена и простор для оперативной работы обеспечен.

Еще бы! За последние годы «опекунам» удалось надломить только одного «политического». Его вывозили в Киев, там он будто бы даже по радио выступал, осуждал кого-то из своих единомышленников, но «не доработали». Мужик спохватился, отказался от дальнейшего общения, голодовку объявлял, даже буянил – вернули в зону, держали в одиночке, так из одиночки и освободился по окончании срока, не прощенный своими бывшими друзьями. Через несколько лет умер.

А тут – нате вам! Только что приступил к работе – и с ходу вышел «на объект»! Пока я писал официальное заявление-ультиматум о досрочном свидании, «опекун» заверил меня, что в ближайшее время организует вывоз «на больницу» и что привезут туда из Чусовой специалиста, который все определит «железно», и что, как ему кажется, независимо от исхода врачебного обследования, для меня самое время обо всем подумать... Так сказать – за жись... Что, к чему, и на фига...

Я тактично молчал.

Выехать «на больницу» – да, я этого хотел. Тяжко становилось мне с моими сокамерниками. Все время казалось, что смотрят в спину... Как седьмому... Как обреченному. Обычный вопрос о самочувствии не то чтобы раздражал, но был неприятен, причинял боль. Сам я смирился и, как мне казалось, приготовился... Но они, мои сокамерники и братья по неволе, они не должны... Чего не должны – и сам не знал. Потом, позже понял. Обычное дело, гордыня, потому и стремился остаться один, чтоб не видеть сочувствия. Но это потом. А тогда лишний раз кашлянуть себе не позволял, чтоб не оглядывались, не переглядывались.

Весна меж тем никак не могла прорваться в пермские места. Суще зимние морозы, наверное, с севера, откуда же еще, наползали за ночь на зону, промораживая все, что прежним днем чуть-чуть подтаяло, а я душой вовсе не торопился в весну, я боялся журавлиного крика, что каждой весной утрами и вечерами доносился до наших клеток с реки Чусовой. В прошлом году река разлилась и затопила всю территорию зоны глубиной на полметра. Из окна смотришь – будто на барже плывешь не торопясь... Очень не торопясь, потому что никак не можешь отплыть-отдалиться от запретки, что вдвурядь колючки промеж столбов. Мне, выросшему на Байкале, вид воды всегда радостен, и в прошлом году я просто молился, чтоб вода постояла подольше,

чтоб залила поглубже, по самые окна, а то пусть бы и вовсе затопила, снесла, разнесла по бревнышкам наши бараки да опрокинула вышки по углам зоны... Ничто ведь, кроме стихии, не способно было нарушить порядок нашей несвободы... Но похоже, и стихия признавала правомерность особо строгого режима и, едва побаловавшись, отступала с территории, оставляя ее во власти тех, кому власть была предоставлена государственным установлением.

Нынче же нет, весну не торопил. Лишь с недоброжеланием отслеживал ее еще пока слабые признаки. Положим, легкое потемнение снега вдоль запретки. Вот когда он почернеет, осядет под самые нижние ряды колючки, когда полностью оголятся крыши бараков, когда офицерики лагерной службы поменяют шапки на фуражки, вот тогда...

Тогда придет в вишневом цвете,
Истомой сонною красна,
Обыкновенного столетья
Обыкновенная весна...
А я уйду, а я исчезну...
...Или в зияющую бездну,
Или в сияющую высь...

Теперь я весну не торопил, заклинившись на одной мысли, на одном желании – успеть проститься с близкими, кому так или иначе перековеркал жизни, подмяв под себя, превратив в некое приложение к собственной судьбе. Я готовил какие-то особые слова, которые должны были, по моим бредовым соображениям, освободить всех, ко мне так или иначе привязанных, дать им право на собственную жизнь...

Врал. Себе врал. После понял. Искренним было только одно – увидеться, попрощаться. По сути, вся эта идея была не чем иным, как слабостью, я прогибался, не осознавая того. И та рискованная игра, каковую затеял с новым неопытным «опекуном», тоже была не чем иным, как бредом слабости. Мальчишку, которого так или иначе ждала откровенная фига, не жалел. С какой стати. Он и мне всадил бы в лоб те самые «девять грамм», поимей указание.

К тому ж, что мешало ему повнимательней прочитать ориентировку в деле, где отмечена была моя склонность к «играм» с «органами», в которых мне случалось одерживать крохотные победы исключительно собственного тще-

славия ради? И предыдущий «опекун», тоже не ахти какой интеллект, но «просек» меня с первого «собеседования» и ни разу даже не попытался «поработать»...

А этот щенок решил, что он всех умнее да хитрее... Как позже я узнал, он даже срок сообщил своему начальству, когда меня «сделает». И как опытное начальство дало ему «добро», тоже странно, потому что главный «опекун» знал меня еще с мордовских лагерей. В свое время переводил с показательной одиннадцатой зоны в особую семнадцатую, а оттуда во Владимирскую тюрьму. Впрочем, начальство-то как раз ничем не рисковало.

Я же, приговорив себя к скорому уходу, словно санкцию поимел на «игру», в которой «фига оперу» была отнюдь не вторичным результатом. В те же дни писал, сам себе противореча:

Судьба – извилина змея.
Судьбе подыгрывать не надо.
Я в западне. И жизнь моя –
Моя последняя граната.
Гляжу с улыбкой им в лицо.
Мой взгляд не жесткий и не колкий.
Однажды дерну за кольцо –
И вот тогда лови осколки!

Что и говорить, взрывную мощь своей жизни-гранаты я явно преувеличивал. В сути пшик, а не взрыв. Вроде бы даже и понимал это. Но общее состояние было сумбурное, с трудом удавалось скрывать от сокамерников лихорадку, в которой пребывала душа.

И когда услышал наконец столь знакомое: «С вещами на выход», была обычная бытовая радость. Не помню процедуры прощания с сокамерниками, этапа – трехчасовой тряски в «стакане» «воронка» – не помню тоже. Значит, погружен был в переживание начала моего последнего жизненного эпизода. Но и этого почему-то не помню.

Больничную зону, по крайней мере в зимнее время, правильнее было бы называть пыточной зоной. В камере почти уличная температура. Батареи холодные, раздеваться нельзя, спать можно только укрывшись с головой матрацами со свободных коек, все свободное от сна время – хождение по камере, благо пуста, да гимнастика – в основ-

ном всякие резкие движения конечностями, что-то вроде упражнений по карате. Я, однако же, счастлив. Один! Недолговременное одиночество – истинное счастье для зэка. Правда, у каждого своя норма. Есть категория людей, вообще одиночества не выносящих. Но таких единицы. Кто-то через три месяца уже просится на «общаг». Я своей нормы не знаю. По первому сроку во Владимирской тюрьме дважды объявлял голодовку, чтоб выбить два-три месяца одиночки. Мой максимум – полгода в так называемом ПКТ (помещение камерного типа) на семнадцатой зоне в шестьдесят девятом. До конца срока воспоминания – ах, как я сидел в ПКТ!

Но в этот раз ситуация необычная. Не исключено, что быть здесь до конца... До самого конца... И я уже несколько другими глазами смотрю на свое последнее пристанище в жизни. Есть нечто, чего я сам себе даже в мыслях не проговариваю: я надеюсь, что найду какой-нибудь способ *уйти* до момента агонии, и никакие христианские соображения на этот счет не смущают, довлеет гордыня: не доставить *им* удовольствия наблюдать за моей агонией. Но еще не вечер, до вечера мне надо выбить свидание, и я уверен – выбью.

На третий день заявился «опекун». Температурная ситуация в камере его шокировала. Ушел и через полчаса принес допотопный полусамодельный спиралевый обогреватель с оголенными на контактах проводами и шмотками изоленты в нескольких местах по проводам. Обогреть камеру этим уродцем невозможно, но можно погреться...

В игре с «опекуном» сегодня у меня по плану депрессия. Я не разговорчив, даже грубоват, я ни о чем не хочу говорить, кроме свидания. Сообщение «опекуна» о том, что из Чусовой заказан специалист по горлу, я пропускаю мимо ушей, мне и вправду это безразлично, потому что даже обычную перловку глотаю, будто стальные опилки. Я уверен – смерть поселилась в горле, я чувствую ее присутствие там, даже если сижу не шевеля шеей и еле дыша. Я знаю: я седьмой, и эта цифра мне нравится, она как-то выделяет меня среди прочих цифр... Даже некий момент избранности усматриваю в семерке: ведь не только семь дней в неделе, но и семь дней творения, и еще много чего...

Когда же мальчишка пытается что-то сказать или намекнуть на возможность свободы, я почти искренно «взры-

ваюсь», я почти кричу ему (кричать больно), что да, хочу проститься с близкими, но умолять не собираюсь, не дождется... и вообще – что ему здесь надо?

Он явно удовлетворен моим душевным сломом и не может скрыть удовлетворения, хотя на физиономии весьма правдоподобная маска сочувствия и озабоченности. Сегодня он мне больше не нужен. Да и я ему тоже. Он уходит. И когда лязгает замок дальней двери, я уже хожу по камере и читаю шепотом (вслух больновато) стих Гумилёва, который будто бы написан им в камере перед расстрелом. Доказательств тому нет, и если подделка, то талантливая.

В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Проплывает Петроград...
...Я не плачу, я спокоен,
Я поэт, моряк и воин.
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным!
Знаю, крови сгустком черным
За свободу я плачу.
За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу.
И сегодня, город мой,
В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Унеси меня домой...

Как и прежде, как в молодости, Гумилёв действует на меня гипнотически. Мне не холодно, не больно, не одиноко. И я до ужина топаю по камере и шепотом читаю Гумилёва – все, что помню.

Конечно, было бы неправдой сказать, что весь месяц «на больнице» прошел в этаком душевном мажоре. Всякое бывало, но об этом всяком ни вспоминать, ни рассказывать не хочется.

«Опекун», знать, получил карт-бланш на мою разработку у начальства. Через десять дней по прибытии «на больницу» вызвали к врачу. Женщина лет сорока... Явно из гулаговской медицинской системы... Ни одного лишнего вопроса... И чего только она не проделывала с моим проклятым горлом! Потом, когда сидела в стороне и долго писала что-то, я ждал, когда расплавленный свинец, будто залитый

в глотку, остынет, чтобы хотя бы слюну сглотнуть. Затем резюме типичным «медментовским» голосом: «Запущенная хроническая ангина... редкий вариант – бестемпературный... мягкое горло...» Далее – рецепты. А то я не знал, что о худшем врачи не говорят. Но фокус был в том, что я никогда, даже в самом раннем детстве, не болел ни ангиной, ни гриппом, у меня никогда не бывало повышенной температуры. Знать, как закалился, купаясь с десяти лет в Байкале от льда до льда, так и дожил до сорока с лишним лет, не узнав, что такое простуда.

Оговорюсь: и по сей день, богатый всякими-разными болячками, температуры не знаю...

Потому ее слова о хронической ангине тогда только кривую усмешку вызвали на моей и без того перекошенной физиономии.

В итоге сказала, что в течение недели я должен проделывать то-то и то-то, в следующий вторник она еще приедет и посмотрит.

Через двадцать лет припоминая свое тогдашнее психическое состояние, ей-богу, удивляюсь, сколь причудлива природа человеческого сознания. После медицинского осмотра у меня не только не появилось надежды на лучший вариант, но я будто бы даже и не хотел его, потому что он тогда поломал бы таким волевым напряжением выстроенный план моего *ухода*. Я уже свыкся с мыслью о том, что не придется мне отсиживать этот практически пожизненный срок. Никакой ссылки, никаких надзоров, ни нищеты, ни бездомья... А главное – за время подготовки к *уходу* я начисто утратил то самое чувство безысходности, с которым безуспешно сражалась воля с момента приговора. И что ж? Все заново? Ну уж нет!

Заявившийся назавтра «опекун» был шокирован моим поведением. Он боялся, что я, получив «добро» на жизнь, попросту пошлю его подальше. Я же твердил только одно – свидание! Медицинскую проблему я категорически отказался обсуждать. Обман с медицинской точки зрения, может быть, и правомерен, но для меня оскорбителен. Я требую свидания.

Мальчишка, оправившись от изумления, быстро переориентировался, «сообразил», что, подыгрывая мне, не теряет шанса на «обработку». Он, дескать, уверен, что никакого рака нет, и врач так сказала, хотя, конечно, и врачи, случается, ошибаются, но через неделю, когда она снова

приедет, отремонтируют рентгеновский аппарат, и тогда уж все стопроцентно...

У него была неделя на то, чтобы меня прогнуть. У меня была неделя, чтобы вытребовать свидание, – это в том случае, если мне жить...

Жить! Проговорить в мыслях это слово я мог, в душу его пропустить – нет!

Я позволил «опекуну» произнести длинный монолог о преимуществе жизни на воле, о пустяках и формальностях, которые от меня требуются, чтобы вместо свидания с семьей – жить с ней, о бессмысленности и бесполезности противостояния власти, которая навсегда, навечно в соответствии со всеми историческими законами, какие только известны человечеству.

Когда он выдохся, я ответил коротко и жестко: «Сначала свидание, потом разговоры». И услышал в ответ: «Да будет вам свидание! Будет. Москва дала добро. Жене уже сообщили». Я не верил своим ушам. Неужели пойдут и на это? Да зачем я им нужен? Я никто. Ноль! За мной ни партии, ни движения. На Западе мое имя ничего не значит. Одно дело, когда досрочно выпускали по соглашению Синявского – так он почти знамя... И потом... Они меня знают. Если бы даже я и дал слабину и прогнулся, так не надолго. Искупая слабину, наверняка пошел бы на что-нибудь чрезвычайное. «Крутость», с каковой я провел свой первый срок, в значительной мере объяснялась тем, что на суде по делу Социал-христианского союза я, как и все, признал себя виновным, – карцерами и Владимирской тюрьмой искупал...

Нет, отпускать меня не в их планах. В планах обыкновенное жульничество: сломать, прежде чем сдохну. Рентгеновский аппарат сломался... Все ясно. Играем!

Нынче думаю, что ошибался. Я ведь не знал, что во Франции в популярнейшем издательстве «Галлимар» уже вышли четыре мои книги, несколько книг в Англии, Германии и Италии. Что с подачи Георгия Владимова я «вписан» в ПЕН-клубы[48] Англии и Франции, что от французского ПЕНа – премия, что на радио «Свобода» читаются мои книги...

Освободившись в 1987-м, от множества людей слышал, что познакомились с моими писаниями по «Свободе». И даже сам в том же году слушал чтение по «Свободе» книги «Год чуда и печали» в прекрасном музыкальном сопровождении.

Шла, как нынче принято говорить, «раскрутка». И после моего освобождения она еще продолжалась. Лишь после моей поездки в США выяснилось, что «ошибочка вышла». И Запад начисто забыл о моем существовании. Любопытно, что первыми почуяли ошибку «раскрутки» шведы. Закупив у издательства «Посев» четыре мои книги для перевода, от перевода, однако, воздержались, а потом и отказались вовсе, когда выяснилось подлинное «мурло» автора закупленных писаний.

Я же до момента освобождения и долгое время после писательство свое рассматривал как забаву, точнее, как хобби, как способ временно отвлекаться от чего-то первично важного, и лишь когда выяснилось, что ничего этого «важного» не существует, то есть что в «смуте» мне делать нечего и что всякое участие в политическом процессе, процессе распада – а это почти десятилетие – аморально и противно душе, тогда только я несколько по-иному взглянул на свое пристрастие к писательству.

* * *

На фоне беды, надвигающейся на Россию, когда б знать о том, сколь ничтожными, мелочными и эгоистичными смотрелись бы мои проблемы весны 1986-го. Да они и были таковыми.

Поскольку не драмой завершилось, а фарсом. Свидания я добился.

И «опекуну»-мальчишке выказал фигу... Буквально ошарашенный моим коварством, он, заверивший начальство в успехе «разработки», выходя из камеры, так хлопнул дверью, что из дверного проема вывалился кусок штукатурки. Но именно в те дни мне уже было не до него. Вторая встреча с врачом закончилась душевным стрессом. Верил, не верил – и сейчас толком не пойму и не помню, помню смятение, необъяснимое отчаяние и нехорошее, нездоровое возбуждение, всплески беспредметной ярости и наоборот – несколькочасовой апатии, когда сидел на шконке не только без движений, но, кажется, даже и без мыслей вовсе. Помню, вскидывался вдруг и произносил вслух: «Опять жить». И начинал топать по камере туда-сюда... Какое счастье, что был тогда один! Что никто не видел этой позорной ломки...

Самое странное, что далее – ямы в памяти. Не помню этапа назад в зону, общение с сокамерниками – сплошные

обрывки... Но именно в это время я начал писать «Царицу смуты» и первую главу, что без малейших изменений через восемь лет вошла в повесть, отправил в письме жене, оно передо мной, это письмо, и я тщетно пытаюсь понять, почему это вдруг тема народной смуты четырехсотлетней давности вдруг овладела сознанием узника, не имевшего ни крохи информации о надвигающихся событиях... А ведь овладела настолько, что как только прекратил писать – далее все в памяти отчетливо и подетально. Вот только не помню, почему прекратил писать. Возможно, из страха, что отберут, что пропадет...

Два события с определенно мистическим знаком случились в эти же дни.

Через неделю по моем возвращении в зону завыла овчарка на проходной. Выла подряд три или четыре ночи. Я, уже «вернувшийся жить», со смущением души вслушивался в этот вой и, не выспавшийся, весь последующий день тщательно скрывал от сокамерников и напавшую душевную маету, и сонливость...

Прошла еще неделя, и мы узнали, что умер начальник лагеря. Я решил, что он умер вместо меня. Или даже за меня, что теперь он – седьмой...

(Совсем недавно случилось нечто подобное. В день, когда мне делали сложную операцию, за тысячи километров от Москвы умерла женщина, много лет любившая меня.)

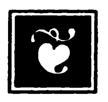
И еще. Однажды ночью, надломившись, обвалилась многометровая труба нашей кочегарки. Утром следующего дня мы из получаемой прессы впервые «выковыряли» информацию о том, что в стране происходит что-то чрезвычайное, именно чрезвычайное, а не просто необычное.

Я же вдруг решил, что надо раз и навсегда залечить горло, сам придумал способ залечивания и не отказался от него, как ни отговаривали. Весна уже прорезалась, но морозы не уходили. Я же, выходя на прогулку, заставлял себя – и это получалось – десять-пятнадцать минут спать на скамейке, чтобы свободно вдыхать морозный воздух. К лету от хронической ангины не осталось и следа.

Через полтора года я освободился под аккомпанемент государственного развала. Начиналась новая эпоха, в которой места себе я не видел.

Часть третья

Спор



Девяносто третий

Так назывался читанный в детстве роман Виктора Гюго. Роман о гражданской войне во Франции. Все симпатии автора на одной стороне – на стороне революции. Но то ведь роман, а не историческое исследование, и представитель противной стороны честен, смел, благороден. По совокупности действий он почти герой. Почти. Но...

«Нельзя быть героем, сражаясь против своей родины».

Таков приговор автора. И он едва ли справедлив, потому что в гражданской войне все стороны сражаются со своей Родиной. Одни с прошлой, другие с будущей. Некоторые умудряются воевать и с той, и с другой...

Но не всякая гражданская война, так сказать, революционна по сути. «Пугачевщина», к примеру, к революции никаким боком. И вовсе не по причине заведомой обреченности. То всего лишь хирургия запущенной болезни организма. Более удачная или менее удачная... И всегда не без последствий...

У «настоящей» же гражданской войны бывают две стадии. Вторая – это когда ценности, за которые кладут головы, определены и сформулированы до лозунгов, когда непримиримость ежемгновенно демонстрирует подвиги самоотверженности, когда примирение или даже временное замирение принципиально невозможно. Это война до окончательной победы...

Но существует еще и предшествующая стадия, когда социальные эмоции возобладают над неоперившимися программными установками, когда народные страсти провоцируются экспромтами только еще формирующихся сторон противостояния, когда самая дикая вспышка ярости отнюдь не исключает замирения или полной капитуляции одной из сторон. В сущности, это и есть состояние смуты – смущены души людские непониманием происходящего с ними – истинная потеха для бесов, ничто своим именем не называется, потому что еще и имени не имеет, но только кличку... Например: газета «Московский комсомолец»! В соотнесении с содержанием – анекдот! Вспомним, у «Ильфаипетрова» – в столовой название супа: «Позор убийцам Карла Либкнехта и Розы Люксембург!» А чем слабее: «Либерально-демократическая партия Жириновского»?! Мало того, что демократическая, но еще и либеральная! Все понимают, что бред, но на то она и есть – «кликуха», ее нельзя менять, в отличие от фамилий и псевдонимов, имидж вдребезги...

Целевые лозунги в эпоху смуты столь же фантасмагоричны: «Тащи всяк суверенитету от пуза!» Или: «Даешь взад Советский Союз!» Лексически будто бы взаимоисключающие, но в сути равно разрушительные, типично «смутные» призывы. Только первый углублял процесс развала, а второй закреплял уже свершившийся – каково было слышать в том же девяносто третьем ошалевшим от «на халяву» обретенной самостийности прибалтам и украинцам с «московской стороны» это самое «даешь взад»! А вот фиг вам! Мы, на всякий случай, – в НАТО!

Но собственно фантасмагоричны были эти два одиозных лозунга-призыва по причине равной нереальности их, так сказать, актуализации. «Самозахватчики» суверенности ныне пятятся, хотя при этом и «упираясь рогом». Иная реальность.

Относительно же «даешь взад»... Год или два тому видел по телевизору. Популярный политик обращается к Думе: «Поздравляю вас! Мы снова живем в союзном государстве!» Это после очередных переговоров с Белоруссией.

Вопрос. Как так может быть, что, к примеру, лично я, никак в политике не задействованный, не знающий деталей политического расклада, я изумляюсь скороспелости заявления, а зал, полный профессиональных политиков, этому заявлению рукоплещет?

Ответ. Как такового государственного бытия еще нет. Смута. И собственно политиков еще нет. Есть вчерашние «полевые командиры» смуты, у которых хватает ума не разбегаться по полям. Догадываются, что в поле могут оказаться с одними ординарцами. Только это и удерживает... Что-то с реальностью не так. Массы... То ли «хотят, но не могут», то ли «могут, но не хотят». И потому пусть пока да здравствуют конституционные нормы – гаранты того, что ни один раньше другого, слегка замешкавшегося, на лихого коня не вскочит и за шашку, задиристо сверкая очами, не схватится.

Но было и другое. Был наш «девяносто третий», который, по крайней мере москвичам, забыть никак невозможно...

Бережно хранимую видеокассету достаю из шкафчика, вставляю в магнитофон, и в этот вечер меня уже ничто иное не способно интересовать или волновать.

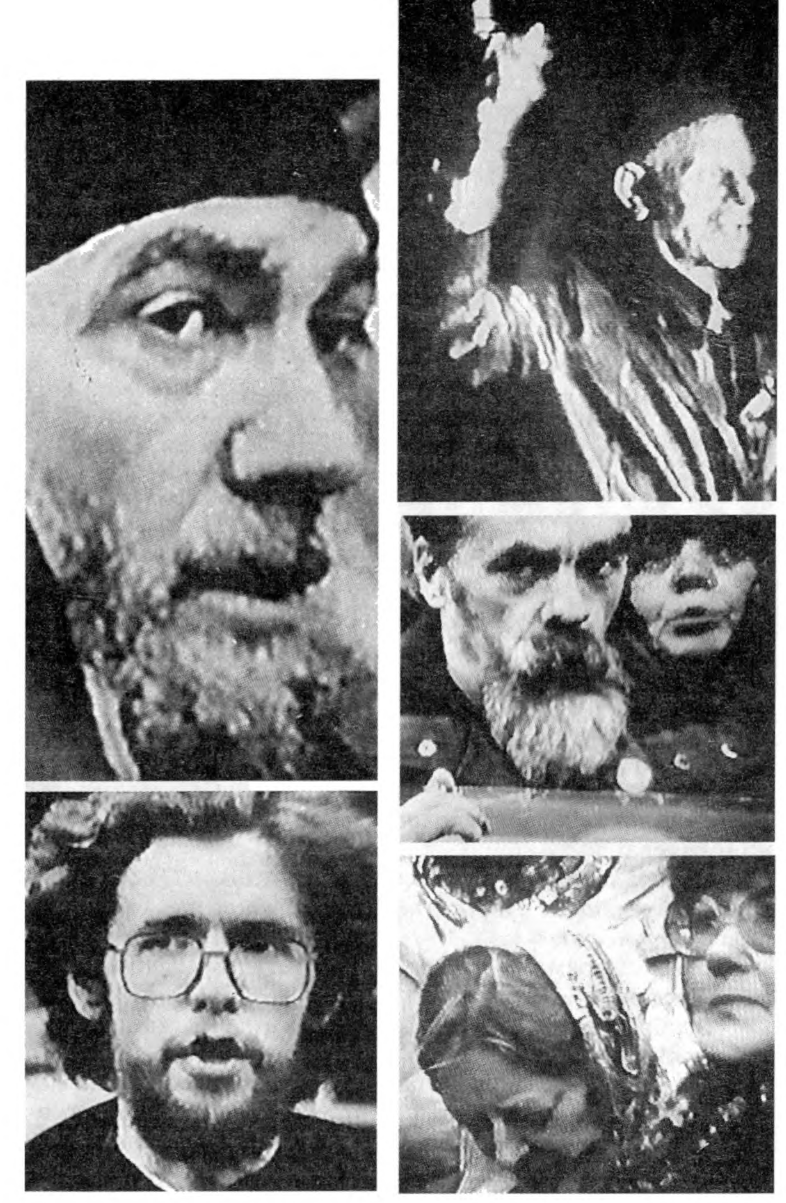
С 21 сентября несколько дней и ночей с перерывами на короткий сон и перезарядку батарей снимал я созревание мятежа, восстания, бунта, путча, наконец, – это кому как больше нравится – и финал... Естественно, только часть финала: постыдное поражение вождей, сдачу на милость победителя тех, кто почти две недели подряд «драли глотки» на балконе, возбуждая людей на подвиг, а теперь бросили их на горящих этажах умирать, даже не вспомнив о них во время переговоров о капитуляции.

В предшествующие капитуляции дни и ночи я видел и другие, любительские и профессиональные видеокамеры, направленные на балкон-пьедестал, откуда безостановочно вещали восставшие парламентарии. Но и до сих пор мне не попадались кадры, снятые мной. Возможно, они только у меня и сохранились, что, правда, маловероятно...

Ночь на 22 сентября. На балконе человек, ведущий митинг, объявляет, что слово предоставляется «депутату... нашей любимице... Светлане Горячевой».

«Мы, народные депутаты России, собрались сегодня здесь для того, чтобы стоять насмерть, до конца... Что бы это нам ни стоило... Мы не покинем это здание... Мы будем здесь... Мы выполним долг перед вами, перед народом... Даже если попробуют нас отсюда физически устранить, то это можно будет сделать только тогда, когда

У Белого дома.



Светлана Горячева.
Фото А. Пантелеева.



мы будем мертвыми... Дорогие друзья, хочу сказать вам, что мы это делаем ради вас, ради будущего России...

Да здравствует Россия, великая Россия! Да здравствует наше будущее государство, воистину демократическое!»

Как показала история всего человечества, лозунг «Умрем, но не сдадимся!» не только один из самых эффективных, но и самых осуществляемых, ибо содержит в себе великую магию, способную нейтрализовать мощный человеческий инстинкт – инстинкт самосохранения.

И как заканчивает свое пламенное выступление Светлана Горячева:

«Да здравствует Россия! Наша великая Россия! Да здравствует наше будущее великое государство, воистину демократическое!»

Итак – умрем, но не уйдем, не отступим. Ради народа, ради России...

И собравшиеся под балконом единогласно скандируют: «Ра-си-я! Ра-си-я!»

Что ж, история полна примеров гибели героев ради народа, ради масс. Кого могли не тронуть слова, произнесенные на срыве голоса маленькой женщиной на высоком балконе? Никто не может представить смерть «любимицы на-

Сажи Умалатова.
Фото А. Пантелеева.



рода», и не «ура» в ответ снизу, но «По-бе-да! По-бе-да!». Конечно, победа, если женщина готова умереть за народ, за Россию...

Но последующий оратор уже несколько по-иному изображает перспективу «парламентского сидения»:

«Мы будем здесь до победы. До того самого момента, когда этих государственных преступников в наручниках и под конвоем отведут в «Матросскую Тишину»!»

И далее, что очень значимо:

«Если мы продержимся здесь эту ночь до завтрашнего дня (имеется в виду 21–22 сентября), *то можем считать, что дело Ельцина завершено в нашей стране».*

Так говорил Михаил Астафьев, пожалуй, самый большой оптимист из народных вождей 93-го.

Не менее пламенная Сажи Умалатова, усомнившись в скорой капитуляции Ельцина, тем не менее тоже полна оптимизма:

«Я надеюсь, еще раз повторяю, с сегодняшнего дня наступит мир и покой...»

Заканчивается же речь Сажи Умалатовой несколько иначе, чем С. Горячевой:

«Умрем, но Родину отстоим! Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!»

Сергей Бабурин.
Фото А. Пантелеева.



Еще громче, еще вдохновенней толпа скандирует: «Савецкий Са-юз! Са-вецкий Са-юз!»

Между прочим, готовность стоять насмерть была заявлена только женщинами. Ни один из выступавших на балконе мужчин такого финала не предусматривал...

Ночь от ночи, день ото дня с 21 сентября по 3 октября все реже будет звучать с балкона осажденного дома слово «Россия» и все чаще «Даешь Советский Союз!».

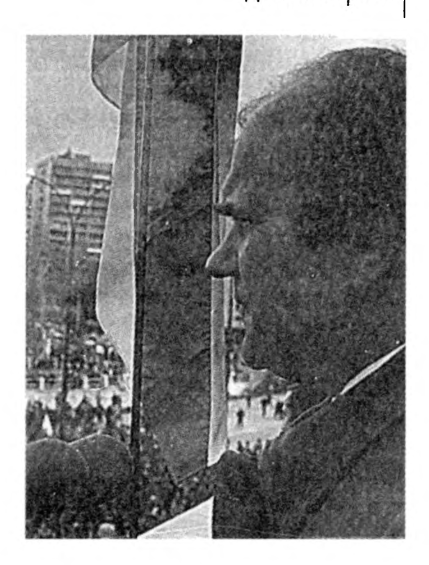
У меня в кадрах по первым дням осады еще мелькают по меньшей мере полдюжины разных знамен... В последних кадрах – уже один красный цвет...

Кого-то это очевидное покраснение тревожит. И вот в кадре Сергей Бабурин.

Не на трибуне. Среди народа. Он привычно спокоен, говорит негромко, но как всегда со значением:

«Если придут люди, я не очень в это верю, но вдруг, но если сюда придут люди с трехцветным флагом, который нынче является государственным, давайте спокойно воспримем, чтобы сейчас все знамена были на защите конституции. Все без исключения. И красные, и белые, и трехцветные – любые! Потому что мы должны сообща защитить конституционный строй».

Геннадий Зюганов.
Фото А. Пантелеева.



А далее так:

«Сейчас уже поступают сообщения с Дальнего Востока и из Сибири, и назначаются практически во всех регионах сессии Советов, идут собрания во всех воинских частях, и я думаю, через... – тут С. Бабурин смотрит на часы, – *час у нас будет перечень тех Советов или тех областей и краев, которые уже определились в своих позициях. На сегодняшний момент ни один регион Ельцина не поддержал».*

И тут, конечно, – УРА! Безусловно поспешное, поскольку куда важнее было бы знать, какие регионы и в какой форме готовы поддержать восставших...

На этот вопрос попытался ответить Зюганов:

«Друзья! Мои коллеги только что завершили разговор со всей страной... Будьте уверены, Советы народно-патриотических сил, партии и движения, промышленники и производственники, рабочие и крестьяне, социалисты и анархисты – все единым строем (!) *выступят за сохранение целости страны, за защиту конституции, за наш Верховный Совет и Съезд!»*

Промышленники и производственники... социалисты и анархисты... А коммунисты? Ни о коммунистах, ни о коммунизме или социализме – ни слова. С точки зрения политической тактики выступление Зюганова безусловно было са-

мым изящным, поскольку далее исключительно в утонченной форме глава российских коммунистов высказал все, что он думал об этом самом съезде, которому столь весьма необоснованно предрекал всенародную поддержку «единым строем»:

«Когда Съезд принимал решение о том, чтобы ввести президентскую форму, – он был хорош...»

То есть когда он (Съезд) предал идею социализма...

«Когда он утвердил закон о выборе президента за один месяц, чего отродясь не было, он тоже был демократичен...»

То есть когда холуйничал перед президентом...

«Но когда Съезд увидел, куда эта камарилья ведет страну...»

То есть когда спохватился и понял, что натворил...

«...он оказался неугодным».

Итак, активного участия своей партии в событиях Зюганов не обещал. На радио «Свободная Россия» мне как-то предлагали прослушать выступление Зюганова, где он рекомендовал членам КПРФ воздержаться от участия...

За все время активной смуты я для себя отметил только два воистину мудрых политических решения. О втором скажу позднее. Первым же, без сомнения, было решение Зюганова вовремя уйти из Белого дома и сохранить партию от «попутного» разгрома Ельциным в случае ее причастности к мятежу.

Как известно, история не знает условно-сослагательного наклонения. Но мы-то его знаем и то и дело применяем к истории, и в этом применении всегда есть свой, особый смысл.

Так вот, если бы дело Белого дома выигралось, то, без сомнения, через неделю у власти оказались бы коммунисты как единственная относительно сплоченная социальная группировка, проникнутая достаточным единомыслием, чтобы выдавить с верхнего этажа новообразовавшейся власти всяких разных и разнообразных, а всех прочих «кооптировать» в партию и подчинить их партийной дисциплине.

Еще когда под балконом с камерой в руках слушал выступление Зюганова, ожидая и не дождавшись от него коммунистических призывов, пытался вспомнить нечто похожее в прошлой истории... Вспомнил. Лето 1917 года. Реше-

ние партии временно снять с повестки дня лозунг «Вся власть Советам»... Опять же лето того же года и мятеж, на плечах которого ленинцы надеялись прийти к власти...

* * *

Не уверен, представится ли еще удобный случай высказать личное мнение о Г. Зюганове.

Если в сонме самозванцев, прохвостов, рвачей и проходимцев у нас все же сформировалось несколько профессиональных политиков западного образца, что само по себе не плохо и не хорошо, то первый из таковых – несомненно, Г. Зюганов. Все зрящие телеящик запомнили мужеликого крепыша, умеющего со знанием дела являться и гневным трибуном, и интеллигентным собеседником, и настырным спорщиком, и милягой-плясуном. Последнее, впрочем, не оригинальность. У нас и Ельцин выплясывал, и Жириновский солировал...

Я же о другом. Последние ельцинские перевыборы проходили под знаком неизбежности победы коммунистов. То есть Зюганова. Запомнилось интервью с А. Невзоровым. Интервьюер спрашивает:

– Как вы думаете, вообще, на что Ельцин рассчитывает?

Невзоров только руками разводит:

– Самое большое, на что он может рассчитывать, это процентов на пятнадцать.

Меня, помнится, тогда поразил сей оптимизм. Лично я был уверен, что Ельцин останется у власти. Победит или не победит, но останется. За ним, за Ельциным, словно числилась какая-то «незавершенка», тень его еще была чуть-чуть впереди него, а не сзади – тень его эпохи...

В патриотическом же лагере скорого торжества не скрывали. Зюганова в полном смысле зацеловывали. Рассказывали, как в одном общественном месте весьма известный литератор стучал кулаком по столу:

– Этого гада я лично буду допрашивать!

Имелся в виду некто из ельцинской команды. Вот так! Уже и допрашивать готовились. Оно и верно, накопились людишки, к кому у многих множество весьма строгих вопросов... А у литераторов, у некоторых по крайней мере, еще с прежних времен сохранилась, а в нынешние времена

усугубилась мечта актуализоваться этакими полутайными советниками власти. Как в еврейском анекдоте: оставаться писателем, но еще и немножко советовать... хотя бы и на общественных началах...

Нужно отдать должное, Зюганов держался много скромнее своих адептов.

Проиграл. И что же? На другой день он уже был объявлен виновником провала. Еще вчера любовью слезившиеся глаза теперь при его имени выдавали прищур разочарования. Любимец народа как-то сразу стал никем, если не хуже того...

Кто другой отступился бы. Или, во всяком случае, ушел бы в длительный отпуск-отдых на поправку нервов.

Мне же повезло быть свидетелем прелюбопытнейшей сцены. На третий или на пятый, не помню, день после выборов в одном общественном месте проходило некое культурно-патриотическое мероприятие. Я пристроился к одному из хвостов очередей в гардероб и тут же увидел – вошел Зюганов в сопровождении всего кого-то одного. Еще я увидел, что хвосты очередей оглянулись, все увидели всего лишь вчерашнего кандидата в президенты России... и ни один – клянусь, ни один! – не только не подошел, ни один даже не поздоровался... Все продолжали стоять-топтаться... И Зюганов, вчерашний вождь-любимец патриотов, как простой смертный встал в очередь, и выстоял ее, и так же в сопровождении всего лишь одного человека ушел в зал...

Будь я лично знаком с ним, исключительно по протесту подошел бы и пожал ему руку хотя бы за то, что, как нынче модно говорить, человек умеет держать удар и знает подлинную цену любви и нелюбви политиканствующей публики.

Прошло время, и он снова набрал очки. Без особого труда, потому что за его спиной равных ему нет, за его спиной ортодоксы, которые только на плечах искусника-политика и могут оказаться при власти и, оказавшись да укрепившись, хорошо, если по-хорошему, а то и по-плохому спровадят умника на пенсию. Это если он сам не переиграет их всех и не отбрыкнет... Как многажды случалось в истории. И в принципе не исключаю, что если нынешний президент не справится с ситуацией, то или вождь коммунистов на плечах партии может прийти к власти, притоптав партию до социал-демократического состояния, или

партия на плечах вождя войдет во власть, затоптав своего непоследовательного, неортодоксального рукопутеводителя.

Таковое, впрочем, могло произойти и в девяносто третьем, если опять же подпустить в соображение условно-сослагательное наклонение...

Между прочим, через год или чуть более после событий октября девяносто третьего при встрече с А. Баркашовым я задал ему вопрос: как он решился встать под знамена столь «некомпетентных» политиков, как Руцкой и Хасбулатов? А. Баркашов только отмахнулся в том смысле, что где бы они оказались, эти руцкие и хасбулатовы, назавтра, когда б дело «выгорело».

Что ж, и у Баркашова были свои основания для использования ситуации, тем более что именно баркашовцы продемонстрировали в известных событиях и дисциплину, и организованность, и способность к установлению «революционного» порядка на тех микротерриториях, что были временно отвоеваны Белым домом. В телепрограмме когда-то «популярной» Беллы Курковой, где она всякий раз срывалась на истеричный визг, комментируя события октября 1993-го, именно в этой программе свидетельствуют работники мэрии, что с захватом первых этажей тут же начался откровенный грабеж ларьков... И что отряд всего лишь из пятнадцати человек – баркашовцы во главе с каким-то Сашей – в считаное время взял под контроль это огромнейшее здание, дав возможность всем материально ответственным лицам беспрепятственно выйти из мэрии с деньгами и ценностями и установив охрану у кабинетов, где «заседали» ельцинские эмвэдэшники, не допустив над ними расправу. Приняв самое активное участие в событиях, баркашовцы сумели не только избежать больших потерь, но фактически и «не засветиться» перед множеством телекамер...

* * *

«Белодомовцы», коммунисты, баркашовцы всяк на свой лад имели намерение изменить, как ныне модно говорить, парадигму российской истории. Кому-нибудь это, возможно, и удалось бы, когда б исторический фатализм не скла-

дывался из непросчитываемого количества векторов – обстоятельств, против которых «не попрешь». И главнейшее из обстоятельств – духовное состояние народа, оно и решило судьбу события. К народу призывал и вопил о помощи «парламент» – народ не откликнулся. И на действия Ельцина не отреагировал. Когда говорят, что народ-де безмолвствует, то это вовсе не означает, что он не действует. Народ – вершитель истории. Чем не цитата из учебника по историческому материализму!

Потому не Ельцин с танками и спецназом покончил с инициативой последнего Совета депутатов, но именно он, народ, как бы при этом он ни сочувствовал «последнему».

Еще есть вопрос об ответственности за последствия, в данном случае – кровавые последствия. Но и этот вопрос тоже не столь однозначен...

Но прежде еще о событиях, предшествовавших кровавой развязке, поскольку в них с большей или меньшей отчетливостью просматривается финал..

Я снова включаю записи последних дней и ночей сентября 1993-го.

Вот объявляется с трибуны, что Ельцин больше не президент. И далее:

«Человек, совершивший тягчайшие государственные преступления, человек, посягнувший на конституцию Российской Федерации, втоптавший в грязь закон, справедливость и человечность...»

И далее в порядке очереди.

Горячева:

«...ноги вытерли о нашу конституцию...»

М. Челноков:

«Друзья, вспомним некоторые моменты деятельности теперь уже бывшего президента России Ельцина. Он почти каждую неделю нарушал конституцию Российской Федерации...»

Степанков:

«...должны выступить против антиконституционных действий президента...»

А. Митрофанов от имени политсовета Фронта национального спасения:

«...Фронт национального спасения обращается ко всему народу выступить на защиту конституции...»

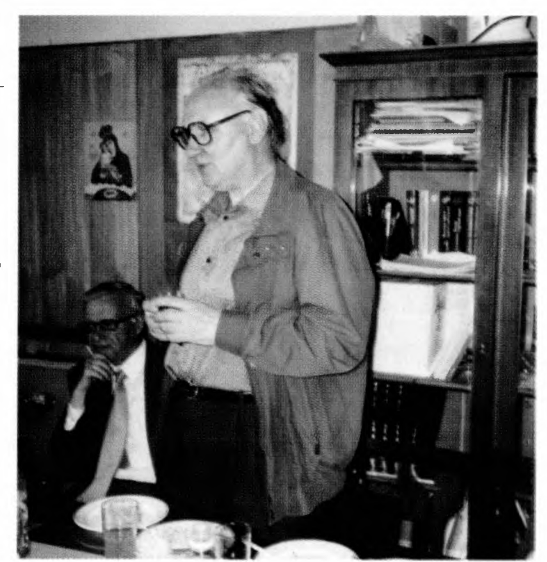


Леонид Иванович Бородин.
Конец 1990-х гг.



Младшая дочь Оля во время второго ареста Леонида Бородина. *1982 г.*

С дочерью Ольгой.

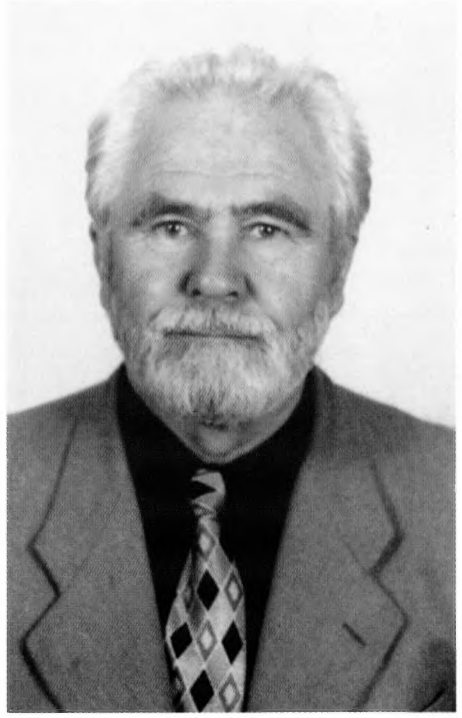


Александр Викторович Недоступ (стоит) — «... из тех московских врачей, кто принимал нас — доходяг из лагерей — и приводил в божеский вид, и опекал по мере сил и возможностей». *В редакции журнала «Москва». Конец 1990-х гг.*



Директор издательства «Посев» Николай Жданов с автором. *Венеция. 1989 г.*

На вечере в Доме литераторов: Игорь Шафаревич, Владимир Осипов, Валентин Распутин, Леонид Бородин,Владимир Крупин.



Владимир Николаевич Осипов, издатель журнала «Вече».



Встреча с русскими эмигрантами в США. Леонид Бородин, Станислав Куняев, Олег Михайлов, Виктор Лихоносов. *1990 г.*

Выступление в Рахманинском зале. *США. 1990 г.*

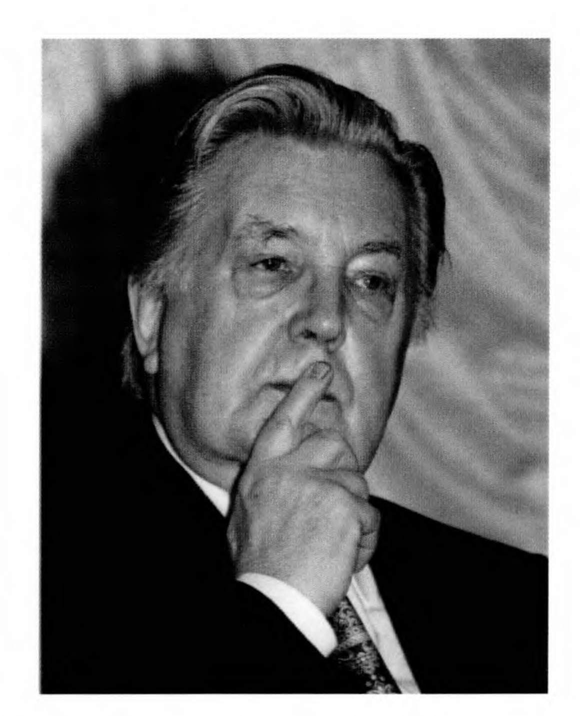


Лагерный поэт Валентин Соколов по кличке Валентин Зэка.

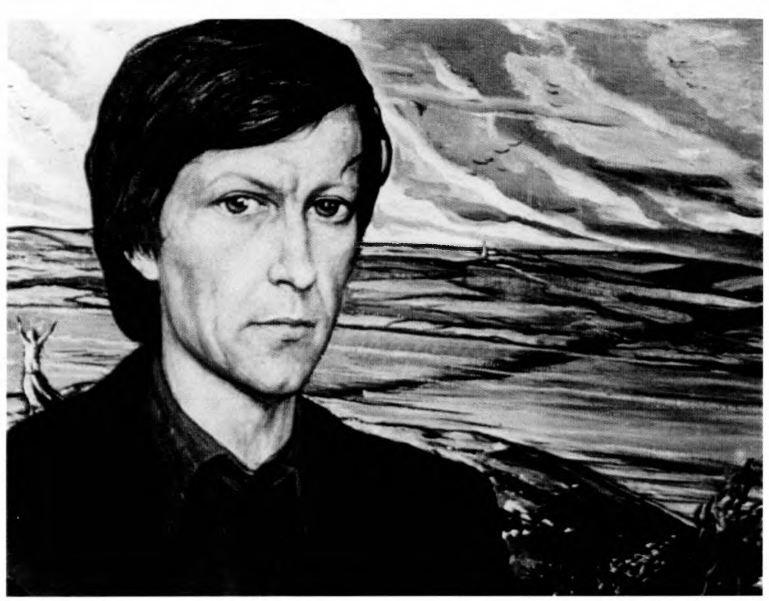
На могиле Валентина Соколова. *Город Новошахтинск. 1994 г.*



Илья Сергеевич Глазунов.



Портрет Леонида Бородина кисти Ильи Глазунова. *1980 г.*



Три главных редактора журнала «Москва»: Леонид Иванович Бородин, Владимир Николаевич Крупин (в 1989—1992), Михаил Николаевич Алексеев (в 1968—1989).



Книга Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия», с которой полемизирует Леонид Бородин.



Владимир Алексеевич Солоухин.



Георгий Жженов читает стихи Леонида Бородина.
Областной Владимирский театр. Конец 1990-х гг.



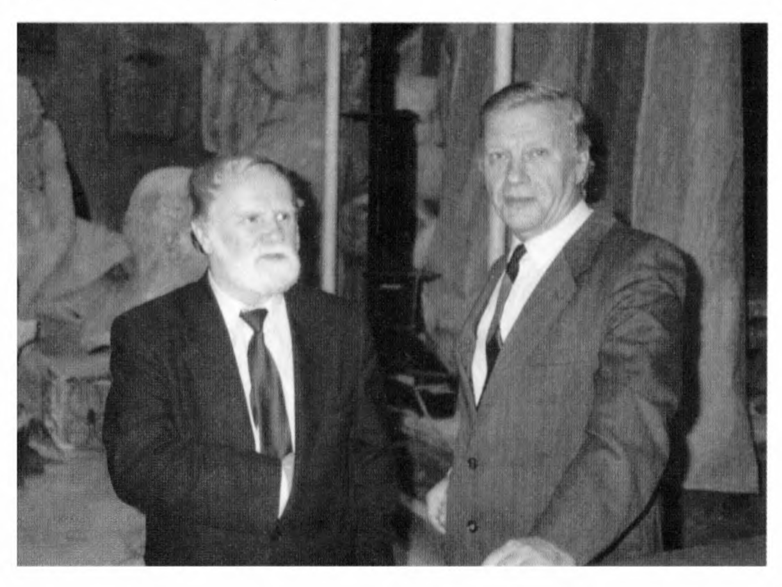
С отцом Тихоном (Шевкуновым), вручившим Леониду Бородину орден Святого Сергия Радонежского.

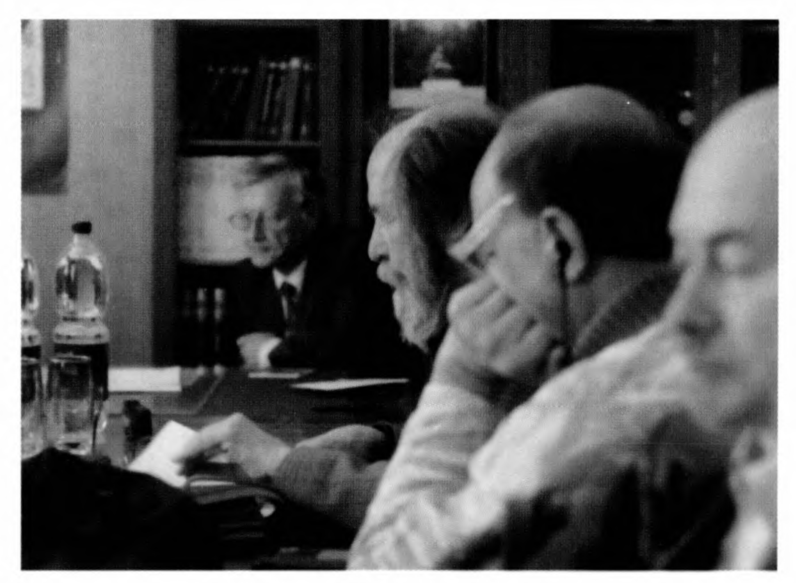
Вечер русской песни с Татьяной Петровой.



Прогулка по Питеру со скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным (слева).

Василий Белов и Леонид Бородин в мастерской скульптора Михаила Константиновича Аникушина.





Встреча с Александром Исаевичем Солженицыным в редакции журнала «Москва». *22 мая 1999 г.*

Леонид Бородин, Виктор Астафьев, Валентин Курбатов.
Село Овсянка Красноярского края. Конец 1990-х гг.



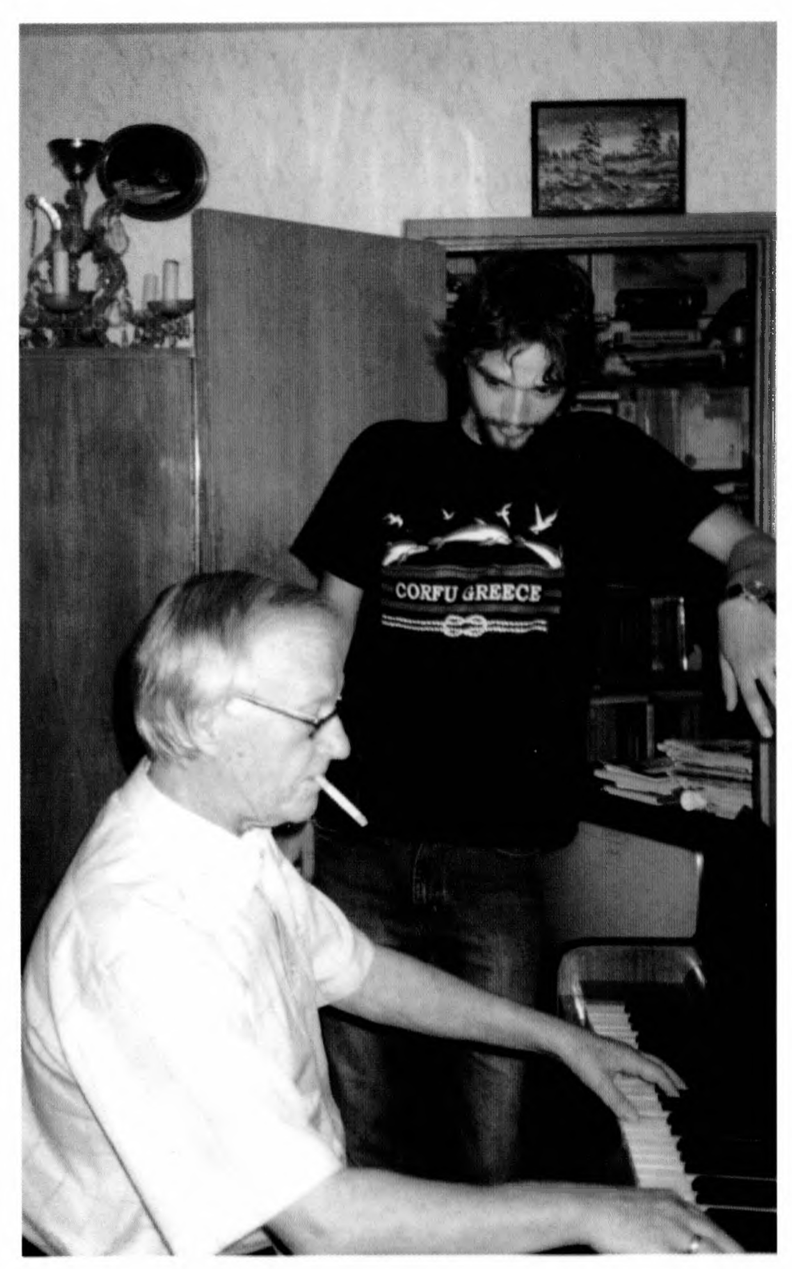
Лауреаты премии А. И. Солженицына — Леонид Бородин
и Александр Панарин с Натальей Дмитриевной Солженицыной. *2002 г.*

Поездка писателей в Чечню. *2001 г.*



Александр Панарин, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер,
Леонид Бородин на торжестве по случаю вручения премии. *2002 г.*

В гостях у моряков Черноморского флота. *1998 г.*



С внуком Василием. *2003 г.*

Зюганов:

«...все единым строем выступят... за защиту конституции, за наш Верховный Совет...»

Бабурин:

«...мы должны сообща защитить конституционный строй...»

Н. Павлов:

«...конституция на нашей стороне...» и т.д.

Что ж, в какой-нибудь «франции» можно поднять «весь народ» на защиту конституции. Но в России... Вспомним: «Все на защиту Учредительного собрания!» Было... Нет, за такие «мелочи», как конституция, «учредиловка» или говорильня-парламент, как бы он там ни назывался, русский народ класть головы не пойдет.

За Россию-матушку, за царя-батюшку, за веру православную и торжество всемирового коммунизма, за счастье всего человечества – это мы можем!

Возможно, именно Зюганов, исключительно изящно лягнувший Верховный Совет за прежние прегрешения, но закончивший свое выступление здравицей Съезду, возможно, он подтолкнул Н. Павлова на откровение, никак не вписывающееся в общую тональность всех прочих речей, звучавших с балкона Белого дома в течение этих сентябрьских дней девяносто третьего.

Сравним.

М. Челноков:

«Друзья, товарищи! Свершились великие события, которые будут записаны в анналы истории...» и т.п.

И вот Н. Павлов:

«Больно, стыдно и очень грустно мне сегодня, потому что в течение трех лет, в течение трех долгих лет мы колебались, мы видели, как шаг за шагом, как день за днем попирается конституция (опять конституция!)... *И мы все что-то ждали. Мы очень долго ждали и наконец дождались. Мы отбросили колебания, мы отбросили страх* (!), *и мы поступили так, как должны были поступить давно...»*

Разумеется, не покаяние было целью выступления Н. Павлова, а иначе мог бы он припомнить, как, забегая вперед своего паровоза – Ельцина, то есть до Беловежско-

го сговора, демократический Верховный Совет Российской Федерации совершил подлинное государственное преступление, заключив договор «на государственном уровне» России с Бурятией. За одно это он, Совет, должен бы быть разогнан как предательский по отношению к исторической России. Только в данном случае некому было разгонять, поскольку Верховный Совет того времени услужливо расстилал дорожку своему тогдашнему вождю в ту самую Беловежскую пущу.

Как ни оценивай политику нынешнего президента, но что было бы, когда б нынешняя Дума или Совет Федерации заключили подобный договор, к примеру, с Тувой или Якутией?

Однако ж смута – на то она и смута... «Мутно небо, ночь мутна...» Это как если бы у всех кораблей, бороздящих моря и океаны, одновременно вышли из строя компасы, исчезли звездные ориентиры и погасли маяки...

И еще о «безмолвствующем народе».

Напрашиваются два взаимоисключающих толкования. В итоге семидесятилетней «воспитательной работы» народ России превратился в «советский народ», то есть в народ, характеризуемый прежде прочего своей политической ориентацией. Можно ли представить: в Англии – королевский народ; во Франции – республиканский народ; в Америке – президентский народ? Сущий фокус еще и в том, что «советской власти», то есть политической власти Советов депутатов трудящихся, никогда не существовало – был филиал коммунистических органов власти, не только подконтрольный и подотчетный коммунистическим органам – райкомам, обкомам и т.д., но и формирующийся поименно ими же – райкомами, обкомами...

То есть «советский народ» по сути – удивительнейшая мифологема, но при всем том – «работающая» или, по крайней мере, работавшая мифологема. Казалось бы, исторически сравнить не с чем. Разве что «американский» народ, назвавшийся по материку, каковым обладает лишь частично, хотя, конечно, это несколько иной случай, однако ж тоже весьма многозначительный...

Но вспомним, какие слова произносил бунтовщик или даже разбойник, прежде чем положить голову на плаху:

«Прости, народ православный!» *Не русский* и уж тем более *не российский* – **православный**! Так что мифологема «советский народ» не упала с потолка. И никто из хитроумных, сев за стол и закатив глаза к потолку, придумать ее не мог. Она объявилась и родилась естественно и мистически (то есть противоестественно) одновременно. Российский коммунизм в его пиковые годы, в сталинские разумеется, был дивной калькой русского царства, где вместо Богоданного царя – данный судьбой и исторической неизбежностью вождь в сане святого, вместо Откровения – марксизм, вместо Святой Троицы – великая троица Маркс–Энгельс–Ленин. И главное: вместо религиозного, православного миропонимания – материалистическая концепция бытия. Ей мы и обязаны всем, что с нами происходило самого дурного, всем, что происходит с нами ныне и, по всей вероятности, еще долго будет происходить. А происходить еще будет. Бог знает что и сколько, потому что само по себе материалистическое миропонимание, утратившее коммунистическое воодушевление, утратившее дух бунта против Бога, способно мгновенно скисать до стадии самого мерзкого, самого дикого социального маразма. Именно протестом против этого завоевывающего страну маразма объясняется всплеск коммунистической идейности. Но еще в большей степени он объясняется невозможностью обращения-возвращения подавляющего большинства народа из состояния советскости в состояние православности. Материалистическое сознание, утратившее вдохновение люциферического бунта, парализует в человеке, если так можно сказать, те центры в душе, посредством которых душе открывается трансцендентное...

Вот так, через паралич гражданского чувства, через «советскость без коммунизма» и через уже не советскость, но и не православность можно попытаться просчитать причину равнодушия масс к событиям в Москве и в августе девяносто первого, и осенью девяносто третьего. Это о массах. Но несколько слов и о вождях.

Напоминаю, что только из женских уст (Горячева, Умалатова) прозвучала в девяносто третьем с балкона Белого дома готовность умереть или победить. Мужчины-вожди в победе не сомневались или, по крайней мере, сомнений не высказывали. Но как только усомнились, тут же и сдались на милость победителя, оставив умирать на горящих этажах

ими распропагандированную молодежь. Это к вопросу ответственности за пролитую кровь.

Видел в телевизоре по-детски торжествующее лицо Ельцина. Противно. Страшущий Черниченко с его «Раздавить гадину!».

Но вот на днях Хасбулатов на фоне оставленных ему Ельциным апартаментов недоумевает, почему это никто не обращается к нему за помощью в регулировании чеченской проблемы. Ведь он не просто известный человек, но так или иначе личность историческая...

Только руками и разведешь.

А несколько лет назад В. Аксючиц, тогда перешедший от Немцова к Руцкому, возымевшему намерение «по новой» войти в большую политику, пригласил меня и еще несколько человек, в той или иной мере социально функционирующих, встретиться с Руцким. По-домашнему, то есть на его квартире. Мы пробыли там достаточно долго, а вспомнить... практически нечего. Помнится, демонстрировал бывший генерал книги о науке политики, Макиавелли и пр., что, дескать, штудирует, что готов к инициативе высокого уровня... И еще запомнился громадный цветастый попугай, который периодически орал на всю квартиру истинно человеческим голосом: «Ельцин дурррашка! Ельцин дурррашка!»

Впечатление профанации... Я был тогда удивлен, что В. Аксючиц, всегда тонко чувствовавший политическую конъюнктуру, решился на такую бесперспективную ставку... Впрочем, как и журнал «Наш современник»...

Нет, «мальчики кровавые в глазах» – это не про вождей мятежа (или восстания) девяносто третьего и не про победителей – разорителей страны. Но и те и другие запомнили, что народ «воздержался»... Только «победители» это поняли раньше и поспешили решить проблему собственными силами. А вожди побежденных, скорее всего, толком так ничего и не поняли, потому и вины своей не осознают, а на тот же народ, их не поддержавший, все и валят. Дескать, не созрел мужик до «булыжника – оружия пролетариата», вот и продулись, да, слава Богу, уцелели, ничего из имевшегося не потеряв.

Ранее говорил, что за десять лет смуты признаю только два политически ловкомудрых решения. Первое – решение Зюганова вывести свою партию из авантюры. Вто-

рое – несоизмеримо мудрее: решение Ельцина не просто помиловать, но и восстановить во всех правах и возможностях своих врагов, вождей событий девяносто первого и девяносто третьего. Именно таким способом он избавился от них навсегда. Помиловав, он растоптал их морально. В политике где-то на среднем уровне кто-то ныне имеет позицию, но в вождях более никому из них уже не бывать. Зато Г. Зюганов, верно просчитавший вариант девяносто третьего, и по сей день, как и десять лет назад, человек номер два с той же вполне обоснованной претензией стать номером первым.

Но и его неоднократные полупризывы-полунамеки «подняться единым строем» против гадкого антинародного режима безрезультатны. И тут напрашивается другое объяснение «народного безмолвствия», каковое мне лично больше по душе, чем предыдущее – «советскость, несоветскость» и тому подобное, – больше по душе, потому что оптимистичнее.

Я говорил о том, что не «поднять» русский народ за конституцию, за парламент, о чем твердили с балкона Белого дома в том злополучном октябре. Но народ, что далее Московской окружной, этих призывов и не слышал. Что же тогда слышал, что видел он в том яростном противостоянии, каковое завершилось танковыми залпами и кровью москвичей?

Очень хочется думать, что каким-то особым инстинктом народ видел именно смуту, в которой моменты высокой правды замешаны-перемешаны с «политикой», где и страсти, и страстишки, где «званца» от самозванца отличить мудрено; что не только большой всероссийской кровью попахивает от ошалевшей Москвы, потому что лицо «врага» неотчетливо, но и братоубийством, когда всяк всякому может претензии предъявить с куда большей необоснованностью, чем то было, положим, в восемнадцатом году. Иначе говоря, в народе сработал инстинкт именно народного самосохранения.

И если, теряя ныне по миллиону в год населения, мы все же выберемся из трясины без гражданской войны, то долговременное народное «безмолвствование» будет полностью оправдано. А если не выберемся... О том и думать тошно...

Виктор Анпилов.
Фото А. Пантелеева.



* * *

Нажимаю на кнопку пульта, вспыхивает экран телевизора, и я снова на площади перед Белым домом. Роение и гудение толпы. Пламенные речи с балкона... Предварительно не настроил камеру, какой это день – не узнать. Но не первый уже. С балкона зачитываются постановления и обращения. Когда у микрофона оказывается Анпилов, балкон отчего-то пустеет. Анпилов кричит, впечатление, что давится криком:

«...они придут не только с дубинами, они придут с оружием... и мы не отдадим... это... сами... мы не отдадим оружие тем девчонкам, которым раздавал Ельцин девятнадцатого августа. Нам оружие в руках малолетних проституток не нужно. У нас есть военные люди. У нас есть люди в дружине, прошедшие военную службу... Мы еще раз требуем права умереть за Родину с оружием в руках! Оружие! Народу!»

Ближайшие к балкону ряды подхватывают и скандируют: «Оружие народу! Оружие народу!»

Малолетние проститутки с ельцинским оружием в руках – это еще тот образ! И он срабатывает – мгновенно нарастает возбуждение и... отслоение... Часть толпы оттусовывается буквально на несколько шагов от передних рядов

и становится как бы сама по себе. Теперь понятно, почему опустел балкон перед анпиловским выступлением.

Помню в этот момент рядом со мной мужчину. Возраст где-то под семьдесят, но крепок. Лицом этакий типичный русский мужик, мне всегда такие нравились. По жизни перед ними робел. Без сомнения, из рабочих, профессионалов-умельцев...

Но вот что значит – типичность! Не успеваю я поймать его в объектив, как его уже оттесняет компания иностранцев с профессиональными видеокамерами. Оказывается, французское телевидение. Его подводят к зданию, вот он на ступеньке, хорошо освещен «юпитерами»... Я протискиваюсь и тоже снимаю.

«...чтобы мир узнал об этой... беспредельной... геноциде, который творится сегодня перед русским народом и народами нашей страны...

...коммунистические идеи, ленинские идеи... они бессмертны... и если применить коммунизм... он в мире существует в других странах, только в другом виде. Мы коммунисты – чистые коммунисты, обновленные коммунисты... партия... Мы признаем и религию, и хорошего предпринимателя, который работает своим трудом... Но мы никогда не позволим, чтобы люди жили за счет другого человека. Мы коммунисты-труженики. Коммунисты были разные. Были пролетарские, были буржуазные. Мы – пролетарские. А буржуазные сегодня сидят в Кремле и говорят, что они не коммунисты. Они были коммунисты и спортили коммунистическую идею в целях своего обогащения, а сегодня они окончательно захватили эту власть и больше думают... Это уже фашисты.

Спасибо, товарищи! Передайте, пожалуйста, во Францию, что наш русский народ всегда был, есть и будет с Францией. А мы любим Францию. Ваши летчики воевали в этой войне отлично. Я видел, как они воевали. Это были герои. И мы довольны, что они защитили нашу Родину от фашизма. Спасибо! Все!»

Никак не хочу комментировать. Надеюсь, он выжил... А вот дневная съемка. Слышу свой голос: «Двадцать шестое сентября». Это я спохватился, решил фиксировать... На площади ни клочка свободного места. Повсюду красные флаги и знамена. На балконе у микрофона Сажи Умалатова:

«...Мы не пойдем ни на какие компромиссы!»

Но далее произносится нечто весьма странное:

«...Если мы сегодня не защитим, не отстоим, – нашу страну просто уничтожат. Ельцин специально и сделал... Помните, как девятнадцатого августа был сделан путч специально, чтоб развалить Союз. То же самое сделано и сегодня...»

Насчет Ельцина, специально сделавшего путч, чтоб развалить... Это похлеще вооруженных малолетних проституток!

Кто-то сообщает:

«...с нами сын автора гимна Советского Союза Никита Михалков...»

Каждый последующий выступающий уже не говорит о противостоянии, но о борьбе. И когда кто-то, кажется Ачалов, произносит слово «переговоры», его освистывают. Вот слово предоставляется «сопредседателю Фронта национального спасения... Александру Проханову». Ну, если А. Проханов, то это непременно концепция.

«Братья! Теперь даже младенцу понятно, почему Шеварднадзе послал свои самолеты-штурмовики на пляжи Сухуми и на бреющем полете расстреливал греющихся на солнце женщин и детей. Потому, что он сотоварищ Ельцина! Теперь нам понятно, почему Снегур послал свои бомбардировщики и гаубицы на города Приднестровья и в упор расстрелял цветущие районы и кварталы городов Бендеры и Дубоссары. Потому что он духовный брат Ельцина! Сейчас понятно, почему в одночасье Гайдар и Шумейко вынули деньги из карманов трудящихся, раздавали льготные криминальные лицензии торговцам русской нефтью, золотом и молибденом, которые ушли навсегда за рубеж, обогатив мировую буржуазию.

Этот тихий бархатный государственный переворот без стадионов, без зрителей, без расстрелов, без пыток патриотов, – это первая буковка в кровавом алфавите Бориса Ельцина. Знайте, завтра сюда придут стальные каски и выдавят вас всех отсюда. Они будут штурмовать Белый дом, и они не остановятся перед пролитой кровью.

В этот переворот вошла вся самая мерзкая сила мира, весь сатанизм, все криминальное, гнусное, вырожденческое, затаившееся в самых темных углах истории человече-

Александр Проханов.
Фото А. Пантелеева.



ства. Они выползли отсюда, как мировые пауки, тараканы, жабы...»

Именно эти самые прохановские жабы и пауки вдруг подсказали-напомнили, что, когда пробирался сквозь толпу, глазом вроде бы и заметил, но тем не менее упустил все же что-то важное и особенное. С бугра, что в конце площади, огляделся по сторонам и увидел – вот оно! В дальнем углу площади, с толпой соприкасаясь, но все же и в стороне от толпы, кружок людей – человек пятнадцать-двадцать...

Когда оказался рядом, услышал и увидел: поют «Отче наш», поют тихо, и это не хор – словно каждый сам по себе, в руках иконы Божьей Матери, но лишь у нескольких, у большинства – портреты последнего русского царя. Почти над головой одной из женщин, что с царским портретом, развевается красный флаг. Это какой-то знаменосец тоже, как и я, подошел, слушает, и выражение лица то же, что у молящихся, – спокойная скорбь, никак иначе сказать не могу.

Когда я это пишу, я не знаю, получатся ли фотографии с видеокассеты, и если не получатся, досада великая, потому что каждое лицо неповторимо... За спиной крики, лозунги, эмоции... Там настроение. Политическое настроение. Правильное или неправильное, праведное или неправедное – вторично, потому что здесь... Здесь знание, молитвен-

ное знание, высшее, потому что оно не про события и судьбы, оно о сути и смысле человеческого бытия вообще, а это «вообще» неформулируемо, но только переживаемо!

И теперь вот камера в моих руках неуместна...

В раннем детстве читал рассказ: парень – партизан, отбился от отряда, пришел в свою деревню, обнаружен и окружен врагами. Ему предлагают сдаться. Но он даже будто не слышит, парализованный отчаянием, безысходностью... Бросает в окно гранату. Она отчего-то не взрывается... Дальше не помню. Зато на всю жизнь запоминается ощущение отчаяния, безнадежности, бессилия.

И потом – Бог ты мой! – сколько раз снилась мне сходная ситуация: я в помещении... один или не один... в окружении... обреченность... скорая гибель – смерть навсегда...

А еще герои детства: «панфиловцы»... и Зоя... и «Молодая гвардия»... И еще Джон Браун[49], окруженный со своими сыновьями в помещении арсенала... И последний отряд французов на Ватерлоо[50], окруженный англичанами и не видящий смысла жить...

Проживая жизнь оптимистом, всегда имел в резерве ситуацию поражения, личного поражения и гибели. Иметь-то имел, да не шибко верил. Но вот оно, подано мне на блюдечке, оно – мое сновидение – судьба. Надо только войти в дом. И уже не выйти, потому что «поднятые руки» – такого ни в одном сне не бывало. Даже если захочу, не смогу опоганить сон-обещание.

Да вот беда – сны-то мне снились «безыдейные»! А тут надо мной красные флаги и лозунги про СССР, и вожди-самоделки, за душой у которых ничего, кроме «даешь взад историю», «банду Ельцина под суд!» и «настоящую демократию против ненастоящей».

Будь то тридцать лет назад, мне было бы достаточно самого факта совпадения ситуаций сна и яви.

Оттого и метался вокруг дома с видеокамерой дни и ночи, будто камера способна помочь определиться, отстраниться от «идейности ситуации» и вернуться-обернуться в молодость, где принцип несоизмеримо важнее истины или хотя бы догадки про нее. Пока перезаряжались батареи, просматривал отснятое, вглядывался, вслушивался, словно отыскивал санкцию, и через три часа снова спешил туда с надеждой, что нынче-то все увидится иначе...



«...с молитвой на устах».

И вот увиделось же! Тут мое место, в малом круге людей с иконами в руках и с молитвой на устах. А камера теперь вовсе помеха...

Только не я ли говаривал, бывало, кое-кому из моих бывших соратников, отставших и уставших, но все еще молящихся за Россию, что, дескать, когда бой, явный или скрытный, молиться – удел женщин. А удел мужчин – сражаться. Но и это не все...

Мне ли, политизированному «православцу», место среди людей воцерковленных, подлинно верующих? Примкнувший – на большее мне не претендовать, и молитва моя будет формальной, потому что не умею загонять мысль, как собаку в конуру, а без того нет полноты и искренности молитвы. Встав рядом, стану изображать из себя нечто большее, чем есть по сути. Но с юности не терпел позу и по соседству с чьей-то выспренностью всегда упрямо «играл на понижение».

Этим же днем по темноте бродили мы сквозь толпу вокруг Белого дома с Ксенией Григорьевной Мяло... Ей тоже что-то мешало «войти и остаться»... Возможно, ощущение «неисторичности» происходящего, это когда и событие есть, и люди, событие сотворяющие, и дискретный набор просматривающихся последствий. Но при этом что-то не так с самой логикой события для «полной гибели всерьез», то есть для полной отдачи себя на волю момента. Возможно, исключительно женским чутьем чувствовала она некую внутреннюю «каверзу» в событии, безусловно трагическом изначально, в то время как лично мое отношение к происходящему мотивировалось абсолютно рационально: справедливая реакция на подозрительно поспешный развал Союза; на грабеж, учиненный новыми «экономическими» пассионариями; на социальную бесперспективность; на чисто внешнюю отвратность частных лиц, заговоривших от имени истории (то есть если у вчерашних вождей вообще не было лиц, то теперь объявились именно лица, и значительной частью весьма противные, – и в том отнюдь не самая последняя причина народного раздражения)...

Сказанное имело отношение только к тем, кто был «под балконом», то есть к москвичам-горожанам, чистосердечно реагирующим на речи, лозунги и воззвания с балкона.

И по мере того как политические страсти «сгущались» до единого и в сути единственного и первейшего лозунга:

«Даешь Советский Союз!» (а это происходило буквально на глазах), по мере того исчезала реальная политическая правооснова самого события.

* * *

В сокращенно цитированной речи Г. Зюганова с балкона Белого дома была еще и такая фраза:

«Все народы бывшего Союза готовы снизу хоть завтра объединиться снова».

Думаю, что это была иллюзия самого Г. Зюганова, а не сознательная дезинформация.

И тут хотелось бы задать вопрос бывшим руководителям внутреннего политического сыска: как воспринималась, как квалифицировалась вся та без сомнения объемная информация о реальном отношении нерусских народов к русскому, как оценивались антирусские мифы, в политическом качестве сформировавшиеся уже к началу 1970-х? Что всерьез не воспринимались – это понятно. Но неужто вовсе не проводилась хотя бы самая элементарная аналитическая работа?

Мне, к примеру, вовсе нет нужды читать теперешние украинские учебники и пособия по истории Украины. Они построчно были отчеканены в головах украинских националистов еще в конце 1960-х. Помню, в тех же 1960-х латышский националист В. Калныньш прочитал в лагере курс из сорока часовых лекций по истории Латвии, отыскивая корни латышской национальной самобытности чуть ли не в неолите. Пачка лекций была посвящена конкистадорской, оккупационной деятельности российского империализма. Некто Петр Сорока в 1969 году уже заканчивал десятитомный труд по истории Украины. Только один перл из его трудов: «Моисей выводил евреев не из Египта через Синай, а из Киева через Сиваш». Москали специально подожгли киевскую библиотеку, где погибли главные доказательства первородности украинской нации. Об этом «преступном империалистическом поджоге» можно услышать и сегодня в любой интеллигентской украинской семье.

Международная семья-банда, в Московии имевшая фамилию Романовых, а в других странах всяких прочих «гогенцоллернов», по преступному сговору принудила своих

холуев-историков переписать историю народов Европы, чтобы стереть в человеческой памяти знания о великой Украине. И царский холуй Карамзин отнюдь не первый из того числа. Первыми были грязные русские монахи с их заказными сказками о том, «откуда, мол, пошла и есть земля Русская», и многое еще чего насочиняли, чтобы сокрыть правду об украинском народе. Но украинский народ знает и помнит, как «запроданец» Андрей Боголюбский эмигрировал к угрофиннам, воровски прихватив с собой шапку Мономаха, как с него пошла и есть неславянская народность с прилагательным «русские» вместо нормального имени, как эта «грязная» и тунеядская кровосмесительная народность вероломством и подлостью подчинила и превратила в рабов тысячи прочих народов, всю историю жаждавших справедливого отмщения «ленивым и грязным москалям» – все это было не просто сформулировано, но лозунгово-куплетно отчеканено, повторяю, еще в конце шестидесятых.

В конце 1980-х, во время моей первой поездки по стране с группой известных советских писателей, зашел как-то разговор о возможных сепаратистских потугах прибалтийских народов. Я тогда сказал, что главной нашей головной болью будет не Прибалтика, а Украина. Советские писатели дружно подняли меня на смех в том смысле, что почти у каждого из них половина родовы на Украине, что они каждый год там бывают и не по разу, в отличие от меня, ни разу там не бывавшего, что знают обстановку из первых рук, что да, несколько полупсихов галичан действительно мутят воду, но все хохлы их дружно ненавидят и презирают и при том и малейших помышлений не имеют об отделении от России, потому что... ну, это вообще невозможно представить! Да куда ж денутся все эти хохляцкие поэты и писатели, которые только через русский язык и вышли более или менее на мирового читателя. А что до прибалтов, то они через пару месяцев сами приползут к нам, опухнув от голода, потому что мы их кормим...

Уже в 1990-м мой сослуживец по журналу «Москва», женатый на литовке и каждый отпуск проводящий в Литве, заверял меня, что не помышляет Литва об отделении, уж он-то это знает – вся родня литовцы.

В том же 1990-м весьма известный русский писатель в компании рассуждал о перспективах тогда так называемой

Средней Азии: чучмеки ни к какой промышленной деятельности не способны по определению. Вся промышленность там – это русские. Без русских они упадут в каменный век, они держатся за нас, как теленок за коровью сиську.

Парадоксально, но все подобные рассуждения вовсе не подпадают под графу так называемого великодержавного шовинизма, но единственно под графу недомыслия, когда никакая степень информированности не способна повлиять на уровень мысли.

Подлинными великодержавниками были те царские чиновники, которые писали гневные реляции наместнику Кавказа генералу Ермолову, указывая ему на недопустимость его личного вмешательства в некоторые внутренние армянские проблемы-конфликты... Вообще, чрезвычайно полезное чтиво – документы, регулирующие ситуации на русских «украинах» – что западных, что южных, что восточных.

Но советский чиновник, вооруженный передовой теорией марксизма-ленинизма, – это принципиально иной тип «державника». Для него первично внедрение социалистического бытия. И если четыреста литовских хуторских хозяйств бельмом на социалистически перекошенном глазу – то немедля в Сибирь их, сукиных детей. Оставшихся успешнее доведем до необходимой кондиции – советского человека. То же самое не только с латышами, эстонцами и украинцами, но и с румынами, болгарами, поляками, чехами...

Нынче то и дело слышишь: «Вот гады неблагодарные! Мы их от фашизма освободили, а они теперь в НАТО бегут!»

Когда адмирал Ушаков освободил от французов остров Корфу, к нему пришла местная знать с вопросом: какую форму правления намерен учредить победитель на данной территории? На что адмирал отвечал, что его полномочия закончены с окончанием военных действий. Вот это называется освобождением.

Когда же освобожденным румынам и полякам, не имевшим исторического опыта коллективного землепользования, навязываются колхозы, поскольку они, в соответствии с «передовой теорией», – начало тропы в светлое коммунистическое будущее, то это «зашвырка» фугаса к горизонту взаимоотношений.

Да что там! Вся история построения «нашего великого государства» – это сплошное минирование, и неизвестно, на

всех минах коммунистического азарта мы уже подорвались или еще нет.

Коварство нынешней ситуации еще и в том, что вождям и теоретикам коммунизма собственно «советскими» удалось сделать только русских, поскольку только русских удалось лишить религии, то есть в значительной степени денационализировать. Все прочие вчерашние советские народы без особых усилий стряхнули с себя «советизм», как пыль придорожную, и объявили себя тем, кто они есть по сущей природе своей: армяне, литовцы, грузины, молдаване и т.д. «Советизм» как интеграционный фактор перестал существовать, и, соответственно, как бы вовсе утратился смысл «советской державности».

На митингах и собраниях то и дело слышим стенания о том, какую могучесть мы потеряли, какую экономику, какое благоденствие утратили, какое безобразие творится с нашей армией и флотом, с наукой опять же...

Но кто эти «мы», столь пострадавшие? Прочие страны так называемого СНГ тоже весьма раздираемы внутренними противоречиями, там тоже и митинги, и собрания, и прочие формы бузотерства.

Но хотел бы спросить наших вездесущих корреспондентов: слышал ли кто-нибудь из них, что где-нибудь, положим, в Баку, или в Тбилиси, митинговали за немедленное воссоединение с Россией? Русскоязычных, разумеется, я в виду не имею.

Так уж получается, что мы, русские, с помощью наших русских евреев и революцию сварганили, и режим установили соответствующий величайшей задумке человечества – коммунизму, мы же и государство, как оказалось, самовзрывное отгрохали, проведя неслыханную селекцию населения (и тут уж без оглядки на национальность – дело-то общеинтересное). А когда обрушилось столь самоотверженно построенное здание семьи народов, стали мы враз несчастными, потому что (так уж получается) остались одни с нашими евреями, каковые, как всегда, выпали в осадок жертв, оставив нам право быть единственно виноватыми.

И если, оставшись одни, мы не сумеем с достоинством восстановиться на мировой сцене, то все дурное, когда-либо и кем-либо сказанное в наш *русский* адрес, окажется

правдой. Но если сумеем, и только тогда, когда сумеем, – только после того может идти какая-то речь о реальных и, видимо, лишь частичных относительно прежнего объема интеграционных процессах. Нынешние же вопли о восстановлении Союза (или империи) – свидетельство страха, бессилия, беспомощности и безыдейности. Ничего, кроме презрения и злорадства со стороны отпавших от нас народов.

Ну а с Белоруссией? Опять, дескать, нехорошие люди ставят палки в колеса делу объединения.

Да нет сегодня бездурнопоследственного варианта объединения. Повторить ленинский опыт с известным «правом на самоопределение» – значит ничему не научиться из собственной истории. Как когда-то, присоединив Польшу, мы получили в подарок евреев, так и теперь, лишь «засоюзничав» с Белоруссией, получим в довесок хорошо откормленную и политически натасканную Западом оппозицию. Равносоюзное объединение с Белоруссией сегодня, при так и не отстроенной реальной вертикали власти, невозможно еще и потому, что того же тотчас же потребуют татары, башкиры, а там, глядишь, и Саха с Тувой. На единственно правильный автономный вариант не готовы ни белорусы, ни тем более Лукашенко.

Это сейчас, по прошествии десяти лет с печально-трагических событий 1993-го. А в тот год эйфории самостийности лозунг, возобладавший над всеми прочими: «Даешь Советский Союз!» – тогда он звучал приговором всей совокупности страстей, большей частью справедливых – страна корчилась в судорогах самоизничтожения, охмелевшие от безвластия самозванцы-чебурашки, вчерашние коммунисты и добрые советские человеки всей яростью челюстей вгрызались в ткань государства, расплевывая несъедобное и давясь жирными кусками ничейного добра... Ничто не принадлежало народу. Все принадлежало власти. Но власти не стало, осталось ей принадлежавшее, а теперь подлежащее разграблению. Происходила очередная экспроприация экспроприаторов. В тихой и потому в наимерзейшей форме. Протест против всеобщего распада был свят в истоке протеста. Но свет и святость меркли там, где начиналось политиканство. И самозванство опять же...

* * *

Во второй половине дня 3 октября, подъезжая на своей «двадцатьчетверке» к Останкино, еще с середины проспекта Мира слышал пальбу. На улице Королева, метрах в трехстах от телецентра, путь мне перегородили четверо парней с красными повязками на рукавах: «Нельзя туда. Сворачивайте вправо». Только что передо мной туда, вправо были отправлены два «жигуленка».

«Вы кто, ребята?» – спрашиваю. «Из дружины мы, – отвечают хмуро. – Анпилова...» «По идее, – говорю, – милиция должна здесь стоять». Только отмахнулись: «Ехали – видели милицию?» – «Ни одного! Но мне надо туда. Обязательно». Показываю удостоверение прессы. Поколебавшись, пропустили. Когда подъехал почти вплотную к низенькой баррикаде, преграждавшей улицу, увидел, что автомашин полно напритыкано у обочин. Тут со всех сторон загрохотало, левее от меня пуля чиркнулась об асфальт, и я поспешно откатился назад метров на двадцать. Рядом «жигуленок», из раскрытого оконца торчит головенка малыша лет шести. Папаша, знать, пошел «смотреть на войну сблизи», оставив сына в зоне обстрела. Да чего там! Вот и мамаша с дитем в коляске. Ей тоже интересно, кто в кого стреляет...

А кто в кого стреляет, понять совершенно невозможно. Временами пальба стихает, но вдруг трескотня автоматов сливается в единый грохот, люди прячутся за автомобили, или падают на землю, или бегут в кусты, что по обе стороны улицы. Но, попривыкнув, возвращаются, лишь чуть пригибаясь. В сторону проспекта Мира строем прошли парни, человек двадцать.

– Чего ж вы уходите-то?! – крик из толпы на обочине.

– Приказали, вот и идем, – отвечал последний идущий.

Больше реплик не последовало. Если еще есть, кто приказывает и кто исполняет приказы, значит, дело как-то поставлено, значит, план есть... А то и стратегия!

Между прочим, толпа у Останкино преимущественно сочувствовала «белодомовцам», в то время как назавтра толпа у Белого дома кричала «ура» всякий раз, как танковый снаряд попадал в здание...

Без сигнала подкатила «скорая». В самый раз. Из кустов вывели парня с простреленным плечом. Мотал головой, ма-

терился, не понять, в чей адрес. С той же стороны из кустов ко мне подошли трое парней.

– Батя, надо за водярой сгонять. Там, – кивнул на кусты, – без водяры не разобраться.

Что ж, сгоняли. До первого ларька. Выгружая ящик с водкой, предложили мне вознаграждение за труды – бутылку.

– За рулем, – говорю.

– Ну и зря. Нынче менты все при своих бабах!

– И много вас там? – спрашиваю.

– Есть кое-кто...

Кое-кто там, в кустах, действительно был, потому что редко, да чувствовалось, что вот эта автоматная очередь явно не из телецентра. Но редко. В основном палили оттуда, из главного здания. Причем палили куда глаза глядят. Позже, по темноте, видно было, как пулевые трассы улетают в сторону проспекта, в кусты, где полно любопытствующих мальчишек, и даже в сторону телебашни с явным попаданием – искорки вспыхивали на каркасе.

Со стороны проспекта к телецентру прошли два «бэтээра». Несколько камней полетели в броню из толпы на обочине. «Бэтээры» остановились, высунулся мальчишка, закричал: «Вы чо, люди, мы же с вами!» И тут же по толпе шорох, дескать, Руцкой послал «бэтээры» на помощь... Но машины покрутились на площадке перед телецентром и поползли назад мимо притихшей толпы.

Очередной всполох автоматной трескотни, и из кустов вывели мальчишку лет шестнадцати. Пуля прошила ему ляжку насквозь... Лицо – белая маска... Шок... На губе сигарета... «Скорой» не видать... Вдруг рядом знакомый человек – Ушаков Геннадий Сергеевич, стоматолог, благодетель зэков всех поколений. Он здесь на какой-то роли. Узнав меня и что я с машиной, тащит раненого ко мне, вдвоем впихиваем его на заднее сиденье и летим прочь от Останкино. Навстречу опять эти же самые «бэтээры», только теперь на полной скорости и по встречной полосе, то есть навстречу нам. Я едва успеваю выскочить на бордюр, шаркнув задним мостом... Сдурели, что ли?!

У разворота на проспект Ушаков выскакивает из машины, обеими руками машет «скорой», перегружаем с помощью санитаров раненого – и назад.

Все машины, что стояли по обочинам, откатываются. Оказывается, те самые «бэтээры», что «за народ», открыли беспорядочную стрельбу вокруг себя. Мы все равно проскакиваем вперед, потому что от кустов, что у самой микробаррикадки, женщина тащит на себе раненого мужчину. Ушаков остается, а я везу их на Щербаковку. Парень в сознании, в больницу не хочет, а на Щербаковке живет брат-хирург... Улицы пусты, машин ни встречных, ни поперечных, светофоры – не помехи...

Вернувшись, нахожу Ушакова, спрашиваю, как дела. Только рукой отмахивается, и через секунду мы с ним оба катимся по земле в сторону клумбы – свист пуль не над головой, будто параллельно ушам. Лежим, вжавшись в землю. «"Бэтээры" палят?» – спрашиваю. «Да все палят, кому не лень! – бормочет сердито. – Избиение младенцев!» – «А младенцев-то много?» – спрашиваю. «Какое там, к утру всех перебьют, если не разбегутся». – «А отцы-командиры? Макашов, Анпилов?» – «Макашов давно уже... Анпилов, говорят, где-то здесь, по кустам шарахается... Не видел...»

Чуть стихает пальба, отступаем к машинам. Рядом с моей «двадцатьчетверкой» красный «жигуль», приемник на полную мощь... человек десять вокруг... В эфире кто-то грозится большим войсковым соединением двинуться на Москву на помощь восставшим, начать партизанскую войну...

«Фуфло! Провокация!» – тихо говорит Ушаков, но услышавшие его возражают, спорят...

На какое-то время теряю Ушакова из виду, но минут через двадцать он подходит ко мне с парнем военной выправки, говорит – надо бы помочь этому человеку. Сгонять надо кое-куда. Сгоняем, отвечаю. Ушаков для меня авторитет. Был он, ныне уже покойный, из тех немногих московских врачей, кто принимал нас – доходяг из лагерей – и приводил в божеский вид, и опекал по мере сил и возможностей. Александр Викторович Недоступ, к примеру – пожизненный мой благодетель. Был еще рентгенолог Леонард Терновский, сам со временем «схлопотавший» политическую статью...

– Куда мчимся? – спрашиваю.

– В Строгино, – отвечает.

– Ничего себе! И зачем, если не секрет?

– Не секрет. За оружием.

– Это как же, – удивляюсь, – шли штурмовать, а оружие за кольцевой оставили?

– Думали, нахрапом...

– А гранатомет? С него ведь начинали, как рассказывают.

– Не знаю, откуда он взялся, – отвечает хмуро мой пассажир. – Не наш, во всяком случае...

– А «ваши» – это кто?

– Я при Анпилове.

– Ну а сейчас-то... Зачем? По-моему, ситуация...

– Посмотрим! – перебивает. Мои вопросы его явно раздражают. Тем не менее, пока мы гоним по опустевшей, безлюдной и почти безмашинной Москве, узнаю, что он военный, старший лейтенант. Намекнул ему, что неплохо бы его документы увидеть. Сказал, что «сдал перед делом». Кому сдал – не спрашиваю.

Ушаков, конечно, для меня авторитет, но и ему могли «туфту двинуть». Ко мне и ранее подходили парни и мужики и просили подбросить до дому. Те, кому «кино со стрельбой» уже надоело... Может, и этот... До Строгино сейчас никаким транспортом не добраться...

В конце концов решаю для себя так: если парень меня «дурит», ну что ж, это тоже как-то вписывается в общую картину, и я со своими «метаниями» вполне заслуживаю подобной «шутки».

По Москве же гнать – одно удовольствие! До самой кольцевой ни одного гаишника, ни одной гаишной машины, ни одного милиционера или просто военного. Москву словно сдали на власть стихии и инстинкта народного. Власть – она, может, в панике, а может, в многохитром расчете. А что до народа и его инстинкта – окна домов уже большей частью темны. И чем дальше от центра, тем темнее. И похоже, что власть выигрывает «дело» автоматически... Если и в страхе, то без особого напряжения мозгов.

Красный светофор, зеленый – без разницы! Не более получаса гонки, и мы на месте.

– Через пять минут выйду, – говорит мой пассажир и исчезает в подъезде «многоэтажки-термитника».

Жду десять минут и начинаю разворачиваться. И тут он появляется с парой калашниковых в руках и с канистрой.

– Канистра зачем?

– «Бэтээры» жечь, – отвечает. – Заскочим на заправку. Их нам прислали, а они, суки...

– Кто же это их вам прислал?

– Неважно...

На заправке никого, но время-то идет. Когда наконец разгоняемся в обратный путь, говорю: там, поди, уже все кончилось. Молчит. Так, почти без разговоров, минут за сорок долетаем до Останкино. Толпы уже нет. Но кто-то, в основном мальчишки, мечется по кустам... Но стрельба... Такое впечатление, что у защитников Останкино осталась уйма патронов, и задача – до утра «распулять» их – трассы так же, как и два часа назад, – во все стороны... Прислушиваюсь и все же улавливаю ответные выстрелы; значит, кто-то еще «держит осаду»...

Мой пассажир говорит «спасибо!» и исчезает в тени деревьев с автоматами и канистрой.

Оттуда же, из темноты, появляется молодой священник и просит подбросить до дому. Словно в прощание, нам вслед яростный автоматный треск; оглянувшись, вижу вспыхнувшие искры на асфальте, где всего лишь минуту назад останавливал машину.

Просматривая видеохронику останкинских событий, горевших или сгоревших «бэтээров» не видел. О жертвах среди защитников Останкино тоже вроде бы ничего. А сколько народу перебили вокруг телецентра – о том, наверное, никогда не узнать.

Года через два или три надумал все-таки позвонить Анпилову, узнать о судьбе своего ночного пассажира.

– Я знаю про эту вашу поездку, – отвечал Анпилов. – Жив. Но ему пришлось уехать. Если хотите, завтра у нас митинг у Музея Ленина, подъезжайте, поговорим.

Если память мне не изменяет, на митингах я не бывал ни разу в жизни. Ни на советских, когда сгоняли, ни на антисоветских, когда приглашали...

* * *

Домой вернулся в четвертом часу утра и, конечно, проспал начало событий у Белого дома.

С Игорем Николаевичем Хохлушкиным и с дочкой подкатили мы к Бородинскому мосту, когда уже дымились ок-

на российского парламента, когда танки выстроились на противоположной набережной, когда пальба была в самом разгаре – и та же самая картина, что у Останкино: площадь перед осажденным домом забита толпой, мамаши с колясками прогуливаются в зоне обстрела, мальчишки снуют туда-сюда поперек площади... Идет война. Кто-то с кем-то сражается всерьез, и это, знать, очень интересно – смотреть на взаправдашную войну в центре Москвы-града, если толпа, по мере ожесточения пальбы, с визгами и криками скатывается по лестницам на набережную, но через несколько минут снова заполняет только что покинутое пространство. Вот в первые ряды пробивается несколько «крутых» и круто «поддатых» молодых и современных. Они дружно кричат «ура», когда очередной танковый снаряд вламывается в уже дымящийся этаж. Впрочем, «ура» кричат не только они...

При очередном раскате автоматной трескотни «крутые», расталкивая всех вокруг себя, несутся вниз по лестнице, один натыкается на Игоря Хохлушкина. Игорь Николаевич, слегка придержав парня за рукав кожанки, говорит-спрашивает: «А может, это неприлично – так хотеть жить?» Амбал смотрит на Хохлушкина, что весом меньше пятидесяти... В другой ситуации размазал бы... Но ни слова, даже без «пошел ты!..» Исчезает...

Лишь после того, как в толпе обнаруживается труп, отряды милиции со щитами не без труда оттесняют зрителей вниз, на набережную, где под мостом и далее моста скапливается, может, полтысячи, может, более... Сочувствующих осажденным нет. Но и «ура» кричат явно не из любви к Ельцину... Просто – выстрел, попадание, дым – «ура»! Один раз только слышал: «Так их, глуши коммуняк ср...!»

Тусуясь в толпе, мы как-то все же оказываемся в первых рядах, впереди нас только милиционеры со щитами. В руках у меня камера с наспех перезаряженной батареей, но снимать ничего не хочется, да и нечего снимать... Кто-то где-то в кого-то стреляет, стреляющих не видать... Я вежливо стучу сзади в щит ближайшего милиционера, показываю ему камеру, говорю ему: «Мне туда». То есть к дому. Никаких возражений. Перебегаю площадь, оказываюсь под коротким спуском слева от центрального входа. Еле втискиваюсь – опять мальчишки, нигде не вижу ни одного вооружен-

ного человека, а стрельба-то не утихает ни на час. Решаю, что осаждающие в сквере, пытаюсь пробраться туда. Навстречу опять же гражданские на плащ-палатке выносят раненого, палатку перехватывают мальчишки, что торчали у спуска, и бегом несут раненого через площадь к набережной. Там в готовности несколько машин «скорой».

Только сунулся в сквер – автоматный треск словно за ушами, и теперь вижу в кустах людей в камуфляже, стреляющих с колен куда-то вверх бесприцельно... Передо мной двое. Один – майор, молодой, почти мальчишка.

– Слушай, батя, – говорит, – ты что здесь... На старости на ж... приключений ищешь? Давай-ка отсюда в наклон и бегом!

Стыдно! Никогда не забыть, как было стыдно. Ведь и верно, зачем я здесь? Забыл, что мне уже под шестьдесят? Чего гоношусь? Приключения... Мои приключения закончились... Их, как говорится, у меня было... Быть или не быть – вопрос давно решенный. С кем быть и с кем не быть – тоже. Все давно определено, сформулировано, отчеканено... Разумом...

Но ведь говорил уже: всю жизнь самые яркие сны – окружение, безысходность, гибель... И когда вступил в боевую по цели организацию Огурцова... Победа не воображалась... А все та же ситуация: вот мы что-то начали, влипли, просчитались, окружены и скоро конец...

И всю жизнь сны про то самое... Но вот он передо мной – не сон, тот самый случай: дом окружен и обречен, и по всем законам судьбы мое место там, и редчайшее – воплощение сна в реальность... Не сомневаюсь, тридцать лет назад я был бы внутри вне зависимости от правоты или неправоты, потому что в подсознании, как оно формировалось с детства, обреченный и погибающий всегда правее:

потому что у него уже нет выбора,
потому что он уже использовал право на выбор ранее,
потому что выбор совершается однажды и навсегда.

Еще думаю, что этим неизжитым и вполне постыдным инфантилизмом обязан Гегелю, которым был увлечен в девятнадцать лет, когда «Логику» читал как роман, а «Лекции по эстетике» как детектив. Никто из «гегелеведов» не согласится со мной, но «пророко- и демонообразный» немец-

кий мудрец, по моему впечатлению, был величайшим фаталистом и пессимистом... Не от Соломона, но именно от Гегеля узнал, что все, решительно все по самому высшему счету есть всего лишь суета сует и томление духа, и потому произвол личного выбора – истина в первой и последней инстанциях... И да будет свят...

Христианством тут и не пахнет. Оно, христианство, Православие – оно в сознании, почти что в разуме и, конечно, на языке. А глубже, в инстинкте, один Бог знает, что, поскольку – сын эпохи атеизма. С этим жил, с этим и умереть...

И вот ныне мальчишка майор справедливо стыдит меня за бессмысленную суету, и мне стыдно... Сам ведь когда-то потешался над престарелым Сартром, когда тот гоношился на баррикадах бунтующей молодежи Парижа..

– Давай-давай, батя! Дуй отсюда! Пригибайся и бегом!

Конечно. Только «бегом» – этого, хлопец, ты от меня не дождешься.

За спиной пальба словно свирепеет. Вижу, что милиционеры на коленях перекрылись щитами. Разве щиты пуленепробиваемы?.. За ними часть толпы, что еще не вытеснена на набережную, плашмя на асфальте. Где-то там друг мой, Игорь Хохлушкин, и дочь... Ее-то я зачем привез?

Дочь расскажет после, что когда «пули засвистели» и все упали на асфальт, рядом с собой она увидела отстреленный палец...

Отыскал, и мы спустились на набережную. Всех нас оттеснили за Бородинский мост, и мы не видели, как, сдавшись на милость победителя, вышли из горящего дома «вожди» и «вдохновители», обещавшие умереть за конституцию. Вышли, оставив умирать на этажах вдохновленных ими мальчишек и не мальчишек...

Популярная фраза «расстрел парламента» двусмысленна, нечиста, насквозь прополитизирована. Расстрелянное здание – да вот оно, на месте и краше прежнего. Члены парламента живы и в подавляющем большинстве своем неплохо устроены. Нынешняя конституция, каковой присягнули в той или иной форме члены «расстрелянного парламента», – или она не «ельцинская»? Сам парламент, как ветвь власти, здравствует и действует. Оппозиция функционирует в рамках, определенных Главным законом государства...

И только одно – невозможно без душевной дрожи смотреть на портреты погибших!

Потому что еще и вопрос – за что погибли? За «Даешь Советский Союз!»? Отчасти. За «Банду Ельцина под суд!»? И за это тоже... За Россию? Конечно. За что же еще погибать русским парням...

Но в любом случае, правы или не правы, – это не про них, погибших. Это про выживших и живущих. Это про всех нас.

Уже совсем стемнело, а мы все стояли и пялились на темный квадрат здания с горящим по всему периметру этажом. Но несколькими часами ранее мы же были свидетелями некоего действа, о котором, возможно, только мы и знаем. Игорь Николаевич Хохлушкин обратил внимание на окно, что правее и двумя этажами выше этажа горящего. Оттуда, из окна, безостановочно короткими очередями строчил пулемет, именно пулемет – автоматчик не успевал бы столь шустро менять рожки... Еще продолжалась стрельба вокруг, и из общего грохота выделить пулеметный «разговор» было невозможно.

– Ну, сейчас вдарят по нему, – сказал Хохлушкин, оглядываясь на шеренгу танков на противоположной набережной. Собственно, «пулеметное строчение» мы определили по коротким световым вспышкам, не видя, разумеется, ни пулемета, ни стреляющего. Когда же на недолгое мгновение стрельба вдруг прекратилась, а световые вспышки из окна продолжались, мы предположили, что там – пулемет с глушителем, что ли? А такие бывают? Насколько я был информирован, даже самые совершенные «глушилки» от долгого употребления постепенно теряют свои свойства...

И тут меня осенило. Да это же обыкновенная «морзянка»!

«Морзянку» я знал, но только в тюремном ее использовании, где точка – один удар, тире – два. Позже, сопоставив по времени, выяснили: сия почти двадцатиминутная информация передавалась из осажденного здания сразу после того, как депутаты покинули Белый дом.

Знать, обстановка в «мятежном стане» отслеживалась от начала и до конца событий...

Говорил уже, что то ли по менталитету, то ли по Гегелю я фаталист не только по отношению к собственной судьбе, но и к истории. Это моя, и притом любимейшая, формули-

Горящий Белый дом.





ровка: «История свершается в единственно возможном варианте». То есть – никаких «если бы!» Тысячи обстоятельств-параметров определяют тот самый единственный вариант. Но иногда как бы за бортом остаются значительные события, влияние каковых и последствия, казалось бы, никак не просматриваются в логике реальной исторической фактуры.

В этом смысле события августа 1991-го легко укладываются в цепочки причинностей дальнейшей «исторической поступи». Но вот с октябрем 1993-го все много сложнее. Популярное мнение «справа»: «Пресечение последней попытки реставрации коммунистического режима», даже если оно верно, все равно это только характеристика факта-события в его всего лишь вероятной перспективе. Кто-то, безусловно, таковую перспективу имел в виду. Тот же генерал Макашов, возможно... Но была еще и искренняя боль за судьбу России тысячелетней – я это видел и чувствовал, торча днями и ночами под мятежным балконом.

Само по себе качество чисто политического действа определилось и выявилось поведением его инициаторов. Пощаженные, они так или иначе вписались в ту самую действительность, против каковой восставали, и этим как бы перечеркнули и сам смысл, то есть предположительный фактор-вектор последствий своей вчерашней инициативы. Но возможно ли такое вообще в истории? Ведь тогда следует признать, что Ельцин одержал не только «физическую», но и моральную победу над своими противниками, ибо подлинными противниками его были инициаторы противостояния...

Тогда погибшие – щепки «санитарной рубки»? Есть такое понятие в системе лесного хозяйства. Так в чем же провиденциальный смысл событий октября 1993-го? Единственное, что я могу предположить: мы были свидетелями своеобразного «предупреждения»...

* * *

И тут припомню я один случай из моего лагерного опыта. Что поделаешь, из всех личных опытов лагерный – самый богатый.

На семнадцатой зоне в бараке, где я жил, через две койки от меня пребывал старик латыш. Было ему за семьдесят.

Говорили, что он чуть ли не последний, кого органы вытащили из бункера в лесу неподалеку от его собственного бывшего хутора аж в шестьдесят втором году. Отравленный газовой гранатой, а после еще дважды простреленный, выжил, следствие суровое перенес, но остался калекой. По новому кодексу осужденный не на четвертак уже, а всего лишь на полтора червонца, дожить до воли он и не помышлял. Освобожденный от работы по немощи, дни и ночи проводил в бараке, днем на стуле близ печки, ночью на шконке на правом боку – никак иначе лежать не мог... Сидел, лежал и спокойно ждал смерти. Лагерный сон не чуток, но от его страшенного храпа со стонами и кашлем люди просыпались. И я в том числе. Просыпались и негуманно проклинали старика-злыдня. Злыдень – потому что ни с кем практически не общался, и лишь косился злобно – так казалось – на всех, в том числе и на своих соплеменников.

Подходя к своей койке, я неизбежно оказывался рядом с ним. Он смердел. Видать, не всегда успевал дойти до туалета. Одежду ему иногда стирал другой, такой же обреченный по причине паркинсоновой болезни зэк-старик, исполняющий в бараке функции шныря, то есть уборщика.

Глаза старика латыша часто были лишь чуть приоткрыты, тогда казалось, что он и не видит никого вокруг себя. И в такие минуты, а иногда и часы он постоянно что-то бормотал по-латышски, бормотал достаточно громко, чтобы, положим, мешать вдумчивому чтению какой-нибудь серьезной литературы.

Когда вокруг тебя сплошные, по справедливости или несправедливости, несчастные люди, невольно черствеешь сердцем – норма! И если поначалу он только раздражал меня, то со временем раздражение переросло в ненависть. Возвращаясь в барак с работы, я прежде прочего кидал на несчастного злобный взгляд – опять смердит! Или – опять бормочет! В особо дурном настроении я даже, бывало, проходя мимо, ворчал: «У, гад! Опять не даст дремануть перед ужином!»

Слышал он или не слышал, мне было плевать. По крайней мере, никакой реакции с его стороны. К тому же было мнение, что он вообще по-русски «не волокет».

Но вот однажды, когда я, в очередной раз «одарив» его, бормочущего, взглядом суперпрезрения, плюхнулся на койку на спину, собираясь, как всегда в таких случаях, при-

крыться подушкой, чтоб хотя бы чуть менее слышать его тупое бормотание, он вдруг широко, то есть по-нормальному открыл глаза, вперил в меня свои звериные зраки и жестом руки поманил к себе. Я встал и подошел, и физиономия моя при этом доброты не излучала.

Сначала был хрип, будто он разучился говорить вообще. Но потом на чистейшем русском прозвучало следующее:

«Знаешь, как бывает, три охотника на одного медведя... В решето... Куда уж мертвее... Подошли, а он последней судорогой одной лапой раз! – и нет башки».

Я не из робких. Но помню – позорный холодок прошуршал от сердца к желудку, а оттуда аж к горлу.

Ни в реакции моей, ни в ответе он не нуждался. Веки опустились, на губах слюна...

Возвращаюсь к октябрю 1993-го. Какие бы подтексты, дурные или благостные, ни прочитывались в событиях, пусть даже и вовсе не имевших никаких последствий, возможно, единственный и тогда уж не столь маловажный смысл и историческое оправдание (от слова «правда») жертв 1993-го – предупреждение!

Не зарывайтесь, овладевшие Россией! Чем терпеливее народ, тем менее он программируем. Как блины пекущиеся институты по изучению общественного мнения и, соответственно, по контролю за ним даже за мгновение до того, как «медведь махнет лапой», ничего подобного не предскажут.

Сказано же:

«Блюдите, ако опасно ходите».

Спор

Сколько нынче ни читаю мемуаров, правды о том коротком периоде с 1987-го по 1991-й – ни у кого. Одни по лукавству, другие по неготовности к рефлексии комкают, «зажевывают» то состояние духовной смуты, каковой практически не миновал никто, поскольку все внезапно оказались перед фактом объективной, то есть – как оно виделось – от личности не зависящей катастрофы советского бытия.

Но в том-то и дело, что то была именно видимость «независимости», отсюда и муть душевная на всяком индивидуальном уровне. Но духовная на социальном. И если слегка «подтянуть за уши» гегелевскую диалектику, то можно сказать, что качество советского идеологического сознания, достигнув некоего критического состояния, преобразовалось в иную количественность, то есть – структурность бытия, и поскольку все в известной мере были, так сказать, сотворцами этого процесса, то со временем иные, опомнившись, закрутили шеями в поисках виновников случившегося.

Так возникла концепция Третьей мировой – причина бедствия была вынесена вовне, а инициатива социального творчества заторможена, если не парализована. Но в том только часть проблемы, если обозначить проблемой межеумочное состояние нынешней российской социальности.

Другая часть проблемы в том, что социализм – религия атеистического сознания. Русский человек по преимуществу остался религиозным или, по крайней мере, потенциально религиозным. В Православии себя нашли немногие. Многие, кто при социализме, будучи атеистами, позволяли себе ересь по отношению к социалистическим догмам, отталкиваясь от отвратности дней текущих, превратились в ортодоксов коммунизма-социализма. И в том не вина и не беда, но логика нехристианского, но все же религиозного сознания. Либо Царствие Небесное, либо царствие земное, структурированное по человеческим понятиям справедливости. В то время как христианство – это правда о несовершенстве человека и, соответственно, всего им рукотворного...

Для принятия этой правды нужно особое духовное напряжение. И всякий раз, когда где-то должное напряжение ослабевало, там тотчас же обнаруживалась социалистическая идея в той или иной ее разновидности.

Вера в коммунизм и, положим, вера в «права человека» – явления в этом смысле однопорядковые, у них лишь «востребователи» с разными менталитетами.

В идеальном же своем звучании они равно нацелены на добро и справедливость, но по существу, являясь лишь суррогатом подлинной религиозности, обречены на обращенность в противоположное.

Специфика нынешней смуты, в значительной мере обусловленная семидесятилетней атеистической пропаган-

дой, породила дивное разнообразие типов духовно-душевных состояний.

По Достоевскому-то как: социализм не прав, потому что есть Бог, и если Бога нет, то все позволено. Вторую часть формулы Достоевского Россия попыталась опровергнуть и продемонстрировала миру строго упорядоченное бытие без Бога, логично перестроив и первую часть формулы – если Бога нет, то прав социализм.

Но когда оказалось, что и Бога нет, и социализм «не прав», то тогда-то вот действительно все позволено, потому что «однова живем»! Криминальный взрыв в России, поскольку это был именно взрыв, выявил с очевидностью, что значительная часть населения Советского Союза на момент так называемой перестройки пребывала в состоянии абсолютного «неверия» во что бы то ни было. Грабеж, каковой учинили одни вчерашние советские люди над другими вчерашними, по «скорости» прецедента в истории не имеет. Хотя бы потому, что никогда в истории человечества никакой народ в течение одного поколения не лишался национальной религии, а с ней и морального кодекса...

И собственно революции здесь не в счет, потому что революции всегда имеют в своих программах моральные альтернативы. Нынче в России – никаких революций или контрреволюций. Распад! Как следствие попытки сотворения бытия, не удостоверенного высшим знанием самой природы человеческого бытия. А высшее знание не в философиях и социальных теориях, а в мировых религиях.

И когда народ в силу тех или иных обстоятельств теряет ключ-шифр к пониманию религиозного смысла бытия, он встает на путь гибели.

Последнее, я отчего-то уверен, – не к нам. И вера все же не совсем утрачена, и ревность к жизни – она сохранилась, она в кипении мысли и в политических страстях, она, наконец, в тех дивных метаморфозах, что происходят с людьми буквально на глазах. Диву даешься – какие идейно-духовные типы порождает наша, казалось бы, агонизирующая социальность: ультранационалисты и интернационалисты, верующие коммунисты и христиане-сталинисты, национал-большевики и демохристиане, ортодоксальные марксисты и анархисты, прозападники и антизападники, «церковники» и «антицерковники»...

Нет, конечно, не от хорошей жизни сие разнообразие, но оно свидетельство поиска, продолжения жизни народа, которому по его исторической судьбе досталось испытывать на себе (надеюсь, на свою и общечеловеческую пользу) великие утопии и соблазны.

Подлавливаю себя на едва ли столь уж лестном совпадении чувств детства, ранней молодости, то есть в начале жизни и теперь, в конце ее. Тогда, пионер и комсомолец, был я ужасно горд, что живу в стране, первой строившей коммунизм. Всяких там англичан, французов и «прочих шведов» было жалко – так скучно и неинтересно живут бедняги: ни тебе коллективизаций, ни индустриализаций, и Сталина у них нет! И ради чего живут?

Стишок той поры:

Страна моя! В твоем просторе
От тех дорог до тех дорог
Сто иностранных территорий
Я б без труда упрятать мог.
Страна моя – кусок что надо!
Не на аршин, не на пятак
Авансом выдана награда.
И жить хочу не просто так!

Еще бы! Жить просто так – несчастный удел тех самых «шведов». А вот строки через пятнадцать лет, и легко ли поверить, что написаны они в камере Владимирской тюрьмы на шестой день голодовки, по поводу чего, уже и не помню.

Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была – судья и мать.
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,
Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание мое.
Я сын Руси с ее грехами
И благодатями ее.
Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить.
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить,
Без перегибов, перехлестов,
Без верст, расхлестанных в пыли.
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли.

Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать...
Я ж не умею вполовину
Ни говорить и ни молчать...

Думаю, что, к примеру, для Валерии Новодворской вышеприведенные строки – свидетельство безнадежной жизоидности. Жиз не шиз, но какой-то момент инфантилизма явно просматривается. Но ведь не стыдно ж! Потому что и сегодня, когда, попросту говоря, все так плохо... И сегодня на людей с Запада смотрю как на обделенных...

Чем, спрашивается?

Если спрашивается, то, конечно, ответа быть не может, потому что нормально живут и будто бы даже процветают... А мы никак толком и цвета набрать не можем. Напротив, теряем по миллиону в год населения... Зато у нас будто бы все еще впереди, а «они» вообще живут без «переда», одним «нынче» живут, и нешто это жизнь!

А мы? Перефразируя песенку из шутовского кинофильма: «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы срамимся общественным строем!»

Раньше тоже многие ничего путного не делали, но строем гордились, то была почетная и денежная профессия – гордиться строем. Бовины, арбатовы, боровики, стуруа, познеры – несть им числа, профессиональным гордецам строя. Нынче они все аналитики, политологи, не стыдясь смотрят на нас из телеящиков и вещают, вещают...

Одному такому «гордившемуся», только рангом ниже, удалось задать вопрос:

– Как же ты жил, такой-сякой?

Ответ был великолепен:

– Если хочешь знать, я все понимал в сто раз лучше тебя. А говорить то, что думаешь, означало работать на разрушение.

– Но разрушение-то состоялось.

– Зато без моего участия.

– А может, оно потому и состоялось, что ты двуличничал?

– Недоказуемо!

Подобным лукавством, как пикантной приправой, сдобрено большинство мемуаров бывших «советских». Читать их утомительно, а часто и просто противно.

Но вот передо мной счастливое исключение – мемуары Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия». Современному человеку интересны безусловно. Но вдвойне будут интересны исследователю не столь уж отдаленного будущего, каковой озадачится восстановлением идейно-духовного состояния советских людей, точнее – советской интеллигенции на переломе эпох. Куняевские воспоминания интересны именно в силу их откровенности, порой как бы не в пользу автора – по первому суждению, но чем далее, чем глубже погружаешься в духовный мир советского поэта, тем большим уважением проникаешься к автору, не поставившему своей задачей «причесывать» и смятенность ума, и противоречивость мыслей и поступков, и если автор где-то слегка лукавит, то лукавство это вторично и полуосознанно в сравнении с великолепно выписанными картинами советского писательского бытия, образами современников... Кого я лично не знал, те так и останутся в моем сознании с подачи Куняева.

И наконец, каким прекрасным языком все это изложено! Дай Бог иному современному прозаику достичь подобной точности и незаменимости слова, сочности и художественной достаточности в изображении и природы русской и русского быта, и все это без многословности и вычурности, чем грешат ныне и начинающие, и маститые – как редактору литературного журнала, мне ли не судить...

Прочитав от корки до корки двухтомник, я словно бы просмотрел иллюстрации к собственным соображениям по поводу трагедии сознания типичного советского интеллигента. Эта трагедия – предмет исследований будущих социологов, поскольку в том же, в значительной мере, и трагедия бывшего советского общества в целом.

Александр Проханов где-то признавался, что чем дальше, тем больше он чувствует себя советским человеком. С. Куняев мог бы сказать о себе то же самое еще с большим правом.

Отдадим должное – коммунистическая власть умела воспитывать нужные ей кадры и сохранять их в состоянии искренней влюбленности в бытие, ею сотворенное.

Лишь по поводу обращаясь к эпохе 1930-х годов, с каким вдохновением пишет С. Куняев о пятилетках, о великих стройках коммунизма – индустриализации и коллективиза-

ции и, конечно, о Великой Победе – в целом о достижениях народа под руководством партии, той самой партии, которая, не отказавшись ни от одного своего программного постулата, в итоге привела страну к катастрофе. Вот эта поразительная способность, или, напротив, неспособность видеть процесс в его последовательной закономерности – специфика мышления людей, как бы навсегда заданная всей мощью советской пропагандистской машины, не оставив шанса собственно историческому мышлению, когда искренняя потребность человека желать добра своей стране и народу безнадежно парализована идеализированным видением прошлого.

Должен сказать, что Станислав Куняев начала 1990-х, когда я имел с ним довольно тесное общение, и автор этих прекрасно написанных воспоминаний – это не один и тот же человек. Тогда, в 1990-х, вышедший из партии, как и большинство советских писателей, мучим был он и раним противоречиями, кои видел в собственной жизни, интуитивно догадываясь о взаимосвязи общей позиции русской интеллигенции в системе разлагающейся власти, говаривал или проговаривался о сомнительности тех или иных альянсов с правящей партийной верхушкой – в целом был довольно близок к системному пониманию трагедии коммунистического эксперимента в России. Главное – было у него ощущение трагической взаимосвязи цели, сколь прекрасно она ни звучала бы, со средствами ее достижения в том смысле, что не только цель не оправдывает средства, но средства способны преобразовывать цель. Наши случайные разговоры на эту тему помню почти дословно...

Нынче нет. Нынче С. Куняев – обличитель настоящего и певец прошлого, и между прошлым и настоящим он уже не видит и принципиально не хочет видеть взаимосвязи. Нынче он – борец...

Мне, конечно, трудно без улыбки читать следующие строки:

«Я начинал чувствовать себя человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь долгой жизни и тяжелой борьбы».

И далее:

«Но мне все больше и больше становились нужны не просто друзья-поэты, а соратники по борьбе, не пропива-

ющие ума и воли, люди слова и долга, готовые к черной работе и к самопожертвованию».

Полагаю, ни одного из таковых он не нашел, поскольку ни об одном факте самопожертвования мне ничего доподлинно не известно.

Особенность, и я бы даже сказал – парадоксальность советского мышления продемонстрирована Станиславом Куняевым с завидной честностью и добросовестностью. Где-то ранее я уже говорил об этом добром качестве его души – если и утаит что-то, то потом непременно откроет...

Я же имею в виду 1991 год – историю с ГКЧП. Вот как оценивает С. Куняев предпринятую попытку предотвращения коммунистического развала.

«Это была попытка спасти Союз от хаоса, анархии, развала. А если смотреть глубже – то произошло столкновение двух сил в высшем эшелоне власти – национал-государственников с космополитической, компрадорской кастой».

И еще:

«...если бы мне предложили подписать «Слово к народу», считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я несомненно подписал бы его...»

Таковы слова. Но вот, получив информацию о событиях в Москве, С. Куняев «мчится» в столицу!

«После Малоярославца вклинился в танковую колонну... Я махал рукой из машины танкистам... На душе было и радостно (неужели кончается горбачевское гнилое время?!), и тревожно... Зачем такая громада стальных чудовищ?»

И радостно, и тревожно? Да ради «конца гнилого горбачевского времени» и ради спасения Союза от анархии и т.д. чем больше танков, тем лучше – или не так?

Наконец Станислав Куняев, всей душой жаждущий «конца горбачевского времени», домчался до Союза писателей, где, между прочим, большинство, как и он сам, коммунисты. По крайней мере, вчерашние еще. Появляется некто Сергей Бобков, молодой поэт и сын того самого Филиппа Денисовича Бобкова – правой руки любимца партии Андропова.

«...поэт Сергей Бобков... потребовал, чтобы писательская верхушка поддержала ГКЧП...»

То есть что? То есть помогла прикончить «гнилое горбачевское время» и спасти СССР от анархии?

И далее прелюбопытнейшее сообщение мемуариста:

«Тем не менее... умудренные жизнью секретари Большого Союза... не клюнули на провокацию Бобкова-младшего. Опытные функционеры... нашли выход из щекотливого положения. Они заявили эмиссару Янаева, что ситуация с ГКЧП еще не ясна и надо какое-то время подождать, присмотреться к событиям, словом, не торопиться...»

Не торопиться избавляться от «гнилого горбачевского времени», не торопиться «спасать Союз»?

Станислав Куняев не просто удовлетворен «мудростью Большого Союза», но и ни в чем не повинного Сергея Бобкова «буквально размазывает» по паркету... Ни об одном из своих идейных врагов С. Куняев не высказывается с таким прямо-таки физиологическим отвращением, как о человеке, призвавшем «Большой Совет Союза писателей» к **соответствию** слова и дела. С. Куняев обнаруживает в нем, в посланце спасателей советского государства, «все признаки физического вырождения» – «узкогрудость, мутноглазость»... (Я знаком с Сергеем Бобковым. Не атлет, но и не дохляк...) «Троянский жеребенок» (С. К.) своего не добился. Писатели-коммунисты, «опытные функционеры» остались в своих кабинетах выжидать исхода событий. Не поддались на провокацию!

Провокация! Любимейшее словцо советского интеллигента. Что левого, что правого. Когда Владимир Осипов пришел в конце 1960-х с первым номером журнала «Вече», где не было даже намека на «антисоветчину», к лидеру официальных русских патриотов даже не за помощью – всего лишь за советом и сочувствием, – «Провокация! Немедленно прекратить!» – такова была реакция русского интеллектуала. А как же! Ведь могут перекрыть воздух! Сократить тиражи! Хуже того – оргвыводы! И тогда что?

Как это у Юлия Кима...

И режут нам статьи и книги,
И затыкают всякий рот,
Едва какой-нибудь задрыге
Взбредет взойти на эшафот...

С. Куняев:

«...С русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о

том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть нашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей... это резко отделяло нас от «русской национальной диссидентуры»».

«Пути «подполья», по которым шли журнал «Вече» или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций...»

Здесь все неточно и все лукаво. Разве мы с Осиповым помышляли об эмиграции, разве свой журнал Осипов делал в «подполье»?

О ВСХСОН Станислав Куняев в те времена и не слыхивал и не подозревал о существовании Евгения Вагина, которого бранит теперь за эмиграцию задним числом – ибо «передним», то есть в начале перестройки, Вагин был с любовью принимаем в журнале «Наш современник».

В те же времена, когда вместе с «Большим Советом Союза» русские патриоты выжидали итогов внутрипартийной схватки, на всякий случай дружно выйдя из КПСС, – именно в это время ко мне неофициально обратился представитель «Большого Союза» с предложением возглавить этот самый «Большой Союз», откровенно признавшись: «Нам нужен свой Вацлав Гавел». И в объятия к «разрушителю» Горбачеву кинулись не мы – «русская диссидентура» – хотя бы по причине, что выпустил сей «разрушитель» нас из лагерей. Не мы, но именно они, русские писатели-патриоты заверяли Горбачева в своей лояльности к «реформации». И в знаменитом «Римском клубе» «русская диссидентура» не присутствовала... А кто?

Но тут лукавства не было. Была каша в головах. За эту бывшую «кашу» теперь слегка стыдно, вот и выстраивает Станислав Юрьевич задним числом боевые порядки: государственники, дескать, в эмиграцию не хотели, печататься за границей – такая гадость!

Меж тем тиражи советских писателей за границей были несметны. Но по разрешению! Официально! А это ж совсем иное дело! Главное, чтоб все по закону!

Что в действительности ожидало русских патриотов-писателей в случае нарушения ими «нормы поведения»? Да всего лишь, как самая страшная кара, – исключение из Союза писателей. Всего лишь. Минус льготы, минус дачи, ми-

нус творческие отпуска... То есть – минус то, что имели советские писатели в награду за соблюдение «правил игры». У этих «правил» были свои «люфты». Например, «борьба с еврейским засильем в русской культуре». Или, напротив, космополитические эскапады в пику слегка осмелевшему «русизму».

Еще одно любопытное место в мемуарах С. Куняева.

«Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку».

На что была будто бы сделана ставка – о том чуть позднее. В эти же годы, о которых говорит С. Куняев, советским ренегатом Яновым была издана на Западе книга, в которой он предупреждает мировую демократию о реальной опасности скорого смыкания «диссидентской правой» (это мы) с «правой советского истэблишмента», куда безусловно отнесена и «русистски» ориентированная советская интеллигенция... Что, в свою очередь, может привести к возникновению советско-фашистского режима...

Напрасно Янов и других пугал и сам боялся «смыкания правых», потому что «официальные правые» нас с Осиповым и прочими боялись еще больше. Провокация! Шаг вправо или шаг влево карается... Могут исключить... И тогда как выполнять миссию по спасению государства от разрушения?

Во-первых... И это существенно.

Мы, «русская диссидентура», знали, что коммунистический строй с самого начала запрограммирован не только на саморазрушение, но и на разрушение «своего пространства». Они, все, о ком С. Куняев говорит «мы», – они этого не знали. Они и сейчас этого не знают!

И стенания о том, как славно жилось в заминированном доме под минорное тиканье часового механизма и как все стало дурно после того, как механизм сработал, – это исключительно от *«незнания»* самой природы русского коммунистического опыта или эксперимента – как угодно.

И потому, во-вторых, все рассуждения о выборе «ставки» – рефлексия позднего периода. Дальше «борьбы с ев-

рейским засилием в культуре» и мечты о «русификации» коммунизма политическая мысль «официальных правых» не шла, потому что «думанье» дальше было чревато... И дело даже не столько в страхе перед возможной карой за ересь, сколько как раз в душевной честности многих этих самых «официальных правых». Если б додумались – пришлось бы жизнь ломать – парадокс! Страх честности... На уровне нерефлектируемой интуиции...

Отсюда и некорректность логики, ставящей в один причинный ряд исторически реальные русские социалистические тенденции и конкретный коммунистический опыт, заимствованный из марксизма, то есть из «нерусских» источников. Но и об этом тоже чуть позже.

Другой парадокс в том, что мы, «русская диссидентура», каковую, между прочим, можно было пересчитать по пальцам, мы отнюдь не мечтали пополнять свои ряды за счет, положим, русских писателей. Где-то в конце 1970-х узнал я, что Валентин Распутин, будучи приглашенным на встречу с работниками иркутского телевидения, наговорил им такого, что телевизионщиков-партийцев после вызывали в партком и вопрошали, почему они, коммунисты, не возражали Распутину... Я тогда черкнул коротенькое письмецо своему земляку, где прямо говорил, что диссидент Распутин – потеря для России... Просил об осторожности... Письмо, отправленное с «нарочным», было перехвачено.

Еще о «рецептах разрушения» Бородина и прочих.

Лично мои «рецепты» в виде нескольких статей, написанных в 1970-х и напечатанных, между прочим, за границей в русских журналах, были опубликованы в начале 1990-х не где-нибудь, а в «Нашем современнике», и не кем-нибудь, а Станиславом Юрьевичем Куняевым под общим заголовком «Невостребованные пророчества». Вот так в те годы оценивал Станислав Куняев лично мои «рецепты разрушения».

На пророка я никогда не претендовал и не тянул. Но, положим, в статье «К русской эмиграции» упрекал «старых русских» в нетерпении, в «неответственной» жажде «русского взрыва», критиковал «революционные» призывы Дмитрия Панина[51]...

В статье «О либерализме» пытался раскрыть разрушительную, энтропийную суть либералистского сознания...

Нынче стараюсь вспомнить, была ли у нас, кого С. Куняев называет «русскими диссидентами», какая-нибудь «ставка»? Похоже – не было... Была надежда, что русская интеллигенция поймет трагедийный смысл существующего политического строя и подготовится к событиям, кои мы считали неминуемыми... Но в сущности, мы были своеобразными заложниками не желающих думать и знать, и не скажу за других, но сам-то так или иначе не избежал влияния «безмятежно живущих»: а может, ошибка, может, все обойдется и российский коммунизм без больших потерь трансформируется в нечто естественно развивающееся на основе постепенно восстанавливаемых традиций русской государственности. Надо обладать колоссальным самомнением, чтобы уверенно противопоставлять свое мнение мнению большинства. Я таким самомнением не обладал и, возможно, отчасти потому к началу 1980-х с каким-то душевным облегчением переключился на частные проблемы – помчался в Сибирь спасать последний, еще не тронутый топором кедровник в Тофаларии... Это оказалось так легко – делать конкретное, стопроцентно правильное дело...

Ну, а наши «официалы»?

Если верить Станиславу Юрьевичу Куняеву, у них была такая ясность относительно будущего России, что только позавидовать!

Еще в 1982-м (это с приходом Андропова во власть?) он:

«...с ужасом чувствовал, что устои нашего советского государства шатаются, слышал подземные толчки, глухой пока еще скрежет несущих конструкций...»

Он тогда уже, напоминаю, в 1982-м, знал, что:

«...партийная верхушка сама разрушит партию, сама угробит социализм, сама предаст многомиллионную партийную массу...»

Потрясающе! С таким знанием – на свободе!

Даже радио «Свобода», имеющее в своем распоряжении самую полную информацию о состоянии наших дел, как раз в это время, когда было полностью покончено с диссидентством всех мастей, в растерянности признавалось, что советский коммунизм с приходом Андропова получил новое дыхание, и теперь вся надежда на национальные окраины. Но когда это еще будет...

Противоречив Станислав Юрьевич. Если скрежещут несущие конструкции, то есть народная вера в коммунизм и социалистическая экономика – первейшие «несущие», то при чем здесь «партийная верхушка»?

Тогда же, в 1982-м, С. Куняев понял, что *«идея социализма... скомпрометирована антисоветской частью самой партийной верхушки»*.

Если Ю. Андропов – антисоветчик, так чего ж он, черт возьми, упек меня на пятнадцать лет именно тогда, когда я практически выдохся?.. Может, за то и упек? Тогда поделом!

И на что же была сделана ставка столь тонко чувствующими ситуацию русскими патриотами?

«...Пока есть время для организации сопротивления...», надо *«подготовить для грядущего отступления окопы и траншеи национальной обороны, объяснить замороченным людям, что сталинская солдатско-принудительная система была исторически неизбежна для спасения страны, что Россия в той степени, в какой это было ей нужно* (! – *Л.Б.*), *сумела переварить социализм, приспособить его к народным нуждам...»*

Если социализм «переварен», да еще именно в той степени, в какой России нужно, ни больше ни меньше, и если, опять же, «переваренный социализм» приспособлен к народным нуждам, то нужно ли народу это доказывать? Наконец, переварен социализм или приспособлен? Это ж не одно и то же!

И в конце концов, социализм – это плохо или хорошо? Если переварили и приспособили, то есть избавились, то, надо понимать, плохо...

А вот личная программа С. Куняева по организации сопротивления:

«...Если уж у нас не хватит сил и времени русифицировать партию и сохранить советскую государственность... – то единственный наш реванш, единственный плацдарм для будущей борьбы... – это написать правду обо всем...»

О чем же, Господи?

«О вождях революции, о расказачивании, о русофобии 20-х годов, о судьбах Есенина и Клюева...»

Что ж, о преступлениях 30-х годов написано уже достаточно, и рассказать о преступлениях советской власти 20-х годов – значит пополнить картину, создать полное пред-

ставление... Еще хорошо бы рассказать об уничтожении полутораста тысяч «церковников», о борьбе с Православием, о раскулачивании и раскрестьянивании... Понятно, одному человеку не под силу всестороннее разоблачение социализма. Но, как говорится, с миру по нитке... Один поведает о преступлениях советской власти против поэта Мандельштама и врачей, о государственном антисемитизме. Другой – о преступлениях оной против поэта Клюева и казачества, о государственном русофобстве. Третий еще о чем-нибудь... (Это к вопросу о «рецептах разрушения».) Глядишь, картинка нарисуется и в душу сперва западет, а потом, когда придет время, из западания выкарабкается и мыслишку продиктует соответствующую перед тем, как бюллетень в урну бросать...

Ведь слово советского писателя – это вам не диссидентские статейки, рассчитанные на «ты, да я, да мы с тобой», это какие тиражи! И какие аудитории!

Конечно, при этом надо уметь понимать, что, положим, раскулачивание и коллективизация, со всеми ее прелестями – дело необходимое «для спасения страны». А расказачивание... То троцкистские штучки...

Впрочем, тут, мне думается, советская власть более права, чем С. Куняев. Не лежала душа казаков к советской власти, мятеж за мятежом, так что «для спасения страны» правильно их порезали, как и тамбовских крестьян и ижевских рабочих. Да и «церковников» тоже... И Мандельштам с Клюевым – «люфтили» в то время, когда требовалось исключительное морально-политическое единство, чтобы подготовиться к Великой войне...

Но Станислав Юрьевич с такой точкой зрения не согласен, считает, что были преступные перегибы, и в этом смысле очень нехорошо имеет в виду евреев. Троцкого в особенности и прочих...

Что там Троцкий, в Гражданскую в каждой политтройке полка, дивизии, армии и фронта, согласно ныне известным спискам, в обязательном порядке присутствовал как минимум один еврей – как онтологически и утробно преданный духу социалистической революции. А командовал победоносной Красной Армией... Известно, Троцкий. И по личному указанию Владимира Ильича расстреливал каждого десятого из отступившего полка добросовестно все он

же, Троцкий. И это было необходимо для «спасения страны», ведь если б не победили в Гражданскую, учитывая, что даже такой антисоветчик, как Колчак, воевал не за царя-батюшку, а за Учредительное собрание, – если б не победили, глядишь, ненавистную демократию поимели бы вместо советской власти еще в 1920-х.

Владимир Ильич что говаривал? *Мы Россию завоевали. Теперь задача – ее удержать*... Дословно не помню...

И верно ведь, в «завоевании» евреи шустрили вовсю, но черной неблагодарностью платит им С. Куняев – если б не завоевали, что бы мы потом «переваривали» и «приспосабливали к народным нуждам»?

Есть же откровенное признание Ленина, что не победить бы без активного участия российского еврейства.

В молодости, в период нашего самоопределения, часто возникал весьма некорректный и коварный вопрос: если бы по чуду или машиной времени я, положим, со своими тогдашними убеждениями и симпатиями был бы перенесен в год девятнадцатый, на какой стороне оказался бы?

Что лично до меня, то под команду Ленина–Троцкого не пошел бы точно. Зная из истории о неоднозначности Белого движения, наверное, стал бы искать генерала-идеалиста, кому бы верил и доверял... Так думалось в 1960-х...

Ну а С. Куняев? Под Деникина или Врангеля он тоже не пошел бы. Постарался бы отыскать в Красной Армии хотя бы дивизию без евреев в командирах...

Думаю, что докапризничать нам бы не дали. Шлепнули. И его, Станислава Юрьевича, много раньше меня. У большевиков поведенческий «люфт» вызывал праведное омерзение.

И как не сказать в этой связи о парадоксальнейшем явлении в нынешнем патриотическом, точнее, просоциалистическом сознании – как это сознание объясняет нынешнюю российскую трагедию. А объясняет оно его исключительно по-троцкистски!

Отказавшись от курса на мировую революцию, Сталин начал воссоздавать «типовую» державу, сохраняя в качестве теории «воссоздавания» социалистическую идею, то есть

идею, всей своей сутью отрицающую «державность», как таковую. Итогом чего явилось, выросло и заматерело совершенно особое бюрократическое сословие.

Бюрократия, как система управления, абсолютно неизбежный класс в любом государстве, и его «производительность» находится в прямой зависимости от честности цели самого государствоустроения. Советская бюрократия с первых лет своего формирования оказалась как бы в двусмысленном положении: идею ранней или поздней победы мировой революции никто не отменял, эта идея интенсивно внедрялась в массы до самых последних дней существования Советского государства. Построенная по типично масонскому принципу Коммунистическая партия структурно заведомо предполагала разные степени «посвящения» бюрократических кланов, где высший клан просто обязан был иметь на вооружении самый оголтелый цинизм, поскольку именно цинизм обеспечивал должную «оперативность» управления. Именно так Троцкий и предсказывал перерождение социализма в национал-шовинизм, каковой рано или поздно должен был войти в противоречие с идеей социализма и постепенно «зажевать» ее, но не в интересах народа, а исключительно в интересах партийной бюрократической верхушки.

Ярослав Смеляков, стихи пятидесятых годов, если не ошибаюсь (по памяти):

Но я видал в иных домах
Под маркой вывесок советских
Такой чиновничий размах,
Такой бонтон великосветский,
Такой купецкий разворот,
Такую бешеную хватку,
Что даже оторопь берет,
Хоть я не робкого десятка![52]

Прошу особо обратить внимание на «бешеную хватку». И понятно, в связи с чем!

По Троцкому, Сталин, в душе предавший идею мировой революции, сотворил класс, каковой должен со временем загубить великую социалистическую идею, верно поднятую на щит Лениным и Троцким, в свое время безошибочно просчитавшим самое слабое звено в «капиталистической цепи».

Нынешними соцпатриотами Сталин выведен из полосы критики, и в таковом действе есть своя логика – без апос-

тола идеи идея исчезает сама по себе. Но зато партийная верхушка по смерти апостола вдруг оборачивается своим истинным лицом коллективного ренегата и сознательно (!), вопреки все еще будто бы «работающему» народному мечтанию о вселенском счастье, как максимум, и воцарении коммунизма в отдельно взятой стране, как минимум, разваливает социализм, причем исключительно в своекорыстных целях и интересах.

Напомню С. Куняева:

«...партийная верхушка сама разрушит партию, сама предаст многомиллионные партийные массы...»

Утверждаю, перед нами почти дословные пророчества господина-товарища Троцкого.

Троцкому простителен примитивизм понимания социалистической идеи и возможности ее реализации. Чего там! Злыдень пархатый!

Но нам-то, добрым братцам-славянам, нам-то бы не след уподобляться... Нам-то бы посерьезнее да поответственнее бы... Нам ведь еще государство русское восстанавливать предстоит, а далеко ли уйдем с троцкистскими пророчествами?

Не очень-то нравится мне все вышенаписанное, потому что произведение (именно так!) Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия» не заслуживает ёрничества, как, впрочем, и личность самого С. Куняева, именно этой книгой утвердившаяся в первой строке списка его единомышленников-литераторов. Да и тема, в каковую я вцепился клещом, в книге по объему ничтожна, иной может ее и не заметить или, по крайней мере, на ней не зациклиться, как я.

Но все же – тема сквозная и стержневая. И если на то пошло, то для меня эта тема – коммунизм и Россия – главная в жизни.

* * *

Непосвященному невозможно представить уровень того духовного напряжения, в котором проходила жизнь людей в лагерях и тюрьмах 1960-х. Не было еще ни диссидентства как такового, ни западного сочувствия, ни среды сочувствия

на родине. Каждый был сам по себе, и каждому предстояло самостоятельно, то есть «бесколлективно», определиться на всю оставшуюся жизнь. Она же, жизнь, была ценой этого самоопределения. Воистину, нам «Русь была не словом спора»... Но споров-то этих – Боже мой, сколько их было. И по сей день не услышал еще ни одной темы, которую мы в 1960-х не пропустили бы сквозь строй суждений, которую не обмусолили бы и так и этак, по которой так или иначе не определились бы.

И, безусловно, главной темой определения был «русский коммунизм». Проблема формулировалась приблизительно так: «русский коммунизм» («большевизм») – это «явление русского духа» (по Бердяеву и по Куняеву тоже) или только состояние его?

Если последнее, то все проще и легче, поскольку в «состояние» народный дух впадает в силу тех или иных сложившихся обстоятельств и способен легко или нелегко «выйти из состояния», обогащенный опытом избавления...

Если же он, «русский коммунизм», есть явление, то речь уже должна идти о некоем результативном продукте всего предыдущего исторического опыта народа – именно так трактовался «русский коммунизм» всеми виднейшими русофобами 1960–1970-х годов – от Янова и Ричарда Пайпса до идеологов радио «Свобода» и Бжезинского. Парадокс в том, что так же он ныне трактуется многими современными патриотическими идеологами, только с иным знаком...

Озабоченный этой темой Н. Бердяев тоже впадал в противоречие, утверждая, что «большевизм» должен быть изжит изнутри русским народом. Простое изживание, повторюсь, возможно только для состояния, но не явления. Это противоречие он пытался разрешить в своем курсе берлинских лекций под общим названием «Соборность во Христе и товарищество в Антихристе». Но, как мне показалось, еще больше запутался в доводах и обобщениях.

Нам было бы куда проще, не погружаясь в проблему, принять вторую посылку – о «состоянии» – и зачислить себя в передовой полк «изживания», но, как уже сказал, ставкой-то была жизнь, ни больше ни меньше, и определяться предстояло с максимальной добросовестностью. Благо, власть, отправив нас в лагеря, предоставила нам достаточный «тайм-аут». У Ю. Андропова тогда еще «не дошли руки» до

лагерей и тюрем (это случилось уже к концу 1970-х – ужесточение режима, в особенности относительно связи с «волей»). Мы же, в 1960-х, находили возможность доставлять в лагерь самую разнообразную нужную нам литературу.

На одиннадцатой зоне, к примеру, мы имели все пятнадцать томов «Истории...» С. Соловьева, шесть Ключевского, был Забелин, Беляев, даже Покровский[53], полный комплект журнала «Былое»[54]. Там же, в зоне, я впервые познакомился с удивительными документами – Уставными грамотами Русского государства. К тому же многим из нас удалось обзавестись в Москве личными «письмописателями» и в письмах получать интересующие нас тексты – получение писем режимом не ограничивалось. И по сей день храню толстущую пачку, где все... От Хомякова до Чаянова[55]. Мне даже удалось создать своеобразную картотеку по «русскому вопросу» – опять же славянофилы, все «веховцы» и большая часть «сменовеховцев», «евразийцы»[56], русские философы конца – начала веков – около тридцати имен... Единственный, мимо кого я прошел (как-то уж так получилось), – Лосев[57], его читал в 1980-х и, признаться, уже без особого интереса.

«Самиздат» по интересующим нас вопросам тоже отслеживался. Популярную в 1960-х брошюру А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», к примеру, мы получили на семнадцатую зону в виде нескольких чистых тетрадей, страницы которых надо было только прогладить утюгом. Была проблема утюга, но и она решилась. Посредством писем я, положим, внимательно следил за творчеством в те времена, по моему мнению, главного теоретика «антирусизма» Г. Померанца, ни одна его статья мимо меня не прошла. По взаимной договоренности выписывая все литературные журналы, мы, конечно же, обратили внимание и на явление «молодогвардейства», увидели в нем пока еще робкую и не очень внятную попытку переосмысления русской истории, сокрушались, когда она была пресечена... без сопротивления.

Если в лагере со свободным временем было жестко, то во Владимирской тюрьме, куда многие из нас так или иначе попадали за «строптивость», тюремная администрация, не желая способствовать общению политзэков и не имея возможности создать нужное количество рабочих камер, от ра-

боты нас освободила вообще – двадцать четыре часа (минус сон) читай, думай, пиши, спорь...

За два с половиной года Владимирской тюрьмы пару гуманитарных факультетов я точно освоил...

Последние годы 1960-х для политических заключенных были особой эпохой. Ранее попав в лагерь в состоянии той или иной персональной «идейной дурости», всякий тут же оказывался в атмосфере чрезвычайных идейных страстей. Поскольку в 1950-х и в начале 1960-х хватали и сажали «кого ни попадя», идеологическая пестрота в лагерях скопилась несусветная. Коммунисты-ленинцы, социал-демократы-плехановцы, националисты, анархисты, анархо-синдикалисты и даже монархо-синдикалисты. К концу 1960-х ситуация значительно упростилась, и в основном за счет индивидуального самоопределения по отношению к Западу. Образцовый пример самоопределения и, соответственно, «разделения» – судьба Владимира Осипова и Владимира Буковского, бывших «подельников», а ныне идейных антиподов. Упрощение идейной ситуации шло также по религиозной линии. Русские социал-демократы, анархисты и прочие становились ортодоксальными православными, евреи самых различных идейных толков азартно изучали иврит и готовились к возвращению на «историческую родину». Националисты, в основном украинцы и прибалты, «русофобились» на глазах, формируя в своих рядах будущих духовных лидеров «самостийности».

Русские национально-государственной ориентации, составлявшие в общей массе политзэков ничтожное меньшинство, не выпадая из стихийно сложившихся микроколлективов, духовно, тем не менее, все более и более обособлялись. Сравнительно небольшие наши «срока» к началу 1970-х были уже на исходе, и каждому предстояло принципиально определиться «на всю оставшуюся жизнь» – уйти с позиции или остаться на ней. Разумеется, речь не шла о позиции мировоззренческой, но исключительно о той или иной степени сопротивления и противостояния. Слово «борьба» у нас никогда не употреблялось, и состояние, соответствующее этому слову, в виду не имелось. Речь шла о «правилах игры» в «большой зоне»: принимать или не принимать. Не было таких, кто был бы готов рано или поздно снова оказаться в «малой зоне». Готовность таковая проти-

воестественна. Однако большинство настраивало себя на искусную конспирацию обретенного знания о системе, в которой предстояло доживать жизнь. Кто-то, напротив, знал, что в силу характера игра такая не по силам... Я был в числе последних...

Марксизмом рационализированная хилиастическая раннехристианская ересь про построение Царства Небесного на земле, жестоким способом инспирированная в России, вынужденно переориентированная со всего человечества на «отдельно взятую», она была обречена на разложение и крах с тяжкими для России последствиями. Русская «ересь жидовствующих», отрицающих «трудную» мудрость христианской философии, повенчанная с либералистской идеей прогресса, породила в начале двадцатого века тип «жидобольшевика» – по «белогвардейской» терминологии, реализатора химерической идеи достижения абсолютной социальной справедливости посредством физико-механического оперирования с социальными классами. По мере материализации идеи исполнитель-фанат самоуничтожался (именно так!) за ненадобностью, оставляя после себя в остатке некий полупродукт – человека советского, будто бы являвшего собой некий высший этап человеческой эволюции, но пребывающего на длительной стадии становления. В помощь чему, собственно, и обоснован постоянный контроль за «становлением» по времени вплоть до всемирового торжества коммунизма, когда сам по себе исчезнет фактор дурного влияния со стороны «несозревшей» части человечества. Через денационализацию русских (то есть советизацию) и посредничество относительно денационализированного еврейства удалось сотворить феномен «дружбы народов» опять же под неусыпным контролем соответствующих ведомств, каковым по работе скучать не приходилось, о чем свидетельствовали контингенты концлагерей...

Противоестественность осуществляемой социальной модели, вынужденно ориентированной на экономическую самодостаточность, напоминала опыт того самого доброго дяденьки – Роберта Оуэна[58], которому на первых порах удалось достичь поразительных результатов как в производительности труда, так и в сфере человеческого фактора – как в цирк при-

ходили подивиться и «буржуи», и монархи на чудачества идеалиста-энтузиаста. Но кончился буржуйский капитал, и лопнул социалистический эксперимент. Вчерашние «добрые коммунары» словно маски скинули, возвращаясь в облики, каковыми были наделены наследственностью и эпохой.

У российского социализма тоже был капитал, стимулирующий идейный пафос строителей коммунизма. Если Роберт Оуэн на каждую копейку роста производительности «незаметно» подкидывал в дело копейку из своего капитала, то «подкидная копейка» социализма российского конспирировалась куда тщательнее, ибо копейку эту вырабатывали рабы. Когда-нибудь будет просчитана роль рабского труда в строительстве социализма, но и без подсчета она очевидна: база так называемой оборонки, столь обожаемой нынешними необольшевиками, создавалась ведомством ГУЛАГа... Драгметаллы, а затем и ядерное сырье, «великие стройки коммунизма» от Волго-Дона до Куйбышевской ГЭС... И, наконец, великий лесоповал...

На каждой странице сочинений сталинских соколов литературы отпечаток пальца зэка...

Преступлением против социализма Никиты Хрущева было не столько «развенчание Сталина», сколько экономически не просчитанный роспуск значительной, в сути, ударной части контингента ГУЛАГа. Именно с этого момента, когда отменена была «социалистическая халява», – с этого времени отмечаются первые тревожные судороги экономической системы социализма в целом. Миллионные трудармии, предусмотренные на заре соцстроительства подлинным большевиком Троцким и воплощенные в реальность другим подлинным большевиком – Сталиным, – в течение тридцати лет безотказно обеспечивали тылы социалистической экономике. Хрущев и Ельцин – вот знаковые фигуры загнивания и распада государства, сотворенного поперек человеческой природы.

На первом, пафосном этапе революции ее вожди мечтали об обществе интернационалистов, обществе Иванов, не помнящих родства, но в итоге трансформации революционных идей получили общество Иванов, молчащих о родстве. Сколько из нынешних «большевиков» хвастались мне (именно так!), что у них вся родова выбита, и это хвастовство надо было понимать как некую супермудрость – дескать, что поде-

лаешь, иначе бы не выстоять Великому государству... Подлинная социалистическая гражданственность – в том и суть, чтобы уметь обеими ногами стоять «на горле» собственных родственных чувств, и не просто стоять, но слегка приплясывать... Иначе бы не выстоять!

Так ведь не выстояло же! Но нет, последнее не в счет, потому что план Даллеса, ЦРУ, агенты влияния и вообще холодная война, которую проиграли. Партийная верхушка загнила к тому же...

Но когда остатки этой самой верхушки попытались тормознуть процесс, «который пошел»...

Вот Станислав Юрьевич Куняев запомнил трясущиеся руки Янаева... Да еще бы им не трястись! Ведь не против мирового империализма поднялись бедные «гэкачеписты»! Я слушал радио. Еще несколько дней продержась, получили бы «янаевцы» мировое признание – в этом никто не сомневается. Западный мир со всеми его даллесами и бжезинскими в тот момент еще не понимал, куда катится красное социалистическое колесо. Только всё куда как хуже – восстали они («гэкачеписты») против всего вчерашнего советского народа, каковой, как и Большой совет Союза писателей вместе со Станиславом Юрьевичем Куняевым, отчего-то вдруг «помудрел» настолько, что решил «не поддаваться на провокацию».

Между прочим, эта тема в оглавлении книги Куняева подана так: «Мое сопротивление «перестройке»».

«Настала очередь моя!» – писал В. Солоухин, имея в виду, разумеется, не только самого себя... Увы! Так и не настала. Отсиделись. И лишь потом, когда перестройка победила настолько, что ей уже никто не был страшен, началось энергичное махание кулаками, каковое продолжается и ныне и именуется борьбой.

Именуется, однако же, не совсем без оснований. Как бы там ни было, КПРФ при поддержке нынешних на всякий случай беспартийных «необольшевиков» так или иначе, но все же придерживает за штаны рвущихся в объятия общественного прогресса отечественных, заезжих и гастролирующих либералов, зачарованных западным благоденствием. Этот дивный соцконсерватизм – прямое порождение духовной смуты – реальный факт политической жизни страны. Он не конструктивен, потому что не имеет позитивной програм-

мы, если не принимать во внимание программу собственно КПРФ, от каковой «необольшевики» застенчиво дистанцируются. Он, соцконсерватизм, базируется в основном на литературно-философских эмоциях: общинность и коллективизм, издревле присущие русскому народу (не путать с соборностью – в общем-то и не путают, в соборности разочаровавшись, поскольку последняя не дает социального эффекта); антибуржуазность русского народа – опять же исключительно в социальном ее проявлении – нестяжательстве как идее, но отнюдь не практики; инстинктивное отрицание западных ценностей...

Загляните, однако ж, в квартиру современного популярного московского почвенника – она от пола до потолка забита этими самыми ценностями, евроремонтом окаймленными и спецдверями охраняемыми. Или попробуйте на какой-нибудь общественно известной активной патриотке обнаружить хотя бы лоскут отечественного производства.

Станислав Куняев подробно описывает писательскую поездку в Америку, но ни слова о том ажиотаже «шопинга», в каковой окунулись все мы, патриоты, за исключением разве Лихоносова (помню, он был перегружен книгами) – видеокамеры, телевизоры, шубы для жен, причем исключительно на щедрые американские командировочные – ну, не производило наше Великое государство интересных вещей для своих граждан, разве в том их вина?..

Не случайно ехидная «комсомольская бригада», что назвалась программой «Взгляд» (это по И. Талькову), подлавливала нас в аэропорту, чтоб заснять по рост загруженные «западными ценностями» наши тележки для ручной клади.

Передергиваю? Ну конечно же. «Не хлебом единым жив человек, ежели он настоящий». В данном случае не Евангелие цитирую, а Дудинцева, с каковым С. Куняев, по-моему, несправедливо, как-то уж слишком «ревностно» обошелся в своих воспоминаниях.

«Только через труп бюрократизма мы сможем увидеть огни коммунизма».

Это строка одного в те же времена начинающего поэта. И знаменито-скандальный роман Дудинцева «Не хлебом единым» тоже – на большее и не претендовал, и потому едва ли заслуживает столь сурового разноса. Скорее всего, в те годы Станислав Юрьевич дышал со своей партией слиш-

ком в унисон, ведь не одни «кагэбисты» верили, что Никита Хрущев – первый настоящий русский мужик у власти. К тому же всяких там абстракционистов не жаловал – значит, традиционалистов, напротив, жаловал. Ну а что церкви рушил, так разрушенный храм Станиславу Юрьевичу чем-то даже мил в отличие от всяких восстановленных, где сомнительная публика со свечками в руках... Одно из самых спорных мест в мемуарах...

Кстати, о спорах. Ни в период нашего тесного «американского» общения, ни после, когда коротко встречались, спора по какому-либо «идеологическому» поводу у нас с С. Куняевым не случалось. Однако внимательно прочитавший двухтомник заметит – спор есть. Нет-нет да мелькает мое имя, и непременно в связи с главной и больной темой – отношение к русскому коммунизму. Или, как любит С. Куняев говаривать, – к советской цивилизации.

Что цивилизации существуют несколько больше, чем семьдесят лет, автор мемуаров, безусловно, знает; но поскольку разрушение «советской цивилизации» произошло, по мнению значительной части русских патриотов, по не зависящим от нее обстоятельствам – это во-первых, и возрождение ее неизбежно – это во-вторых, то да будет именно цивилизация!

До того, то есть «тыщу» лет, надо полагать, существовала антисоветская цивилизация?

Или нет!

До того тысячу лет Русь-Россия созревала для высшего своего состояния. И созрела, когда б не троцкисты, план Даллеса да прогнившая партийная верхушка...

И вот, как бы мимоходом, рассказывает С. Куняев такую историю:

«...Несколько русских литераторов неожиданно для Бородина на «круглом столе» в журнале «Москва», не сговариваясь, каждый по-своему стали размышлять о том, что борьба с советской цивилизацией неизбежно должна была повлечь за собой разрушение России.

– Так неужели я два срока зря сидел? – вспылил вдруг Леонид Иванович».

Поскольку это пересказ с чужих слов, претензий к С. Куняеву не имею.

Однако именно данный эпизод, лишь неточно воспроизведенный, определил мою жизнь вперед, по меньшей мере, на десятилетие – потому о нем стоит несколько подробнее...

Это было время, когда в воздухе пахло реставрацией, то есть той самой «провокацией», на каковую так и не поддались «умудренные» руководители Союза писателей. Это было время, когда некоторые коммунисты, год назад побросавшие свои партбилеты в глубину письменных столов, извлекали их оттуда и срочно уплачивали членские взносы, огласке, однако же, сии действия не предавая.

Журнал «Москва» незадолго до того перешел в руки В. Крупина и на своих страницах уже заявил о той ориентации, каковой придерживается и поныне: традиционализм в литературе; корректность в публицистическом слове; в политике – поиск форм русской государственности и, наконец, Православие как национальная форма мировидения и миропонимания.

Тогда-то и состоялся отнюдь не случайный приход «нескольких русских писателей», в основном авторов журнала «Наш современник», в редакцию журнала «Москва». И вовсе не случайно, но с самого начала разговор зашел о русском социализме... О том, что надо бы журналу «Москва» повернуться лицом к этому явлению, перспективы каковoго несомненны, то есть «имела место» попытка повлиять на В. Крупина, убедить его отказаться от заявленной ориентации и присоединиться к походу «Нашего современника» за справедливость в оценке опыта русского коммунизма.

Но то ли гости журнала недооценили В. Крупина, то ли просто толком не подготовились к разговору, но только разговор пошел на уровне несоизмеримо низшем относительно действительного интеллекта каждого из пришедших.

...Русская идея, о которой говорили славянофилы, и есть социализм... И Достоевский задумывал Алешу Карамазова отправить к революционерам, а Раскольникову сочувствовал... Россия изжила в себе нерусскую составную в коммунизме... Да и вообще народ жил лучше...

Как член редколлегии, присутствовавший на этой встрече, я поначалу пытался вывести разговор на соответствующий теме уровень, но поняв, что объектом разговора в основном является Владимир Николаевич Крупин, отступил, наблюдая за его реакцией.

Фраза про двукратное сидение действительно была произнесена, только вот уж что неверно – «вспылив»! То есть как бы обидевшись «за свою борьбу против советской цивилизации»!

В советские времена следователи по политическим делам раньше прочего в интересах дела и для себя лично старались в каждом инакомыслящем отыскать обиду на советскую власть. Обнаруженный комплекс обиды упрощал понимание подследственного. Следователь снисходительно добрел. Но только в личном отношении к подследственному. На нее же, на «обиду», было списано в свое время и почти миллионное «власовство», и двухмиллионное активное, но «невоенное» сотрудничество советских граждан с оккупационным немецким режимом. В самом слове «обида» виделось нечто глубоко субъективное, близкое к недомыслию, но отнюдь не смягчающее вину обстоятельство.

С Вадимом Валерьяновичем Кожиновым у меня всегда были, несмотря на разномыслие по многим вопросам, взаимоуважительные отношения. Присутствовавший на той встрече, но, в отличие от С. Ю. Куняева, читавший и мои статьи самиздатского периода, опубликованные в «Нашем современнике» в 1990-е годы, и все, что я писал в журнале «Москва», он, с присущей ему добросовестностью и дотошностью мышления, искренно пытался понять мою позицию по «русскому коммунизму», не однажды при встречах затевал разговор на эту тему и как-то даже признался, что «та моя фраза о сроках» соблазняет его... Такое признание дорогого стоило, но, однако же, обстоятельный разговор «по трудным вопросам» у нас так и не состоялся. По причине обычной суеты. Все как-нибудь да как-нибудь...

Будучи, несомненно, главным идеологом журнала «Наш современник», В. Кожинов, тем не менее, под некоторыми принципиальными суждениями С. Куняева едва ли бы подписался, потому что любой, кто добросовестно прочитал все, написанное Кожиновым за последние годы, не мог не почувствовать состояния постоянного поиска, предельного напряжения мысли и при том, несмотря на частую категоричность суждений, неудовлетворенность... Каждая новая его работа как бы уточняла предыдущую, детализировала... Я уверен – жизнь его прервалась в поиске...

Возвращаясь к встрече в журнале «Москва»... Фраза, что так легла на душу С. Куняеву, была сказана мною в отмашку, в шутку, как иногда говорю, дескать, не чапай, поскольку «всю жись» по тюрьмам и ссылкам. Для меня тогда наиважнейшим было – позиция В. Крупина, поскольку от нее зависело мое дальнейшее пребывание в журнале. Крупин устоял, православным чутьем учуяв неизбывную родственность социалистической идеи и атеизма, в какие бы одежды ни рядилась древняя хилиастическая ересь. Наверное, также понял или знал, что «социализация бытия» и социализм – не одно и то же, что социальная справедливость лишь объект спекуляции обезбоженного сознания, стремящегося обожествиться в реалиях посюстороннего мира, что собственно социалисты, то есть адепты идеи, – чаще всего жертвы трансформации сознания, и степень их фанатизма зачастую пропорциональна честности помыслов. Что, наконец, единственная возможность социально упорядочить бытие без того, чтобы спровоцировать процесс энтропии, – эта возможность предусмотрена в канонах национальной религии, и только то, что в них предусмотрено, безопасно в исторической перспективе, что утрата религиозного понимания мира – путь в пропасть.

Впрочем, возможно, что все вышесказанное в адрес В. Крупина – мое домысление, поскольку инструмент религиозного сознания часто – интуиция без мотивации.

Устоял Крупин – устоял журнал. И тот непроговоренный спор, что сквозит в книге С. Куняева, это в действительности никак и нигде не заявленный спор-разногласие журналов «Москва» и «Наш современник». Суть разногласия проста – она в понимании природы и происхождения конкретного исторического явления – российского коммунизма, по моему пониманию, изначально, как уже говорил, запрограммированного не только на саморазрушение, но и на разрушение своего пространства. Элементы взрывного механизма по отдельности давно опознаны политологами. Право наций на самоопределение, положим. Как известно, Ленин Сталина убедил: не заманить ту же Украину в царство социализма без хотя бы формальных гарантий, каковые со временем, дескать, станут неактуальными по мере формирования «нового человека». «Утробные» инстинкты должны быть искоренены, а к таковым помимо националь-

ных отнесены были и религиозные предрассудки, и личностная экономическая инициатива, и право на сомнение, и даже право на неучастие в социальных процедурах. Еще в 1960-х отказ от участия в так называемых выборах мог вызвать политическое или психиатрическое преследование. Но это мелочь!

Определенная часть народов подлежала физическому истреблению во имя утверждения социалистического порядка. Без названной процедуры не дожить бы нам до зрелого социализма, «приспособленного к народным нуждам».

Вот еще один любопытный момент «полемизма» в книге С. Куняева. Приводится текст, каковой будто бы являлся финальным в романе Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежденные».

«Большевизм... процесс этот самобытен и глубоко органичен...»

И далее в стиле С. Куняева панегирик советскому правительству и коммунистической России, которая:

«в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое должно быть чуждо...».

Поскольку о существовании этого романа С. Куняев узнал от меня, чего он не отрицает, то берусь категорически утверждать, что ничего подобного в тексте романа не существовало до того, как он из рук КГБ попал в руки редактора «Нашего современника». Да и любой, добросовестно прочитавший роман, увидит противоестественность «публицисцизма» вышеприведенных строк в контексте трагического лиризма романа...

Но после цитирования (фактически самого себя) Станислав Юрьевич вдруг снова вспоминает обо мне в следующем контексте:

«Неужели он (Бородин) до сих пор считает свою оценку "русского большевизма" более справедливой, нежели та, которую выстрадала Ирина Владимировна Римская-Корсакова?»

Весьма некорректная постановка вопроса, потому что и я мог бы сказать: «Неужели он, Станислав Куняев, более прав в данном вопросе, чем я, выстрадавший...» и так далее. Мог бы сказать, но не скажу, потому что – увы! – страдания не в счет, поскольку знал людей, погибших в

страдании за идеи настолько вздорные, что о них и говорить неприлично.

«Римская-Корсакова умерла за год до публикации романа», – пишет С. Ю. Куняев. Но за год до публикации (то есть в 1990 году) он и сам не знал о существовании романа. Именно в это время мы были в Америке, где я ему и рассказал... И повторюсь: в том романе, который попал в КГБ во время обыска у моего друга Игоря Николаевича Хохлушкина, никаких публицистических приписок не было, и если автор романа умерла в 1990-м, то авторство приведенного С. Куняевым текста следует искать в другом месте.

Начало 1990-х – то было наисмутнейшее время за все годы новой русской смуты. Русский парламент почти единогласно голосует за развал... Миллионы русских на Украине голосуют за самостийность... К суверенитету рвутся лидеры, которые этого слова выговорить не могут... Тысячи безызвестных и прежде безынициативных объявляются в роли криминальных «экономических пассионариев»... Русские патриоты-литераторы, вдруг возжелавшие политической роли, с треском проваливаются на выборах – причем все: простота и конфетообразность демократических лозунгов выигрывают в сравнении с кашеподобной советско-постсоветской патриотической пропозицией...

Как говорится, на все сто я не рискну утверждать, что нас не ожидают более трагические события, но если, не дай Бог, случится... То все же будет схватка идей, уже «отстоявшихся» в смуте.

Что же до самой смуты, то, несмотря на некоторую, весьма видимую заданность, новая книга С. Куняева эту всеобщую «смятенность» воспроизводит добросовестно и убедительно, чем и особенно ценна. Страницы о событиях 1991-го и 1993-го интересны каждой строкой, поскольку в критических эпизодах истории с наибольшей полнотой раскрывается душевное состояние как непосредственных участников событий, так и неучастников.

И без того известно, а воспоминания С. Куняева это подтверждают, что в 1991-м, в отличие от 1993-го, поклонники «великой советской цивилизации» имели реальный шанс на реванш. Реальный, разумеется, только в пределах

условно сослагательного наклонения. Они им не воспользовались. И не потому, что испугались, хотя, возможно, кто-то и испугался. Но и испуг здесь вторичен. Первичен тот факт, что и они, советские патриоты, были равноправными микробоносителями смуты.

Стоит только перечитать личный «план борьбы» С. Куняева с «перестройкой»...

Именно потому познавательной цены не имеют оценочные суждения С. Куняева, положим, о событиях ГКЧП – что он в дневнике записывал да какие интервью давал. Цену имеют только поступки. А они в вопиющем противоречии с суждениями. Лично автора воспоминаний это никак не компрометирует, но лишь свидетельствует о душевном состоянии – оно было далеко не столь однозначным, как нынче хотелось бы его видеть мемуаристу.

Вспомним: автор мчится в Москву, узнав о «перевороте». «На душе было радостно (неужели кончается горбачевское гнилое время?!) и тревожно... Зачем такая громада стальных чудовищ?»

Менее добросовестный человек наверняка умолчал бы о сем противоречии чувств.

Или вот еще один чрезвычайно характерный эпизод, о котором кто-нибудь другой (но не С. Куняев), скорее всего, умолчал бы.

Поняв уклонение писателей-патриотов от поддержки гэкачепистов как молчаливую капитуляцию, противная сторона (во многих отношениях очень даже противная) решается с наскоку лишить писателей их коллективной собственности. Писатели не поддаются, сопротивляются и вроде бы побеждают. Но в победе не уверены. И что же они предпринимают?

«В полной надсаде и растерянности, не зная, что нам делать, на кого опереться, где найти сочувствие (!), *поддержку, а может быть, и помощь, ночью 31 августа мы с Володей Бондаренко поехали в гостиницу "Россия"».*

Там съехались на конгресс *«старики из первой эмиграции либо их дети, бывшие власовцы и энтээсовцы...».*

То есть – злейшие враги «советской цивилизации». Но далее!

«Мы полагали... эти люди помогут нам связаться с газетами, журналами, радиостанциями Запада (!), *чтобы*

рассказать (Западу! – *Л.Б.*) *о первых русофобских шагах нового режима, увидевшего в русских писателях-патриотах одну из главных опасностей для идеологов и практиков августовского переворота»*.

Оказывается, можно обращаться за помощью к проклятому Западу, если некие «бяконые» силы посягают на писательскую собственность! А нет, чтобы до того обратиться к Западу – пусть бы он скорее признал ГКЧП – как-никак, «попытка спасти Союз от хаоса, анархии, развала». А если смотреть глубже... То вообще!

И это после поездок по тому самому Западу, каковой Станислав Юрьевич, судя по дневниковым запискам, раскусил по самой сердцевине! Ну исключительно все понял как он есть, этот Запад, наизлющий враг России! И вдруг к нему за сочувствием и помощью? Да еще через посредников: белогвардейцев, власовцев и энтээсовцев, про которых он, С. Куняев, тоже все сурово понял, судя по текстам в книге, давным-давно.

Да ведь диссиденты, по М. Лобанову, к примеру, главнейшие разрушители социализма – они именно тем и занимались, что обращались к Западу. Но даже на их зов Запад откликался далеко не всегда...

Из текста опять же непонятно, что именно хотели русские писатели-патриоты объяснить Западу. Что они вовсе не являются «главной опасностью для идеологов и практиков августовского переворота» и их незаслуженно обижают? Или наоборот, что они, писатели-патриоты, не могут примириться с русофобскими выходками «идеологов и практиков» и просят Запад помочь побороть проклятых русофобов?

* * *

Выковыривая из тысячестраничного текста подобные нюансы, я вовсе не имею целью упрекнуть автора в беспринципности. Как бы я лично ни относился к политическим взглядам С. Куняева и к позиции его журнала, уж в чем в чем, а в принципиальности ни С. Куняеву, ни его журналу отказать невозможно. Помимо всего того ценного в книге С. Куняева, о чем говорил в начале темы и что очевидно, для меня не менее очевидным является тот факт, что вся

книга, просмотренная под определенным углом зрения, на примере одного конкретного и насколько возможно добросовестно описанного состояния души является первым и ярчайшим свидетельством о смуте как об особом состоянии сознания народа, когда он в силу обстоятельств утрачивает системное представление о бытии, независимо от того, была ли утраченная система понимания истинной или ложной. (Будь помоложе, отпаразитировал бы на С. Куняеве, накатал бы диссертацию. Что-то вроде: «С. Куняев как зеркало русской смуты».)

Слово «смута», строго говоря, политическим термином не является, но в том и видится его преимущество перед прочими политическими характеристиками эпохи, что оно схватывает самую суть случившегося: утрату или растрату народом высшего, надличностного смысла бытия. Ни одна из предлагаемых политических характеристик событий начала XVII века в исторической науке не устоялась. А ведь было: «польско-шведская интервенция», «крестьянская война под руководством И. Болотникова»... Была интервенция и Болотников был... Но мы говорим, как и сто лет назад, «Смутное время», имея в виду чрезвычайную сложность, многоплановость и попросту мутность политической ситуации в Московском государстве данного времени. И еще, говоря так, зрим в корень, в суть происходящего. Как можем прочитать у писателя XIX века: «Осиротел народ русский, и сиротству своему ужаснувшись, пустился во все тяжкие». О духовном сиротстве речь...

Но в слове «смута» как бы заложен и немотивированный оптимизм, помогающий не поддаваться панике под впечатлением бед и бедствий, смуту сопровождающих. Как слово «болезнь» (если не сопровождается определением «смертельная») предполагает излечение, так и «смута» – будто бы обречена на преодоление. И такая психологическая установка безусловно позитивна. Ею вооруженному чуть-чуть, да все же легче устоять от присяги очередному «самозванству», она настраивает человека на поиск в пестроте политических инициатив и импровизаций некоего, еще, возможно, и недостаточно оформившегося, но, как нынче принято говорить, конструктивного начала. Сколь неисповедимы пути преодоления смуты народной, опять же свидетельствует наша история. В том далеком, XVII веке что, какое событие следует

посчитать за самое начало изживания маеты-смуты? Конечно, не ополчение Минина и Пожарского. То уже финал с «зачисткой» территории. И не воззвания Гермогена – то пока еще всего лишь глас вопиющего...

Началом духовного возрождения, как это ни покажется странным, была присяга русских людей чужеземному, польскому царевичу Владиславу, потому что это уже была присяга «по закону» (не в строго юридическом смысле, разумеется), в то время, как прежде того беззаконие, «воровство» через самозванство измочалило души русских людей до форменного непотребства. Боярство «легло» под Тушинского вора не просто добровольно, но с каким-то воистину бесовским азартом – чем ниже пасть, тем шибче сласть! Вариант же с Владиславом – начало образумления. Кончилась династия Рюриковичей. Годунов и Шуйский в каком-то смысле тоже самозванцы. Владислав же – представитель династии межгосударственного масштаба... Пусть не русин, но, приняв православие, кем же он станет, как не русином, – и хватит пылить по Руси «воровству»!

Конечно же, не обманщик Владислав знак или символ начала изживания смуты, но усталость от «воровства» и тяготение к законному государственному бытию, наткнувшиеся на идею, подсунутую коварным Сигизмундом, королем польским, – вот он, момент русского похмелья. И в любом случае присягавшие Владиславу русские люди были куда как менее корыстны, чем, положим, гвардейские полки, через полтораста лет присягавшие «чужеземке» Екатерине.

И к чему бы это я все?..

Да к тому, что оппозиционное состояние сознания, когда оно становится сутью бытия человека, когда оппозиционность превращается почти что в профессию, и более того, если эта полупрофессия еще и плохо ли, хорошо ли, но кормит, и еще хуже, если она не сопряжена с опасностью, то есть ненаказуема, – такое состояние чрезвычайно чревато искажением, повреждением души. В случае малозаметного для глаза изменения ситуации в положительную сторону, то есть в ту самую сторону, куда все глаза проглядел, человек оказывается неприспособленным к иной форме существования и вопреки всем и всяческим идеологическим установкам самым потаенным инстинктом начинает противиться тому времени, на которое работал. На уровне того

же инстинкта берутся на вооружение лозунги: чем хуже, тем лучше; все или ничего...

Потому-то мне очень даже понятна реакция Александра Проханова на первое личное знакомство с новым президентом. Нормально – устать русскому человеку от диссидентства, от бесконечного выслеживания и обличения зла... И нормально для русского же человека служение государству, когда оно выполняет главнейшую свою функцию: обеспечивает *народ* населения страны. И не надо искать в данной фразе стилистическую погрешность. Ни в одном языке мира, кроме русского, слово «народ» не означает процесс, то есть постоянное увеличение населения, *нарождение* – этого из века в век требовали необозримые русские пространства. Нарождение же возможно исключительно в благоприятных социальных условиях, и пример нищих азиатских народов, взламывающих свои географические границы постоянно растущим населением, – явление совершенно иного порядка.

Нормально русскому человеку уважать власть и при том постоянно ворчать на предмет ее несовершенства – в том, возможно, и есть «рабочее» состояние государства, каковое идеальным быть не может ни при каких, самых благоприятных обстоятельствах. Но при том должна быть зрима тенденция на улучшение и общенародного, и собственно государственного состояния.

«По этой части» человеческого душевного состояния лично у меня богатейший жизненный опыт. Когда давным-давно, в юности, я только начал догадываться о порочности коммунистической системы-государства, какую муку, какую «ломку» я пережил, воспитанный не просто законопослушным гражданином, но и гражданином, гордящимся своим политическим гражданством! Поначалу я отчаянно искал и отыскивал не грехи государства, но факты, опровергающие мои «недобрые догадки». Более прочего надеялся я встретить хитроумнощурого «дяденьку», каковой бы в два счета расставил бы все по своим местам, а я б вздохнул с облегчением и в наказание за свои соплячьи сомнения отправился бы в самое «пекловое пекло» коммунистического строительства. Отчасти именно этими побуждениями объяснялись мои «побеги» и на Братскую ГЭС, и в Норильск... И мой бросок в столицы в 1960-х – а вдруг там откроется

мне некая наиважнейшая суть, каковую в провинции не просечь...

И даже потом, когда самоприговоренность коммунистического строя открылась со всей очевидностью, мои побеги в тайгу, случавшиеся, разумеется, не от хорошей жизни, они, по сути, были «отдыхом» от напряжения противостояния...

И берусь категорически утверждать, что всякая идеологическая установка, хотя бы самым краешком близкая к революционной, в самом итоговом итоге своем противоестественна человеческому бытию, потому что рожден человек для созидания жизни и продолжения ее посредством любви... Любовь же к чему-то, что отвергает сколь угодно порочное и несовершенное, но реальное бытие рано или поздно, так или иначе оборачивается формулой Байрона: «My very love to Thee is hate to them», где это самое «хейт» становится доминантой поведения, а «лав» – всего лишь слабеньким самооправданием целостной нравственной переориентации.

Все сказанное, разумеется, имеет отношение исключительно к внутрисоциальной ситуации и никак не распространяется на обстоятельства чрезвычайные – чужеземное нашествие, к примеру.

В реакции А. Проханова на «деловитость» президента мне прежде прочего увиделся-услышался вздох облегчения. Кто-то отреагировал – дескать, перебор... Что ж, это очень даже по-русски. И если президент какими-то своими поступками не оправдал столь оптимистических надежд А. Проханова, разочаровал... Вторично! Важно, что была явлена готовность русского человека к иному, позитивному состоянию сознания. Ведь возможно, что новый президент еще вовсе не начало конца смуты, возможно, это пока еще только «феномен Владислава»...

Наши маститые социологи, сами большей частью продукты смуты, пытаются успех В. Путина объяснить политическими кознями и махинациями бюрократии. Но как бы там ни было, тот факт, что бюрократия, то бишь «служивые люди», и значительная часть народа проголосовали за совершенно определенный «образ», как он был народу и бюрократии подан, – в том несомненное свидетельство начала изживания смуты. Пусть даже только самое-самое ее начало.

Люди с уже прочно устоявшейся диссидентской, оппозиционной психологией ныне с явным сладострастием отыскивают и, конечно же, находят в действиях нового президента массу несоответствий между заявлениями и поступками. Многие всего лишь фиксируют реальность. Но невозможно не заметить и других: кто почти «рад», что опять все плохо, что снова можно «против», потому что быть «за» – это же так банально...

Что ж, они, «вечные диссиденты», тоже нужны, как некое постоянно бдящее и в меру влиятельное меньшинство, но именно, когда они – меньшинство. Как «бдящий фактор» нужны и партии крутой социальной ориентации. При условии, если у них нет шансов на власть. Тогда их роль в многопартийном строе положительна, поскольку более совершенное беспартийное государство на нашем политическом небосклоне пока еще даже не просматривается.

Да что там говорить – вообще еще ничего путного не просматривается на наших отечественных горизонтах. К этой грустной мысли на исходе дней моих опять же и просится в строку Станислав Куняев:

«Чем ближе ночь, тем Родина дороже!»

Запад: соблазн любви и ненависти

Действительные идейно-политические «западные ценности», в особенности после известных балканских событий, справедливо представляются русскому человеку как кодекс вопиющего лицемерия, и на этот счет ныне и ранее сказано и написано достаточно, чтобы не повторяться...

А дипломаты – что ж, это их работа – играть на международном поле, каковое невозможно игнорировать. Играть и отыгрывать хотя бы пешки в самой проигрышной ситуации, в каковой оказалась Россия, по-видимому, на достаточно продолжительное время. Их дело – улыбаться и жать руки биллам, джонам, майклам, произносить речи с многозначительными подтекстами, заявлять о намерениях и упреждать намерения соперников по всемирной политической игре и хотя бы минимально корректировать в пользу России невыгодную для России международную ситуацию.

Что до русского человека, не обязанного к дипломатическим условностям, то он задолго до нынешних времен, по меньшей мере, еще век тому назад почувствовал опошление культурного пространства, идущее с крайнего Запада, наступающее на Запад серединный, на Европу, с которой до определенного времени у России культурное поле было одно – о том говорил Достоевский...

И верно ведь, сотни имен гениев Европы в нашем сознании никогда не воспринимались нами как нечто иноприродное. Никакой самый «русофил из русофилов», делая ныне стойку против Запада вообще, не имеет, тем не менее, в виду ни Бетховена, ни Диккенса, ни Рембрандта, ни Карузо... Да и крайний Запад – Америка, пока она была и осознавала себя частью европейской цивилизации, оставила в нашем культурном багаже немало подлинных ценностей.

Но, знать, что-то особое, неевропейское, почти инопланетное вызрело в недрах теперь уже исключительно американской цивилизации, и опошление сперва внутреннего культурного пространства, а затем агрессия пошлости – то лишь следствие мимикрии или мутирования самой сути бытия бывших европейских переселенцев.

Советское бытие, положим, по своему политическому сечению тоже было пронизано пошлостью, двусмысленностью и попросту ложью. Но в силу необходимости самоизоляции российский коммунизм вынужден был хотя бы и сквозь цензурное сито, но возвратить и «запустить в оборот» значительную часть русского культурного наследия и в собственном воспроизводстве культуры так или иначе ориентироваться на достойные образцы многовекового культурного созидания.

Я предложил бы маленький пример таковой ориентации.

Как-то видел кадры старой хроники: два человечка суетятся вокруг рояля, возбужденно жестикулируя: заснято сотворение общенародной советской песни. Рассказывается, как авторы дотошно изучали особенности русской песни, как установили, к примеру, что многие из них имеют повышение тональности на третьем слоге – «что сто-ишь (качаясь)» – на «ишь» повышение; или – «из-за о-(строва на стрежень)» – на третьем слоге «о» повышение. А также: «расцве-та... (ли яблони и груши)» и т. д.

После подобных долговременных исследований рождается действительно общенародная песня «Широка страна моя родная».

Однако я посоветовал бы хотя бы мало-мальски знающим нотную грамоту проделать следующий эксперимент: изъять из текста по одному слову, сократив, соответственно, нотные строки. Образец:

Широка страна родная,
Много в ней лесов и рек.
Я другой такой не знаю,
Где так дышит человек.

Таким образом уравнивается количество нотных знаков с другой, подлинно народной песней:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Остроrрудые челны.

Далее следует сравнить таким способом сокращенную нотную запись общенародно советской с записью просто народной – обнаружится стопроцентное совпадение. Да и не знающим нот, кому-нибудь на пару, советую одновременно пропеть тот и другой куплеты – изумление гарантирую.

Плагиатом не назову. Налицо добросовестное исполнение заказа: инфильтрация в традицию социальной актуальности. Что-то вроде «двадцать пятого кадра».

Нынче идеологи русско-советского патриотизма любят в соответствующей обстановке петь песни советского периода. И не диво, поскольку большая часть советского песенного наследства удивительно лирична, чиста текстом и музыкой и в самом глубинном смысле традиционна – словно, если и было в русском коммунизме нечто нерефлективно идеальное, идущее от вековечной русской тоски по добру и справедливости, то исключительно в песенном творчестве оно «осело» и обособилось. И при том я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из поклонников советской песни сортировал последние по принципу авторства, а ведь не меньше половины их, советских песен (если не больше), написаны евреями по национальности.

Еще лет двадцать назад однажды прослушал кассету старых хасидских песен и поражен был обилием «цитат»... От-

крытие сие, однако же, на мое отношение к лирическим советским песням никак не повлияло, и не только потому, что это были песни моего детства и юности... В конце 1970-х на гребне эмиграционной волны многие отбывающие в Землю обетованную евреи, сказал бы, несколько безответственно разоткровенничались. Некто Севела (имени не помню), к примеру, с неприкрытым злорадством вещал в своей книге о том, как «наследили», то есть напроказничали евреи в русской культуре.

О советской песне – чуть ли не глава. Но не только о песне, но и о математике, положим, и даже о полукровках, хотя последнее с культурой сопрягается весьма опосредованно...

Кто в чьей душе наследил – вопрос не бесспорный. Специально интересовался судьбой одного популярного питерского песенника, эмигрировавшего в Израиль, – не порадовал он свою историческую родину и десятком нотных строк. Говорят, вернулся...

Об одном эпизоде в связи с данной темой особо.

В конце 1970-х к Илье Глазунову обратился некто Юрий Шерлинг, еврейский композитор, вознамерившийся организовать еврейский камерный театр, написавший музыку к первой постановке, которая называлась «Белая уздечка для черной кобылицы». Либретто известного песенника Ильи Резника перевел на идиш главный редактор советской еврейской газеты (кажется, Вергилис)... Глазунову было предложено взять на себя роль художника-оформителя, мотивация обращения была следующей: поскольку русский художник Илья Глазунов знает, понимает, ценит русскую национальную культуру, то именно он, в отличие от абрамов, не помнящих родства, сможет понять и воссоздать на сцене национальную еврейскую обстановку – в прямой контекст любимого изречения Глазунова: «Только тот, кто любит родную мать, поймет чувства матери другого человека...»

Безусловно, была и иная мотивация обращения к «русскому националисту» Глазунову. Глазунов, как подстраховщик от запрета – так, скорее всего, виделась Ю. Шерлингу роль художника, народного любимца. Издерганный обвинениями в хроническом антисемитизме, Глазунов, к неудовольствию многих своих единомышленников, дал согласие и, по мнению специалистов, с работой справился отлично.

Премьера спектакля должна была состояться в национальном театре в Биробиджане. Туда, на премьеру, и летели мы в полупустом самолете теплой компанией: Илья Глазунов, Илья Резник, Дмитрий Васильев – тогда ближайший технический помощник Глазунова, а много позже – «Память», переводчик Вергилис (?) и я, к тому времени уже постоянный объект внимания «органов». Летели весело, песни пели, Резник читал непубликуемые стихи, Дима Васильев, человек несомненных актерских способностей, искусно пародировал популярных советских поэтов, я сочинял куплеты о десанте русских шовинистов на еврейскую землю – потешались...

Премьера состоялась. Зал был полон, как мы тогда говорили, настоящих евреев, и поскольку авторам, в том числе и Глазунову, действительно удалось воссоздать обстановку дореволюционного еврейского местечка, старые евреи, знать, еще что-то помнящие, плакали. А мы, сидящие в первом ряду, лишь периодически вздрагивали, когда в музыке Шерлинга прорывался то Бах, то Чайковский, а то даже и Глинка...

После премьеры – шикарный банкет. В огромном зале столы были расставлены буквой «П», где по центру все биробиджанское партийное и советское начальство, левое крыло – гости, в том числе и мы, прилетевшие, а правое крыло – актеры, за исключением исполнительницы главной женской роли-партии, все евреи. Произносились речи благодарности партии и правительству, разрешившим существование еврейской национальной культуры, и речи представителей «партии и правительства», благословляющие дальнейшее цветение оной. А в заключение актеры театра исполняли древние еврейские песни – тогда-то вот я и обнаружил с изумлением, что проигрыш – самая красивая часть знаменитой и заслуженно популярной песни «День Победы», каковую и поныне поет вся постаревшая часть России, имеет национальное еврейское происхождение. Но разве этот факт способен что-либо поменять...

К слову. Еврейские диссиденты тогда с гневом осудили факт появления национального еврейского театра. Общелюбимое слово – провокация! В стране государственного антисемитизма – не иначе как для отвода глаз мирового общественного мнения.

Еще о русско-советской песне.

Помнится, в конце 1950-х Эдиту Пьеху упрекали за пошлость манеры исполнения, но на фоне нынешнего эстрадного бешенства, кликушества и безголосия она – сама невинность.

Вот, к примеру, наша знаменитая родоначальница «эстрадной свободы» исполняет нечто – песней и назвать невозможно – на слова Б. Пастернака: зависнув безжизненными зрачками на объективе, заслуженная пенсионерка эстрады, периодически взвизгивая, отчаянно конвульсирует всеми частями тела, так, словно «свеча горела» не на столе, а совсем в другом месте... Ни следа от интимности и дивной целомудренности стиха – одно похабство.

К счастью, ветра всеобщего опошления не коснулись музыкальной классики. А если и коснулись, то где-то на задворках... Иначе нам предложили бы любоваться, как стриптизерша, елозя потным телом по металлической палке, изображает страдания Офелии...

Кроме эксперимента А. Шнитке с «Пиковой дамой», ничего подобного мне более не известно. А «пресловутое» протестное по этому поводу письмо А. Жюрайтиса, между прочим, предварительно обсуждалось все там же – в мастерской Ильи Глазунова, и я помню слова А. Жюрайтиса: «Можно говорить, что «Пиковая дама» – произведение незаконченное, но как надо понимать себя, как себя видеть, чтобы браться за «исправление» Чайковского...»

А Запад... что ж, новым непроницаемым занавесом нам от него не отгородиться. Не исчезнут с наших книжных полок ни Бальзак, ни Дюма, ни Диккенс... и сотни имен людей Запада – часть нашего духовного багажа.

Ксения Григорьевна Мяло, которую уж никак не заподозришь в «западнофильстве», призналась как-то, что для нее было бы трагедией новое закрытие границ. Паршивец де Кюстин так резюмировал свое открытие России: «Когда я оцениваю себя, я скромен. Но когда я сравниваю себя – я горд».

Нам, в отличие от него, вроде бы и нечем гордиться, сравниваясь. И все же это не так.

Я попал на Запад, в самую культурную страну Европы – Англию почти что сразу после освобождения из тюрьмы. То был праздник глазам и душе. Средневековый замок в Ду-

вре на берегу Ла-Манша я облазил поквадратно от башен до подвалов. Я истоптал все палубы прекрасно сохраненного боевого парусника, общупал руками механизмы и чуть ли не по пояс всовывался в жерла бортовых пушек. Умилялся домику «Пиквикского клуба». Захватывался дыханием в книжном хранилище Кембриджа. Вдоль и поперек исходил римское кладбище на самом северном шотландском берегу.

Потом была Америка с ее Великим каньоном и воистину космическим явлением тумана, наплывающего на Сан-Франциско с океана.

Германия и величественные замки на высочайших берегах Рейна, дивное своеобразие баварских городков и поселений.

Наконец, Италия и Колизей! Ни кино, ни репродукции не воспроизводят действительной объемности этого сооружения. С юности поклонник истории Греции и Рима, только там, на ступенях-скамьях Колизея я впервые почувствовал былое величие Древнего мира, именно почувствовал, потому что знал-то и ранее.

Случилось и нечто необычное. По натуре я совершенно не мистик: ни тебе видений многозначительных, ни предчувствий многообещающих. Сухарь. Но вот было же! Мы стояли с дочкой у ограды древнего гладиаторского ристалища. Справа – темнеющий нутром выход на арену... Глянул, и что-то случилось со мной, с моей головой – безнадежный рационалист, и теперь не верю и спорю с памятью... Я увидел себя выходящим на арену из-под темного полуарочного свода! Выходящим на бой и смерть.

Ни в какую генетическую память не верю. И не веря, говорю себе: когда-то мой немыслимо дальний предок топтал этот серый песок гладиаторского загона!

Фильмы про гладиаторов, даже пошло и примитивно состряпанные, смотрю... Как перебираю порою фотографии моих сибирских предков. Вечные, не желтеющие и не выцветающие, добротным картоном укрепленные – лица на фотографиях значительны, позы торжественны, потому что уготованы великому делу – противостоянию изничтожающего душу чувства сиротства в мире, соблазняющего человека гордыней самодостаточности и превосходства, каковые будто бы задарма обеспечиваются всеобщим прогрессом, усложняющим окружающий мир и

тем возвышающим современного человека над его «бедными» предками.

Приятно и хмельно в минуты безделия думать о том, что между Иркутском и Римом тысячи и тысячи верст, и где, на какой версте и в каком веке потомок римского гладиатора впервые глянул в сторону восточную... Чушь, конечно... Но кто-то же из современных песенников настаивает, что чушь бывает прекрасна...

Итак, я придумал себе родство с Западом.

В том и мой личный СОБЛАЗН ЛЮБВИ К ЗАПАДУ.

Но не на пустом же месте состоялась эта моя придумка. Герои Диккенса и Майн Рида, Дюма и Бальзака, Фенимора Купера и Джека Лондона, Томаса Манна, Ромена Роллана и Голсуорси – разве когда-нибудь усматривал я в них ту иноприродность, каковая ныне в виде так называемой масскульты режет и глаз и ухо, и раздражает и бесит, и, кажется даже, жизнь укорачивает, потому что насилует, навязывается, истязает. Несчастные девушки-мутантки, по десять часов отсиживающие в магазинах, кафе, парикмахерских – они сжились, срослись с ритмами племен, остановившихся в своем музыкальном развитии с времен каменного века. Ритмы века каменного удивительнейшим образом совпали с ритмами машинной цивилизации и теперь успешно взламывают хребты национальной биоритмики, и каковы будут чисто генетические последствия этой агрессии «музыкального неолита» – о том думать уныло.

На радио «Свобода» есть еженедельная передача под названием «49 минут джаза». (И в голову никому не придет, что на этой радиостанции возможна передача «49 минут русской музыки»!)

Несколько раз мощнейшим усилием воли я давал себе «установку» – прослушать передачу до конца. Ну не тупица же я, и слухом, слава Богу, не обделен, и на музыке воспитан – должен же я понять, почувствовать...

Вот один «джек» на рояле гоняет пальцами туда-сюда, туда-сюда, а другой «джек» на саксофоне – сюда-туда, сюда-туда! И это бесконечно – ни темы, ни мелодии, ни гармонии... И всякий раз одна и та же ассоциация: обезьяна кистью в ведро с краской, а затем по холсту и так и этак, и этак и так...

Что же должно было произойти с человеческим чувствованием Божьего мира, чтобы после Бетховена, Моцар-

та, Рахманинова он начал испытывать удовольствие (а ведь испытывает!) от редуцирования до обезьяньего уровня величайших гармоний? И судя по высказываниям «специалистов», теперь уже идет процесс редуцирования творений «столпов» этого самого «туда-сюда». Лундстрем объявлен непревзойденным, а у микрофонов лишь эпигоны.

Год или два назад московские власти с большой честью для себя принимали американскую гостью, как раньше сказали бы, певичку Лайзу Миннелли. А мне случилось слышать ее мать, тоже эстрадную певицу – так ведь это же представители разных цивилизаций. Мать Лайзы – это еще Европа. Это еще в стиле мюзиклов «Оклахома», «Семь невест для семи братьев», это еще в традициях европейских гармоний. Мы ведь с удовольствием смотрели эти фильмы, потому что, чувствуя иное, чувствовали и родственное. Но Лайза Миннелли – это уже не Европа. И даже не Америка. Это Африка. Не нынешняя. Нынешнюю мало знаю. Это Африка, загнанная на плантации американского Юга, утратившая связь с Родиной, как попало усвоившая культуру плантаторов и всей мощью племенной генетики «задавившая – подавившая» не слишком, знать, ценимые наследниками европейских переселенцев свои музыкальные традиции. Лайза Миннелли – певица афроамериканская. На этом она себя и сделала. Для негритянской культуры – это еще одна маленькая победа. Из этих маленьких и немаленьких побед вызревает планетарное поражение европейской, в частности музыкальной, культуры.

Им бы, культурам, сосуществовать и взаимообогащаться, насколько это возможно. Да, знать, не дано. Налицо экспансия.

Уже где-то писал, что если бы некая «инотарелка» зависла над Останкинской башней и по телепередачам попыталась бы составить представление об обитателях близ и даль лежащих земель, то на первом месте все-таки определились бы русские. Зато на втором, нет, уже не евреи – негры! Пусть кто-нибудь в так называемое смотровое время где-то от 19 до 23 часов погоняет по кнопкам телевизора. И если на трех из восьми каналов он не увидит негров, то пусть сообщит мне – я чистосердечно покаюсь.

А пока... Я вставляю в видеомагнитофон кассету с «любимыми ариями». Нет, здесь не все... Лишь некоторые... Вот он, Лемешев с «красной девицей», многострадальной Зоей Федоровой... Уже старенький Козловский... «Я встретил вас»... И Штоколов... Но ведь не только! У меня здесь и обворожительная, с прекрасным голосом Дина Дурбин, и Алан Джонс с Джанет Макдональд, и Ян Капуро с Джиной Лоллобриджидой...

Мои музыкальные пристрастия, возможно, спорны, потому что вот она, здесь же, кумир 1950-х – Лолита Торрес, и кумир 1960-х – Сара Монтье... Вмонтируй я сюда ту же Лайзу Миннелли – нынешнего кумира – кощунством будет смотреться...

Значит, что-то принципиальное произошло именно с массовым вкусом, потому что и Торрес, и Монтье – это еще вчерашний музыкальный «вкус» масс.

Но, слава Богу, не оскудела еще голосами русская земля! Оперные театры полны талантов. Одна только Ирина Константиновна Архипова скольких явила миру!

И на другой параллели – сущее диво: Евгения Смольянинова, Татьяна Петрова, Олег Погудин... Если «вмонтировать» в этот ряд Гарика Сукачева – даже на районную худсамодеятельность советских времен не потянет...

Иногда, правда, я пытаюсь приподняться над собственной субъективностью и рассуждать «политически»: имеет место неслыханное заигрывание с молодежью – ведь в основном для нее, для молодежи «там-там» по всем каналам радио и теле... – возможно, говорю себе, это «мудрая» политика отвлечения утратившего идеалы молодого поколения? Пусть себе визжат и дрыгаются, пусть кучкуются и табунятся, пусть даже балдеют слегка от всяких травок и порошков, лишь бы они, безыдейные, энергию свою не направляли в социальную сторону – ведь только брось клич, и разнесут по кирпичикам любое построение, державное или олигархическое – без разницы, поскольку экстаз разрушения ни с какими прочими разновидностями экстазов не сравним.

А так, глядишь, отбалдеют свое, меньшинство, конечно, свихнется, но большинство со временем остепенится... Во Франции в 1960-х было нечто подобное...

К сожалению, дело не только в молодежи. Несколько лет назад большая группа писателей, актеров, музыкантов от славного города Ельца автобусом добиралась до «бунинских мест». Администрация заботливо выделила нам три милицейские машины для сопровождения. И из всех трех сопровождающих нас машин, перекрывая рык автобусного мотора, разносилась по просторам родины великого русского писателя ритмическая песенная похабщина...

В купированном вагоне скорого поезда с первых минут движения я обычно, переходя от окна к окну, незаметно выключаю радиоточки. Но через какое-то время проводница, независимо от возраста, словно встревоженная «непорядком» во вверенном ей помещении, проходит вдоль вагона и включает...

На теплоходе репродукторы развешаны по бортам, и борьба с визжащими и хрипущими заведомо бесполезна.

Обычно говорят – не нравится, выключи. Нет. Я не могу выключить этаж выше и этаж ниже. Или попробуйте выключить ревущий Калининский проспект, если вздумалось вам прогуляться вдоль...

Порой мне кажется, что псевдомузыкальный террор уже подчинил себе подавляющее большинство, и только я урод... Ну не могу я этого слышать... Ведь даже вдали от населенных пунктов у водоема, куда пристроишься с удочкой, и туда непременно подкатит на авто какой-нибудь мутант и, прежде чем разобрать рыболовные снасти, на полную мощность включит грохочущие или чавкающие ритмы.

В злобе я готов предположить, что не героин и ЛСД уничтожают человечество, но именно эти, пришедшие с западной стороны афро-американские ритмы – именно они готовят все прочее человечество к подчинению иному духу. Но не уличить, не обличить – свобода!

И в том мой личный (и частный, потому что есть и более серьезные претензии) СОБЛАЗН НЕНАВИСТИ К ЗАПАДУ.

И государство, уверен, рано или поздно мы отстроим, и экономику подровняем к мировому уровню, и территориальные проблемы так или иначе решим... Но останемся ли мы теми, кем были в истории, – русскими?

Михалковы как символы России

Я сидел в главной (гостиной) комнате квартиры Глазунова и просматривал только что привезенные Ильей Сергеевичем из Германии русскоязычные журналы: «Континент», «Русское возрождение», «Часовой». Услышал, как за дверью комнаты кто-то спросил голосом женским скорее, чем мужским: «А разве Ильюши нет?» В те дни, когда я был дружен с Глазуновым, только два человека называли его Ильюшей. В данном случае женственность голоса меня не обманула – это был Сергей Михалков.

Предполагаю, что Михалков относился к Глазунову с любовью, насколько вообще человек типа Михалкова приспособлен был любить кого-либо, кроме своих близких. Глазунов Михалкова ценил за ту помощь, какую тот оказал ему в самом начале пути. Кстати, домом и мастерской на Калашном – знаменитая глазуновская башня – он тоже был обязан Михалкову. Посвященные безусловно знали, на каком уровне советской социальной лестницы находится автор уже тогда двух государственных гимнов: сталинского и антисталинского. Сегодня человек такого уровня без охраны не перемещается даже по территории собственной дачи.

Охраны в те времена не было, но было другое: строжайшая фильтрация общения. Нина Глазунова рассказывала, что Михалков не раз отчитывал ее супруга за нечистоплотность контактов. И всякий раз, как намечалось посещение Михалковым квартиры Глазунова, специально оговаривался возможный состав при этом присутствующих. Однако лишь «расфасовкой» по комнатам и мастерской порою удавалось избежать нежелательных контактов пришедших по договоренности и «нагло припершихся» без звонка.

Можно только предположить, сколь привередлив был регламент человека, стоящего на самой верхней ступени советско-интеллигентской лестницы.

И надо было видеть выражение лица автора «Дяди Степы», когда, открывая дверь в комнату, где никого не должно быть, он вдруг увидел меня, небрежно развалившегося на полудиванчике не то XVIII века, а не то и XVII, с журналом «Континент» в руках.

«Здоровканье» произошло и комично, и нелепо. На мое «добрый день» ответил каким-то слишком поспешным

двойным кивком, среди обилия стульев, кресел, диванов он словно растерялся в выборе, но в действительности отыскивал место, каковое бы подчеркнуло принципиальность сепаратности его пребывания в едином замкнутом пространстве с человеком, ему не представленным и, следовательно, заведомо чужим. Я никак не выразил узнавания столь известной личности и продолжал листать «Континент», даже не глядя в сторону Михалкова.

Так вот мы и сидели друг против друга: автор гимна Советского Союза и совсем недавний зэк, шесть лет подряд ежеутренне вскакивающий с тюремной койки под звуки этого самого гимна. Но не было в моей душе ни крохи отрицательных эмоций по отношению к человеку напротив, потому что напротив меня был не человек, но эпоха, именно в нем или им олицетворенная. Откровенно злых или подлых деяний я за ним не знал. Скорее иное. Еще в середине 1950-х, отслеживая по газетам судьбу писателя Дудинцева и его романа «Не хлебом единым», запомнил именно михалковские слова (это в период, когда Дудинцева, «не разобравшись», и хвалили, и захваливали): «Правда, единственно нужная народу». Так было сказано Михалковым в «Литературке». И потом, когда объявили Дудинцева «злодеем» и «вражиной», последние добрые слова в адрес уже всеми проклятого тоже были произнесены все тем же Михалковым: «Жаль, что такой талантливый писатель, и не с нами...»

Так что отрицательных эмоций не было. Любопытства особого – тоже.

Сосуществование в молчании затягивалось, но распахнулась дверь и буквально ворвался в комнату всегда и везде опаздывающий Илья Глазунов. Почти сердечные объятия и тысячи извинений, и с явно обиженной физиономией Михалков тут же был уведен в кабинет, где он и должен был ожидать Глазунова... Чуть позже я узнал, что Нина нашу встречу организовала-подстроила специально. Она, бедная, незадолго до того прочитала мою «Третью правду» и уверовала, что я настоящий писатель, что за мной будущее, – вот и решила для собственного интереса свести прошлое с будущим. Мои способности она явно преувеличивала, но такова уж была натура этой удивительной женщины. Если она к кому-то располагалась душой, то не было предела ее доброте.

Однажды она тщетно пыталась заинтересовать мною Владимира Солоухина, и потом злилась и на себя, и на Солоухина, который только отмахнулся от ее рекомендаций: «Талантливый – сам прорвется. В литературу сбоку приходят одни проходимцы». Я и сам думаю, что он во многом был прав.

Вторая встреча с Сергеем Михалковым случилась уже при совсем других обстоятельствах. Был короткий период моей «конъюнктуры», я «ходил» в известных и популярных – то есть в начале 1990-х. В тесной комнатке Инколлегии Союза писателей меня представили Михалкову, он сказал: «А как же, конечно, слышал... С большим уважением...» В нашем рукопожатии все было искренно.

В третий раз произошло сущее недоразумение. Год прошел или два? Выходя из зала Союза писателей, я столкнулся с Михалковым в двери и, торопясь, не заметил... Точнее, заметил боковым зрением протянувшуюся ко мне руку, но, повторяю, торопясь, проскочил мимо и лишь на первых ступенях лестницы спохватился и понял, что если кто-то еще видел эту сцену, то он был свидетелем демонстративного «неподатия руки» советскому классику... Никаких сентиментальных чувств к автору гимна и «Дяди Степы» я, разумеется, не испытывал. Но и обижать его...

Я поспешно вернулся, отыскал в толпе выходящих из зала писателей – отыскать нетрудно, дылда – и сказал, протягивая руку, что не предполагал, что он запомнил меня, что рад видеть его в добром здравии, чего и далее желаю...

Не менее трех минут – пока спохватился, пока разыскал... И только теперь видел, как сходит медленно, сперва с левой стороны и со лба, потом с правой – бледность, ей-богу – смертельная бледность с лица человека смертельно оскорбленного. Но кроме бледности, ни единой черточки лица измененной, будто вечная маска на лице. Что-то напоминающее улыбку было мне подарено с последним пожатием рук.

Рассказ о Михалкове – не самоцель. Речь пойдет о Михалковых – именно как о символе выживания в исключительно положительном значении этого многосмыслового слова.

С сыновьями Сергея Михалкова я не встречался никогда. Не было ни нужды, ни повода. Но несколько лет назад в Германии, в окрестностях Бонна на берегу Рейна, где напротив, на другом берегу, величественный замок для принятия «вы-

соких» иностранцев, происходил то ли симпозиум, то ли это как-то иначе называлось, и одним из главных участников намечался и был заявлен в программе Никита Михалков, где-то в тех же европах в то время снимавший очередной фильм. Темой почтенного собрания предполагались обсуждения российско-германских отношений, каковые, скажу сразу, с первого же доклада обернулись этаким доброжелательным судом над Россией, ее историей, ее будущим. Закончилось сие мероприятие почти скандалом, когда сначала я, а затем тоже весьма «оборзевший» от вестернизационных «добропожеланий» тогдашний министр культуры Евгений Сидоров выступили с откровенными протестами... Но то позже.

Открывать же многозначительный разговор о русско-германской дружбе должен был не кто иной, как САМ Никита Сергеевич Михалков. Однако, к общему разочарованию, мастер прибыть не смог, но зато «прислал своего копьеносца с приветом, составленным из...» философских размышлений о себе, о мире вообще. Еще в период полулегальной юности тренировал я себя на «незапоминание» имен и фамилий, чем теперь хронически и страдаю.

«Копьеносец» (не то Бернштейн, не то Рубинштейн) торжественно возгласил, что послан к почтенному собранию с целью изложить философские взгляды всеми уважаемого Н. С. Михалкова, каковые лично сам он разделяет лишь частично, но изложить намерен столь же добросовестно, сколь добросовестны их с Н. С. Михалковым и творческие, и деловые отношения.

Из всех предусмотренных и непредусмотренных регламентом докладов и сообщений ЭТОТ был самым «продолговатым». Не менее часа около сотни человек разных «степеней», званий и положений терпеливо слушали винегретоподобные суждения о культуре вообще и в частности, о славянской душе вообще и в частности, о великой русской идее – в особенности об отношении ко всему вышеперечисленному лично Никиты Сергеевича Михалкова...

Я был озадачен не тем, что звучат прописные истины, да еще, как говорится, из вторых рук, не тем, что спорность некоторых «истин» очевидна... Смелость, с которой режиссер кино отважился предложить аудитории, об уровне каковой ему наверняка ничего не было известно, свои размышления на столь высокие и ответственные темы, уверен-

ность, что все это будет выслушано и принято к разумению, что никому из важномнящих о себе специалистов по «русскому вопросу» (а там ползала было именно таких, «дело организовывали знатоки») и в голову не придет фыркнуть по поводу дилетантства философских обобщений хотя и известного, но все же только «киношника» – то ли не чудо! Ведь не Тарковский или Любимов, не Ростропович, наконец, а всего лишь «русофил» киношный...

Но вот нате вам! Сидели слушали, внимали и после ни одного недоброго или небрежного слова. Приняли! И фильмы его красивые – принимают, где, строго говоря, один и тот же принцип: Михалков играет себя в роли командарма, себя в роли Государя и т.д. Мне, к примеру, нравится, как он себя играет...

В жизни многие люди (и вовсе не актеры по профессии) откровенно «играют» себя, совсем так, как это бывает у детей. Никите Михалкову повезло – он продлил детство в профессии, и в том я не вижу ничего дурного, скорее напротив, завидую...

Никита Михалков, безусловно, достоин восхищения той смелостью, с которой он утверждает себя в мире – и киношном, и социальном. Может и в морду дать при случае, то есть постоять за себя самыми разнообразными формами и способами. Друг бунтовщика Руцкого и олигарха Березовского: с одного он имеет бескорыстную дружбу, с другого – откровенно дружескую корысть, и кто кинет камень? Только тот, кто не умеет или не смеет. «Русофил» Никита Михалков принят и Западом, и Востоком.

А брат его «западник» столь же любезно принят и Востоком, откуда он будто бы бежал, и Западом, куда он вовсе не перебегал, но лишь творчески переместился. На Западе он ставит фильмы-боевики, где обличает бессилие буржуазного закона и право «героя» вершить суд по законам Ветхого Завета, где так называемые «права человека» отнюдь не поражают нас своим разнообразием: сперва прямым в морду, затем под дых, далее, как правило, швырок в стенку с ее непременным проломом, наконец, смертоносный захват шеи и только тогда вопрос по существу – где? кто? почему? Ни тебе разговоров о презумпции невиновности, ни тем более информации о правах хранить молчание и претендовать на адвоката. Запад, по мнению Михалкова-Кончаловского, настолько «насобачился» в делах по правам человека, что по-

следние превратились благодаря педантам по правам в первейшее препятствие свершению элементарного правосудия.

На Востоке Михалков-Кончаловский «обличает беспросветный идиотизм русской жизни», вполне искренно любя героев изображаемого идиотизма, и потому – тоже патриот и тоже вроде бы наш...

О высотах философского мышления младшего Михалкова я уже говорил. С некоторыми интеллектуальными позициями старшего случайно познакомился по телевизору. В паре с каким-то не менее достойным интеллектуалом Михалков-Кончаловский обсуждал массу злободневных проблем, и в том числе проблему отличия эротики от порнографии, и оба пришли к наипростейшему соглашению: если голый мужчина показан вам передом, то это, пожалуй, все-таки порнография, а если задом – как раз наоборот, эротика.

А в это время «патриарх» семьи сочиняет третий текст Государственного гимна, гимн принят и утвержден, и этим как бы официально подтверждены «полномочия» клана в целом... Рискнул бы настаивать на слове «полномочия», ибо когда три фамилии дискретно признанно функционируют в культурном поле, разобщенном и эстетически, и политически, то, несомненно, это уже явление, требующее особого рассмотрения, когда уместна сопоставимость специфики клана и специфики всей общественно-гражданской ситуации.

И я произвольно и бездоказательно осмеливаюсь предположить, что беспримерная выживаемость клана Михалковых есть не что иное, как своеобразный сигнал-ориентир «непотопляемости» России, буде она при этом в самом что ни на есть дурном состоянии духа и плоти.

Более того, я уверен, что подобных непотопляемых русских кланов, сумевших без особых потерь плавно расползтись по фрагментарности русской смуты, предостаточно, сохранивших при этом внутриклановую лояльность, обещающую в недалеком будущем тот самый «консенсус», о каком столь филантропически мечтал Горбачев.

О клане Михалковых я заговорил не случайно. В середине 1990-х в страсть как ушастой прессе прошел слушок, что метит наш очаровательный Никита Сергеевич не иначе как в президенты. Предполагаю, что такая сплетня могла бы показаться крайне оскорбительной для Никиты Михалкова. Самое меньшее, на что мог замахиваться клан Михалковых, –

это на династию. И будь наш народ на уровне монархического миросозерцания, лично я ничего не имел бы против династии Михалковых. Извечная задача России – удивлять мир. Более того, только удивление зачастую и парализует столь же извечный западный инстинкт – сурово просвещать беспросветную азиатчину, что распласталась от Польши до Аляски.

Удиви Гитлера Сталин молниеносным разгромом Маннергейма и полной оккупацией Финляндии да сотвори он там очередную советскую республику – к доброму, к худшему склонилась бы история, не знаю, но явно что-нибудь пошло бы не так. Атомное оружие у расхристанной державы – это, конечно, аргумент; миллиарды рублей для поддержки западной экономики и настежь распахнутые рынки сбыта – велик соблазн; тысячи агентов влияния в самых профессиональных СМИ, то есть «наши люди в Гаване», – мощнейшая подстраховка антироссийской демагогии.

Но как бы с неба упавший на Россию монархизм – то было бы сущее диво для западных интеллектуалов, уверовавших в то, что они победили в «холодной» войне, ибо что же это за победа, когда противник оказался еще более противным!

А как же иначе, ведь одно дело «вмозговывать» западный образ жизни обезьянствующему обществу, и совсем иной коленкор – пытаться перевести примитивнейшие и банальнейшие категории «прав человека», да еще имеющие специфику двойного стандарта, на принципиально иную базовую основу, буде даже эта основа на первых порах не слишком вразумительна для самих «омонархизированных» граждан вчерашней супердемократической «барахолки», именуемой Независимым Российским государством.

Я с удовольствием читаю многомудрые труды-рекомендации по выходу России из кризиса, я печатаю эти труды в журнале и горжусь именами авторов этих трудов. Более того, я полагаю, что наш журнал сегодня должен лежать на столах всех ведущих политико-аналитиков, искренно озабоченных проблемой выхода из кризиса...

Но в свободное от работы время подумываю: а стоит ли вообще «выходить из кризиса»? Что, может быть, наоборот – так «кризиснуть», чтоб вдребезги полопались пружинки всего столь ладно отлаженного механизма давления на бедную Расеюшку, в результате этого давления утратившую к самой себе элементарнейшее уважение?

Или мы, в конце концов, не **особые**? Или зря об особости нашей талдычили из века в век лучшие русские люди? Или тютчевская установка на то, что «умом Россию не понять», снята с повестки дня? Или мы забыли, что если как следует «ухнуть дубинушкой», то она «сама пойдет»? Ладно! Пусть все это только наши национальные мифы. Но американский миф – работает! Китайский – работает! В человеческой истории вообще работают только мифы народов о самих себе. В особенности в критические периоды. Да, известны судьбы мифов Третьего рейха и Страны восходящего солнца... Но исключения, как известно, правил не отменяют.

И если вдруг – нате вам – Русское царство, что случится с мировой компьютерной системой? А что есть по сути весь нынешний нерусский мир? Компьютер в стадии отладки. Или иначе – курс на глобализацию. Но какая глобализация без России?

Потому-то вот в нерабочее время я позволяю себе помечтать о монархии, не восстановленной из вымерших династий, а так, вдерзкую – с потолка. И как говорил Иван Солоневич, храни нас Бог от царей-гениев, дай нам Бог царя-хитреца, который бы и с компьютерной Ордой ладил, и собственно внутреннюю нечисть не спеша переквалифицировал на служение Царю и отечеству. Ведь в сущности, наш *внутренний* раздрай – главная причина бед и бедствий.

О причинах очередной российской катастрофы ныне столько сказано и написано, что хоть каталог составляй. Я же хочу поговорить о причинах столь опасного состояния многомиллионного народа, все более теряющего веру и надежду на восстановление нормального народного бытия.

Восстание маленького человека – в том вижу причину дления смуты. Маленький человек – это не простой (советский) человек, как принято было говорить. Вспомним Евгения из «Медного всадника»:

И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! –
Шепнул он, злобно задрожав, –
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось...
....
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Сумасшествие и гибель – следствие бунта маленького человека, несправедливо загнанного в угол безысходности бедствиями и напастями, к каковым он сам, лично, никак причастен не был.

Тысячи людей советского времени в последние годы существования так называемой советской власти осознавали себя маленькими человеками именно по причине повседневного вознесения над ними грозных копыт «государственного коня». Знаменитое «Ужо тебе!» – нет! Это было не модно, неуместно, унизительно...

И вдруг чудо! Задние копыта «государственного коня», по причине несовершенства знания строителем законов сопротивления материалов, подломились сами по себе, и «коняга» рухнула – лишь пыль к небу!

Тысячи вчерашних маленьких людей на радостях заголосили кто во что горазд, вслушивались в свои прорезавшиеся голоса, и всяк непременно «на особинку» сперва проорал то самое: «Ужо тебе!» А далее, войдя во вкус права на «проорание», и затем, слегка приостыв, вкусив права на говорение и главное – по любому поводу, на любую тему и по любому адресу, вчерашние «маленькие» осознали, что эти «халявно» обретенные права не только фактически равняют их с кем угодно высоко стоящим, но если прочно пристроиться к мощному «матюгальнику», то и любого «немаленького» можно «заорать-заговорить» и попросту размазать по стенке.

Так началось завоевание телевидения «чебурашками». Помните песенку: «Теперь я чебурашка. Мне всякая дворняжка при встрече сразу лапу подает!»? Те, что пособразительней, сперва выдвинули концепцию, а затем и добились констатации факта субстанциональности, то есть неприкасаемости, «говорящих». Субстанция общественного бытия – СМИ!

Вот главное завоевание смуты-перестройки. Не какая-то там четвертая или пятая власть, но *единственная* именно в силу неприкасаемости. Перетасовавшись на несколько порядков, некоторые «чебурашки» фактически доросли до уровней «полевых командиров» новой русской смуты, и к ним на допросы-отчеты, фактически «на ковер», периодически приглашаются политические функционеры, в отличие от «чебурашек» никакой неприкасаемостью не подстрахованные, даже которые с мандатами...

Овладев столь заоблачными социальными высотами, «полевые командиры» имеют ныне перед собой единственную и важнейшую задачу: не допустить вознесения на дыбы очередного «медного коня». Сопротивление государственной регенерации – и цель, и смысл, и даже нравственная потребность «неприкасаемых», и нужно отдать должное профессионализму сопротивления, с каковым приходится сталкиваться и новичкам-архитекторам, и бывшим советским партгосаппаратчикам в их зачастую бестолковой суете по восстановлению простейших элементов порядка – первейших признаков государственности как таковой.

Бывшие соваппаратчики, по тем или иным причинам включившиеся в дело восстановления «порядка», ни к какому сопротивлению не привыкшие, но успевшие основательно «позамараться» во всяких «приватизациях», фактически скоро капитулировали перед «полевыми командирами», получившими к тому времени мощнейшую поддержку со стороны «прогрессивной мировой общественности». Систематически вызываемые на «телековры» смотрелись жалкими и беспомощными тем более, чем профессиональнее к «разборке» был подготовлен теляследователь.

Я – специалист. Я могу отличить обычную беседу телерепортера с «героем дня» в галстуке или без от обыкновенного, но умно построенного допроса, имеющего целью или размазать по стенке, или слегка притоптать, или спровоцировать на самокомпрометацию подозреваемого в государствовосстановительных устремлениях того или иного «политика новой формации». Я узнаю и типично следовательские прищуры, и ухмылки, и реплики-хохмы, и, как правило, ударные финальные комментарии – иногда одна-две фразы – приговор, который обжалованию не подлежит, потому что подозреваемого уже нет в кадре.

Но вот случилось: профессионалы, но самоучки столкнулись с профессионалами по образованию и практике. Вчерашний КГБ, взявший на себя инициативу в государственно-восстановительном деле, разумеется, по степени понимания этой задачи, имеющий колоссальный опыт «игры» на нескольких фронтах сразу, то есть и нашим и вашим, по обстоятельствам либо «по рукам», либо «по шее», прямо на глазах изменил конфигурацию соотношения сил смуты. Тысячи, чьи личные судьбы не срослись по-сиамски с самим процес-

сом распада и разложения, охотно начали выстраиваться в ряды «собирателей меди» для новой лошадки, каковую «инициаторы» обещают для успокоения «мировой общественности» на дыбы не вздымать и воли ей особой (к примеру, гоняться по набережным за маленькими человечками) не давать... Но бить копытом да высекать искры из мостовой – этого ей не запретишь, потому что натура такая, и вторично при том, кто в седле на лошадке: мордоворот или, напротив, улыбчивый да ласковый при черном поясе по карате.

Принято считать, что лучшая защита – это нападение. Увы! Что пригодно было при Ельцине, негодно при Путине. Теперь как раз все наоборот: лучшее нападение – это защита. И тысячи других, кому смута стала благоприятной средой обитания, сбиваясь в стаи, отрабатывают новую стратегию сопротивления робким попыткам отстраивания государственного бытия – хоровое исполнение жалобливых текстов о грозовых тучах тоталитаризма, нацеленных пока еще невидимыми стрелами сокрушительных молний на святая святых – на неприкасаемых, чью неприкасаемость торжественно и грозно гарантировало мировое прогрессивное мнение в лице нескольких совершеннейших авианосцев и банков-кредиторов.

Только вот ведь в чем дело: народ русско-российский... Либо его уже нет как народа, а лишь население... Либо он еще есть. Лично я надеюсь на последнее. И тогда восстановление государства Российского в соответствии с его величинами, и территориальными, и духовными, – этот процесс неизбежен.

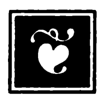
Но усилиями инициативных советских людей (а других не было) идею государственности за прошедшее десятилетие так глубоко затолкали в болото смуты, что за «плечи» оттуда ее уже не вытащить. Только за волосы.

А это больно! Это будет больно. Притом – всему социальному организму. И «организму» придется подготовиться к этой боли – такова расплата за бездумное, за двуличное и безыдейное, безгражданственное состояние общества в течение последних десятилетий коммунистического правления. Без боли государства не возникают, без боли не распадаются и тем более не воскресают.

Или мы, русские, растворимся в «новом мировом порядке», либо с воплем воскреснем как народ, как нация, как государство. Третьего варианта что-то не просматривается на горизонте...

Часть четвертая

Счастье



Страстишки и страсти

Если под словом «страсть» понимать нечто нарушающее норму обычного человеческого поведения, где уже отчетливо просматриваются вероятные дурные последствия как для индивидуума, так и его непосредственного окружения, то в этом смысле сиим страстям, а если справедливее сказать – страстишкам, – с детства я был подвержен весьма.

Например – горы. На той байкальской стороне, где я вырастал, горы были невысоки и почти все достижимы. Если на иную скалу «в лоб» забраться бывало и невозможно, то всегда можно было обойти ее распадком и, так сказать, с тыла, но восстать на ее последнем к небу камне и произнести нечто торжественное, вроде: «Кавказ подо мною. Один в вышине...» Всегда при том присутствовал и эстетический момент, потому что с каждой скалы-горы вид на Байкал был своеобразен, какая-нибудь сущая мелочевка, но добавлялась к уже накопленным в памяти картинкам про него, бога моего любимейшего – Байкала.

Но страсть, как уже сказал, без «негатива» не бывает, и потому ревность к горам, куда не сумел, не успел, не захотел забраться, – эта ревность была недоброй.

Лет в одиннадцать выучил стих Лермонтова:

> В теснине Кавказа я знаю скалу,
> Туда долететь лишь степному орлу...[59]

К Кавказу, куда не стремился и попал куда уже в преклонном возрасте, в детстве относился с неприязнью. На фига, спрашивается, нужна скала, на которую лишь степному орлу...

Зато наши южнобайкальские горы – они были мои.

Я с тоскою ловил уходящие тени.
Уходящие тени погасавшего дня.
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

Да! Все бывало именно так! Я всходил на любимую скалу, что над поселком, под ритм стиха, на шаг опережая «огневое светило», спешащее в свою потаенную пещеру для ночного отдыха...

Я с тоскою
ловил
уходящие
тени...

Поэт, когда-то забиравшийся всего лишь на башню, тем не менее точно уловил ритм неторопливого, но единственно верного ритма подъема на мою скалу...

Последний раз, уже в девяностом, с больными ногами, со стоном и непрестанными охами и уже без всякого ритма взобрался я на скалу своего детства и знал, что в последний раз... Там, на самой вершине, как и полвека назад, стояла сосна с переплетенными ветвями. Но ветра... Корни сосны оголились, серыми анакондами уплели всю скальную площадку, где когда-то я и встречал рождение дня, и прощался с ним...

Отсюда, с этой высоты, видны мне были отчетливо другие горы, что по ту сторону Байкала, – отроги хребта Хамар Дабана. Со снежными шапками, почитай, круглогодично... Но на том берегу я, к счастью, не жил. Иначе в детстве извелся бы от мук ревности – ведь зачем нужны горы, если на них нельзя, невозможно забраться. В том вызов. Вечный вызов, на который только и можно что ответить косым взглядом. Но известно же, что косой взгляд – недобрый, будь его объектом гора или человек.

Итак, горы в моем детстве были страстью. Я жаждал над ними возвышаться. Не покорять, нет. Что значит – покорить гору? Глупость! Но возвыситься над ней – это совсем другое дело!

«Кавказ подо мною. Один в вышине!..» Специалист по детской психологии наверняка сделал бы нелестный для меня вывод из такого признания. Да я и сам могу его сделать. Подумаешь!

Другой страстью моего детства была вода. В основном, конечно, байкальская. Но и любая прочая тоже. С детства я был мерзляк, и никогда купание в холодной воде не доставляло мне удовольствия. Но именно потому некоторые мамаши не разрешали своим детям дружить со мной. Я купался от льда и до льда. Не один, конечно. Охотники всегда находились. Только не знаю, так ли они страдали от холода, как я, или нет...

Едва лед отступал от берега метров на двадцать, как мы, заготовив дрова для костра на берегу, уходили в воду, плыли до льда, взбирались на него, потоптавшись на нем, прыгали, плыли к берегу и затем ритмично сотрясались телесами над костром.

Уже почти взрослым человеком я переплывал Ангару в июне, когда она как лед; в Селенге плавал в шугу, обцарапывая тело ледяными иглами; переплывал Лену в районе Усть-Кута и Неву с Васильевского острова, где был подобран милицией, потому что не нашел места, где пристать на другом берегу, и заплыл в какое-то охраняемое пространство. И все это я проделывал не из удовольствия вовсе, но по той же глупой ревности: реки на то и существуют, чтобы их переплывать.

Еще одна страсть детства – тайга. Уйти без тропы куда глаза глядят и не заблудиться, немного при этом обязательно поблуждав. Долгое время я мнил себя большим спецом по таежным блужданиям, пока не был препозорно наказан, отправившись однажды просто пошататься по подмосковному лесу. Я заблудился в трех-четырех километрах от станции, и только поездные свистки помогли мне выбраться к железной дороге. А все просто! Наша-то, прибайкальская тайга, она же гористая – всегда есть ориентир. Только полный тупица заблудится. Да и ручьи все, они куда? Конечно, в Байкал. Ни по солнцу, ни по мхам, ни по каким другим приметам – нет нужды башкой вертеть. Так что в равнинной тайге я и поныне полный лох. Впрочем, слово «лох» – это что-то из современности. В мои времена говорили – лопух. И было это очень обидное слово.

Однако все эти мои детские страстишки не шли ни в какое сравнение с другой, воистину хмельной страстью – чтением! Бабка-бабушка приучила, мать поощряла, но уже к одиннадцати годам ни в каких поощрениях я не нуждался. И годам к двадцати я был уже безобразно начитанным человеком.

Безобразие моей начитанности заключалось не только в том, что чтение было бессистемным – читал что ни попадя... Но дело в том, что оно, чтение мое запойное, было совершенно некритическим.

Читал ли «Крошку Доррит» Диккенса или «Счастье» Павленко, «Роб Роя» В. Скотта или «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского – я *верил* тому, о чем читал, безусловно и в равной степени сопереживал будто бы где-то и когда-то, но непременно происходившему. Мысль о том, что *писатель* может не только элементарно врать по конъюнктуре, но просто сочинять небылицы, то есть то, чего в действительности не было, – приди такая мысль в голову, глядишь, и бросил бы читать вообще.

Я ненавидел, нет – презирал тонкие книжки: не успеешь расчитаться, вжиться в мир героев, пофантазировать на предмет их мыслей и поступков – и на тебе! Конец! Любая же толстая книга – что пещера с тысячей ходов, где ждут-поджидают тебя невстречаемые люди, неслыханные события и дивные переплетения судеб героев и антигероев! Потому рассказов не читал вообще. За исключением Джека Лондона и Лескова.

К концу седьмого класса перечитал все романы Тургенева. А «Записки охотника» только по принуждению – по школьной программе. К концу десятого класса – все романы Толстого, но «Севастопольские рассказы» по-настоящему читал через десять лет, в следственном изоляторе питерского КГБ.

Нынче поговаривают о так называемом виртуальном мире... Да я треть жизни прожил в нем. Пример: книга о Марии Стюарт. Автора и не помню вовсе. Но когда «отболел» темой, такой вот стишок сочинился:

Тринадцать лет пробило.
Вдруг замкнут стал и тих,
Что очень удивило
Родителей моих...

Шотландской королеве
Я рыцарем служил.
Подсаживал на луку,
Придерживал коня,
Всегда по леву руку
Скакала от меня...

С ней честь и смерть искал я
В пирах, в беде, в бою.
Так с нею прискакал я
И в молодость свою.

О той «каше в голове», с какой скакал я в свою молодость, наглядный пример – любимые книги в пятом классе: «Последний из могикан» Купера, «Молодая гвардия» Фадеева, «Строговы» Маркова и почему-то два рассказа – «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка и, что уж совсем непонятно, Лескова «Человек на часах».

При том я вовсе не был «домашним ребенком». Я был антидомашним ребенком. Сын учителей, никаких особых обязанностей по дому не имея, днями пропадал я на скалах, на Байкале, на поездах – была такая забава: подкатываться на товарняках, запрыгивая на ходу и спрыгивая, что через много лет весьма даже пригодилось мне, когда, за невозможностью работать по специальности, вкалывал составителем поездов на станции Очаково под Москвой.

Теперь удивляюсь: когда успевал читать? В четвертом классе учитель Сергей Тихонович подарил «Плутонию» Обручева. Полез на свою любимую скалу и читал дотемна. Дочитывал под одеялом с фонариком. И учился-то я как попало, потому что читал, и не научился в жизни ничему путному, потому что чтение было непреодолимой страстью. Позже, работая в школе, на уровне «сельского любительства» играл на всех музыкальных инструментах, нот, однако ж, никогда осилить не смог. Слух имел отменный, времени не имел для серьезных занятий чем-либо. Все свободное время поглощало чтиво.

Пришло все же время, когда страсть к чтению обернулась благом. Из одиннадцати лет заключения в камерах, то есть по-блатному – в «крытке», провел я девять. И той сравнительной легкостью, с какой я переносил камерные режимы, тем воистину счастьем, что испытывал в «одиноч-

ках», – этим всем обязан книгам. Опекуны из КГБ, изыскивая «подходы на слом», лиши они меня, ну хотя бы на год, чтения – страшно даже подумать – могли бы сломать.

Помню первый день своего заключения – любой, прошедший через «неволю», помнит этот день... За день до того я, директор деревенской школы, выехал с драмкружком «на гастроли» в соседнюю деревню. Приехавшая из Питера группа задержания, не обнаружив меня на месте, помчалась по «гастрольным следам». Арестовали меня прямо за кулисами. Привезли в мою деревню, предъявили участие в подпольной организации, провели обыски в директорском кабинете и в квартире и повезли в Питер. По дороге, удивленные моим деланным спокойствием, несколько раз переспрашивали, понимаю ли, во что влип. Во что влип, я знал. Думал о другом – припоминал, что мне известно про тюрьмы, к чему следует подготовиться. Знание темы – и читал достаточно, и рассказов наслушался в свое время в братсках да норильсках – было. Но была ли готовность?..

Привезли уже ночью. Спал нормально. Утром привели «сопосидельника». Знал – «подсадка». Но мужик вроде бы нормальный. По характеру. Что очень важно в камерном общении. Проворовавшийся прораб какого-то питерского жэка. В общении не навязчив – так их, подсадок, инструктируют. И слава Богу! Первый день бездопросный – чтоб помаялся. И я маялся... От безделия.

И вдруг в середине дня открывается «кормушка», в «кормушке» физиономия дамы средних лет, и вопрос: «Книги заказывать будем?»

Так здесь дают книги! Так тогда... Так я тогда всех их в гробу видал! «Сколько можно заказать?» – спрашиваю хриплым от волнения шепотом. «Две книги на неделю» – ответ. «На камеру или на человека?» – «На человека, конечно».

Четыре книги! Не густо, но можно жить. Еще смотря что закажет сопосидельник... Советую – заказывай потолще... Пока он раздумывает, интересуюсь каталогом. Каталога нет. «Библиотека у нас хорошая: заказывайте», – говорит спасительница. Я тут же: «Значит, так. Голсуорси, “Сага о Форсайтах”. Есть?» Записывает. «И еще. Горький, “Жизнь Клима Самгина”. Только у меня просьба. Нельзя ли в порядке исключения хотя бы два первых тома?» – «Можно».

Я счастлив! Я безмерно счастлив. Только когда освобождался после своих первых шести лет, был счастлив так же.

Мой сокамерник заказал «Подпольный обком действует», кажется, Федорова и «От Путивля до Карпат». Тоже что-то про партизан. К концу недели я и их перечитал.

Ранее не сказал, с детства дан мне был дар быстрого чтения. Не помню, чтобы я когда-либо читал по слогам. Во всяком случае, в первом классе я читал так же, как учительница. Бывало, кто-то сомневался, с толком ли такая скорость чтения. Устраивали проверку. Открывалась наугад страница недавно прочитанной мною книги, зачитывалась одна, максимум три строки, и я тут же продолжал. Не по тексту, разумеется, по содержанию.

В тот же день я составил список «толстых» книг для будущих заказов. «Жан-Кристоф» Р. Роллана, «Подросток» Достоевского, «Холодный дом» Диккенса, «Барнаби Радж» его же – десятка полтора... Помнится, что в этом списке был даже Луи Арагон с его толстущим романом «Пассажиры империала».

Тогда я еще не знал, что в награбленной у расстрелянных «тридцатников»* библиотеке ленинградского следственного изолятора КГБ имеются полные собрания сочинений и Мережковского, и Крестовского, и Сенкевича, и Габриеле Д'Аннунцио, что есть и Франк, и С. Булгаков, и дневники Достоевского. Это уже после, освоившись в изоляторе, морзянкой делились мы друг с другом открытиями по книжной части.

А какой там был подбор книг на иностранных языках! К концу почти двухгодичного следственного срока я прочитал на английском полное собрание Хаггарда, несколько книг Хемингуэя, Диккенса – и любимые «Записки Пиквикского клуба», и «Лавку древностей», и «Тайну Эдвина Друда»...

Позже повезло мне и во Владимирской тюрьме, где отбыл два с половиной года, – тоже шикарная библиотека. И в московском следственном изоляторе, где торчал полтора года по своему второму делу, победнее библиотека, но жить можно.

Справедливости ради скажу, что не я один спасался книгами – все. Но у других, возможно, были и иные «способы спасения», у меня же были только книги. И еще, правда,

---

* Так называли репрессированных в 1930-х гг. – *Ред.*

стихоплетство. Тоже весьма сильное средство для сохранения формы. Из сотен написанных за одиннадцать лет заключения все же наберется с десяток стихов, которых я не стыжусь, потому что, как говорят, при желании и терпении можно даже зайца выучить играть на барабане.

Желание заполнять чистую бумагу собственными домыслами обнаружилось рано. Но отчего-то стыдился и пресекал. В последние школьные годы и еще несколько лет после школы, до начала «политического шебуршания», вел дневник. Чудом сохранившийся, был он мной уже в 1980-х перечитан и уничтожен, как не имеющий ни литературной, ни хроникальной ценностей. Кое-что, правда, пригодилось – так появились в журнале «Москва» биографические тексты «Перечитывая братский и норильский дневники».

Писательством впервые увлекся в лагере. Не от хорошей жизни. Обнаружилась язва желудка, и единственная поза, утихомиривающая боль, – «на карачках» вдруг подвигнула меня на писанину. Так вот, «на карачках», и была «сделана» моя первая книга «Повесть странного времени».

Довольно рано обнаружилось двойственное отношение к писательству вообще и к писателю в частности. С одной стороны, писатель – это ж не от мира сего... Как он все это придумывает, то, что я читаю, не отрываясь, а потом еще и проигрываю в собственных фантазиях да еще и на собственный лад?!

Но с другой... В некрасовские времена было такое слово – сочинитель. Это ж убийственно! Ну разве не постыдно всю жизнь заниматься сочинительством? Особенно для мужчины... Вон ведь сколько дел вокруг! Сколько замечательных профессий! Я лично мечтал стать штурманом дальнего плавания... Но с моими познаниями по математике в техникум не поступил бы, не говоря уж об институте. А все почему? Да все потому же! Патологическая страсть к чтению – почти физиологическая потребность – она не оставляла времени ни на что, требующее времени. Где-то на втором уровне сознания я презирал себя за это... Как, думаю, и любой наркоман на одном из уровней сознания презирает себя...

Много позже, когда «сочинительство» стало перерастать в привычку, где-то в начале 1970-х, выявилось иное обстоятельство – мне никогда не быть напечатанным в СССР.

Кто прочитал главные мои вещи, согласится, что нет в них никакого особого «обличительства», «контры» и уж тем более политической чернухи. Но напечатанным не быть! Потому что все мной написанное – написано в состоянии полнейшей личной свободы, и это как-то опознается «специалистами» даже в текстах, не имеющих ни малейших политических акцентов.

Под личной свободой я разумею неимение в виду не только возможных цензоров, но даже и возможных читателей. Откровенно эгоистическое бумагомарание на потребу и по потребе души. Но сразу же и оговорюсь, что данное обстоятельство ни в коей мере не соотносимо с уровнем, с качеством. То есть если писательство – субстанция, то состояние личной свободы – всего лишь модус, но не атрибут. Прекрасная литература некоторых советских писателей, имеющих в виду в процессе творчества и цензоров, и читателей, тому подтверждение. Агрессия откровенной графомании и пошлятины в наши принципиально бесцензурные времена – тоже.

Совершенно не воспринимаю литературный модернизм во всех его проявлениях. Виктор Ерофеев хвастался в одной телепрограмме, что его «Русская красавица» издана в стране миллионными тиражами. Что ж, это не единственное наше достижение последних времен. Знатоки говорят, что мы скоро перегоним развитые и неразвитые страны по распространению СПИДа, по наркомании... По криминалу, похоже, уже обогнали, как и по опохабливанию «великого и могучего»...

Деструктивные времена полны соблазнов. И я себя иной раз подлавливаю на том, что хочется «выдать» нечто этакое, принципиально бесформенное, фантасмагорическое, не обязывающее ни к этике слова, ни к этике мысли, ни к сюжетной логике – что-то вроде пелевинского «Чапаева...».

И удивительное дело! Только в мыслях допустишь таковое намерение, как сразу, почти мгновенно, словно бес в помощь, в голове начинает возникать некий текст, слово к слову лепится, появляется уверенность, что работаться будет легко и весело. Все дурное, от чего чуть ли не аскезой избавлялся всю жизнь, оно вдруг приобретает права... Подскочи к зеркалу и увидишь: физиономия перекошена, на ней готовность к пакости. Становится противно, и желание выпендриваться пропадает.

Если «великий и могучий» видится недостаточным для наиболее полного самовыражения, если тянет «спрыгнуть по уровню» и порезвиться в мутной водичке окололитературного сленга и околоприличного бытия – думаю, что это признак слабости. Путь к оригинальному через безобразное и пошлое – не новость. И никакой это не модернизм, потому что было...

Если человек испытывает удовольствие от описания, положим, естественных человеческих надобностей, что есть тоже жизнь, значит, что-то противоестественное вызрело в его душе и вынесло его по ту сторону красоты, потому что красота – это ж отнюдь не вся совокупность человеческого бытия, человек несовершенен, то есть порочен, хотя бы потому, что смертен. (Правильнее наоборот: смертен потому, что порочен.)

И всякий, овладевший в той или иной степени искусством литературного письма, на уровне подсознания совершает выбор...

Много лет назад был свидетелем спора о моральных границах политического протеста. Тест был таков: предположим, некто, шибко недовольный властью, пришел на Красную площадь, повернулся спиной к Кремлю, сел и нагадил. В знак протеста. Помню, мнение было однозначным: «протестный фактор» не в счет. Элементарное хулиганство.

В литературе нынче полно любителей погадить. К тому же ненаказуемо... Полно таковых в театре, в кино... Или, к примеру, шоу на канале «Культура» под названием «Секс – двигатель культуры» – как раз из разряда мелкого хулиганства-пакостничества...

Но совсем другие проблемы волновали меня, когда увлекся «писательством» всерьез.

По мере моего (не без сопротивления разума) врастания в православную традицию наклевывалась, вылуплялась в сознании другая проблема: роль литературы вообще в радостях и бедах народных; степень соотносимости литературного фантазирования с истинами национальной религии; анатомирующий момент литературного мышления и его взаимоотношение с синтезом бытия – основной составляющей любой мировой религии.

Ну и наконец, конкретно: роль русской литературы в трагедиях XX века. Кто-то удачно перефразировал известное изречение относительно особенности русского патриотизма: «У всех народов есть своя литература, но только у нас – **русская** литература!» И верно ведь. Ни в одном народе литература не играла такой роли в формировании общественных отношений, нигде не была она столь откровенно политизирована – поначалу, так сказать, по доброй воле, а потом и откровенно на потребу победившей в России идеологии.

Сколь ни замечательны были достижения литературы в коммунистический период, сколь ни велико ее значение в сохранении языковой традиции – другой фактор или момент был настораживающим и тревожным. Мы, кто понимал неизбежность коммунистического развала, но надеялся на «разумность» этого процесса, что не коснется он самой сути русского государственно-народного бытия, мы видели в советской литературе последних десятилетий этакую «косметическую составляющую». Тот самый критический фактор, стимулятор миллионности тиражей и повальной увлеченности общества новинками отечественной литературы, он, этот фактор по совокупности работал более на нигилизацию общества, нежели на мобилизацию гражданственного сознания, когда единственно можно было избежать смуты со всеми ее последствиями. Справедливо реагируя на социальные пороки, литераторы волей-неволей как бы перехватывали проблему, беллетризировали ее, переводя из сферы гражданской воли в стихию культурно-эмоциональную, где она и застревала беспоследственно, выпадая затем в осадок в виде хохм Жванецкого и его команды. То уже были веселые похороны социальной проблемы...

Нет ничего более чудовищного, чем хохот народа по поводу собственной несостоятельности. Но ведь даже формулу сочинили, что, дескать, пока мы способны смеяться над собой – мы живы. Неправда. То судороги пораженной проказой нигилизма гражданственности. То хохот полупокойников.

Я склонен иначе оценивать факт, коим мы столь горды: что русские – самый «читающий», самый «библиофильный» народ в мире.

Всякий отмеривает по себе, будучи, возможно, и не правым в таковом «отмеривании». Но если б в детстве и юнос-

ти не был я столь «проказно» поражен страстью к чтению, скольким бы полезным вещам мог обучиться – рассуждение в духе протестантизма... Но ведь я так хотел стать штурманом дальнего плавания!..

У Ключевского есть одно прелюбопытнейшее замечание относительно происхождения русской интеллигенции. Не из гнезда «птенцов Петровых» выводит он русского интеллигента, как это у большинства славянофилов, а из монастырей. Монах-книжник, а затем и мирянин-книжник, судящий о жизни не по самой жизни, но по книжным описаниям ее, – вот первый русский интеллигент, тот самый, что в конце XIX века уже видится членом некоего клана, характеризуемого идейностью своих задач и принципиальной беспочвенностью оных идей.

И тут напрашиваются несколько вопросов.

Литература, если вынести за скобки фактор творчества как некую общепризнанную самоценность, способствует устремлению человека к идеальному бытию или отвлекает его образцами фантастических, то есть попросту выдуманных сюжетов, сколь бы ни претендовали эти сюжеты на обобщение и типизацию?

Легко заметить, что реальное влияние на поведение людей имеет малохудожественная литература. «Что делать?» Чернышевского, «Мать» Горького и тому подобные, социально ангажированные продукты литературного труда, – разве идут они в какое-нибудь сравнение по мобилизационности своей с романами Достоевского, положим, каковые лишь увеличивают количество «роковых» вопросов к сути человеческого бытия, но ответов не только не дают, но, более того, ставят под сомнение ранее предложенные ответы. Иначе говоря, литература – она только для души или также и для духа?

С западной литературой вроде бы все ясно. Она – чтиво, она для души, для добропорядочного отдыха ее. Столь любимые мною Диккенс, Бальзак, Стендаль – они полностью соответствуют определению, бытовавшему в России в середине девятнадцатого века, – сочинитель! Но рискнет ли кто-нибудь назвать сочинителем Достоевского? И его ли одного?

Что же такое привнеслось в русскую литературу, что она получила в России истинно социальный статус? И на добро ли сие или на худо?

Очень даже мне были понятны терзания Владимира Крупина, который одно время, где бы и по какому бы поводу ни выступал, непременно «лягал» русскую литературу как главную виновницу всех русских бед. Он даже предложил экзотическую концепцию аморальности самого процесса сочинительства, суть какового в том, что автор придумывает людей, но дает только образы их, сколь бы скрупулезно ни описывал он при этом их внешность и характер.

И бродят где-то в виртуально-параллельном мире недоделки и калеки: кто без рук, потому что автор ничего не сказал о них, кто без глаз, кто голенький – автор ничего не сказал об одежде... Бродят и мучаются, страдают и проклинают своих творцов, и – как знать? – не предъявят ли счет им, самоуверенным и самомнимым, на Страшном суде?

Признаюсь, силен был искус украсть идею и сочинить фантасмагорический сюжет, где онегины, печорины и братья карамазовы обдумывали бы способ прорваться в реальный мир и по справедливости разобраться со своими творцами!

Главным же в крупинских терзаниях была посылка, что русская литература подготовила все прелести XX века в России. Посылка не без повода, что и говорить. Но тему эту длить не стану, потому что, во-первых, проблема неразрешима. Понося литературу, Крупин от сочинительства отнюдь не отказался, хотя одно время и обещался писать только о реальных людях и событиях. Но затем дал в редакцию «Москвы» «нормальную» повесть, и мы ее печатали...

Во-вторых, почему не хочу «заводить дело» на русскую литературу – имею свою концепцию относительно творческого инстинкта человека вообще, усматривая в слове «творчество» намерение превзойти Творение Бога – в одном случае, уподобиться Творцу – в другом, «расшифровать» смысл Его творения – в третьем и т.д.

Для подлинно воцерковленного человека главная истина о мире – вся в нескольких текстах. Все прочее он рассматривает как попытки (удачные или не очень) комментария и толкования Творения. Но он же, человек воцерковленный, весьма иронически относится к тому ореолу чрезвычайности, каковым извечно окружают себя люди художественного творчества, ибо гордость – то из арсенала совсем другого мирового персонажа...

Вообще есть мнение, что культура как совокупность творческого продукта люциферична по определению. Для меня мучителен допуск такого суждения в сферу убеждений, но полностью игнорировать его я тоже не могу. И однажды, когда отчего-то особенно был напряжен этой темой – было то во Владимирской тюрьме в году 1970-м, – сочинились строки, каковыми, возможно, и закончу тему.

Когда в соблазнах вязнет вера,
А сны возмездия страшны,
Я в колесницу Люцифера
Впрягаюсь сотым пристяжным.
Мой Пегасенок хил и срамен,
Но все ж Пегас, а не ишак.
И я, бодрясь, чеканю шаг.
Неслышный в общей фонограмме,
В упряжке краски, звуки, строки –
Все густоплодие веков:
Таланты, гении, пророки
Пяти земных материков.
И мне ль не честь. Я горд и пылок,
И пьян тщеславьем без вина...
К бичу отзывчива спина.
К печали Бога глух затылок.
Пегасы ржут – под хвост вожжа им!
Блажь люциферовских веков:
Творим, вещаем, восхищаем,
Освобождаем от оков...
Грехи мои стыдны и тяжки.
Добра от худа не ищи...
Но больно бдителен Ямщик,
Чтоб отстегнуться от упряжки.
Благоговейно в жилах стынет
Кровь на могучий, властный зык.
Бичом надежд, бичом гордыни
Вновь подстрекается язык.
Страстям словесного улова
Цена щедрей день ото дня.
А в гроб с собой возьмем три слова:
Помилуй,
Господи,
меня!

Последняя строка – дань логике стиха. Ничего, ни единственного слова не возьмем мы с собой ТУДА. Уход в безмолвие безмолвен. Все остается людям – банальность: что

было особо дорого – никому не нужно, а это ведь чувства, коими сопровождалась жизнь. Но у каждого жизнь своя и свой строй чувств, сопровождающий жизнь...

Что до стиха, то, имея в сознании такой вот допуск к пониманию художественного творчества, только допуск, но отнюдь не убеждение, я, тем не менее, ни разу публично не назвался, не представился писателем и слово «творчество» применительно к себе не употребил. Стеснялся. Стыдно быть в жизни только сочинителем и больше никем. В наши времена, по крайней мере. И, может, очень даже правильно, что большинство ныне пишущих так или иначе задействованы где-то еще и кормятся не писательством, но прочими делами и службами.

И при всем том слово ПИСАТЕЛЬ и ныне, когда и сам так или иначе «пишущий», душой воспринимается так же, как, положим, «художник» или «композитор», то есть как явление особенное, обязывающее к уважению. Сам себя рядом с этим «особенным» ощущаю любителем, экспериментатором. Радует и удивляет, что кому-то нравится то, что пишу. Но всегда, когда радуюсь и удивляюсь, как душ холодный – сравнение с кем-то, кто действительно ПИСАТЕЛЬ. Сидя за одним столом с Дмитрием Балашовым, к примеру, злобно подавлял в себе чувство самозванства. Потому что его книги – это работа, по моим понятиям и привычкам – адская работа. В то время как все, что насочинял сам, – всего лишь развлечение и отвлечение от чего-то иного, что приелось, или утомило, или осточертело.

Те же покойные ныне Балашов, Залыгин, Можаев, Астафьев и живущие, дай им Бог времени, сколько вынести смогут, Солженицын, Распутин, Белов... И много их... Они в моем сознании в одном ряду с теми именами, что еще с раннего детства навсегда застолбились в жизни, как спутники и попутчики в самом добром и важном смысле этого слова.

Скорее всего, неправильно выстроилась моя жизнь, как принято говорить, в целом. И первопричина этой неправильности – неестественная страсть к чтению. В любой жизненной передряге, если поднапрягусь, усматриваю все то же – слишком долго на жизнь смотрел сквозь призму писательских вымыслов и домыслов.

Но сожалеть о жизни – это уж совсем пошло и банально. И потому – слава книге как странному и дивному про-

дукту человеческой культуры. Слава! Потому что по какому-то особому отсчету жизнь прошла в постоянном сопровождении радости: то есть горести, коих тоже хватало, радостями гасились – а это ли не удача?!

Счастье

Одиннадцатого июня 1973 года теплым солнечным днем мы с женой заходили в тайгу. Впереди нас по тракторной тропе (именно так) тащился трактор с прицепом, загруженным пустыми бочками под черничное варенье, мешками с сухарями, ящиками с тушенкой, суповыми пакетами, сахаром, крупами и нашими вещами, необходимыми для длительного проживания в тайге. В числе необходимых – гитара, три тома Джека Лондона, один томик Гегеля и «картотека» по русской философии, составленная во Владимирской тюрьме и по «ментовской» доброте вынесенная на волю.

Мы не просто *заходили* в тайгу – так принято говорить, – мы *уходили* в тайгу. Уходили не только от людей, что в первую очередь, но главное, пожалуй, от проблем самого разного рода. Во-первых, от так называемого «гласного надзора», к каковому я был приговорен при освобождении из Владимирской тюрьмы, и во-вторых, от того самого, что мучило и терзало души интеллигентов и всяких разных разночинцев века девятнадцатого... Имя тому мучению было: «Что делать?»

И верно! Ну что делать человеку с моей биографией средь людей Страны Советов, все еще играющих (теперь уже определенно не всерьез, а точнее сказать – играющих в поддавки) с когда-то на весь мир заявленной идеей «построения коммунизма» сперва сплошь и везде, а чуть позже в отдельно взятой?

В феврале того года я вышел из тюрьмы изгоем в самом чистом смысле этого слова: не имел жилья, права работать по профессии, проживать в столицах республик, в приморских и припограничных областях, за душой ни рубля...

«Выписали» меня под гласный надзор в Белгородскую область – место проживания моих родителей-пенсионеров – и «предписали» в течение месяца устроиться на работу.

Каждую неделю я был обязан являться в милицию и «отмечаться»: дескать, тут я... Запрещалось посещение «общественных мест» – кинотеатров, ресторанов... Не припомню что-то, другие «общественные места» существовали в то время или нет?..

Была пауза, пока «ориентировка» на меня шла до Белгородчины, дней десять, наверное. Я проторчал их в Москве. На вечеринке в честь моего освобождения познакомился с женщиной и, не имея времени на долгосрочное ухаживание, женился немедля, и с тех пор вот уже тридцать лет плохо ли, хорошо ли... как по жизни положено – и плохо, и хорошо – тянем лямку... или бечеву жизни...

За это же короткое время успел я посотрудничать с первым в стране самиздатским журналом «Вече» Владимира Осипова: готовили ответную статью на «инструкцию» по борьбе с русофильством и православием будущего «прораба перестройки» Александра Яковлева...

Без малого через двадцать лет исключительно по ходатайству великой нашей певицы Ирины Константиновны Архиповой композитору Георгию Свиридову, к тому времени весьма обнищавшему, и мне были присуждены премии города Москвы. Премии вручал нам только что сменивший на посту мэра-«хихача» Гавриила Попова Юрий Лужков.

Столы правительственного зала, где происходило вручение премий, были завалены дивными яствами... Слева рядом с нашим столом, где сидели мы со Свиридовым, – Александр Яковлев, улыбающийся, дружелюбный... Пару раз сделал он попытку контакта... Я – понятно... Но и Свиридов от контакта уклонился вполне категорично.

* * *

Жена уволилась с хорошо оплачиваемой должности в техническом министерском журнале, и мы махнули на Белгородчину, где два месяца я пытался найти работу. Подзаконные акты... Не было им числа. В том числе «акт», запрещающий принимать на «разную работу» людей с высшим образованием. Под этим предлогом – от ворот поворот. В конце концов я предложил моим надзиральщикам из ми-



Лариса, жена.

лиции отпустить меня в Сибирь к родственникам, подписал обязательство немедленно по прибытии на место отметиться в органах и соблюдать и далее все правила, предусмотренные гласным надзором. Так мы оказались в моем родном Иркутске. Слава бюрократии! В милиции, куда я заявился в срок, сказали, что пока «дело» на меня не пришло, им до меня никакого дела. «Дело» пришло в Иркутск тогда, когда срок надзора уже кончился, и еще через год при очередной прокурорской проверке в столах иркутской милиции был обнаружен «незакрытый надзор» – шорох! Кому-то по шапке за халатность... Но меня это уже не касалось.

Итак, в середине июня, когда склоны прибайкальских падей-ущелий покрываются дивными цветами, но когда в тайге еще ни ягод, ни грибов, ни орехов – в это время мы заходили в тайгу на постоянную работу. Я – сторожем базы зверопромхоза с окладом в шестьдесят рублей, жена – разнорабочей без оклада.

Кстати, о том самом, минимальном – шестьдесят рэ. Сотни тысяч медсестер, нянечек, экспедиторов, сторожей, уборщиц, учителей малокомплектных школ... Когда-то я пытался прикинуть, сколько так мило называемых *простых советских людей* существуют на эти самые шестьдесят. Несколько миллионов... Я жил на шестьдесят. Знаю,

что это за житье. Невозможное. Нужно либо прирабатывать, либо приворовывать.

Мы с женой надеялись на силы, каковых у нас, казалось, не счесть, как «алмазов в каменных пещерах». Тайга прокормит, тайга уважает силу – мускулы рук, мускулы ног и настырность, тайга расступается перед оптимизмом, она просто стелется перед ним мягким мхом, и если иной раз и хлестнет веткой по морде, так это исключительно, чтоб шибко не зарывался и почтение имел к окружающей среде.

Прибайкальская тайга – это гористое плато, на которое надо подыматься. Когда поднялись, оказались на хребте гривы. Слово «горы» не употребляется. Гора – это... Вот тебе ровное место, а напротив гора ни к селу ни к городу. В тайге же не горы, а гривы, с вершины-хребта одной видишь хребет другой, третьей – окаменелые и заросшие кедрачом волны давнего «возмущения» земной коры. Теперь же никакого возмущения, но сплошная благодать для человеков, готовых и способных на любой «вкал» (от слова «вкалывать»).

База промхоза – это на поляне гривы с малой вырубкой; прежде прочего избушка сторожа, сарай для хранения продуктов и всякой охотничьей снасти, сетки на деревянных кольях для сушки орехов, барак с нарами для переночевки или даже временного проживания сезонных наемных рабочих. Малая вырубка – кедры на поляне вырублены лишь частично, потому, когда первым утром вышел из зимовья, пощурился на восходящее из-за восточной гривы желтое солнце, тотчас же услышал стрекот бурундуков на ближайших – пять шагов от зимовья – кедрах.

Задним числом засчитываю эти минуты первыми минутами счастья!

Счастье – понятие эфемерное, некая мнимо реальная субстанция душевного состояния. Время длительности состояния – от мгновения до весьма скромной суммы мгновений, только и всего. И лишь в ретушированной и сознательно отредактированной ретроспекции оно, счастье, может видеться и смотреться как некий период времени, имеющий вполне впечатляющую длительность.

Так оно и есть! Сегодня, спустя тридцать лет, наше с женой пребывание в прибайкальской тайге вспоминается как счастье. Каковым же было реальное наполнение сего благого состояния?



В прибайкальской тайге.

Во-первых, я вдвоем с любимой женщиной оказался на необитаемом острове, только в отличие от острова (части суши, водой окруженной) прямо от порога нашего зимовья рождалась, затем, поизвивавшись меж мхов и голубичника, сползала с гривы тропа свободы. Подчеркиваю – прямо от порога, так что не было надобности раз от разу отыскивать ее бдящим свободу взором. Захотел – ступай и топай.

Во-вторых, лето выдалось солнечным, таким оно, по крайней мере, запомнилось с того самого «захода в тайгу», когда мы с женой шли на гриву налегке, а все наше тащил впереди нас гусеничный трактор, ведомый пьяным трактористом по фамилии Оболенский. Я этого Оболенского описал и в «Гологоре», и в «Третьей правде» – там он персонаж не просто значительный, но и значимый.

В-третьих, мы с женой были фактическими хозяевами громадного кедрово-таежного пространства, где все прочие, с наступлением сезона приходяще-уходящие, именно так к нам и относились – как к хозяевам, и поскольку, осчастливленные бытием, мы своего положения никак не подчеркивали, но напротив, держались с таежным людом скромнягами, нас уважали и даже почитали.

Так что какой эпизод ни вспомню – счастье! Положим, первые дни. Жена приводит в порядок весьма загаженное бичами зимовье, вьет гнездо, это счастливый дар ее натуры – вить гнездо в каждом месте даже очень временного приземления. А чем занимаюсь я, мужчина?

Собираясь в тайгу, запаслись двумя ружьями, свинцом, порохом, пыжами, гильзами, пистонами. Той жратвы, что набрали в аванс под мою минимальную, надолго не хватит. И вот я за самодельным столом, что напротив печи для сушки сырого ореха, заряжаю патроны для будущего промысла. Последний раз я проделывал сию работу лет в четырнадцать, все тонкости дела, естественно, позабыл...

Забиваю пистон в гильзу металлическим молотком, пистон идет вкось и взрывается в руках. Мера пороха – да как ее угадаешь? Сыплю наугад, дробь наугад, пыж заливаю стеарином, первый изготовленный патрон вставляю в двустволку, отхожу на десяток шагов и стреляю в стволину ближайшего кедра. Отдача приклада швыряет меня на землю. Хорошо, что еще патронник выдержал. Уменьшаю дозу пороха, увеличиваю дозу дроби, комбинирую с пыжами...

Все равно первые мои охотничьи опыты ошарашивают: с пяти метров стреляю рябчика. Все ветки вокруг него разлетаются в труху, рябчик же благополучно усвистывает прочь. Иногда над моей головой. Хорошо, что хоть не гадит на голову от презрения.

Помню злость и досаду. Но высшей памятью помню – счастье!

Или. Участок тайги, что достался нам во владение, незнаком. И каждым утром, как только спадет роса, закинув двустволку за плечи, наугад выбрав направление, иду «зубрить» местность. Причем не бескорыстно. Высматриваю черничные и брусничные места – по сезону будущий наш приработок. Помечаю участки тонкого кедрача промеж сосняка, там шишка поспевает раньше, можно обколотить участок до того, как попрет «контрактник». Особенно меня волнуют места, где гнездуют копылухи. Сейчас они ружью недоступны, но со временем – это же не конинная тушенка, от которой уже по третьему разу с души воротит, это свежатина!

Обежав два, а то и три десятка километров, в зимовье возвращаюсь развалиной. Сказывается бездвижное тюрем-

ное бытие. А в зимовье что? А там жена, еще с утра отсортировавшая казенную крупу от мышиного помета и сотворившая из еще довоенного НЗ, ныне щедро раздаваемого таежникам и геологам, дурманно пахнущую съедобность.

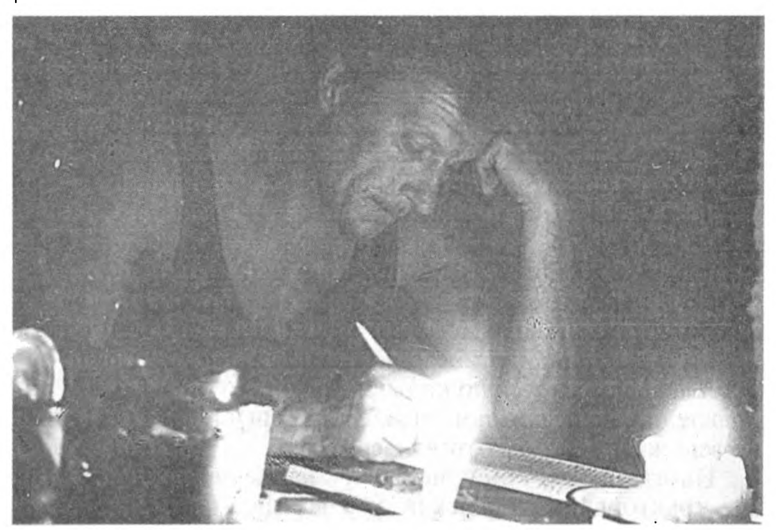
Счастье! Но еще неполное. Вдруг по рубероидной крыше зимовья не надрывно и вызывающе, но этак вполне минорно и ненавязчиво барабанит дождик. Тогда на столике, вколоченном в пол у окна, зажигается солярой заправленная лампа, и я, сытый и отдохнувший, сижу и пишу «Третью правду», повесть, сюжет каковой задумал и обдумал еще во владимирских камерах, а вокруг меня в зимовюшке и тепло, и уют, и женщина, до моего появления на ее горизонте пересекавшая московскую кольцевую только в крымском направлении, но осваивающая ныне «робинзонизм» так, словно всю жизнь к тому готовилась.

Иногда, когда пишу, напротив, на жердевых нарах, сидит тракторист Оболенский, как всегда – рожа в мазуте. Жадными глотками всасывает в себя крепко заваренный чай. Иногда так же напротив – Андриан Никанорович Селиванов, хитрый, расчетливый таежный добытчик, чай пьет мелкими глотками, многозначительно щурится на коптящую лампу... А я сочиняю про них небылицу под названием «Третья правда»... Литература, она же всегда нечто среднее между былью и небылью...

* * *

А выходы из тайги и возвращения! Сухари, что в бумажных мешках... Мы, конечно, едим их, хотя это всего лишь оптом собранные объедки из разных столовых... Иной такой сухарь с отчетливыми следами зубов первичного потребителя... Но хочется свежего хлеба и картошки. И тогда, оставив жену хозяйничать, я спускаюсь тропой до Култукского тракта, там ловлю попутку, чаще всего громадину «скотовоз», и качу до Слюдянки. На сэкономленные гроши закупаю картошку и хлеб, ночую у давнего приятеля и «с ранья» назад. За спиной не менее тридцати килограммов. Уже отработан ритм хода-подъема, известны места отдыха – все известно...

Однажды уже на подходе к зимовью – теплый дождь-ливень. Сняв с себя все, вплоть до брюк и майки, укутываю



Над восстановлением повести «Год чуда и печали», отобранной во Владимирской тюрьме. 1975 год.

рюкзак, чтоб не размок хлеб, и иду в одних трусах по тропе и во всю глотку ору сперва арии из опер, но арии к «ору» не приспособлены. Они приспособлены для пения. Тогда ору «пугачевскую» про Арлекино, она так написана, что можно орать во всю мощь глотки... Мокрый до пяток, Боже, как я счастлив, потому что знаю: зимовье натоплено, ужин готов, меня ждут, и что еще нужно человеку, напрочь выбросившему из мозгов всякие «что делать?» и «кто виноват?» и настроившему душу исключительно на литературную рефлексию относительно всего, что способно раздражать и будоражить – самая «пользительная», безопасная и к тому же продуктивная форма рефлексии.

Отдых – только сон. Если не иду с обходом, ручной пилой пилим-валим сухой сосняк, распиливаем на чурки, потом колю на полешки и выкладываю поленницу под наспех сколоченным навесом с недождевой стороны. Мы готовимся зимовать, а на зиму дров никто не может сказать, сколько надо. Чем больше, тем лучше.

Копейки-заначки кончаются. И тут подбрасывают работу. По ранней весне прошел тайгой ураган. Корни кедра стелются вширь, в скальную труху не впиваясь. Потому кедр,



особенно старый, высокий, дубняк по-местному, – первейшая жертва урагана. От базы во все стороны тропы к участкам – там в сезон, где-то с середины июля, «договорники» заготавливают для промхоза ягоды и орех. По этим тропам на лошадях-монголках вывозится продукция на базу.

Предложенная работа – расчистка троп от кедровых завалов. Мне пригнали в помощь двух лошадей и вручили пилу «Дружбу» с парой канистр бензина. Три рубля семьдесят копеек за расчистку километра тропы. При иных обстоятельствах – сущая каторга. Полутораметрового обхвата «дубняк» завалился поперек тропы, да еще провис... Десять сантиметров резки – и пила зажата. Топором вырубаешь слеги, укладываешь крестовинами, чтоб руками пилить, а ногами отжимать провис ствола. Полдня на один такой завал. А завалы по полдюжине на километр. Какой уж тут заработок. Жене предложено собирать брусничный лист, сушить и сдавать – копейки за килограмм. К счастью, пошли грибы. Прямо вдоль тропы маслята и моховики. Грибы на первое, грибы на второе с остатками круп и макарон. К тому же освоил я науку обеспечения кучности дробного заряда. И теперь, когда выходил на обход, двустволка уже не за

плечами, она в руке и на плече, оба бойка взведены – стреляю с руки все, что движется, потому что все, что движется в тайге, все съедобно.

Однажды – дивное полнолуние. Громадный желтый кругляк завис над соседней гривой и медленно вползает на небосклон.

«Поедем, красотка, кататься!» – предлагаю я жене и седлаю обеих лошадей. От базы вдоль гривы километра на четыре укатанная тракторная дорога. Без седла я не усижу на лошади и километра, зато в седле хоть так, хоть этак, то есть боком, хоть с уздой, хоть без. Монголки рысью не умеют, с шага сразу в галоп. Зато не галопируют – стелются вдоль дороги. Все это конспективно объясняю жене, до того видевшей лошадь в основном в кино. Возмущен ее робостью, оскорблен неразделенностью настроения. Не уговариваю – заставляю водрузиться на кобылу. Ну как же! Такая луна и дорожка прямая! Это ж на всю жизнь запомнится! При посадке лошадь наступает копытом жене на ногу, я слышу вскрик, но не обращаю внимания: я уже вижу, как мы вдвоем скачем по ночной безлюдной, луной высвеченной тайге.

Ох уж эти городские женщины! Никакой романтики! Подумаешь, кобыла на ногу наступила! Ведь такое мгновение может и не повториться более!

А тут еще вспоминаются какие-то австралийские стихи, кажется, маршаковского перевода. Двое скачут по степи... Что-то вроде: «Мы долго с ней скакали... в какой-то... тишине. Лик милой Мэри Кэмпбел был светел при луне».

Кручусь на лошадке, кричу со злобной досадой: «Ну что ты там! Скачем или нет?!»

Только кобыла, наступившая на ногу моей жене, умней меня, понимает, кто на ней, упрямо разворачивается назад через кусты. Я взбешен. «Да что же ты! – ору. – Второй такой ночи может и не быть! Ну это же просто!» Но чертова кобыла ко мне уже задом и мелким шажком предательства назад, к зимовью.

– Ну и черт с тобой! – кричу в ярости – и!.. Мой конек знает, что мне надо. С места в галоп! Луна? Да, но на небе! Я же впереди себя не вижу ни деревьев – сплошная темная стена, ни поворотов дороги, потому и отпустил узду – конек, он все видит, все знает, где надо – влет, где надо, осадит вовремя... Два, три раза летаю я по дороге туда-обратно, туда-



Счастье.

время... Два, три раза летаю я по дороге туда-обратно, туда-обратно... Я говорил о счастье, да? Вот оно! Если есть какой-то смысл во фразе: «Душа поет!» – так вот, истинно поет! Никакой алкогольный хмель не сравним, само сравнение – пошлятина!

Душа продолжает петь, когда возвращаюсь в зимовье. К разочаровавшей меня жене вполне снисходителен... Что ж, дескать, не всем дано... Перевязанной ступни не замечаю...

Зато много позже и уже совсем в иных условиях сочиню я стих про ту ночь. Это к тому самому вопросу, из чего рождаются стихи.

Мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
росу копытами сбивая,
в росе копытами звеня.
Сквозь удила храпели кони,
хлестали гривами по лицам,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!
Мы уходили от тумана,

и мы неслись, и мы летели...
и все случилось, как случалось
в забытых юношеских снах, –
мы в этом яростном галопе
смогли познать на самом деле,
что могут двое, если двое
на стременах!

Без колдовства и без обмана
вдруг стала явью небылица –
в одном рывке, в едином вихре
навстречу призрачности дня
мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!

Когда-то и у кого-то, возможно, стихи и рождаются из мусора, но не в данном случае. По существу, здесь все правда. Наш с женой рывок из Москвы в неизвестность – все было именно так: плечом к плечу. И сколько в этой неизвестности случилось всего и всякого – разве только врагу в дурном настроении пожелаешь...

И по прошествии лет нет, не забылось, как, пытаясь выкарабкаться из нищеты, ползали мы в тайге по сезонью, собирая сперва жимолость, потом чернику, потом бруснику... Как, нагруженные (я по тридцать, жена по двадцать килограммов), перлись мы сперва по тропе до тракта, попуткой до Слюдянки, электричкой до Иркутска, как ходили по домам и уговаривали купить у нас по дешевке таежные дары, как торговали у поездов по стаканчику...

Как потом ушли бичевать на кедровый промысел, выматываясь до изнеможения, в итоге оказались ни с чем и, изгнанные из тайги бдительными органами, приткнулись нищие в Иркутске, где жена устроилась комендантом и на полставки уборщицей общежития медучилища, а я там же кочегаром, конюхом, дворником и по совместительству – вышибалой. Вся сексуально озабоченная шпана района ежевечерне штурмовала прибежище иногородних девиц...

Уборщица по штату, жена чистила и скребла туалеты в помещении; я, как дворник, чистил наружные, иногда не выдерживал, особенно зимой, тошнотой захлебнувшись, и

тогда жена брала лом в руки и шла долбить... Известно что...

Вот куда «мы уходили от тумана на длиннохвостых кобылицах».

Только нынче эти тошнотворные стоны не в счет. Когда вспоминаем тайгу, светлеем лицами, потому что хотя бы в сравнении с тем, что было потом, таежная наша одиссея навечно запечаталась в памяти как, ну, положим, не сплошное, но во всяком случае часто и мощно испытываемое и переживаемое чувство счастливости.

В камере моего второго срока буду я писать жене ободряющие строки:

Обмануты вещими снами,
Поверим, что жизнь не окончена.
Все злое случилось не с нами,
А с кем-то, прошедшим обочиной.

И снова дорога брусничная
Кедровым кореньем подкована,
Все главное, важное, личное
У нас в рюкзаках упаковано.

Во все, до сих пор невозможное,
Мы снова уверуем истово.
Распахнутся пади таежные,
Расстелются тропы змеистые...

И нынче грустно и умильно смотрим на сохранившиеся фотографии, снимки подтверждают, свидетельствуют – оно было, стихийное, нерефлектируемое счастье, иначе зачем бы их хранить, фотографии эти...

Или вот еще: стоим мы с женой на том самом месте, где великая Ангара выпадает-вытекает из великого Байкала. С другой стороны ангарского пролета, из-за горы, что над поселком Листвянка, выплывает-возносится красный шар луны. Он так огромен, как бывает огромен, рассказывают, только в африканских пустынях. Только в пустынях, сколь ни велик шар, он все равно далеко. А тут – рукой подать – красно-оранжевое чудище с таинственной ухмылкой... И тотчас же с того ангарского берега к нашему – красно-оранжевая дорога и прямо в ноги упирается, если ноги у самой воды. Иноприродная плотность лунной дороги до того

обманчива, что от отчаяния вопиешь к разуму, чтоб не ступить и не зашагать... От соблазна шаг назад. А шар завис над горой в раздумье: дескать, ну что им еще надо, людишкам – мотылькам вечности...

В который раз вспоминаю песенку, что пела к ночи мне бабка моя премудрая, песенку про мотылька: «Но не долог мой век, он не доле и дня. Будь же добр, человек, и не трогай меня!»

«Не надо, – шепчу про себя, – не искушай!» Я же знаю, будут еще искушения настырнее и наглее, а ситуации куда как безысходнее. Может, тогда и сломаюсь. Нынче же пусть будет только красота мира Божьего, пусть ее будет как можно больше, чтоб потом, как у Бунина:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все...

Так вот, я пока не уверен, что «забуду все», потому и сбрасываю в копилку те мгновения счастья, что выпадают на долю, их уже немало, копилка позвякивает, едва потрясешь... Но «к милосердным коленам припасть» я еще не готов, я еще на промежуточной стадии, на гумилёвской, пока я только готов – и это уже много, –

...представ пред ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

То есть я еще в гордыне, еще в заначке уйма всяких дерзостей и непрощений.

* * *

Не знаю даже, отчего, решив поговорить о счастье, уперся именно в этот краткосрочный эпизод таежного бытования.

Наверное, надо было начать с иного. Сколько было радостных встреч и общений, сколько замечательных, неповторимых людей, каждый в свое время так или иначе повлиял на

выпрямление моего вихляющего комсомольского позвоночника, сколько великих имен прошлых эпох помогли определиться по отношению к самому главному, что и было и остается первичной темой и слова и дела, – к России...

Счастье – это ведь иногда просто удача. И разве не удача свела меня в разные времена с такими людьми, как Игорь Ростиславович Шафаревич, Ирина Константиновна Архипова, Александр Викторович Недоступ, Георгий Васильевич Свиридов, Илья Сергеевич Глазунов...

А дивная, милая Татьяна Петрова – некоторые ее песни, хоть в сотый раз слушай, все равно слеза...

Наконец, как порой кажется, почти отеческое отношение Александра Исаевича Солженицына...

И как-то само собой сложившиеся почти братские отношения с Валентином Григорьевичем Распутиным...

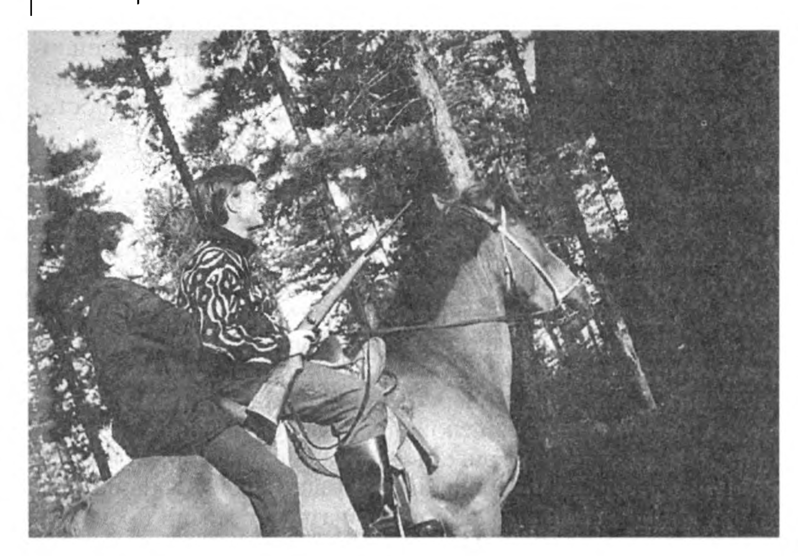
Или вот еще: Николай Евграфович Пестов. Профессор химии, ушедший на пенсию и двадцать лет жизни посвятивший распространению Православия в атеистической стране, величайший и скромнейший подвижник: каждая встреча с ним в тяжкие для меня 1970-е – тихий праздник души.

Бог мой! Да только начни перечислять прекрасных людей, с кем сводила жизнь – конца списка не видно!

Игорь Вячеславович Огурцов, в полном смысле давший мне путевку в жизнь, и его друзья-соратники – все навсегда в сердце и памяти, как и Юрий Галансков, Владимир Осипов, Василь Стус, Михайло Горень – тюремно-лагерные мои друзья. И пожизненный друг – Владимир Ивойлов (с восемнадцати лет и до дня последнего, да отсрочится он – его и мой)...

* * *

Жизнь по определению не может быть счастливой, если она рано или поздно (и очень часто тяжко) кончается. Значит, все дело в мгновениях счастья, но, разумеется, не просто в количественном их значении. Сначала, наверное, обособляется нечто, что почиталось важнейшим в жизни, и это обособленное, как бы заново переосознанное, просматривается, по степени добросовестности памяти, сквозь ракурс успеха, удовлетворения, удачи, счастливых случайностей, наконец.



«...и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!»

Можно предположить, что чем больше было счастья в жизни, тем мучительнее исповедь про грехи, потому что контрастность... Она выпячивает... Не позволяет памяти запамятования... Еще очень важно, как самому себе видится прожитая жизнь. Говорил, кажется, уже, что нравится кем-то сказанная фраза: «Так прожил я свою жизнь, которую всю сам для себя выдумал».

Увы! Красивая фраза, не более. Куда как точнее и суровее другая, всем известная: «...чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...» Мне кажется, что я знаю много таких людей, кто данной мукой справедливо не томим. Но всякий знает сам себя без снисхождения, то есть всякому про то видней...

Поскольку лично моя жизнь сложилась таким образом, что ни к какому конкретному и нужному делу я вовремя пристроенным не оказался; поскольку прежде всякого выбора жизненного пути или одновременно с тем почему-то озаботился или, проще говоря, зациклился на проблемах гражданского бытия; поскольку, опять же, такое «зацикление» далее уже автоматически повлекло за собой соответ-

ствующие поступки и ответственность за них; поскольку все это именно так и было – то чем же мне за жизнь свою похвастаться да погордиться?

Не книжками же моими, которые нынче никому не нужны. Не «тюрьмами и ссылками» – на фоне нынешних людских страданий и крови, проливаемой то там, то тут определенно ни в чем не повинным поколением...

Всего в жизни было в достаточной мере: дивные рассветы разных широт, интереснейшие люди, честные книги, красивые женщины... Искушался ненавистью, наслаждался любовью, преодолевал боль...

Только по пришествии некоего возраста происходит нечто вроде пересортировки жизненного опыта, и за скобки выносится наиглавнейшее, чем не грех и погордиться.

Когда-то, еще в мордовских лагерях, пытался переводить наиболее известных поэтов бывших советских республик. Так вот, у армянского поэта А.Туманяна обнаружил строки, которые не просто запомнились, не просто запали в душу, но стали как бы рефреном-критерием... Приведу в сокращении и извинюсь за непрофессионализм перевода.

Устала мысль от дел и бед мирских.
Но, в бесконечность устремляя взор,
Я каждый раз оглядываюсь с болью,
Когда услышу голоса страданий
Моей страны <...>
И вижу: с Запада
Бездушной черной тучей
Рожденные в трясинах суеты,
Рабы машин и золота рабы
К Божественной душе моей отчизны
Крадутся и теснятся хищной стаей,
Толпою ненасытных людоедов.
И одеваются долины в траур.
И только горькие и плачущие песни
Среди развалин
И вытоптанных ложью
Традиций и обычаев народа.
Но в светлый день рассвета и возврата
. . . .
Тысяча тысяч нимбоносных душ
Нам возвестят улыбками надежды
О возрождении души моей страны.

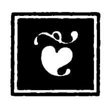
И тот, кто в годы бед и испытаний
Уста свои не осквернил проклятьем,

Словами чистыми и песней новой
Прославит душу моего народа.

Новые песни с чистыми словами – то дело будущих поколений.

О себе же с честной уверенностью могу сказать, что мне повезло, выпало счастье – в годы бед и испытаний, личных и народных – ни в словах, ни в мыслях не оскверниться проклятием Родины. И да простится мне, если я этим счастьем немного погоржусь...

Приложение



Программа Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (Народно-революционная хартия)

Введение

Мировой социальный кризис, под знаком которого проходит вся история капитализма и социализма и который в XX веке стал трагедией многих народов, теперь угрожает перейти в мировую термоядерную войну, несущую гибель цивилизации.

Материальные богатства никогда не были так велики, а научные познания никогда еще не давали в руки людей столь большой власти над природой, как в современном мире, но ни наука, ни богатства не увеличили человеческую свободу, не принесли устойчивого благополучия, твердой уверенности в будущем.

Власть над природой, завоеванная наукой, стала опасной для человечества в современном духовно помраченном мире.

Безумная политика, направленная на завоевание мирового господства, поглощает плоды тяжелого труда миллионов людей, опутывает мир сетями шпионажа, рождает манию подозрительности, приводит к подавлению гражданских свобод. Разделение мира на два противостоящих военных лагеря, непримиримая идеологическая вражда, гонка вооружений — все это роковые признаки надвигающейся катастрофы, которая может быть предотвращена радикальным и быстрым изменением всей мировой обстановки.

Причина этого опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер. Миру необходимо духовное возрождение. Только обновленный дух человече-

ства откроет новые цели политики, направит ее ко благу человечества и укажет пути к свободе и удовлетворению материальных потребностей всех народов.

Социальная катастрофа, в которую была ввергнута Россия в результате коммунистической революции, явилась тяжелым историческим уроком для всего мира. На протяжении своего полувекового существования коммунистическая система являла полную противоположность тем идеалам, к которым стремится человечество. Коммунистический опыт построения нового мира и попытка воспитать нового человека привели лишь к созданию бесчеловечного мира. Будучи болезненным детищем материалистического капитализма, коммунизм развил и завершил все вредные тенденции, которые имелись в буржуазной экономике, политике, идеологии. В этом — источник поразительного сходства коммунизма с фашизмом. Составные части марксистско-ленинского учения заимствованы из западных буржуазных теорий. Новым в марксистско-ленинской «науке» являются программа обобществления, то есть захвата принадлежащих народу средств производства классом партийной бюрократии и руководство к установлению диктатуры этого класса над народом.

Поверхностный буржуазный материализм превратился в фанатический атеизм, который стал почвой страшного антигуманизма, отрицанием человеческой личности. Отступив от Бога, коммунизм тем самым обезличил человека, превратил его в объект, в средство. Не только хозяйство было отчуждено от человека, но отчуждены его воля, его ум, его сердце. В среде этого принципиального антигуманизма закономерно возник и развился до патологических форм культ лжеспасителей человечества.

Коммунизм довел до предела начатую капитализмом пролетаризацию масс. Принудительный труд сменил относительную свободу труда, которая характерна для капиталистических отношений.

Коммунизм в своей внутренней и внешней политике, так же как в экономике, не нашел целей, кроме тех, которыми руководствовался старый капиталистический мир. Он только проявил большую целеустремленность и неразборчивость в средствах. Индустриальное строительство в коммунистических странах велось более бесчеловечными методами, чем где бы то ни было и когда бы то ни было. Империалистическая полити-

ка, нацеленная на установление коммунистической диктатуры над всем миром, ведется коммунистическими правительствами в больших масштабах и с предельным напряжением сил. По своей природе коммунизм не смог выйти из противоречий капитализма, он обострил их до последней степени и стал худшим, нетерпимым злом.

Современный мир полон движения. Старый классический капитализм преобразовывается, освобождается от самых отрицательных своих черт. Антимонополистические законы регулируют экономическую жизнь. Ряд отраслей хозяйства национализирован. Борьба свободных профсоюзов за лучшие условия труда, более высокую оплату достигает своих целей: жизненный уровень западных европейских стран весьма высок и быстро растет. Остановлен процесс пролетаризации, и на смену неимущему классу идет массовый средний класс, владеющий средствами производства.

Социальная доктрина католической церкви, обращенная к народам и христианско-демократическим партиям, указывает на необходимость окончательно изменить такое положение, при котором трудящиеся не участвуют в собственности на средства производства, провозглашает всеобщие и вечные моральные законы, следование которым спасает человека и общество из образовавшегося тупика. Эволюционным путем некоммунистический мир выходит из социального кризиса.

В то же время коммунистический мир разлагается. Народы на тяжелом опыте познали, что он несет нищету и угнетение, ложь и моральное вырождение. Природа этой системы такова, что она не может улучшаться, не подрывая тем самым своих основ. Всякое улучшение ее означало бы лишение господствующего класса его права, незаконно присвоенного, монопольно владычествовать в экономике, политике или идеологии. Любая из этих отдельных свобод неизбежно вела бы к свободе полной, к ликвидации тоталитарной системы. Поэтому добровольно, без борьбы, этот класс не уступит ничего. Освобождение народов от коммунистического ига может быть достигнуто только вооруженной борьбой.

Народная освободительная революция, направленная на свержение диктатуры коммунистической бюрократии, на создание справедливого социального строя, носит международный характер по своим задачам и последствиям.

Для полной победы народу необходима своя подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру и разгромит охранные

отряды олигархии. Народная армия освобождения должна быть организована под руководством политического ядра, которое может придать всенародной борьбе целенаправленный характер, выработать революционную стратегию и тактику. Наконец, необходимо единение всех сил народа, которое обеспечит и быструю бескровную победу, и вдохновенное построение справедливого общества в братском взаимодействии.

Мир близится к единству. Попытки создать общий рынок на Западе и на Востоке свидетельствуют о необходимости тесного экономического сотрудничества в масштабе мирового хозяйства и подготавливают для этого все необходимые условия.

Рост престижа Организации Объединенных Наций, несмотря на чрезвычайные трудности, которые приходится преодолевать, чтобы существующий раскол мира на два враждебных лагеря не привел к ее ликвидации и не свел на нет ее условия, свидетельствует о возможности и необходимости политического сотрудничества всех стран в интересах народов.

Объединяющееся вселенское христианство готовит высший религиозно-культурный фундамент для сверхнационального единства. Завтрашний мир будет основан на христианских идеалах. Социальное христианство утверждает свободу человека, святость семьи, братские отношения между людьми, единство всех наций. Социал-христианство – это персоналистическая экономика, политика, культура, в основу которых положены законные права и интересы человеческой личности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел I

Марксизм-ленинизм – тоталитарная идеология коммунистической бюрократии

Российскому революционному движению XIX–XX веков, поскольку оно выражало общенародные интересы, прямо противоположен марксизм-ленинизм по своей идейной сущности, методам и целям, который выступил как течение глубоко антиморальное, антигуманное, антикультурное, антинародное. Все

великие национальные революционеры духа от Герцена до Достоевского и Толстого указывали на эти страшные опасности, таящиеся в марксизме.

Сущность марксизма-ленинизма как философского учения – в отрицании божественной основы мира, в отрицании надматериальных ценностей, в отрицании духовной свободы человека. Поскольку экспериментальная наука не подтверждает и не может подтвердить эти положения, они покоятся на произвольном догматическом фундаменте и представляют собой в конечном счете метафизический материализм – самое безнадежное и ложное философское учение. Это есть культ бессмысленности бытия и абсолютной смерти.

Сущность марксизма-ленинизма как экономической науки вытекает непосредственно из его философской догмы и сводится к признанию фатального, независимого от сознания и воли человечества, развития хозяйства, которое якобы является господствующим фактором и даже всем содержанием политической, культурной и нравственной жизни. Отрицательную тенденцию прежней капиталистической экономики и чрезмерной концентрации капитала марксистская наука считает неизбежной и, более того, желательной. Единственный путь вперед она видит в абсолютном завершении этой концентрации в коммунистической системе государственного хозяйства, в которой весь народ должен быть экспроприирован раз и навсегда и превращен в государственный пролетариат.

Сущность марксизма-ленинизма как политической доктрины – в утверждении, что диктатура бюрократии является высшим типом хозяйственной организации, в требовании тоталитарной системы, которая позволяет любой партийной клике угнетать народ посредством самого народа под прикрытием социальной демагогии. Учение о диктатуре есть центр тяжести марксизма-ленинизма. Это – руководство к захвату политической власти в момент общенародного кризиса, к безмерному распространению этой власти на все стороны жизни, к ее постоянному укреплению при помощи бесчеловечных методов.

Марксистско-ленинское положение об антагонизме классовых интересов в органической хозяйственной системе и в необходимости вооруженного классового столкновения приводит к самоубийственной для нации гражданской войне и к диктатуре коммунистической олигархии, при которой впервые в истории государство становится главным образом органом непрерывно-

го насилия над народом, а интересы нового господствующего класса – действительно непримиримыми с интересами угнетенного народа.

Марксистско-ленинское положение о государственной миссии пролетариата позволяет на первых порах использовать часть рабочего класса как организованную силу для политического переворота, который ведет к еще большему закрепощению рабочих.

Марксистско-ленинское требование принудительно обобществить народное хозяйство ведет к хозяйственной тирании, к абсолютной, рабской зависимости народа от правителей, к резкому падению производительности и низкому качеству товаров, к нищенскому уровню жизни для трудящихся.

Марксистское понимание равноправия женщин с мужчинами означает принуждение женщин к труду на производстве, что ослабляет семью, обрекает детей на беспризорность.

Марксистско-ленинское положение о единстве партии, монополизировавшей власть, неизбежно приводит к культу вождя партии, который превращается в деспота.

Марксистско-ленинский принцип партийности науки и искусства ведет к вырождению общественных наук, к торможению во всех областях знания, к уничтожению национальной традиции, к фальсификации действительности, к замене культуры пропагандой,

Марксистско-ленинское требование идеологического единства и тотального коммунистического воспитания народа вызывает жесточайшее моральное угнетение всего общества, развращает людей в атмосфере всеобщего лицемерия.

Марксистско-ленинская теория истины есть волюнтаризм и прагматизм, прикрытые маской научности.

Марксистско-ленинское положение о неизбежности коммунистической революции во всем мире и о необходимости вызвать и поддерживать ее всеми средствами приводит народы на грань мировой атомной войны.

В процессе развертывания коммунистической революции это учение претерпело некоторые изменения и было развито применительно к определенным историческим условиям до своих последних выводов.

Собственно марксизм, ленинизм, сталинизм, маоизм – все это последовательные звенья одной цепи. Все учение логически взаимосвязано и не поддается частичной ревизии. Оно мо-

жет быть, после признания его основных предпосылок ложными, отвергнуто только целиком.

Это учение, приведшее к необъятной власти новый господствующий класс – коммунистическую бюрократию, – враждебно человечеству. Объективно служит оно только этому классу в деле ограбления, обмана и подавления народов.

Раздел II

Задачи российского революционного движения XX века и генеральная линия коммунистической олигархии

К началу XX века Россия нуждалась в значительных социальных преобразованиях. Российское революционное движение, начатое народниками, постепенно охватило все общественные классы, которые выступили со своими требованиями. Центральным вопросом, как во всякой социальной революции, был вопрос аграрный.

– Крестьянство, составлявшее более 80% всего населения страны, стремилось к свободному землепользованию на основе личного труда;

– рабочие требовали участия в прибылях предприятий и демократического контроля над производством;

– интеллигенция, промышленное и торговое сословия, часть землевладельцев требовали ограничения самодержавной власти, введения конституционного строя, гарантий правового порядка, гражданских свобод.

Единодушная оппозиция огромного большинства народа обеспечила бескровную победу революции в феврале 1917 года, в результате которой самодержавие пало. Российское революционное движение на короткий срок – от Февральской революции до большевистского переворота в октябре – завоевало все гражданские свободы и политические права, которые должны были повести к широким экономическим преобразованиям демократического характера, временно задержанным мировой войной.

В обстановке всенародного военного напряжения большевистское подполье, используя тяжелое положение страны, демагогической агитацией разложило армию; играя на социаль-

ных и национальных противоречиях внутри народа, спровоцировало гражданскую войну, в процессе которой лихорадочно создавало тоталитарную систему, отбросившую народ назад, к эпохе крепостного права. В результате коммунистического переворота великая народная революция

[*пропуск, текст испорчен*]

ческие права, завоеванные народом, были уничтожены. Царское самодержавие сменилось...

[*пробел в 10 строк*]

стьянства, в рабочем классе, в рядах интеллигенции, в собственной партии.

Экспроприируя крупных землевладельцев, коммунистическая бюрократия экспроприировала и крестьянство, превратив его в сельский пролетариат, организованный в коммуны.

Рабочий класс, закрепощенный на государственных предприятиях, ставших коллективной собственностью бюрократии, стал еще более неимущим и бесправным. Рабочие не только не получили в собственность средств производства, но были лишены прежней возможности объединяться в свободные профсоюзы, открыто бороться за повышение заработной платы и улучшение

[*текст испорчен*]

Коммунистическое обобществление хозяйства есть экспроприация народа в целом, превращение его в народ-пролетарий.

Одновременно с пролетаризацией огромного большинства народа создавались условия для возникновения нового эксплуататорского класса, превзошедшего силой все господствующие классы прежних социальных систем и отличающегося от них своей абсолютно паразитической природой.

Этот класс превзошел их силой потому, что милитаристски организован и обладает большими навыками в демагогии и терроре;

– он превзошел их потому, что стал монопольным собственником всего народного хозяйства и тем самым – собственником рабочей силы;

– он превзошел их потому, что создал беспримерную в истории тоталитарную систему, чтобы безнаказанно эксплуатировать и угнетать народы;

– он превзошел их всех потому, что организовал духовное насилие над людьми, принуждая человека думать в соответствии с канонами казенного мировоззрения. Этот тоталитарный

класс коммунистической бюрократии растоптал человека и общество. В его руках все управление хозяйством, некогда принадлежавшим нации, все привилегии, связанные с собственностью, вся власть, которой он пользуется исключительно в своекорыстных интересах, попирая общечеловеческие законы морали.

Вся история коммунистического господства представляет непрекращающуюся – то скрытую, то открытую – войну между диктатурой бюрократов и народом. Уже сразу после окончания Гражданской войны авторитет партии даже среди пролетарских масс стал меркнуть, ее популярность катастрофически быстро падает. Руководство партии не доверяло рядовым членам, а те не доверяли руководству. К 1921 году многие сознательные рабочие вышли из партии. Рабочий класс требовал передать управление хозяйством Всероссийскому съезду производителей, ликвидировать диктатуру над народом. В борьбе против новых хозяев пролетариат применил испытанное средство – забастовки. На Украине, на Дону, в Сибири и во многих других местах вспыхнули крестьянские восстания. Восстал матросский Кронштадт. Народная антикоммунистическая революция началась под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!». Коммунисты, пользуясь преимуществами, которые давала партии захваченная безраздельно власть, посредством закулисных махинаций захватили Советы в свои руки и превратили их в демократическую ширму своей диктатуры. Лозунг «Советы без коммунистов!» поэтому означал – долой диктатуру, власть народу! Создавалось положение, грозившее новым хозяевам ликвидировать их как класс. Коммунистические диктаторы ответили на требования рабочего класса, который они якобы представляли, свирепым террором. Старые революционные рабочие кадры подверглись репрессиям: одни были расстреляны, другие – заполнили концентрационные лагеря. В профсоюзы были посланы постоянные группы чекистских агентов, за участие в стачке рабочие карались смертной казнью.

Однако, не будучи еще достаточно сильным, коммунистический класс в 1921 году вынужден был отступить, введя нэп и временно отказавшись от создания сельскохозяйственных коммун. В промышленности и торговле временно было разрешено частное предпринимательство, чтобы оживить страну, поднять производительность труда, упавшую до предела.

Использовав передышку, коммунистический класс, увеличившийся и укрепивший свое положение, перешел в новое на-

ступление, последовательно проводя свою генеральную линию при помощи гибкой тактики, которая часто сбивала народ с толку. В 1929 году этот класс начал принудительную сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств. Декрет о земле, утвержденный Вторым Всероссийским съездом Советов, был попран окончательно. Подавляя разрозненное сопротивление крестьян при помощи карательных чекистских отрядов, коммунистическое правительство выслало миллионы ограбленных начисто людей, использовало заключенных в концлагеря крестьян как даровую рабочую силу на крупных государственных стройках.

Преодолевая трудности коллективизации, партийное руководство организовало в 30-х годах великий голод, чтобы окончательно сломить крестьянское сопротивление. Вооруженные отряды были отправлены в деревни, чтобы силой забрать не только так называемые излишки, но и жизненно необходимые для крестьян продукты. Страшные последствия этой меры, в результате которой десять миллионов человек погибли голодной смертью, тщательно скрывались от всего мира за железным занавесом. Одновременно преследовалась и вторая цель – согнать миллионы крестьян с земли, чтобы использовать их в качестве дополнительной рабочей силы для социалистической индустриализации... вымирающих деревень население переполнило города,

[*пропуск в 10 строк*]

На XIV партийной конференции была дана директива, требующая связать хозяйственное строительство в стране с задачей мировой коммунистической экспансии. Таким образом, и второе обещание, которым прикрылась большевистская власть, демагогически провозгласившая мир народам, было открыто признано недействительным.

Марксистская революция, проводившаяся десятки лет железом и ложью, вызывала сопротивление и в среде самой партии. Это сопротивление идеологически оформлялось в теориях, ревизующих положения марксизма-ленинизма, а на практике сводилось к фракционной борьбе внутри партии. Однако классу партийного чиновничества, который превратил всю страну в трудовой концентрационный лагерь, уже было нетрудно расправиться со своими вчерашними товарищами, и к 1938 году тысячи и тысячи свободомыслящих членов партии стали жертвами коммунистической системы. Периодические чистки партии проводились с целью устранить из рядов коммунистического класса и его слуг те элементы, которые перестали одобрять генеральную ли-

нию этого класса. Понятие классовой борьбы даже после уничтожения старых привилегированных классов было сохранено, и новый господствующий класс, обороняющийся при помощи всей государственной машины, прикрывает прежним понятием, имевшим совершенно другой смысл, свою борьбу против народа. Чистки партии тоже назывались мерами против классового врага. В эти же годы, накануне Второй мировой войны, класс партийной бюрократии истребил десятки тысяч командиров Красной Армии, что явилось продолжением террора против народа, в целях сохранения коммунистической диктатуры.

Вторая мировая война затормозила внутреннюю борьбу между коммунистической бюрократией и народом. По своему характеру Великая Отечественная война была национальной, и только так она была осознана народом. Не рискуя призывать народ на борьбу под коммунистическими лозунгами, партийное руководство пошло даже на некоторое оживление национальной традиции и проявило более терпимое отношение к церкви. Только после победы была предпринята попытка придать войне идеологический характер. Между тем даже фашизм, являющийся разновидностью тоталитарной системы, не представляет собой столь всеобъемлющей тирании, как коммунизм. Если коммунистическая диктатура сосредоточивает в руках класса партийной бюрократии все три сферы общественной жизни, то фашистская диктатура захватывает только политическую и идеологическую монополию. Отсутствие главного, экономического, рычага в распоряжении партии ослабляет политический и идеологический гнет. Вместе с тем фашистская диктатура не возникает сама собою, а вызывается угрозой коммунизма и, как правило, жизнеспособна только до тех пор, пока эта угроза остается. Но основное отличие фашизма от коммунизма заключается в том, что фашистская партия не образовывает, наподобие коммунистической бюрократии, паразитического, всемогущего класса эксплуататоров. В борьбе с Германией народ защищал свою Родину, а не коммунистический класс и его страшную систему. Германия, начавшая войну за мировое господство и проводившая политику истребления покоренных народов, восстановила против себя могучий союз народов и была разгромлена как государство-агрессор.

Коммунистическая олигархия, используя победоносный исход войны, навязала ряду стран коммунистический режим и поддерживает его вооруженной силой. Подавляя оружием национальную свободу и социальные права народов, коммунистичес-

кое правительство вызывает ненависть к России, которая может стать тяжелым наследием для нашей страны.

Надежда на лучшее устройство жизни после войны не сбылась. Чтобы предупредить возможное выступление народа, партийная олигархия применила испытанный прием – массовые репрессии. Общее число заключенных составляло в конце 40-х годов около двадцати миллионов. Снова, как в 30-е годы, был нанесен удар по военным кадрам. Пытаясь оправдать репрессии и низкий уровень жизни, не повышающийся, несмотря на громадное трудовое напряжение народа, коммунистическая пропаганда запугивает людей мнимой империалистической угрозой. Чувствуя непрочность своего положения, пока существуют некоммунистические страны и их пример, коммунистическая бюрократия продолжает свою генеральную линию на мировую революцию, хотя любая авантюра такого рода заранее обречена на провал. Агрессивность заложена в природе этого класса: его существование неразрывно связано с революционной коммунистической экспансией; как только она спадет, коммунизм утратит свою силу и будет легко уничтожен. Поскольку надежда на коммунистическую революцию не только в Европе и США, но и в Азии и Африке угасает, а положение в собственных странах становится все более угрожающим, отдельные отряды интернационального коммунизма уже открыто обосновывают необходимость мировой атомной войны как своей последней ставки.

Раздел III
Коммунистическая система

Истоками режима коммунистической диктатуры являются марксистская доктрина обобществления хозяйства и ленинское учение о партии как руководящей и направляющей силе коммунистического общества. Установление власти тоталитарной партии и превращение частной собственности в государственную стали условиями зарождения всемогущего эксплуататорского класса. Так как почти все принадлежит государству, а коммунистическое государство есть не что иное, как монопольная власть партии, то бюрократическое ядро партии, установившее свою диктатуру, стало распорядителем и фактическим хозяином обобществленного народного имущества.

Прежняя форма собственности ликвидируется, но создающаяся в результате обобществления новая ее форма открывает возможность эксплуатировать все группы населения в немыслимых до сих пор размерах и предоставляет новым собственникам-монополистам такие средства подавления ограбленного народа, которые были совершенно неприменимы раньше.

Вместо прежних классов с их взаимоотношениями образуются два новых класса со своими особенными взаимоотношениями. С одной стороны, класс всесильных монополистов, с другой – класс неимущих, охватывающий всех остальных, народ, спрессованный в безличную крепостную массу. Основные отличия этого угнетенного класса от прежних малоимущих классов в том, что, во-первых, он радикально отстранен от всякой собственности, которая обеспечивает свободу труда, и никогда впредь не сможет ее приобрести в рамках коммунистической системы; во-вторых, не имеет никаких прав и никакой возможности проявить свою инициативу в жизни; в-третьих, включает в себя социальные группы, которые раньше являлись самостоятельными классами и слоями.

В результате коммунистической революции пролетариат не стал владеть средствами производства: лишь его новые хозяева, более сильные, чем капиталистические предприниматели, увеличили эксплуатацию, поставив рабочих в такие условия, при которых они не могут легально бороться за улучшение своего положения.

Крестьянство, составляющее половину населения страны, за пользование ничтожным приусадебным участком вынуждено отрабатывать советскую барщину на государственных латифундиях. Завершающийся процесс пролетаризации должен превратить сегодняшних колхозников в сельских рабочих, в батраков коммунистической бюрократии, которая прикрывается государством.

Рядом с рабочими и крестьянами жестокой и утонченной эксплуатации подвергается интеллигенция – этот интеллектуальный пролетариат, – вынужденный работать под строжайшим контролем партийной олигархии.

Наконец, ни в одной стране мира женский труд не эксплуатируется так широко, как в коммунистических странах.

Сосредоточив в своих руках все народное хозяйство, коммунистические собственники плохо им управляют. Хищничество

и расточительство, неизбежные при такой системе, приводят к серьезным потерям средств, которые несет народ одновременно с громадными убытками от непроизводительной затраты труда. Главный ущерб народному хозяйству наносит так называемое социалистическое планирование. Догмой хозяйствования является особый род планирования, невозможный в других социальных условиях, при котором основные капиталы помещаются в нерентабельные отрасли, которые играют решающую роль в сохранении и укреплении власти бюрократов. Несмотря ни на какие вынужденные частичные реформы, коммунистический класс, пока он у власти, не откажется от такого планирования в целом, хотя оно ведет к убыточности хозяйства. Подобное планирование ведется в то время, когда народ нуждается в самом необходимом. Повышение жизненного уровня не входит в планы правящей бюрократии: для сохранения коммунистической системы необходимо держать общество на грани нищеты.

Отгороженная от всего мира, коммунистическая каста создала замкнутую систему хозяйства, которая нужна олигархии для сохранения ее собственности и власти, но которая очень дорого обходится народу.

Хроническое отставание сельского хозяйства – удел всех стран, где господствует марксистская система. Опыт стран с передовым сельским хозяйством доказал, что только свободное, ведущееся в некрупных размерах хозяйство наиболее эффективно обеспечивает питанием население и сырьем промышленность. Коллективизация, стоившая стольких загубленных жизней, на протяжении десятилетий приносит экономически вредные последствия, от которых нет спасения при существующем строе.

Марксистско-ленинская экономика ведет к дисгармонии всего хозяйства, к непроизводительной затрате народного труда, к расточительству национальных богатств. Она служит коммунистическому классу для сохранения его неограниченного владычества над народами.

Эта хозяйственная тирания создается и поддерживается особым политическим режимом, который до поры до времени подавляет стремление народа к экономическому, политическому и духовному освобождению. Если с экономической точки зрения коммунистическая система есть разновидность государственно-монополистического капитализма, то с политической –

представляет собой крайний тоталитаризм, вырождающийся в деспотию.

Единственная политическая организация – коммунистическая партия – монополизирует всю власть, отстраняя народ от всякого участия в управлении общественными делами. Всесильные хозяева, правители и жрецы коммунизма – партийная олигархия – находятся в самом центре системы, от которого отходят «рычаги» и «приводы», опутывающие все общество; нет ни одной общественной клетки, где бы эта власть не чувствовала себя и не была бы на деле всесильной. Сама партия не является самостоятельно существующим и функционирующим организмом, она используется только как одно из главных орудий партийной клики, группирующейся вокруг генерального секретаря-диктатора, который присваивает все прерогативы власти и даже устанавливает нормы «коммунистической морали».

Милитаристский принцип организации партии исключает всякий демократизм и всякую живую деятельность в ее рядах. Вся история партии наглядно доказывает, что она не способна противиться воле руководства, что она чаще всего является пассивным орудием олигархии.

Система «приводов» и «рычагов» не ограничивается партией; под ее контролем построены все организации: государственный аппарат, профессиональные союзы, судебная власть, вооруженные силы, так называемые общественные организации, молодежные, культурно-воспитательные и т. д.

Государственные органы от местных до Верховного Совета включительно являются косвенно партийными и ни в какой мере не представляют народ, особенно при той системе «выборов», которая практикуется и имеет исключительно показной характер.

Партийно-государственные профсоюзы лишены и тени какой-либо самостоятельности и являются еще одним орудием угнетения трудящихся. Они не имеют ничего общего со свободными профсоюзами в капиталистических странах, где эти рабочие организации действительно отстаивают интересы своих членов, открыто борются за лучшие условия труда и добиваются побед. Задача советских профсоюзов – воспитывать рабочих в коммунистическом духе, организовывать при помощи штрейкбрехерской агентуры «социалистическое соревнование», являющееся утонченным методом эксплуатации, создавать у рабочих иллюзию, будто они имеют свою классовую организацию.

В коммунистическом государстве нет никаких гарантий жизни, свободы и достоинства граждан. Классовое право целиком подчинено интересам господствующей бюрократии. Судебный аппарат автоматически выполняет карательные функции, осуждая не только активных борцов-антикоммунистов, но и тех, кто кажется недостаточно преданным режиму. В случае необходимости на суд может быть оказано любое давление. В этих условиях конституция становится фикцией, а провозглашенные ею куцые права – циничным издевательством.

Вся эта чудовищная система насилия пронизана тайной политической полицией, располагающей неограниченными возможностями. Под контролем органов безопасности находятся и сама партия и правительство. Чекистские методы – зеркало коммунистического режима. Сотни тысяч людей на всех ступенях социальной лестницы вербуются в качестве осведомителей и секретных агентов. Взаимная слежка, шантаж, провокация, клевета, растление, пытки, концлагеря, планомерное истребление цвета нации – все это обычные явления в жизни коммунистического мира.

Но одного террора недостаточно для поддержания коммунистической системы. Наряду с монополией собственности и монополией власти партийная бюрократия присвоила идеологическую монополию. Тоталитарная организация обязательно предполагает диктатуру мировоззрения. Человек подвергается насилию и в последней, самой сокровенной области жизни. Коммунистическая олигархия посягает на чувства и мысли людей. Свое мировоззрение она превращает в официальное государственное исповедание, явное отпадение от которого может кончиться гибелью «вероотступника».

Марксизм-ленинизм враждебен религии не потому, что это учение атеистическое, а потому, что оно само есть лжерелигия. Это учение отвергает и объявляет враждебным все, что не совпадает с его догматами, оно насилует науку, калечит традицию, предписывает человечеству свою «мораль». Это казенное мировоззрение имитирует религиозные обряды, вводит свои иконы, святцы и т. д. Но так же как в этой ложной религии нет истинного Бога, так нет в ней места и для Человека. Этот болезненный уклон, это узкое сектантство никогда не было и не будет мировоззрением народов.

Насаждение ложной религии является необходимым условием коммунистического господства. Однако ее нельзя

привить, прежде чем будет искоренена национальная традиция – живая душа народа. Против традиции, против исторического религиозного сознания народа ведется ожесточенная борьба, которая представляет собой попытку психологического подавления нации. Вместо истинной религии внедряется идолопоклоннический культ деспота, культ «ленинского ЦК», культ партии. Фетишизируется политическая власть. В области духовного сознания народы насильственно отбрасываются к дохристианской эпохе. То же и в области права. Культурным наследием нации овладевают идеологические надзиратели, приспосабливают его в исковерканном виде для «коммунистического воспитания». Созданы все условия для массового социального гипноза. Железный занавес изолирует население коммунистического лагеря от жизни окружающего мира. В атмосфере тотального шпионажа за собственным народом задавлено всякое живое общение и внутри каждой коммунистической страны. Все искреннее, самобытное, талантливое, благородное, что есть в народе, подавлено, вынуждено жить в глухом сопротивлении. Ни на один день не прекращает свою работу гигантская фабрика дезинформации, фальшивой пропаганды, эрзац-культуры и фальсификации истории. Нет такой лжи, которая не была бы пущена в ход, если она выгодна. Создан целый коммунистический словарь, в котором извращены все понятия. Партийная олигархия стремится подобным «воспитанием», которому она придает огромное значение, поработить мысль народа и опустошить его душу.

В то время как производительность труда в России значительно ниже, чем в капиталистических странах, громадное число промышленных предприятий нерентабельно; остро ощущается недостаток товаров первой необходимости; систематически падает сельскохозяйственное производство, в результате чего страна не всегда может обеспечить себя собственным хлебом; эксплуатация трудящихся ведется все более беззастенчивыми методами; свобода совести грубо попирается, партийное руководство в новой программе КПСС объявило, что социализм полностью построен и начинается следующий этап – строительство коммунизма. Таковы краткие итоги полувекового строительства социализма, за которое народ заплатил неисчислимыми человеческими жертвами и общим понижением морального и культурного уровня.

Предстоящий этап определяется в программе коммунистической партии главным образом как этап строительства материально-технической базы коммунизма. Как и марксистский социализм, коммунизм не может возникнуть естественным путем, в результате свободного развития народного хозяйства, прогрессивной эволюции политического строя и самодеятельного культурного творчества народа. Решающая роль в строительстве коммунизма принадлежит государству, которое является воплощением диктатуры класса коммунистической бюрократии. Этот класс организует строительство материально-технической базы коммунизма, увеличивая насильнические функции своего государства, чтобы мобилизовать массы и принудить их к крепостному труду; постепенными мерами ликвидировать, теперь уже формально, кооперативную собственность колхозов и всякую иную собственность, которой еще не овладел этот класс; осуществлять в духе каторжной дисциплины жесткий контроль за мерой труда и потребления пролетаризированных масс; охранять «коммунистическую» собственность, ему принадлежащую, расширять свои права и привилегии и подавлять освободительную борьбу народов. Всемирное укрепление партийного государства и увеличение власти бюрократического класса означают потерю даже видимости личной независимости граждан.

Материальная база коммунистического рабства создается вследствие попытки принудить общество к обобществленному коммунистическому потреблению. Примером такого уклада могут служить проекты домов-коммун, разработанные в СССР в конце 20-х годов, и реально созданные в Китае коммуны 60-х годов. Сфера индивидуального свободного потребления должна постоянно суживаться. Заработная плата должна быть сведена к натуроплате, к питанию на производстве и т. п. Планируется жизнь на казенный счет при всеобщей трудовой повинности. Этот путь ведет к разрушению личности, семьи, народа.

Семья, основанная на незыблемом индивидуальном браке, состоящая из родителей и детей, взаимные права которых стоят выше любого официального предписания или закона, является хранительницей человеческой индивидуальности и основной естественной ячейкой общества, без которой общественная структура не может существовать. Никакие доведенные агитаторами коммунизма до виртуозности меры маскировки не могут скрыть, что дело идет именно к разрушению личности, семьи, народа. Стремясь ликвидировать семейный очаг и объ-

являя свою классовую монополию на содержание и воспитание детей, марксистско-ленинские идеологи планируют создание всеохватывающей сети дошкольных учреждений и школ-интернатов, которые позволили бы полностью закрепостить женщину-мать на производстве. Семья уже не мыслится как органическое единство, скрепленное узами, свободными от диктата партийных надзирателей. Даже сущность любви несказанно извращается и опошляется. Коммунистическое воспитание всецело подчинено классовым целям партийной бюрократии, оно есть фабрикация безродной обезличенной массы.

Тот факт, что коммунизм ставит себе подобные цели, а фанатики стремятся их осуществить во что бы то ни стало, указывает на претензии коммунизма стать новой религией человечества. Никакая экономическая, политическая или философская система не ставит себе задач преобразовать все человеческие отношения и ответить на все вопросы.

Внутренняя война против народа, вследствие нового углубления коммунистической революции, достигает на современном этапе предельного напряжения. Вся мощь коммунистического класса мобилизуется для последней решительной борьбы. Бредовая утопия как будто близка к полному претворению в жизнь. Но, несмотря на то, что история довела эксперимент почти до предельно уродливой формы, конечные цели коммунистического класса неосуществимы. И мировой крах наступит для этого класса именно тогда, когда ему будет казаться, что он стал всесильным на земле и на небе.

Раздел IV

Историческая обреченность коммунизма

Сущность коммунизма настолько реакционна и аморальна, что его идеологи не могут обнаруживать ее в неприкрытом виде. На социальную действительность набрасывается покров иллюзий. Тщательная маскировка является характерной чертой марксистско-ленинской идеологии и важным средством коммунистического управления.

До захвата власти коммунисты используют в своей пропаганде общие социалистические идеалы, скрывая свои истинные цели. Для облегчения борьбы за власть проповедуют создание

единого народного фронта, требуют самых широких демократических свобод. Но с захватом власти их тактика круто меняется. Устанавливается тоталитарная диктатура, революционные партии-союзницы уничтожаются или их роль сводится на нет. Организуется принудительное «единомыслие», так как обнаруживается расхождение между обещаниями и жизнью.

Неприкрытая сущность коммунизма заключается в том, что партия, захватившая власть во имя освобождения человека от эксплуатации, образовала класс всемогущих эксплуататоров. Безраздельная власть коммунистической олигархии и партийно-государственное хозяйство не означают социализм. Организованное бюрократическим классом «строительство социализма» явилось ничем иным, как индустриализацией, проводимой наиболее преступными методами и в интересах этого класса. Любой другой путь построения промышленности не только не требовал кровавых жертв, но и был бы значительно короче. Несколько причин большой важности тормозили и тормозят «социалистическую» индустриализацию: во-первых, Гражданская война, приведшая к разрухе, и дезорганизация промышленности; во-вторых, деградация сельского хозяйства, которое должно было бы стать основной базой индустриализации в виде промышленного сырья, продуктов питания, дополнительных средств от продажи сельскохозяйственных продуктов на мировом рынке; в-третьих, непроизводительный рабский труд не заинтересованных в нем миллионов и запрещение всякого свободного труда вне рамок государственного хозяйства; в-четвертых, неизбежная в условиях коммунизма бесхозяйственность в гигантских масштабах и содержание целой армии бюрократов всех рангов; в-пятых, искусственное планирование, приносящее невосполнимые убытки национальной экономике; в-шестых, потеря неисчислимых средств, которые разбрасывает коммунистическая бюрократия в призрачных целях мирового господства: и на помощь другим странам в интересах пропаганды, и на создание мирового военного лагеря, и на содержание коммунистических партий в капиталистических странах и их подрывную работу; наконец, в-седьмых, имевшее место прямое истребление лучших сельских хозяев, высококвалифицированных рабочих кадров, большей части научной и технической интеллигенции.

Уровень народного потребления далеко отстал от возможностей современного производства. По сравнению с капиталистическими странами он ниже в пять-шесть раз, и что самое по-

казательное, народ в СССР потребляет меньше, чем до революции в царской России.

Коммунистическая форма собственности глубоко реакционна, вредна в экономическом отношении, приводит ко всевозможным видам угнетения человека и общества. Историческое развитие форм собственности вело неуклонно к свободному народному хозяйству, и коммунизм представляет собой ненормальную хозяйственную формацию. Этатистская система не выросла закономерно из исторических форм хозяйства, она была искусственно и насильственно создана и приспособлена к интересам самого хищного эксплуататорского класса. Правовое развитие собственности должно идти не к монополизации ее одной социальной группой или классом, а к ее всемирной дифференциации. Только смешанная экономика может реально освободить труд, обусловить широкую хозяйственную демократию.

Если историческое развитие общества направлено ко все большей гражданской свободе, ко все более высоким этическим отношениям между людьми, то коммунистическая диктатура в самой сущности своей являет беззаконие, лишает всех прав человека и общество, устанавливает крепостнический режим, разлагает людей нравственно. Ее временное существование поддерживается исключительно обманом и насилием. Но нельзя обманывать вечно, и насилие будет низвергнуто силой.

Если общемировое развитие направлено ко все большему единству человечества, к широким взаимосвязям между народами, то коммунистический режим искусственно изолировал народы друг от друга и угрожает столкнуть их в бессмысленной войне; коммунистическая политика является источником постоянного напряжения в мире. Попытка насильственно объединить мир в коммунистическом интернационале, распространить на всю землю систему тоталитарного угнетения с самого начала была обречена на неудачу. Мир может объединиться только путем свободы, путем добровольного сотрудничества между народами.

Если развитие человеческого знания ведет ко все большему постижению истины, то коммунистическая идеология с ее материалистическими догмами, фанатической нетерпимостью к духовному опыту всего человечества представляет собой сектантское мировоззрение хищнического класса, порвавшего с общечеловеческими идеалами.

Истинная природа этого класса все более обнаруживается для всех, ему уже нечем прикрыть свой эгоизм, у него нет целей, которые могли бы оправдать его господство. Его единственная цель – сохранить свою собственность и свою власть любой ценой. Этот класс духовно мертв, в его среде происходит разложение, его политика становится колеблющейся и откровенно авантюристичной, он никогда и никуда не способен вести. Если в начале революции часть рабочего класса и безземельное крестьянство ошибочно связывали свои надежды с приходом к власти коммунистической партии, то в настоящее время антагонистическое противоречие между интересами коммунистической бюрократии и потребностями всех социальных групп народа стало очевидным для большинства. Находясь в состоянии непрерывной борьбы с собственным сопротивляющимся народом, коммунистический класс изолирован и одинок. Положение этого класса, его самочувствие и его поведение очень сходно с положением и психологией оккупантов. Отсутствие легальной оппозиции затрудняет организацию народа для борьбы за свободу, широкая шпионская сеть и карательные чекистские органы пытаются задушить растущие подпольные силы революции, но народ един в своем стремлении к освобождению, его победа исторически предопределена.

Раздел V

Несостоятельность марксистско-ленинского учения перед лицом истории. Международное антикоммунистическое освободительное движение

Полувековая проверка жизнью показала ошибочность большинства марксистских предсказаний и лживость обещаний, начертанных на знамени коммунистической революции.

Вопреки основному положению марксизма коммунистическая революция произошла не в промышленных странах с высокой концентрацией капитала и многочисленным пролетариатом, где должен был бы действовать марксистский «закон» обязательного соответствия уровня производительных сил характеру производственных отношений, а в странах, не прошедших еще периода индустриализации, с абсолютным преоблада-

нием аграрного населения. Отсутствие значительного и устойчивого среднего класса, напряженная обстановка в связи с накопившимся недовольством масс, общая дезорганизация, вызванная военными неудачами, и политическая неграмотность народа – вот те условия, при которых захватила власть небольшая, но хорошо организованная большевистская партия. Установление коммунистического режима в других странах связано с прямой или косвенной агрессией из интернационального коммунистического центра. В промышленно развитых странах, которые свидетельствуют о способности капиталистической системы к дальнейшему развитию, марксистско-ленинская революция, означающая обобществление хозяйства и установление коммунистической диктатуры, немыслима. Вместе с тем коммунистические страны, в которых производительность труда сравнительно низка, не имеют реальных предпосылок, чтобы выиграть мирное соревнование с Западом. В связи со всем этим очевидно, что коммунизм никогда не станет мировой системой. В капиталистических странах, развивающихся эволюционным путем, не произошло, как предсказывали марксисты, фатального обнищания пролетариата и сосредоточения средств производства и всех национальных богатств в руках узкой группы монополистов. Передовые капиталистические национальные хозяйства уже обеспечили население продовольствием и основными промышленными товарами в изобилии, которое полвека тщетно обещает коммунизм. В этих странах образовался многочисленный и все увеличивающийся средний класс, в котором постепенно растворяется прежний пролетариат. В обновляющемся мире уже проявляются контуры свободного общества, где не будет неимущих и бесправных.

Бывшие колониальные страны Азии и Африки начали самостоятельное развитие, избрав некоммунистический путь. Принципы афро-азиатского социализма несовместимы с коммунистической доктриной. Таким образом, надежда марксистских вождей и идеологов, ожидавших, что эти страны станут неисчерпаемым резервом коммунизма, не осуществилась. В то же время в социалистическом лагере обнаруживаются серьезные расхождения и его разрекламированное единство разрушается на глазах. Сюда относятся попытка Китая создать в мире еще одно коммунистическое движение под своим руководством и стремление стран Восточной Европы проводить все более независимую национальную политику. В некоторых странах

(Югославия, Польша) крестьянские хозяйства не были коллективизированы, несмотря на сильный нажим ЦК КПСС. Вообще, несмотря на стремление бюрократического класса к полному обобществлению и сосредоточению обобществленного хозяйства в своих руках, что завершило бы коммунистическую революцию, такого коммунизма еще нигде не удалось установить, и на практике система существует с отклонением от «идеала». Попытки полного обобществления в коммунах (Россия, Китай) неизбежно приводили к быстрому краху всего хозяйства, и фанатики были вынуждены немедленно отступать.

Коммунизм исчерпал свою потенциальную силу, его агрессивный порыв выдыхается и уже утратил свой ореол. Старая политика, продолжающаяся по инерции и в силу того, что она неотделима от самой системы, становится противоречивой. Борьба КПСС с КПК за гегемонию в мировом коммунистическом движении, а также отчаянная установка китайского руководства на мировую истребительную войну во имя победы коммунистического строя являются финалом затянувшегося марксистско-ленинского эксперимента над народами.

Хотя ни разу не удалось навязать народу коммунизм без сопротивления, тоталитарный режим, пока он только восходил к зениту, успешно подавлял всякое возмущение. Разлагающийся коммунизм уже потрясается народными революциями. В 50-е годы прокатилась волна освободительных выступлений в Восточной Германии, Польше, Венгрии, Китае.

Первая победоносная народная революция грянула в 1956 году в Венгрии. Стихийно воспламенившееся возмущение народа взорвало тираническую систему, и она была уничтожена в течение нескольких дней. Декорации пали, и открылась действительность. Все социальные слои народа обнаружили единство. Образовался настоящий народный фронт всех борцов за свободу. Фальшивый миф о единстве коммунистической бюрократии и народа был разоблачен в открытом бою. Защитниками партийной олигархии оказались только немногочисленные агенты тайной политической полиции. Авангардом народной революции стали интеллигенция, учащаяся молодежь, рабочие. Крестьянство, если оно и не успело втянуться в борьбу из-за кратковременности революционных боев и своей рассредоточенности, ярко проявило свое отношение к событиям. Армия делом доказала свое полное единство с народом. Не только рядовой состав, но и курсанты военных училищ и офи-

церы в массе приняли сторону восставших. Коммунистическая партия распалась. После событий в первые дни революции она из прежнего числа девятьсот тысяч едва насчитывала сто тысяч членов. Бывшие рядовые члены партии хорошо поняли, что между ними и партийной бюрократией – пропасть и что для них представилась возможность действительно послужить народу в борьбе за его права. В освободительной революции участвовали еще две сравнительно небольшие, но важные по своему общественному значению группы – политические изгнанники и оппозиция в аппарате партийного управления. Хотя оппозиция в партийно-государственном аппарате, как и политическая эмиграция, не способна самостоятельно руководить освободительной борьбой, она облегчила народу путь к победе, предотвратила возможные жертвы.

Венгерская революция вспыхнула в особенно неблагоприятных условиях, когда страна была заполнена войсками коммунистической метрополии. Свободная Венгрия, просуществовавшая несколько дней, была разбита в результате прямой иностранной интервенции. Но восстановленный коммунистический режим был вынужден пойти на большие уступки, предоставив льготы крестьянам в купле-продаже недвижимости, разрешив частную торговлю, значительно сократив бюрократический аппарат и очистив его от наиболее преступных элементов.

За короткий период свободы новый строй не успел принять определенных форм, но его очертания ясно наметились в программных документах многочисленных партий, представлявших интересы всех социальных групп народа. Общая воля отвергла как коммунистический путь, так и капитализм, который и на Западе постепенно трансформируется в новый демократический хозяйственный строй. В области аграрных отношений требования сводились к предоставлению крестьянам права свободного землепользования. Предполагалось, что промышленность должна развиваться на началах кооперации и самоуправления, готовой формой которого явились созданные революцией рабочие советы. Основными лозунгами были: свобода труда, правовое государство, гражданские свободы, возрождение национальной религиозно-культурной традиции. Это общие черты программы антикоммунистической освободительной народной революции.

Венгерская революция 1956 года имеет огромное международное значение. Она ознаменовала пробуждение народа от

коммунистического гипноза. Она показала всему миру слабость и ничтожество тоталитарного класса, когда он лишен возможности маскироваться и угнетать народ посредством самого народа и во имя народа. Она стала прелюдией к освобождению всех народов, порабощенных коммунизмом.

Разоблачение кровавой эры сталинщины во всем мире, антикоммунистические восстания и выступления в ряде стран, восстания в концентрационных лагерях в России – все это вынудило коммунистическое руководство признать на словах злодеяния, совершенные в процессе строительства социализма. Эта мера диктовалась необходимостью отмежеваться от кошмарного груза прошлого перед лицом мирового общественного мнения, перед лицом международных коммунистических сил, перед лицом собственного народа. Лицемерное осуждение «ошибок» прошлого происходило в обстановке смятения, страха и внутренней борьбы среди коммунистической верхушки. Признание содержало только небольшую часть общего списка преступлений, и никто из ответственных за эти беззакония лиц не был предан суду.

Исторические преступления, совершенные сознательно классом коммунистической бюрократии, были названы ошибками, и вина за бедствия целых народов переложена на одного человека. В результате «принципиального» марксистского анализа было разъяснено, что извращения, имевшие место на протяжении всего периода социалистического строительства, являются чуждыми социализму и коммунизму и явились случайным событием, которое обусловлено отрицательными чертами одного человека. Мировой коммунистический лагерь раскололся и в связи с оценкой явления сталинщины. Одна часть лицемерно признала «случайные ошибки» одного лица, другая, объявив первых «величайшими ревизионистами» и «предателями коммунизма», продолжает называть методы сталинщины «по-настоящему революционными», «истинно марксистско-ленинскими». Действительно, явление и сущность – одно. Был марксистско-ленинский социализм и строился он марксистско-ленинскими методами. Иного «строительства» не было и не может быть в будущем.

Период 50–60-х годов характеризуется особенно быстрым ростом сознания народа; революция совершается прежде всего в умах, происходит освобождение от иллюзий, партийная пропаганда и агитация утратили всякое влияние. Крестьяне, рабо-

чие, интеллигенция осознают коренное единство своих интересов и их непримиримость с интересами класса партийной бюрократии, которое может быть разрешено только в результате ликвидации его монополии во всех областях жизни. Уже время от времени такие формы протеста, как демонстрации и забастовки, перерастают в России в открытые столкновения.

Освободительные революционные тенденции определенно проявляются и в литературе 50–60-х годов.

В обстановке солидаризации всего народа для решительной борьбы за свободу перед правящей бюрократией нет других путей, кроме постепенного отступления и лавирования под напором оппозиционного народа или применения методов сталинщины в полной мере. В колебаниях между этими крайностями разлагается диктатура класса партийной бюрократии. Одновременно с разложением режима создаются революционные организации, растут освободительные силы. Чем ближе освободительная революция, тем быстрее идет раскол в партии. Этот процесс исторически неизбежен. Оформляются две группировки – догматики и ревизионисты. Борьба между ними происходит в масштабах мирового коммунистического движения и принимает по временам крайние формы. Ни одна из этих группировок не сможет победить и укрепиться. Ревизионизм есть негативное и половинчатое движение, он не способен дать программу для построения нового свободного общества. Марксизм-ленинизм как учение совершенно неизвестен народу. Философская система не может никогда быть мировоззрением народа. Народное мировоззрение может быть только органическим, религиозным. Временное помрачение и ослабление духовности означают только, что народ живет в сумерках, которые не могут долго продолжаться. Народ сам выдвигает те новые силы, которые смогут решить основные задачи. Партийная оппозиция будет вынуждена примкнуть к этим силам, принять народную идеологию, раствориться в рядах освободителей и созидателей.

Догматическая группировка коммунистического класса не имеет в народе широкой социальной базы, на которую она могла бы опереться, чтобы организовать серьезное сопротивление. Ее разгром предрешен.

Судьба мирового антикоммунистического движения будет решаться в России.

Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа выступает за согласованность действий со всякой орга-

низованной силой, которая борется за общее дело. Выдвигая социал-христианскую программу как основу для будущего устройства социальных отношений в стране, Союз Освобождения Народа не относится враждебно к близким по духу, но имеющим своеобразие программам, считая, что окончательный выбор должен совершиться после свержения коммунистической диктатуры и уничтожения этатистской системы в условиях свободы и мира.

Часть вторая

Раздел VI

Основные принципы социал-христианства

Борьба в современном мире не определяется и не исчерпывается только экономическими интересами социальных классов, она гораздо шире и глубже; это решительное столкновение двух противоположных концепций человека – христианской и антихристианской.

Идет духовная борьба за личность. Перед человечеством два пути:

свободное обращение к Богу и принятие Его заповедей, и тогда раскрываются все силы и красота Человека, или отпадение от Бога, и тогда – сатанократия, растворение личности в стихийных силах, рабство у материи, вырождение сознания вследствие потери истинных целей и смысла жизни.

И капитализм, и его болезненное порождение – коммунизм могут быть преодолены только христианизацией всей жизни общества. Хотя христианская религия и не связана ни с какой временной социальной структурой, ее этические принципы могут и должны быть воплощены в экономической и политической практике. Христианство открывает смысл бытия и указывает временные цели, к которым нужно стремиться человечеству; оно в качестве высшего критерия восстанавливает правильную иерархию всех ценностей в мире.

Высшей и абсолютной ценностью христианская религия признает каждую человеческую личность и братские отноше-

ния между людьми. Восстанавливая личность, социал-христианство тем самым восстанавливает народ как сложное духовное целое, способное на творческое самопроявление. Идеал христианства – индивидуальное многообразие в свободном единстве. Христианство против эгоистического индивидуализма и против безличного коллективизма. Цель социал-христианского движения – внутренне преобразовать безличный коммунистический коллектив в коллектив персоналистический – одухотворенный, свободный, самодеятельный, братски взаимосвязанный.

В то время как коммунизм деморализует личность и общество, отчуждая человека от его собственного **«Я»**, социал-христианство признает за человеком неотчуждаемые права, вытекающие из его природы. Оно восстанавливает равновесие между личностью, обществом и государством. Выступая против тоталитаризма во всех его формах, социал-христианство стремится к ограничению всякой власти ее естественными пределами.

Величайшее зло в истории – тоталитарная система – возникает в том случае, когда государство поглощает общество, или, что ведет к тем же последствиям, растворяется в обществе, становясь таким образом лжецерковью.

Социал-христианское воззрение на государство не смешивает его с обществом. Государство имеет специфические и незаменимые функции, служащие всеобщему благу, которые оно не может никому передавать. Сила государства всегда должна соответствовать тем задачам, выполнить которые оно призвано. С другой стороны, государство только в исключительных случаях может быть допущено к вмешательству в те широкие области, которые являются полем действия общественных и личных сил. Ибо в равной мере вредно как посягательство государства на права общества и человека, так и притязания любых общественных элементов на государственные прерогативы. Реальные права гражданина, духовные и материальные, гарантируются разделением сфер действия между государством и частными лицами. Политическая область, значительно ограниченная, должна быть по преимуществу областью государства. Социал-христианская государственная доктрина рассматривает как безусловное зло такую организацию власти, при которой она является призом для соперничающих политических партий или монополизируется одной партией. Вообще, партийная ор-

ганизация власти неприемлема с точки зрения социал-христианства.

Непосредственное участие общества в жизни страны должно осуществляться путем самоуправления на местах и представительства крестьянских общин и национальных корпораций – крупных союзов работников физического и умственного труда – в высшем законодательном органе страны. В целях свободного проявления мнений и благотворного воздействия на решение насущных дел смогут беспрепятственно образовываться политические течения и движения, не имеющие, однако, характера партийной организации.

Хозяйство и культура должны быть по преимуществу областями приложения общественных и личных сил.

Социал-христианство стремится создать общество, в котором будет устранена эксплуатация человека человеком и взаимоотношения будут построены на всеобщей солидарности.

Труд как проявление созидательного духа человека должен быть раскрепощен, чтобы он служил в полную меру благополучию личности, семьи и общества. Свобода труда возможна только при новой, персоналистической форме собственности, которая свяжет воедино труд и средства производства и предоставит их в распоряжение личности. Каждый трудящийся имеет право владеть орудиями своего труда. Социал-христианский строй создает такие условия, в которых каждый работающий будет наделен средствами производства, при содействии специальных учреждений. Для этого должна быть создана смешанная экономика, проведена персонализация капитала и земли в самом широком масштабе, в результате которой национальные богатства будут определенным образом распределены среди народа и персоналистическая собственность поставлена на службу социальным целям. Передача средств производства в руки трудящихся, сохраняя в неприкосновенности основное условие цивилизации – разделение труда, ведет к высокой производительности, развязывает народную инициативу, ликвидирует пролетаризацию. Самоуправляющиеся персоналистические коллективы, организованные в национальные корпорации, станут решающей силой в хозяйственной жизни страны. Обязательным следствием такого экономического устройства явится равновесие между производством и потреблением, а также распределение основной части национального дохода в интересах большинства. Только социал-христианская экономика способна

обеспечить достойный уровень жизни для всех, освободить труд, устранить материальные препятствия на пути духовного роста человека.

В противоположность марксизму, рассматривающему семью как экономическую категорию, социал-христианство видит в семье категорию духовную. Согласно этому взгляду семья не является чем-то производным от экономики. Семья выполняет священную миссию воспитания и совершенствования личности, она способствует росту духовной культуры и поддерживает ее основы. Ничто не может заменить семью на этом поприще.

Социал-христианство признает особую роль женщины как хранительницы домашнего очага; ее глубокое благотворное воздействие на нравственную жизнь общества главным образом через семью имеет непреходящую ценность для нации. В связи с ее незаменимой ролью женщина должна быть наделена специфическими правами, облегчающими ей выполнение своего прямого долга. Социал-христианство ведет к такому строю, при котором женщина не будет экономически вынуждена непосредственно участвовать в общественном производстве.

Сознавая всю серьезность общей проблемы воспитания и не отказываясь от действенного влияния на духовное, умственное и физическое формирование человека, социал-христианство в то же время защищает право каждого на свободное развитие своей личности и предоставляет основную роль семье в первоначальном воспитании детей.

Социал-христианство отводит важное место Церкви как свободной общине верующих, воодушевленной высшими идеалами, которая, минуя все границы, собирает людей в единое целое, и считает, что свою духовную миссию Церковь может выполнить, только будучи независимой от государства и стремясь к вселенскому единству.

Культурная политика социал-христианства исходит из признания, что живая культура есть средство национального самопознания и самовыражения и что она может процветать только в условиях свободы. Вместе с тем христианской культуре присущ сверхнациональный характер, который в нашу эпоху сыграет решающую роль в деле сближения народов в единую вселенскую семью.

Раздел VII
О собственности

Пункт 1. Коллективная классовая собственность коммунистической бюрократии, присвоенная в результате экспроприации всего народа, должна быть взята под народный контроль и персонализована.

Персонализация призвана возвратить непосредственно народу отчужденное от него хозяйство страны. В целях создания смешанной экономики и свободного демократического хозяйственного строя должны быть образованы следующие формы собственности: общенациональная, государственная, общинная, персоналистическая.

Раздел VIII
Земельные отношения

Пункт 2. Земля должна принадлежать всему народу в качестве общенациональной собственности, не подлежащей продаже или иным видам отчуждения. Граждане, общины и государство могут пользоваться ею только на правах ограниченного держания.

Пункт 3. Из всех земель страны должны быть образованы гражданский фонд, общинный фонд, государственный фонд. Гражданский фонд состоит из разделенной и резервной частей.

Пункт 4. Земли гражданского фонда, справедливо разделенные, должны предоставляться в индивидуальное пользование всем желающим их обрабатывать гражданам Великой России с правом вести хозяйство самостоятельно или в свободном объединении с другими хозяевами и с правом свободно распоряжаться продуктами своего труда. Законом должно быть закреплено право передачи по наследству основного земельного надела семьи. Количество птицы и скота в хозяйстве не должно подлежать ограничению.

Пункт 5. Все общие вопросы землепользования, в том числе установление предельных норм владения и размеров прогрессивного налога с хозяйства, должен решать высший законодательный орган народа, частные вопросы – местные органы самоуправления.

Пункт 6. Государство должно предоставить новым сельским хозяевам долгосрочный кредит, техническую и научную помощь для налаживания хозяйства.

Пункт 7. Государству должно принадлежать исключительное право на эксплуатацию недр, лесов и вод, имеющих общенациональное значение.

Раздел IX

Промышленность и обслуживание

Пункт 8. Предприятия промышленности и обслуживания должны быть переданы в собственность и самоуправление коллективам, вкладывающим в них свой труд или средства.

Пункт 9. В зависимости от величины основного капитала предприятия и от его значения в народном хозяйстве оно может быть передано:

а) в полную собственность работающему на нем коллективу;

б) в частичную собственность работающему на нем коллективу с участием свободных акционеров в целях распространения доходов от промышленности на все слои народа.

Пункт 10. Коллектив каждого самостоятельного предприятия составляет единую акционерную компанию (товарищество).

Для каждого разряда рабочего и инженерного персонала должна быть установлена определенная, соответственно квалификации, доля собственности, приносящая прибыль. Эта личная доля собственности выражается в персоналистических акциях, которые закрепляются за каждым членом компании. Персоналистическая собственность будет гарантирована законом и общенациональной системой кредита.

Пункт 11. В соответствии с экономическими и культурными требованиями в промышленности и торговле должна быть создана мелкая, средняя и крупная собственность. В отличие от частной персоналистическая собственность предоставляется всем и контролируется государством.

Пункт 12. Научно-технический персонал проектно-конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов при персонализации предприятий должен быть включен в со-

став акционерных компаний тех отраслей промышленности, которые им обслуживаются.

Пункт 13. Все отдельные компании должны быть организованы, без ущерба для их автономных прав, в единые корпорации по отраслям производства для координации всего хозяйства. Через корпорации государство будет выполнять свои социальные функции:

не допускать образования монополий; обеспечивать честность конкуренции; регулировать налогообложение, выравнивая распределение благ среди населения; предоставлять финансовую помощь нуждающимся предприятиям.

Пункт 14. Высшим органом промышленного руководства должна стать Корпоративная палата (Национальный совет торгово-промышленных союзов), в которой будут представлены как отдельные корпорации, так и государство.

Пункт 15. Государство своей налоговой политикой, специальным законодательством и системой кредита должно поддерживать и поощрять индивидуальное ремесленное производство, сохраняющее свое значение и в современных условиях сложной техники и высокой концентрации.

Пункт 16. Жилищный фонд городов должен быть частично передан в ведение городского самоуправления как государственная собственность, частично – персонализирован.

Государство должно предоставить кредит и принять все меры для скорейшего обеспечения всего населения индивидуальным жилищем.

Пункт 17. Не должны подлежать персонализации энергетическая, горнодобывающая, военная промышленность, а также железнодорожный, морской и воздушный транспорт общенародного значения. Право на их эксплуатацию и управление ими должно принадлежать государству.

Пункт 18. Государство впредь может выступать в качестве предпринимателя в обычных промыслах только в том случае, если инициатива граждан недостаточна для создания предприятий, важных для народа, а также может вмешиваться в управление предприятиями, которым оно предоставляет финансовую помощь.

Раздел X

Кредит. Банковское дело. Торговля

Пункт 19. Основой социально-экономической политики должна стать широкая система национального кредита.

В первую очередь кредит должен предоставляться гражданам, занятым в промышленности и в сфере обслуживания, для приобретения персоналистических акций, дающих право участвовать в доходах своего предприятия, а также крестьянам для приобретения сельскохозяйственных машин и общего подъема культуры сельского хозяйства.

Пункт 20. Кредит трудящимся для приобретения средств производства должен отчасти обеспечиваться доходами от эксплуатации общенациональных предприятий. Эти операции должны быть в ведении Национального банка. В дополнение, каждое расширяющееся предприятие должно создавать фонд персоналистического кредита для новых работников, которые сразу становятся полноправными членами компании (товарищества).

Пункт 21. Банковское дело не должно быть монополией государства, оно не должно быть также в руках частных лиц.

Наряду с Государственным банком должны функционировать корпоративные банки, концентрирующие средства корпораций и частных лиц.

Пункт 22. Торговля должна быть свободной.

Пункт 23. Государство должно оставить за собой право устанавливать в общественных интересах верхний допустимый предел цен на основные товары и сохранить контроль над внешней торговлей.

Пункт 24. Свободный рынок возвращает товарам их естественную цену, в противоположность закрытому рынку коммунистической диктатуры, которая превращает ценообразование, денежные знаки и обмен в орудие своего господства и эксплуатации труда.

В системе персоналистического хозяйства должна быть введена золотая система денежного обращения.

Раздел XI

Культура. Наука. Образование. Здравоохранение

Культурное развитие народа и деятельность культурных и научных учреждений должны быть независимыми от принудительного руководства административных органов государства. Государство обязано всемерно поддерживать и поощрять культурную и научную деятельность, не вмешиваясь в работу как отдельных независимых деятелей, так и свободных ассоциаций писателей, музыкантов, художников, артистов, продолжающих традиции национального и мирового искусства и способствующих духовному обновлению общества.

Принцип партийности науки и искусства есть выражение идеологической монополии коммунистической бюрократии. Ложность и вред его очевидны. Ни один метод, ни одно направление не должны впредь провозглашаться обязательными для всех, равно как ни один метод и ни одно направление не могут быть запрещены, если они не представляют общественной опасности и не противны добрым нравам.

Уничтожая засилье официальной методологии и возникший на этой почве политический фаворитизм, не дававший развиваться не только гуманитарным наукам, но затруднявший также движение в области технических исследований, необходимо предоставить свободу экспериментированию и соперничеству точек зрения, течений и школ в науке, развитие которой должно направляться бескорыстным стремлением к истине.

Особенные задачи стоят перед правовой и исторической науками, которые должны вскрыть извращения и фальсификации эры коммунистической диктатуры и восстановить справедливый правопорядок и подлинную историю нашей Родины.

Пункт 25. Государство должно оказывать материальную поддержку ассоциациям деятелей культуры.

Пункт 26. Академии наук и их институты содержатся государством.

Пункт 27. Обеспечивая бесплатное среднее образование для всех, государство одновременно должно предоставить гражданам право учреждать частные и общественные школы, обеспечивая тем самым свободу преподавания и обучения. Государст-

во должно сохранить общий контроль за направлением и качеством преподавания.

Пункт 28. Университетам должна быть предоставлена автономия.

Пункт 29. Средства информации (радио, газеты, книгопечатание и пр.) не должны находиться в монопольном владении государства. Цензура должна быть отменена. Пользование свободой информации предполагает, однако, полную ответственность.

Пункт 30. Государство, обеспечивая систему народного здравоохранения, которая охватывала бы все население, должно предоставить возможность, в качестве ее дополнения, создавать частные медицинские учреждения.

Раздел XII

Религия и Церковь

Христианская религия возвестила высочайшую свободу человека в Истине и ценность человеческой личности и призвала все народы к духовному единству. Эта религия героического служения, возвышенной нравственности и идеала человеческих взаимоотношений сообщает смысл жизни и указывает путь личности и обществу. Общество, хранящее в чистоте веру и христианские заповеди, защищено от нравственного вырождения, упадка духовной силы, социального и военного самоубийства.

Социальная справедливость и свобода могут поддерживаться только растущим религиозным сознанием общества. Христианская Церковь, проповедующая религию Любви, Милосердия и Спасения, служит единению людей в делах Добра и в Великой Надежде.

В течение полувекового господства коммунистической диктатуры, стремившейся к уничтожению Церкви и к искоренению религиозного сознания, христианские народы Великой России совершили подвиг, сохранив свою Церковь.

Христианская Церковь выполнила свой долг духовного служения народу, оставаясь в годы тяжелейших испытаний в национальной истории, в период тягчайшего морального угнетения прибежищем верующих и их наставницей.

Пункт 31. Возрожденная Церковь должна пользоваться независимостью от государства и полным суверенитетом в своей области.

Пункт 32. Поскольку полная свобода Церкви от государства может быть достигнута только при условии независимости Церкви от материальной поддержки государства, Церковь должна быть обеспечена средствами, достаточными для ее нужд, из общенациональных фондов.

Пункт 33. **Все** известные религии должны пользоваться правом беспрепятственной проповеди и свободой публичного отправления культа.

Раздел XIII

Правосудие

Пункт 34. В качестве гарантии прав и свобод граждан и общества должна быть на деле осуществлена независимость суда от любой другой власти в государстве.

Пункт 35. Судьи должны быть несменяемы и ответственны только перед законом.

Пункт 36. Судьи должны составлять особую категорию, принадлежность к которой несовместима с занятием другими профессиями, а также с участием в политических движениях.

Пункт 37. Судьи должны обладать нравственным авторитетом, который давал бы им моральное право отправлять правосудие.

Пункт 38. Должен быть введен суд присяжных заседателей.

Пункт 39. Немедленно должны быть отменены все правовые нормы, навязанные диктатурой и служащие ей орудием господства над народом.

Должно быть введено новое право, соответствующее духу и букве социал-христианства.

Пункт 40. Смертная казнь должна быть признана несовместимой с христианским отношением к человеку.

Раздел XIV
Государство

Пункт 41. В соответствии с пониманием государства как естественного органа, выражающего высшие интересы народа в их единстве и создающего условия для свободного развития и широкого проявления личности в границах правового порядка, государство должно конституироваться как теократическое, социальное, представительное и народное.

Теократическое – поскольку государство должно быть построено на моральной основе и обязано в своей деятельности руководствоваться религиозными принципами, которые являются общими для всех христианских народов, совпадают с внутренним мироощущением человека и представляют собой наигуманнейшие заповеди.

Социальное – поскольку государство обязано гарантировать экономические, политические, гражданские, семейные, личные права всем своим гражданам, регулировать и гармонически сочетать общие, групповые и личные стремления, не принося в жертву ничьих законных интересов.

Представительное и народное – поскольку политическая власть не должна быть монополией лица, сословия, класса или партии, а должна гармонически распределяться среди народа в фонде общинного самоуправления в административных единицах и участия народа в высшем законодательстве страны через свободно избираемых депутатов.

Пункт 42. Законодательная, исполнительная, блюстительная и судебная власть должна быть разделена.

Верховная власть должна быть представлена:

законодательная – Народным Собранием и Главой Государства;

исполнительная – Главой Государства и Кабинетом министров;

блюстительная – Верховным Собором;

судебная – Верховным Судом.

Пункт 43. Народное Собрание – высший законодательный орган – должно избираться как от сельских и городских общин на основе пропорционального представительства, так и от промышленных и торговых корпораций, ассоциаций свободных профессий, от организаций политических движений.

Пункт 44. Соответственно этому центральному органу должны избираться сельские, городские и провинциальные Собрания, представляющие местное самоуправление с компетенцией, точно определенной в конституции.

Пункт 45. Глава Государства – представитель народного единства – должен избираться Верховным Собором и утверждаться всенародным голосованием.

Пункт 46. Главе Государства должно принадлежать верховное главнокомандование вооруженными силами страны и право назначать и сменять государственную администрацию.

Пункт 47. Пост Главы Государства несовместим с принадлежностью к организациям политических движений.

Пункт 48. Глава Государства должен назначать Премьер-министра и, по его предложению, членов Кабинета. Правительство должно нести ответственность перед Народным Собранием и Главой Государства.

Пункт 49. Должны быть специально предусмотрены условия для беспрепятственного проявления законной оппозиции в Народном Собрании, которая могла бы выступить с легальной критикой правительства.

Пункт 50. Верховный Собор – духовный авторитет народа, не имея административных функций и законодательной инициативы, должен располагать правом вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которые не соответствуют основным принципам социал-христианского строя, чтобы предупредить злоупотребление политической властью.

Пункт 51. Верховный Собор должен состоять на одну треть из лиц высшей иерархии Церкви и на две трети из выдающихся представителей народа, избираемых пожизненно.

Пункт 52. Спорные вопросы между государством и корпорацией, государством и личностью, корпорацией и личностью и между корпорациями должен решать Конституционный суд.

Раздел XV

Права человека и гражданина

Принципы социал-христианства, положенные в основу всей социальной жизни народа, – единственная надежная гарантия действительной свободы, на которую имеет священное право человек.

В конституции должны быть закреплены следующие основные права человека и гражданина.

Пункт 53. Жизнь и достоинство человека неприкосновенны.

Пункт 54. Жилище неприкосновенно.

Пункт 55. Права семьи, в том числе право родителей давать детям физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание и образование по свободному выбору в лоне семьи, в частных или государственных учебных заведениях, ненарушимы.

Пункт 56. **Все** граждане равны перед законом.

Пункт 57. **Все** граждане пользуются свободой выбора профессии или рода занятий, промысла или торговли.

Пункт 58. Свобода труда обеспечивается для всех правом каждого гражданина на землю и на кредит для приобретения средств производства.

Пункт 59. Личная, групповая и семейная собственность не подлежит отчуждению без предварительной и полной компенсации и без соответствующего закона.

Пункт 60. Все граждане могут передавать по наследству и наследовать имущество.

Пункт 61. Все нетрудоспособные имеют право на государственное социальное обеспечение, достаточное для достойного образа жизни.

Пункт 62. Никакие виды принудительного труда не могут допускаться по отношению к свободным гражданам.

Пункт 63. Личная свобода ненарушима.

Пункт 64. Все средства распространения мысли свободны.

Пункт 65. Развитие наук и искусств свободны.

Пункт 66. Обучение и преподавание свободны.

Пункт 67. Собрания и демонстрации свободны.

Пункт 68. Образование союзов, ассоциаций, обществ свободно.

Пункт 69. Тайна переписки и всех других видов связи ненарушима.

Пункт 70. Все граждане имеют право свободного передвижения по стране и беспрепятственного выезда за ее пределы.

Пункт 71. Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным на все выборные государственные посты.

Пункт 72. Каждый гражданин имеет право действовать через суд для защиты своих конституционных прав и законных интересов, как бы они ни нарушались.

Пункт 73. Союз Освобождения Народа сознает себя патриотической организацией самоотверженных представителей всех национальностей Великой России, которая борется за интересы всего народа и не является партией ни в классовом, ни в тоталитарном смысле.

Пункт 74. Государственная власть после свержения Коммунистической диктатуры должна перейти к временному народно-революционному правительству, которое немедленно проведет в жизнь все назревшие радикальные реформы, разработает конституцию, закрепляющую преобразования, и представит ее на всенародное одобрение, после чего должен вступить в силу нормальный государственный порядок.

Пункт 75. Временное правительство должно опереться на повсеместные временные народные представительства, которые образуются рабочими, крестьянами, интеллигенцией, учащейся молодежью и военнослужащими. Для защиты народной свободы каждое предприятие и учреждение формирует отряды гражданской гвардии.

Пункт 76. Национальные вооруженные силы должны быть освобождены от влияния партийных политических органов, чтобы они могли служить народу в целом, а не интересам какой-либо партии, ставящей их под свой контроль. Должно быть коренным образом улучшено положение кадрового состава вооруженных сил и, в частности, положение офицерского корпуса.

Пункт 77. Коммунистическая партия, потерявшая всякое моральное право на существование, должна быть распущена. Коллективная ответственность недопустима. Ответственность за преступления против народа и человечности должны нести только непосредственные виновники.

Пункт 78. Все тоталитарные организации, созданные под руководством КПСС и служившие ей орудием в деле угнетения и подавления народа, должны быть распущены.

Пункт 79. Тайная политическая полиция должна быть распущена.

Пункт 80. Органы коммунистического судопроизводства должны быть распущены.

Пункт 81. Коммунистический государственный аппарат должен быть распущен.

Пункт 82. При персонализации собственности должны быть учтены права тех, кто временно не связан с производством (военнослужащие, политические заключенные и пр.). Должны

быть приняты особые меры для быстрого обеспечения жизни семей жертв режима, семей героев, погибших или искалеченных в Великой Отечественной войне, а также всех нетрудоспособных граждан.

Пункт 83. Странам, в которых временно находятся советские войска, может быть оказана помощь в национальном самоопределении на основе социал-христианизма.

Пункт 84. Миллионам соотечественников, находящихся в политическом изгнании за пределами Родины, должны быть предоставлены после возвращения общие права и возможности в социал-христианском союзе всего народа.

Пункт 85. Должен быть учрежден статут Почетного Гражданства.

Права и обязанности Почетного Гражданства должны распространяться на весь цвет народа и в первую очередь на борцов за народное освобождение.

Принята второго февраля 1964 года.

Члены ВСХСОН

Руководители:

1. Игорь Вячеславович Огурцов (1937 г. р.), ст. техник ЦНИИ информации и технико-экономических исследований, «глава организации».
2. Михаил Юханович Садо (1934 г. р.), семитолог, «начальник отдела личного состава и ответственный за безопасность организации».
3. Евгений Александрович Вагин (1938 г. р.), литературовед, «начальник идеологического отдела».
4. Борис Анатольевич Аверичкин (1938 г. р.), студент-юрист, «хранитель материалов организации».

Рядовые члены:

1. Вячеслав Михайлович Платонов (1941 г. р.), востоковед, член «идеологического отдела».
2. Николай Викторович Иванов (1937 г. р.), искусствовед, член «идеологического отдела».
3. Леонид Иванович Бородин (1938 г. р.), директор школы, член взвода контрразведки.
4. Владимир Федорович Ивойлов (1938 г. р.), преподаватель политэкономии, командир взвода.
5. Михаил Борисович Коносов (1937 г. р.), слесарь, поэт, командир взвода.
6. Сергей Устинович (1938 г. р.), окончил восточный фак. ЛГУ.
7. Юрий Бузин (1936 г. р.), инженер.

8. Валерий Иванович Нагорный (1943 г. р.), инженер.
9. Александр Миклашевич (1935 г. р.), инженер.
10. Юрий Петрович Баранов (1938–1970), инженер-электрик.
11. Георгий Николаевич Бочеваров (1935 г. р.), историк (?), командир взвода.
12. Анатолий Сударев (1939 г. р.), филолог.
13. Анатолий Ивлев (1937 г. р.), химик.
14. Владимир Веретенов (1936 г. р.), экономист.
15. Ольгерт Забак (1941 г. р.), механик.
16. Олег Шувалов (1938 г. р.), инженер.
17. Станислав Константинов (? г. р.), работник библиотеки.

Рядовые члены, не осужденные судом:

1. Козичев.
2. Гончаров.
3. Иовайша.
4. Шестаков, студент театрального института.
5. Клочков.
6. Ильяс Фахрутдинов, преподаватель ЛГУ.
7. Владимир Федорович Петров, сотрудник Института оптики, предатель.

Кандидаты в члены ВСХСОН

(из тридцати знаем следующие фамилии):

1. Абрамов, студент истфака ЛГУ.
2. Осипов, смотритель музея.
3. Балоян, переводчик.
4. Кулаков.
5. Елькин, экономист.
6. Паевский, аспирант ЛГУ.
7. Андреев, студент-экономист ЛГУ.
8. Фредерике.
9. Лисин, аспирант.
10. Онуфриев, учитель.
11. Статеев, слесарь.
12. Якимов, студент.

КОММЕНТАРИИ

[1] *Владимир Оскарович Каппель (1883–1920)* – генерал-лейтенант, в 1918 г. командовал группой белогвардейских войск Комуча (Комитет членов Учредительного собрания – орган власти на территории Среднего Поволжья и Приуралья в июне – сентябре 1918 г.), в 1919 г. – корпусом, армией, с декабря – колчаковским Восточным фронтом. Погиб при отступлении к Иркутску.

[2] *Петр Константинович Лещенко (1898–1954)* – певец, гитарист, исполнитель русских, украинских, цыганских народных песен и романсов, а также эстрадных песен, в том числе собственного сочинения. В 1918 г. эмигрировал в Румынию. Гастролировал в Европе и Азии, в 1942–1943 гг. выступал в Одессе. После освобождения Бухареста дал концерт в честь офицеров Советской Армии. В 1951 г. арестован румынскими органами госбезопасности по обвинению в измене родине за выступления в оккупированной немцами Одессе. Отбывал наказание на строительстве Дунайского канала, где и умер в тюремной больнице. За свою жизнь записал свыше 180 граммофонных дисков, которые в СССР долгое время были под запретом. Первая пластинка из серии «Поет Петр Лещенко» вышла у нас в 1988 г. к его 90-летию. Знаменитая «Татьяна», исполняемая певцом, написана Марком Марьяновским.

[3] *«...“бериевская” амнистия 1953-го».* Л. П. Берия, занимая пост министра внутренних дел СССР, после смерти И. В. Сталина провел амнистию, по которой было освобождено большое количество уголовников. Как полагают некоторые историки, это было сделано для дестабилизации обстановки в стране и укрепления личной власти.

[4] *«Как сладостно Отчизну ненавидеть!»* – автор В. С. Печерин.

Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885) – общественный деятель, философ, поэт, профессор греческой филологии в Московском университете (1835–1936). В 1836 г. эмигрировал в Англию, проклиная

«николаевскую Россию». В 1840 г. перешел в католицизм, принял монашество, стал священником ордена редемптористов (1843), близкого к иезуитам. В иезуитском монастыре Св. Мери Чапель в Клапаме в 1853 г. Печерина навестил А. И. Герцен и спросил разрешения опубликовать его прежние стихи, на что патер ответил: «...мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления» («Былое и думы», Ч. 7. Гл. VI). В 1861 г. разорвал с монашеством, разочаровался в католицизме, но до конца дней исполнял обязанности священника при больнице для бедных в Дублине. Основные произведения: драматическая поэма «Торжество смерти» (1833; включена Герценом и Огаревым в сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861), воспоминания «Замогильные записки» (1860–1870-е гг.).

5 *«...зубная боль в сердце».* В 1887 г. Максим Горький, тогда еще Алексей Пешков, пытался покончить с собой (прострелил себе легкое) и оставил прощальную записку: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце... Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне последнее время».

6 Авторский текст: «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» (А. И. Герцен. «Былое и думы». Ч. 1. Гл. IV).

7 *Ревизионистская организация Хахаева–Ронкина* – ленинградская подпольная организация в конце 1950-х – начале 1960-х гг. О ней подробнее на с. 63.

Дело Иосифа Бродского. Ленинградский поэт Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) в 1963 г. был арестован по обвинению в тунеядстве. Дело возникло после публикации статьи «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» от 28 февраля 1963 г. Был приговорен к пяти годам административной ссылки и в 1964 г. выслан в Архангельскую область. После выступлений в его защиту отечественных и зарубежных писателей Бродскому разрешили в 1965 г. вернуться в Ленинград. В 1972 г. эмигрировал.

8 *Норберт Винер (1894–1964)* – американский ученый, сформулировавший в трактате «Кибернетика» основные положения этой науки об управлении, связи и переработке информации.

9 *Экзистенциализм* (от лат. exsistentia – существование) – философское направление, возникшее в России в начале XX в., затем в Германии, позже во Франции и других странах. В центре экзистенциализма человеческое существование, как оно предстает в непосредственном переживании своего «бытия-в-мире» – в актах заботы, страха, любви, ненависти, раскаяния, отчаяния, решимости, надежды и т.д. Различают религиозный экзистенциализм (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю).

Мартин Хайдеггер (1889–1976) – немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма. Развил учение о бытии («фундаментальная онтология»), где противопоставил подлинное существование, то есть экзистенцию, и мир повседневности, обыденности («Бытие и время», 1927). Темы поздних работ – происхождение «метафизического» способа мышления, характеризуемого как «забвение бытия».

Сёрен Кьеркегор (Киркегор) (1813–1855) – датский философ, богослов, писатель. Противопоставил «объективизму» диалектики Г. В. Ф. Гегеля субъективную («экзистенциальную») диалектику личности, которая, по Кьеркегору, проходит три стадии на пути к Богу: эстетическую, этическую и религиозную. Основные работы: «Или – или» (1843), «Страх и трепет» (1843), «Философские крохи» (1844), «Стадии жизненного пути» (1845).

Эдмунд Гуссерль (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии. Стремился превратить философию в «строгую науку» путем феноменологического метода («Логические исследования». Т. 1–2).

Жан Поль Сартр (1905–1980) – писатель, философ, публицист, глава французского экзистенциализма. Под влиянием Э. Гуссерля и М. Хайдеггера создал «феноменологическую онтологию» – противопоставление объективности и субъективности, свободы и необходимости («Бытие и ничто», 1943). Пытался дополнить марксизм экзистенциальной антропологией («Критика диалектического разума», 1960). Основные темы литературных произведений: одиночество, поиск абсолютной свободы, абсурдность бытия (пьесы-притчи «Мухи», 1943; «Дьявол и Господь Бог», 1951 и др.). В конце 1960-х выступал как идеолог леворадикального экстремизма. В 1964 г. присуждена Нобелевская премия по литературе, от которой отказался.

Габриель Оноре Марсель (1889–1973) – французский философ, драматург, литературный критик, основоположник католического экзистенциализма. «Таинство» (интуитивное постижение) противопоставил «проблеме» (рациональному познанию). Тематика драматургических произведений – религиозно-моральные конфликты («Расколотый мир», 1933; «Жажда», 1938; «Рим больше не в Риме», 1951).

Хосе Ортега-и-Гасет (1883–1955) – испанский философ, публицист. Как противник франкизма, с началом гражданской войны в 1936 г. эмигрировал в Латинскую Америку, в 1948-м вернулся в Испанию. Один из авторов концепции массовой культуры («Восстание масс», 1929–1930) и теории элиты. Считал основным политическим феноменом XX в. идейно-культурное разобщение «элиты» и «масс», что привело к общей социальной дезориентации и возникновению «массового общества». В эстетике – теоретик модернизма («Дегуманизация искусства», 1925).

Ралф Тайлер Флюэллинг (1871–1960) – американский философ, представитель персонализма (признающего личность первичной творческой реальностью, а весь мир проявлением творческой активности «верховной личности» – Бога). Развил теистическое учение о «верхов-

ной личности» (Боге), воплощающейся в человеке («Творческая личность», 1926).

[10] *Хилиазм* (от греч. chiliás – тысяча) – раннехристианское религиозное учение, согласно которому концу мира будет предшествовать «тысячелетнее царство» Бога и праведников на Земле (то есть земной рай). Осуждено Церковью в III в. как еретическое. Возрождалось в средневековых ересях, во время Английской буржуазной революции XVII в., когда выдвигалась мысль об установлении «Царства Божьего» на Земле с помощью оружия, в позднейшем сектантстве (у адвентистов, иеговистов). Некоторые мотивы хилиазма повлияли на развитие утопических идей.

[11] *«Дело писателей»* – дело Андрея Донатовича Синявского (1925–1997) и Юлия Марковича Даниэля (1925–1988), которые с 1957 г. тайно передавали на Запад свои сочинения, где те публиковались под псевдонимами Абрам Терц (Синявский) и Николай Аржак (Даниэль). В 1965 г. арестованы, в 1966-м осуждены: Синявский к 7, Даниэль к 5 годам заключения в лагере строгого режима – «за антисоветскую пропаганду и агитацию». В 1973 г. Синявский эмигрировал во Францию; с 1978 г. выпускал в Париже журнал «Синтаксис».

Принято считать, что с дела Синявского и Даниэля началась история диссидентского движения в СССР. После их ареста сочувствующие провели 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве митинг с требованием гласности суда над ними; по вынесении приговора началась петиционная кампания, когда в партийные и судебные инстанции направлялись письма с протестами. В 1967 г. журналист А. И. Гинзбург (фигурирует в книге) составил документальный сборник о процессе над Синявским и Даниэлем («Белая книга»), вскоре опубликованный за границей. Арест Гинзбурга и еще трех участников привел к всплеску диссидентской активности, что оформилось в так называемое «правозащитное движение», нашедшее отражение в самиздатской «Хронике текущих событий» (см. прим. 45).

[12] *Пассионарность* (от лат. passio – страдание, страсть) – большая внутренняя энергия, страстность, повышенная активность.

[13] *«Прощай, немытая Россия...»* – первая строка из стихотворения без названия М. Ю. Лермонтова.

[14] *«Подите прочь – какое дело...»* – из стихотворения «Поэт и толпа» А. С. Пушкина.

[15] *Сергей Геннадьевич Нечаев (1847–1882)* – организатор и идеолог конспиративного сообщества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера» («революционер – человек обреченный... он... разорвал всякую связь... со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью «этого мира»»), который даже анархист М. А. Бакунин назвал «катехизисом абреков». Практиковал методы мистификации, провокации, шантажа. За убийство отказавшегося повиноваться товарища, студента И. И. Иванова, приговорен в

1873 г. к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Прототип П. Верховенского в романе «Бесы» Ф. М. Достоевского.

16 *Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900)* – философ, религиозный мыслитель, поэт, публицист, мистик. В своих богословско-философских сочинениях («Чтения о Богочеловечестве», 1877–1881; «Оправдание добра», 1897–1899 и др.) очертил собственную всеобъемлющую систему – «метафизику всеединства». В основе ее идея о «Всеедином сущем» – единстве Творца и твари, их постоянном диалоге. Цель творения философ представлял как волю Промыслителя расширить сферу Божественного, допустив в нее тварь, наделенную разумом, свободой воли и способностью к совершенству. Посредницей между Творцом и тварью, по Соловьеву, выступает София – Премудрость Божия, скрытая душа тварного мира, а постижение Всеединства возможно лишь с помощью «цельного знания», в котором соединялись бы эмпирический (научный), рациональный (философский) и мистический (религиозный) аспекты. Как мыслитель оказал огромное влияние на русскую философию конца XIX – начала XX в. и поэзию Серебряного века.

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) – писатель, публицист, философ, литературный критик. Осуждая либерализм как опасное явление с его «омещаниванием» быта и культом всеобщего благополучия, проповедовал «византизм» (церковность, монархизм, сословная иерархия) и союз России со странами Востока как способ защиты от революционных потрясений («Восток, Россия и славянство». Т. 1–2. 1885–1886). В 1891 г. принял тайный постриг в монахи под именем Климента. Умер в Троице-Сергиевой лавре.

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) – государственный деятель, ученый-правовед. Преподавал законоведение и право наследникам престола – будущим императорам Александру III и Николаю II. Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1880–1905). Самый влиятельный советник Александра III. Консерватор и убежденный поборник самодержавия (считал, что только самодержавие может обеспечить процветание России), боролся с либерализмом в правительственной политике, религиозным сектантством, всемерно усиливал влияние официальной Православной Церкви. В 1905 г., после издания Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», который провозглашал гражданские свободы, создание Народного представительства Государственной думы, вынужден был уйти в отставку и отошел от политической деятельности. Автор ряда историко-юридических трудов.

Иван Александрович Ильин (1883–1954) – религиозный философ, правовед, публицист, многие идеи которого оказались пророческими. Крупнейший представитель русского гегельянства, автор фундаментального исследования «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (т. 1–2, 1918). Активный противник большевизма (полагал, что только государственность и монархия могут противостоять хаосу и дезорганизации), идеолог Белого движения, неоднократно

арестовывался, был приговорен к смертной казни. В 1922 г. выслан из России. Профессор Русского научного института в Берлине (с 1923 г.) и издатель журнала «Русский колокол» (1927–1930). Автор нескольких сотен статей и свыше 30 книг, основные из которых: «О сопротивлении злу силою» (1925), «Путь духовного обновления» (1935), «Основы борьбы за национальную Россию» (1938), «Аксиомы религиозного опыта» (т. 1–2, 1953), «Наши задачи» (т. 1–2; опубликованы в 1956).

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – философ, богослов, экономист, священник (с 1918). От увлечения марксизмом, который пытался соединить с неокантианством, в начале 1900-х гг. перешел к религиозной философии, в 1920-х – к православному богословию. Своей центральной задачей считал обоснование целостного христианского мировоззрения («Философия хозяйства», 1912; «Свет невечерний», 1917). Участвовал в сборниках «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). Большевистскую революцию воспринял как гибель России и предвестие гибели всей Европы. В 1923 г. выслан из России. В эмиграции один из идейных руководителей Русского студенческого христианского движения (РСХД). Пережил краткое увлечение католицизмом. Вслед за В. С. Соловьевым разрабатывал учение о Софии – Премудрости Божией, являющей себя миру через посредство Церкви. Некоторые положения софиологии Булгакова осуждались православными традиционалистами. Основные богословские труды парижского периода: «Купина неопалимая» (1927), «Друг Жениха» (1927), «Лествица Иаковля» (1929), трилогия «О Богочеловечестве» («Агнец Божий», 1933; «Утешитель», 1936; «Невеста Агнца», 1945).

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – философ, религиозный мыслитель, публицист. От увлечения марксизмом перешел к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма и персонализма. С 1904 г. сотрудничал с деятелями русского религиозного возрождения. Участник программного сборника «Вехи» (1909), Бердяев осуждал материализм, радикализм и революционность русской интеллигенции, предрекая грозящую России моральную и социальную катастрофу. В 1922 г. выслан из Советской России. В Париже издавал религиозно-философский журнал «Путь» (1925–1940). Основные философские труды: «Смысл творчества» (1916), «Смысл истории» (1923), «Миросозерцание Достоевского» (1923), «Философия свободного духа» (т. 1–2, 1927–1928), «Русская идея» (1946), «Самопознание» (1949).

Лев Исаакович Шестов (Шварцман) (1866–1938) – философ, писатель. С 1895 г. жил преимущественно в Швейцарии и Франции. В своих философских работах восставал против диктата разума и гнета общепринятых нравственных норм над суверенной личностью, полагая, что вера – это личностная, непредсказуемая и неуправляемая сила, исходящая свыше и уносящая человека к иному, настоящему миру, где все определяется не рассудком, а волей всемогущего Бога-Первоотца. Разум же, по Шестову, есть некое злокозненное механическое средст-

во сведения живого к неживому, истинного – к ложному, своего – к ничьему, массово-безличному. Традиционной философии противопоставил «философию трагедии» (абсурдность человеческого существования), а философскому умозрению – даруемое Богом откровение. В своих работах предвосхитил идеи экзистенциализма. Основные сочинения: «Апофеоз беспочвенности» (1905), «Умозрение и откровение» (опубликовано в 1964).

Иван Лукьянович Солоневич (1891–1953) – политический мыслитель, публицист, лидер народно-монархического движения за рубежом. Монархию осмыслял как наследственную династическую власть, опирающуюся на широкие массы народа и отстаивающую его права в противостоянии эгоистической олигархии. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на юге России; заболев тифом, не смог эмигрировать. В 1933 г. арестован вместе с братом и сыном при попытке нелегального перехода границы. Братья получили 8 лет лагерей, сын – 3 года. В 1934 г. бежал с сыном из Свирского лагеря в Финляндию (брат перешел границу двумя днями раньше). В финском фильтрационном лагере начал писать книгу «Россия в концлагере», принесшую ему мировую известность и финансовую независимость. Издавал в Софии газету «Голос России» (1936–1938), пытаясь создать при ней организацию народно-монархического направления. После теракта в редакции (погибли жена и секретарь) переехал в Германию, спасаясь от преследования советских органов. Оттуда организовал в Болгарии новое издание – «Наша газета» (1938–1940). Отговаривал немцев воевать с Россией, утверждая, что под вывеской СССР тот же русский народ, за что был сослан в немецкую провинцию Темпельбург. В 1945 г. переселился в Аргентину, издавал в Буэнос-Айресе газету «Наша страна» (с 1948; выходит до сих пор). Там же выпустил свою главную книгу «Народная Монархия» (1952). По доносу был выслан в Уругвай, где скончался после операции в госпитале.

17 *«И каждый раз навек прощайтесь! / Когда уходите на миг...»* – из стихотворения Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».

18 *«И когда женщина с прекрасным лицом, / Единственно дорогим во вселенной...»* – из стихотворения Н. С. Гумилёва «Мои читатели».

19 *Луи Огюст Бланки* (1805–1881) – французский коммунист-утопист, в 1830-х руководитель тайных республиканских обществ, участник французских революций 1830 и 1848 гг. Успех социальной революции связывал с заговором революционеров, которых, как полагал, в решающий момент поддержат народные массы.

20 *«И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...»* – из песни Б. Ш. Окуджавы «Сентиментальный марш».

21 *Пушкинский Дом* – Институт русской литературы Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Основан в 1905 г. под руководством президента Петербургской академии наук, великого князя Константина Константиновича Романова (1858–1915), известного также

как поэт К.Р. Институт занимается исследованием русской литературы XI–XX вв., хранит рукописи многих русских писателей, в том числе А. С. Пушкина.

[22] *ИПЦ* – Истинно Православная Церковь. Начала формироваться в 1920-х гг. как «катакомбная» Церковь из православного духовенства и мирян, которые не смирились с советской властью и переходили на нелегальное положение (в «катакомбы»). Полное отмежевание от Русской Православной Церкви и образование ИПЦ произошло в 1927 г., когда митрополит Сергий (Страгородский) опубликовал «Послание пастырям и пастве» (известное как Декларация митрополита Сергия), призывая верующих к лояльности по отношению к советской власти. Часть приверженцев ИПЦ (всего их около 20 тыс. чел.) считала единственной Церковью, сохранившей подлинное православие, – Русскую Православную Церковь Заграницей, часть – Истинно Православную Церковь Греции. Последователи ИПЦ подвергались преследованию со стороны советских властей. В 1996 г. Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало ИПЦ – Митрополия Московская и всея Руси, учрежденная пятью общинами; остальные общины ИПЦ данную митрополию не признали.

ИПХ – Истинно Православные Христиане. Близкая к ИПЦ немногочисленная и раздробленная конфессиональная группа, также отошедшая от Русской Православной Церкви из-за ее лояльного отношения к советской власти.

[23] *«Хельсинкская группа»*. С 1972 по 1975 г. в три этапа проходило Хельсинкское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – о нерушимости сложившихся в Европе границ, основополагающих принципах взаимоотношений между государствами, формах сотрудничества европейских стран, о правах человека. Вскоре после подписания Заключительного акта Совещания физик Ю. Ф. Орлов (фигурирует в книге) организовал в Москве Общественную группу содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, названную Хельсинкской группой (май 1976). Таким образом вопрос о нарушении прав человека в Советском Союзе приобретал международный резонанс. А. И. Гинзбург, приговоренный в 1978 г. к 8 годам лагерей за составление документов этой группы, в 1979-м в числе других политзаключенных был обменен на двух советских разведчиков, арестованных в США. Собственные Хельсинкские группы были организованы на Украине, в Литве, Грузии и Армении.

[24] *Издательство «Посев»*, принадлежащее НТС (как и ежемесячный одноименный журнал), находилось в Федеративной Республике Германии и выпускало книги писателей, которых не публиковали в СССР по политическим мотивам.

НТС (Народно-трудовой союз) – зарубежная русская организация, созданная первой волной эмиграции и нацеленная на свержение коммунистического режима.

[25] *Николай Степанович Гумилёв (1886–1921)* расстрелян 25 августа как участник контрреволюционного заговора. Осенью 1920 г. поэт был вовлечен в конспиративную деятельность так называемого «таганцевского заговора». 3 августа 1921 г. арестован Петроградской ЧК, 24-го приговорен к расстрелу (без суда), на следующий день приговор приведен в исполнение. 1 сентября петроградская газета «Правда» напечатала официальное сообщение ВЧК о расстреле 61 человека по делу Таганцева: «В настоящее время, ввиду полной ликвидации белогвардейских организаций в Петрограде, представляется возможным опубликование более полных данных о подготовлявшемся восстании... Наиболее значительной организацией является петроградская организация «ВОЗСТАНИЯ» (так в тексте. – *Л. К.*). Во главе ее стоял комитет из трех лиц: главы организации проф. В. Н. Таганцева, бывшего подполковника В. Г. Шведова и агента финской разведки быв. офицера Ю. П. Германа...» Далее следует длинный перечень обвинений, часть которых представляется фантастической, например, «германофильская ориентация» (это у Гумилёва – добровольца Первой мировой войны!). В приведенном списке расстрелянных фамилия поэта стоит тридцатой с таким текстом: «ГУМИЛЁВ Н. С. 33 л., филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирная литература», беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности». Место захоронения поэта неизвестно, предположительно – близ ст. Бернгардовка под Петербургом.

[26] *«В Константинополе у турка...»* – авторство не установлено. Предположительно может принадлежать Н. С. Гумилёву.

[27] *«И пока к пустоте или Раю...»* – из стихотворения Н. С. Гумилёва «Завещание».

[28] *«Но почему мы клонимся без сил...»* – из стихотворения Н. С. Гумилёва «Потомки Каина».

[29] *Артур Христианович Артузов* (настоящая фамилия *Фраучи*) *(1891–1937)* работал с 1918 г. в ВЧК. В 1922–1927 гг. начальник Контрразведывательного управления ВЧК – ГПУ – ОГПУ (среди прочих руководил операцией «Трест» по аресту Б. В. Савинкова, 1924); в 1927–1937 гг. начальник Иностранного отдела ОГПУ – НКВД, затем зам. начальника 4-го разведывательного управления Генштаба РККА; в 1937 г. начальник особого бюро ГУГБ НКВД. Репрессирован, приговорен к расстрелу; в 1956 г. посмертно реабилитирован.

[30] Речь идет о поэте Н. С. Гумилёве и его сыне от А. А. Ахматовой – Л. Н. Гумилёве.

Лев Николаевич Гумилёв (1912–1992) – историк, географ, доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, академик (1991). С 1938 г. четырежды арестовывался и провел в лагерях около 12 лет; освобожден в 1950-х гг. Создатель учения о человечестве и этносах

как биосоциальных категориях. Исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (этническое становление народа), назвав ее пассионарностью. Автор трудов по истории тюркских, монгольских, славянских и других народов Евразии. Книги: «Древняя Русь и Великая степь», «От Руси к России: очерки этнической истории» (1992).

[31] *«У меня не живут цветы...»* – первая строка из стихотворения без названия Н. С. Гумилёва.

[32] *«...правая диссидентская»* – национально ориентированное крыло диссидентского движения.

[33] *«...склока между семейством Синявских и газетой «Русская мысль»...».* Эмигрантская еженедельная газета «Русская мысль» (изд. в Париже с 1947; выходила с разной периодичностью) обвинила жену А. Д. Синявского – М. В. Розанову в контактах с КГБ.

[34] *«Вече»* – первый русский самиздатский журнал православно-патриотического направления, который выпускал В. Н. Осипов, при активной помощи С. А. Мельниковой. Первый номер вышел 19 января 1971 г. Издавался в машинописном виде (ок. 50 экз.) в течение трех лет, по три номера в год. На каждой книжке журнала издатель открыто ставил свою фамилию и адрес, отвергая «всякое поползновение на “подполье”». В журнале печатались материалы о Православии, Церкви, о взглядах славянофилов, других русских мыслителей, об охране исторических памятников и окружающей среды, о демографических проблемах русского народа. В марте 1974 г. журнал был закрыт; 30 апреля того же года по личному распоряжению председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова против В. Н. Осипова возбуждено уголовное дело «по факту издания антисоветского журнала “Вече”».

Владимир Николаевич Осипов учился в Московском государственном университете на историческом факультете (1955–1959); с четвертого курса был отчислен за публичный протест против ареста однокурсника по политическим мотивам. Завершил образование заочно в другом вузе. В 1961–1968 гг. отбывал первый срок в мордовских политлагерях – за «организацию антисоветских сборищ» на площади Маяковского в Москве (как пишет о себе: «Вошел в зону полуницшеанцем-полусиндикалистом, вышел православным христианином и монархистом. Чаял восстановить традиционное течение русской жизни, прерванное февральской катастрофой 1917 года»). За издание «Вече» в 1974 г. получил второй срок – восемь лет. Ныне общественный деятель, член Союза писателей России.

[35] *Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990)* – автор поэмы в прозе «Москва – Петушки» (1970). Алкоголизм и автора, и героя поэмы, чрезмерно «политизированный» рядом критиков, трактовался как «не столько болезнь, знак распада личности, сколько универсальный способ противостоять насилию бездуховности, приспособленчества, лицемерия, в которое все более погружалась общественная и частная жизнь эпохи “застоя”» (В. М. Акимов). Впервые поэма «Москва –

Петушки» была опубликована за рубежом: в 1973 г. в Израиле, в 1977 г. в Париже. Первая публикация на родине в 1988 г. в московском журнале «Трезвость и культура». Другие сочинения писателя: эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973); «Моя маленькая Лениниана»; трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985).

[36] *«Эмнести интернэшнл»* – русский филиал зарубежной организации «Международная амнистия».

[37] *«...энтээсовские каналы»* – от НТС (Народно-трудовой союз).

[38] *Александр Николаевич Яковлев*, в прошлом крупный партийный функционер-идеолог, в статье «Против антиисторизма» («Литературная газета» от 13 ноября 1972 г.) обвинял национально мыслящих писателей и издателей в «апологетике крестьянской патриархальности», воспевании «национальных истоков» и русского «справного мужика», утверждая: «И то, что его жизнь, его уклад порушили вместе с милыми его сердцу святынями в революционные годы, так это не от злого умысла и невежества, а вполне сознательно...» <...> «справного мужика надо было порушить». Обрушиваясь на писателей за «тоску по храмам и крестам», писал: «Мы видим нравственный пример не в «житиях святых»... а в революционном подвиге борцов за народное счастье». Последовали «меры», но позже вступился М. А. Шолохов, отправив на имя Л. И. Брежнева письмо о необходимости защиты русской национальной культуры и «раскрытии ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства», и его авторитетом патриотическое литературное направление было спасено.

[39] *«Беловежские заговорщики»*. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) руководители РСФСР, Украины и Белоруссии – Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич – подписали «Беловежские соглашения», которые прекратили существование Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как субъекта международного права и декларировали образование Содружества Независимых Государств (СНГ).

[40] В 1981 г. Ю. В. Андропов, будучи председателем КГБ СССР, направил в ЦК КПСС служебную записку, где определил основную задачу своего ведомства: «Главная забота для нас – русский национализм; диссиденты потом – их мы возьмем за одну ночь».

[41] *«Велесова книга»* (Велес – древнеславянское языческое божество; покровитель домашних животных и бог богатства) появилась среди русской эмиграции в 1950-х гг. в сопровождении множества легенд. Содержит мифологию славян, молитвенные тексты и рассказы о древней славянской истории с XX в. до н.э. по IX в. н.э. Написана якобы в V–IX вв. волхвами Русколани (?) и Древнего Новгорода на 43 деревянных дощечках. История обретения «Велесовой книги», по одной из версий, такова: во время Гражданской войны офицер Белой армии Изенбек нашел в харьковском имении князей Куракиных (по другой

версии, Неклюдовых-Задонских) дощечки с древнеславянскими записями и вывез их в Бельгию, где историк Ю. П. Миролюбов в течение 15 лет переписывал эти тексты, успев расшифровать лишь две трети. В 1941 г. дощечки погибли во время пожара (по другой версии, изъяты организацией Himmler's Ahnenerbe), остались только записи Миролюбова и фотография одной дощечки. Трактовки факта появления «Велесовой книги» нередко имеют антихристианскую направленность: будто бы введение христианства на Руси (X в.) погубило самобытную культуру и верования «древних русов». Подлинность книги учеными не подтверждена.

42 *Владимир Яковлевич Лакшин (1933–1993)* – критик, литературовед, доктор филологических наук. Член редколлегии (1962–1967), затем зам. главного редактора журнала «Новый мир» (1967–1970). В 1964 г. опубликовал в «Новом мире» свою статью «Иван Денисович, его друзья и недруги» (о герое повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»), вызвавшую недовольство советских идеологов и создавшую ему, вольно или невольно, славу «борца с режимом». В 1966 г. вступил в члены КПСС. С 1991 г. главный редактор журнала «Иностранная литература».

43 *Ирина Владимировна Головкина (Римская-Корсакова) (1904–1989)* – родилась в Петербурге, училась в одном из лучших женских учебных заведений – гимназии Стоюниной. При советской власти поступила в Институт истории и искусств на филологическое отделение. В 1930 г., при передаче учебной части Института в Университет, была отчислена из-за происхождения: один дед – великий русский композитор Римский-Корсаков, другой – прославленный царский генерал Троицкий, участник Русско-турецкой войны. Пережила блокаду в Ленинграде, потеряла сына и мужа (в прошлом офицер царской армии). До конца жизни оставалась в России.

44 *Георгий Аполлонович Гапон (1870–1906)* – священник, сотрудничавший с полицией. В 1904 г. с санкции властей организовал легальное рабочее общество «Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга». Инициатор составления петиции петербургских рабочих императору Николаю II, возглавлял шествие к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. Повешен членами эсеровской боевой дружины.

45 *«Хроника»* (полностью «Хроника текущих событий») – самиздатский информационный бюллетень (выходил с апреля 1968-го по октябрь 1983 г.; всего 64 выпуска), в котором помещались материалы о нарушении прав человека в СССР. Московские активисты правозащитного движения установили связи с лидерами национальных движений на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, что определило проблематику «Хроники»: положение политических заключенных в СССР; борьба «репрессированных народов» за свои права; гонения на верующих; преследования за политическую деятельность;

свобода эмиграции из СССР. При обыске на квартире Владимовых было найдено это издание, в выпуске которого принимала участие жена Г. Н. Владимова. Активное вмешательство Б. А. Ахмадулиной помогло им избежать ареста и впоследствии эмигрировать.

[46] *Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976)* впервые обнародовал героическую эпопею защиты Брестской крепости летом 1941 г., когда оставшийся в глубоком тылу гитлеровских войск осажденный гарнизон более месяца сопротивлялся фашистам. Этот подвиг долгое время оставался в безвестности. Смирнов предпринял огромную работу по собиранию материалов о защитниках крепости, вел радио- и телепередачи на эту тему, что получило всенародный отклик. За документально-историческую книгу «Брестская крепость» в 1965 г. писатель был удостоен Ленинской премии.

[47] *«Я жду, исполненный укоров...»* – из стихотворения Н. С. Гумилёва «Тот, другой».

[48] *ПЕН-клуб* (сокращенно от англ.: poets – поэты, essayists – очеркисты, novelists – романисты) – международное объединение писателей, основанное в 1921 г. английскими писателями Дж. Голсуорси и К. Э. Дасон-Скоттом. В 1989 г. в ПЕН-клуб принят российский ПЕН-центр.

[49] *Джон Браун (1800–1859)* – борец за освобождение негров в США. В 1855–1856 гг. возглавил антирабовладельческое восстание в Канзасе; в 1859 г. с небольшим отрядом захватил правительственный арсенал в г. Харперс-Ферри. Отряд был истреблен, Браун повешен.

[50] Во время повторного правления императора Наполеона Бонапарта во Франции после его бегства с о. Эльба (20 марта – 22 июня 1815 г.; так называемые «Сто дней») состоялась битва при Ватерлоо (населенный пункт в Бельгии), где Наполеон с верными ему войсками выступил против англо-голландской и прусской армий. 18 июня армия Наполеона была разгромлена, а 22 июня он вторично отрекся от престола и был сослан на о. Св. Елены, оставаясь пленником англичан до конца жизни.

[51] *Дмитрий Панин* – инженер, сидевший вместе с А. И. Солженицыным во второй половине 1940-х гг. в московской «спецтюрьме № 16» (в просторечии – «Марфинская шарашка»), где заключенные-специалисты разрабатывали средства радио- и телефонной связи. Панин стал прототипом одного из героев солженицынского романа «В круге первом». Впоследствии эмигрировал и вел за рубежом активную политическую деятельность против советского режима.

[52] *«Но я видал в иных домах...»* – свободная цитата из поэмы Ярослава Васильевича Смелякова (1912/13–1972) «Строгая любовь». Написана в лагере в 1953–1955 гг. Авторский текст:

Но я встречал в иных домах
под сенью вывески советской
такой чиновничий размах,
такой бонтон великосветский,

такой мещанский разворот,
такую бешеную хватку,
что даже оторопь берет,
хоть я неробкого десятка.

[53] *Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879)* – историк, причисляемый к «государственной школе» (идея государства выше идеи личности), академик Петербургской академии наук (1872), ректор Московского университета (1871–1877). Сторонник строгого историзма, который противопоставлял эмоциональным оценкам явлений, он писал в предисловии к «Истории России...»: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию, – вот обязанность историка». Основной труд: «История России с древнейших времен» (т. 1–29, 1851–1879; в советское время: кн. 1–15, 1959–1966).

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – историк, академик (1900), почетный академик Петербургской академии наук (1908). Представитель буржуазно-либеральной историографии, по взглядам противостоял историкам «государственной школы», утверждая: «Человеческая *личность*, людское *общество* и *природа страны* – вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие». Основные труды: «Курс русской истории» (ч. 1–5, 1904–1922), «Боярская дума Древней Руси» (1882), работы по истории крепостного права, сословий, финансов, историографии.

Иван Егорович Забелин (1820–1909) – историк, археолог, коллекционер, член-корреспондент (1884), почетный член Петербургской академии наук (1907). Специалист по истории русского быта и материальной культуры. Председатель Общества истории и древностей российских (1879–1888), один из организаторов и руководитель Исторического музея в Москве (1883–1908). Основные труды: «Домашний быт русского народа в XVI–XVII ст.», «История русской жизни с древнейших времен» (1876–1879), «История города Москвы» (1902).

Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873) – историк, коллекционер древнерусских рукописей, профессор Московского университета (с 1858), славянофил. Секретарь Московского Общества истории и древностей российских, редактор его «Временника». Основной труд: «Крестьяне на Руси» – первое обобщающее исследование по истории русского крестьянства от Киевской Руси до XVIII в.

Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) – историк, партийный и государственный деятель. Большевик, участник революций 1905–1906 гг. и Октябрьской. Руководитель Коммунистической академии, Института красной профессуры. Автор «Русской истории с древнейших времен» (т. 1–5, 1910–1913), «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. 1–2, 1920) и др.

[54] *«Былое»* – журнал, издававшийся в Петербурге – Ленинграде в 1906–1907 и в 1917–1926 гг., где помещались документы и материалы по истории революционного движения преимущественно второй половины XIX в. Вышло 57 номеров; № 36 и 37 за 1926 г. были запрещены советской цензурой и изданы в 1991 г.

[55] *Алексей Степанович Хомяков (1804–1860)* – православный философ, писатель, поэт, публицист, член-корреспондент Петербургской академии наук (1856). Основоположник (вместе с И. В. Киреевским) славянофильства, основные идеи которого: утверждение особого исторического пути России; поиски ее особой миссии в отношении к Западу и Востоку; внимание к простому народу – хранителю исконных начал русской жизни; интерес к прошлому и настоящему единокровных славянских народов. Ключевые для славянофильства работы: ст. «О старом и новом» (1839), «Предисловие к «Русской беседе» (1856).

Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) – экономист-аграрник, литератор. Профессор Московской сельскохозяйственной академии (1918–1930). Основатель и директор первого в стране Института сельскохозяйственной экономии и политики (1922–1928). Глава научного направления, исследовавшего вопросы крестьянской экономики. Разрабатывал проблемы кооперативного обобществления крестьянских хозяйств. Автор социально-философских повестей «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922). Необоснованно репрессирован.

[56] *«Вехи»* – сборник статей бывших «легальных марксистов» Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве, С. Л. Франка, а также М. О. Гершензона, Б. Н. Кистяковского и А. С. Изгоева (Ланде), изданный ими в 1909 г. – с подзаголовком «Сборник статей о русской интеллигенции» и обращенный к интеллигенции. «Веховцы» считали социальную революцию, замешанную на атеистическом материализме и насилии, гибельной для России, призывали к отказу от революционной идеологии установления «земного рая» насильственными методами и видели единственный путь усовершенствования государственного устройства в возрождении религиозной духовности. Сборник сразу же был подвергнут резкой критике большинством политиков, писателей, ученых, публицистов, порой прямо противоположных взглядов. Этот спор положил начало влиятельной критической традиции в отечественной философской публицистике, что отразилось в таких сборниках, как «Из глубины» (1918), «Смена вех» (1921), «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922), «Из-под глыб» (1974) и в «перестроечном манифесте» – «Иного не дано» (1989).

«Смена вех» – сборник статей видных деятелей науки и культуры Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахотина, Ю. Н. Потехина, вышедший в 1921 г. в Праге. «Сменовеховцы» порицали интеллигенцию за то, что она не пошла по пути, предложенному авторами сборника «Вехи», и ступила на дорогу революционного максимализма, этического нигилизма, то

есть большевизма. Введение в 1921 г. новой экономической политики (нэп), сменившей политику «военного коммунизма», породило у «сменовеховцев» надежду на ликвидацию большевизма и примирение советской власти с населением, поскольку «коммунизм не удался».

В 1921–1922 гг. в Париже вышло 20 номеров журнала «Смена вех». Основная его позиция была заявлена в первом номере: «Русский народ преклонился перед советской властью... Перед фактом этого преклонения мы преклонились». Идеологи «сменовеховства» призывали интеллигенцию к объединению с новой буржуазией (то есть «нэпманами») и советской властью. В журнале публиковались также материалы, присылаемые из Советской России.

Евразийство – философско-политическое движение в среде русской эмиграции 1920–1930-х гг. Началось с выхода сборника статей «Исход к Востоку» (София, 1921) молодых философов и публицистов Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского и П. П. Сувчинского. В основе их доктрины идеи поздних славянофилов (Н. Я. Данилевского, Н. Н. Страхова, К. Н. Леонтьева) – противопоставление исторических судеб и задач России и Запада. Евразийцы осмысляли Россию как «Евразию» – особый срединный материк между Азией и Европой и особый тип культуры. На рубеже 1930-х гг. это движение раскололось и пошло на убыль, поскольку его левое крыло (П. П. Сувчинский, Л. П. Карсавин, Т. П. Святополк-Мирский и др.) сомкнулось со «сменовеховством» в признании закономерности русской революции и оправдании большевизма.

[57] *Алексей Федорович Лосев (1893–1988)* – философ, филолог, профессор (1923). Был репрессирован и в 1930–1933 гг. находился в лагере (Беломорско-Балтийский канал). В работах 1920-х гг. дал своеобразный синтез идей русской религиозной философии нач. XX в. Разрабатывал проблемы символа и мифа («Философия имени», 1927; «Диалектика мифа», 1930), художественного творчества. Автор монументального труда «История античной эстетики» (т. 1–8). Лауреат Государственной премии СССР (1986).

[58] *Роберт Оуэн (1771–1858)* – английский социалист-утопист. В 1810 г. разработал филантропический план улучшения условий жизни рабочих и пытался его осуществить на прядильной фабрике в Нью-Ланарке (Шотландия), где служил управляющим. В 1817 г. выдвинул программу радикальной перестройки общества путем создания самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества», лишенных частной собственности, классов, эксплуатации. Основанные им опытные коммунистические колонии в США и Великобритании потерпели неудачу.

[59] *«В теснине Кавказа я знаю скалу...»* – из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Крест на скале».

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бородин Л. И.

Б 83 Без выбора: Автобиографическое повествование. – М.: Мол. гвардия, 2003. – 505[7] с.: ил. – (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 5).

ISBN 5-235-02629-2

Автобиографическое повествование Леонида Ивановича Бородина «Без выбора» можно назвать остросюжетным, поскольку сама жизнь автора – остросюжетна. Ныне известный писатель, лауреат премии А. И. Солженицына, главный редактор журнала «Москва», Л. И. Бородин добывал свою истину как человек поступка не в кабинетной тиши, не в карьеристском азарте, а в лагерях, где отсидел два долгих срока за свои убеждения. И потому в книге не только воспоминания о жестоких перипетиях своей личной судьбы, но и напряженные размышления о судьбе России, пережившей в XX веке ряд искусов, предательств, отречений, острая полемика о причинах драматического состояния страны сегодня с известными писателями, политиками, деятелями культуры – тот круг тем, которые не могут не волновать каждого мыслящего человека.

УДК 82-94
ББК 84-4



Бородин Леонид Иванович

БЕЗ ВЫБОРА
Автобиографическое повествование

Портрет автора на контртитуле художника В. Нефедьева

Главный редактор **А. В. Петров**
Редакторы **А. Г. Васильева, Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **А. Ю. Никулин**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Е. В. Феоктистова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 19.06.2003. Подписано в печать 10.09.2003. Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 26,88+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 34186.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127030, Москва, Сущевская ул., 21. Internet://mg.gvardiya.ru/ E-mail: dsel@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127030, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02629-2

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

А. Б. Красноглазов

СЕРВАНТЕС

Эпоха Возрождения, давшая миру великих мастеров пера и кисти, одарила испанскую землю такой яркой и колоритной фигурой, как Мигель де Сервантес Сааведра. Весь мир знает Сервантеса и его несравненного героя — Дон Кихота. Однако сама жизнь, биография писателя, уже окутанная дымкой веков, мало известна нашему отечественному читателю, хотя герои его бессмертного романа хорошо знакомы каждому. Автор предлагаемой книги в течение многих лет изучал испанские архивные материалы, все публикации и издания, относящиеся к эпохе Сервантеса, и написал первое документальное жизнеописание великого испанского писателя на русском языке, в котором учтены все новейшие изыскания в мировой сервантистике.



СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Ф. Бедарида

ЧЕРЧИЛЛЬ

(перевод с французского)

Политическая карьера этого выдающегося британского государственного деятеля протекала на фоне двух крупнейших событий XX века — Первой и Второй мировых войн, которые и предопределили его судьбу, всю его жизнь. Три четверти столетия длилась политическая деятельность Черчилля, познавшего и блистательные взлеты, и катастрофические падения. Но его звездный час приходится на труднейший период человеческой истории — Вторую мировую войну, когда, получив пост премьер-министра, он призвал свою нацию сплотиться на борьбу с гитлеровской Германией и стал инициатором союзнической коалиции — Великобритания — СССР — США, завершившуюся Великой Победой.

Автор книги Франсуа Бедарида — французский историк, специалист по английской истории, основатель Института современной истории. На обширной документальной основе он описывает биографию Черчилля, привлекая читателя ясным, доступным языком и несомненным стремлением к объективности изложения.



СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

В. Ежов

АДЕНАУЭР

Книга «Конрад Аденауэр — немец четырех эпох» — первое в России солидное исследование жизненного пути и деятельности выдающегося немецкого политика. В основу книги легли документальные и мемуарные материалы, не в последнюю очередь воспоминания самого Аденауэра, высказывания и оценки того времени. Представляются интересными личные впечатления автора, доктора исторических наук, профессора В. Д. Ежова, который во второй половине 50-х — начале 60-х годов был вторым секретарем посольства СССР в Бонне, неоднократно присутствовал на выступлениях К. Аденауэра в бундестаге, на его пресс-конференциях, мог наблюдать канцлера на приемах и других мероприятиях.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефоны: 787-63-85; 978-89-82. Факс: 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
787-63-75; 787-63-97; 787-64-78; 787-63-81
При издательстве работает
книжный магазин:
972-05-41;787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru

Леонид Бородин

Без выбора

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ



...Российский коммунизм в его пиковые годы, в сталинские, разумеется, был дивной калькой русского царства, где вместо Богоданного царя — данный судьбой и исторической неизбежностью вождь в сане святого, вместо Откровения — марксизм, вместо Святой Троицы — великая троица Маркс—Энгельс—Ленин. И главное: вместо религиозного, православного миропонимания — материалистическая концепция бытия. Ей мы и обязаны всем, что с нами происходило самого дурного, всем, что происходит с нами ныне...

...Сдавшись на милость победителя, вышли из горящего Белого дома «вожди» и «вдохновители», обещавшие умереть за конституцию. Вышли, оставив умирать на этажах вдохновленных ими мальчишек и не мальчишек... Популярная фраза «расстрел парламента» двусмысленна, нечиста, насквозь прополитизирована. Расстрелянное здание — да вот оно, на месте, и краше прежнего. Члены парламента живы и в подавляющем большинстве своем неплохо устроены... И только одно — невозможно без душевной дрожи смотреть на портреты погибших!.. За что погибли? За «Даешь Советский Союз!»? Отчасти. За «Банду Ельцина под суд!»? И за это тоже... За Россию? Конечно. За что же еще погибать русским парням...

...Именем прав человека разбомбили человеков в Белграде и Багдаде. Нас пока, слава Богу и атомной бомбе, не бомбят, и права человека п о к а — единственное стратегическое действо по предупреждению, предотвращению возрождения Российского государства, поскольку оно действительно никак не может возродиться без покушения на права человеков, по тем или иным причинам не желающих этого возрождения, поскольку имеют право, гарантированное «международным правом», не хотеть — и все тут!..

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

2003